

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://chekhovanton.ru/> Приятного чтения!

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов

Три года

I

Было еще темно, но кое-где в домах уже засветились огни и в конце улицы из-за казармы стала подниматься бледная луна. Лаптев сидел у ворот на лавочке и ждал, когда кончится всенощная в церкви Петра и Павла. Он рассчитывал, что Юлия Сергеевна, возвращаясь от всенощной, будет проходить мимо, и тогда он заговорит с ней и, быть может, проведет с ней весь вечер.

Он сидел уже часа полтора, и воображение его в это время рисовало московскую квартиру, московских друзей, лакея Петра, письменный стол; он с недоумением посматривал на темные, неподвижные деревья, и ему казалось странным, что он живет теперь не на даче в Сокольниках, а в провинциальном городе, в доме, мимо которого каждое утро и вечер прогоняют большое стадо и при этом поднимают страшные облака пыли и играют на рожке. Он вспоминал длинные московские разговоры, в которых сам принимал участие еще так недавно, – разговоры о том, что без любви жить можно, что страстная любовь есть психоз, что, наконец, нет никакой любви, а есть только физическое влечение полов – и всё в таком роде; он вспоминал и думал с грустью, что если бы теперь его спросили, что такое любовь, то он не нашелся бы, что ответить.

Всенощная отошла, показался народ. Лаптев с напряжением всматривался в темные фигуры. Уже провезли архиерея в карете, уже перестали звонить, и на колокольне один за другим погасли красные и зеленые огни – это была иллюминация по случаю храмового праздника, – а народ всё шел, не торопясь, разговаривая, останавливаясь под окнами. Но вот, наконец, Лаптев услышал знакомый голос, сердце его сильно забило, и оттого, что Юлия Сергеевна была не одна, а с какими-то двумя дамами, им овладело отчаяние.

«Это ужасно, ужасно! – шептал он, ревнуя ее. – Это ужасно!»

На углу, при повороте в переулок, она остановилась, чтобы проститься с дамами, и в это время взглянула на Лаптева.

– А я к вам, – сказал он. – Иду потолковать с вашим батюшкой. Он дома?

– Вероятно, – ответила она. – В клуб ему еще рано.

Переулок был весь в садах, и у заборов росли липы, бросавшие теперь при луне широкую тень, так что заборы и ворота на одной стороне совершенно утопали в потемках; слышался оттуда шепот женских голосов, сдержанный смех, и кто-то тихо-тихо играл на балалайке. Пахло липой и сеном. Шепот невидимок и этот запах раздражали Лаптева. Ему вдруг страстно захотелось обнять свою спутницу, осыпать поцелуями ее лицо, руки, плечи, зарыдать, упасть к ее ногам, рассказать, как он долго ждал ее. От нее шел легкий, едва уловимый запах ладана, и это напомнило ему время, когда он тоже веровал в бога и ходил ко всенощной и когда мечтал много о чистой, поэтической любви. И оттого, что эта девушка не любила его, ему теперь казалось, что возможность того счастья, о котором он мечтал тогда, для него утеряна навсегда.

Она с участием заговорила о здоровье его сестры Нины Федоровны. Месяца два назад у его сестры вырезали рак, и теперь все ждали возврата болезни.

– Я была у нее сегодня утром, – сказала Юлия Сергеевна, – и мне показалось, что за эту неделю она не то чтобы похудела, а поблекла.

– Да, да, – согласился Лаптев. – Рецидива нет, но с каждым днем, я замечаю, она становится всё слабее и слабее и тает на моих глазах. Не пойму, что с ней.

– Господи, а ведь какая она была здоровая, полная, краснощекая! – проговорила Юлия Сергеевна после минутного молчания. – Ее здесь все так и звали московкой. Как хохотала! Она на праздниках наряжалась простою бабой, и это очень шло к ней.

Доктор Сергей Борисыч был дома; полный, красный, в длинном ниже колен сюртуке и,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru как казалось, коротконогий, он ходил у себя в кабинете из угла в угол, засунув руки в карманы, и напевал вполголоса: «Ру-ру-ру-ру». Седые бакены у него были растрепаны, голова не причесана, как будто он только что встал с постели. И кабинет его с подушками на диванах, с кипами старых бумаг по углам и с большим грязным пуделем под столом производил такое же растрепанное, шершавое впечатление, как он сам.

– Тебя желает видеть м-сье Лаптев, – сказала ему дочь, входя в кабинет.

– Ру-ру-ру-ру, – запел он громче и, повернув в гостиную, подал руку Лаптеву и спросил: – Что скажете хорошенького?

Было темно в гостиной. Лаптев, не садясь и держа шляпу в руках, стал извиняться за беспокойство; он спросил, что делать, чтобы сестра спала по ночам, и отчего она так страшно худеет, и его смущала мысль, что, кажется, эти самые вопросы он уже задавал доктору сегодня во время его утреннего визита.

– Скажите, – спросил он, – не пригласить ли нам из Москвы какого-нибудь специалиста по внутренним болезням? Как вы думаете?

Доктор вздохнул, пожал плечами и сделал обеими руками неопределенный жест.

Было очевидно, что он обиделся. Это был чрезвычайно обидчивый, мнительный доктор, которому всегда казалось, что ему не верят, что его не признают и недостаточно уважают, что публика эксплуатирует его, а товарищи относятся к нему с недоброжелательством. Он всё смеялся над собой, говорил, что такие дураки, как он, созданы только для того, чтобы публика ездила на них верхом.

Юлия Сергеевна зажгла лампу. Она утомилась в церкви, и это было заметно по ее бледному, томному лицу, по вялой походке. Ей хотелось отдохнуть. Она села на диван, положила руки на колени и задумалась. Лаптев знал, что он некрасив, и теперь ему казалось, что он даже ощущает на теле эту свою некрасоту. Он был невысок ростом, худ, с румянцем на щеках, и волосы у него уже сильно поредели, так что зябла голова. В выражении его вовсе не было той изящной простоты, которая даже грубые, некрасивые лица делает симпатичными; в обществе женщин был неловок, излишне разговорчив, манерен. И теперь он почти презирал себя за это. Чтобы Юлия Сергеевна не скучала в его обществе, нужно было говорить. Но о чем? Опять о болезни сестры?

И он стал говорить о медицине то, что о ней обыкновенно говорят, похвалил гигиену и сказал, что ему давно хочется устроить в Москве ночлежный дом и что у него даже уже есть смета. По его плану рабочий, приходя вечером в ночлежный дом, за пять-шесть копеек должен получать порцию горячих щей с хлебом, теплую, сухую постель с одеялом и место для просушки платья и обуви.

Юлия Сергеевна обыкновенно молчала в его присутствии, и он странным образом, быть может чутьем влюбленного, угадывал ее мысли и намерения. И теперь он сообразил, что если она после всенощной не пошла к себе переодеваться и пить чай, то, значит, пойдет сегодня вечером еще куда-нибудь в гости.

– Но я не тороплюсь с ночлежным домом, – продолжал он уже с раздражением и досадой, обращаясь к доктору, который глядел на него как-то тускло и с недоумением, очевидно не понимая, зачем это ему понадобилось поднимать разговор о медицине и гигиене. – И, должно быть, не скоро еще я воспользуюсь нашей сметой. Я боюсь, что наш ночлежный дом попадет в руки наших московских святош и барынь-филантропок, которые губят всякое начинание.

Юлия Сергеевна поднялась и протянула Лаптеву руку.

– Виновата, – сказала она, – мне пора. Поклонитесь вашей сестре, пожалуйста.

– Ру-ру-ру-ру, – запел доктор. – Ру-ру-ру-ру.

Юлия Сергеевна вышла, и Лаптев немного погодя простился с доктором и пошел домой. Когда человек неудовлетворен и чувствует себя несчастным, то какую пошлостью веет на него от этих лип, теней, облаков, от всех этих красот природы, самодовольных и равнодушных! Луна стояла уже высоко, и под нею быстро бежали облака. «Но какая наивная, провинциальная луна, какие тощие, жалкие облака!» –

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
думал Лаптев. Ему было стыдно, что он только что говорил о медицине и о
ночлежном доме, он ужасался, что и завтра у него не хватит характера, и он опять
будет пытаться увидеть ее и говорить с ней и еще раз убедится, что он для нее
чужой. Послезавтра – опять то же самое. Для чего? И когда и чем всё это
кончится?

Дома он пошел к сестре. Нина Федоровна была еще крепка на вид и производила
впечатление хорошо сложенной, сильной женщины, но резкая бледность делала ее
похожей на мертвую, особенно когда она, как теперь, лежала на спине, с закрытыми
глазами; возле нее сидела ее старшая дочь, Саша, десяти лет, и читала ей что-то
из своей хрестоматии.

– Алеша пришел, – проговорила больная тихо, про себя.

Между Сашей и дядей давно уже установилось молчаливое соглашение: они сменяли
друг друга. Теперь Саша закрыла свою хрестоматию и, не сказав ни слова, тихо
вышла из комнаты; Лаптев взял с комода исторический роман и, отыскав страницу,
какую нужно, сел и стал читать вслух.

Нина Федоровна была московская уроженка. Детство и юность ее и двух братьев
прошли на Пятницкой улице, в родной купеческой семье. Детство было длинное,
скучное; отец обходился сурово и даже раза три наказывал ее розгами, а мать
чем-то долго болела и умерла; прислуга была грязная, грубая, лицемерная; часто
приходили в дом попы и монахи, тоже грубые и лицемерные; они пили и закусывали и
грубо льстили ее отцу, которого не любили. Мальчишкам посчастливилось поступить в
гимназию, а Нина так и осталась неученой, всю жизнь писала каракулями и читала
одни только исторические романы. Лет 17 назад, когда ей было 22 года, она на
даче в Химках познакомилась с теперешним своим мужем Панауровым, помещиком,
влюбилась и вышла за него замуж против воли отца, тайно. Панауров, красивый,
немножко наглый, закуривающий из лампадки и посвистывающий, казался ее отцу
совершенным ничтожеством, и, когда потом зять в своих письмах стал требовать
приданого, старик написал дочери, что посылает ей в деревню шубы, серебро и
разные вещи, оставшиеся после матери, и 30 тысяч деньгами, но без родительского
благословения; потом прислал еще 20 тысяч. Деньги эти и приданое были прожиты,
имение продано, и Панауров переселился с семьей в город и поступил на службу в
губернское правление. В городе он завел себе другую семью, и это вызывало каждый
день много разговоров, так как незаконная семья его жила открыто.

Нина Федоровна обожала своего мужа. И теперь, слушая исторический роман, она
думала о том, как она много пережила, сколько выстрадала за всё время, и что
если бы кто-нибудь описал ее жизнь, то вышло бы очень жалостно. Так как опухоль
у нее была в груди, то она была уверена, что и болеет она от любви, от семейной
жизни, и что в постель ее уложили ревность и слезы.

Но вот Алексей Федорыч закрыл книгу и сказал:

– Конец и богу слава. Завтра другой начнем.

Нина Федоровна засмеялась. Она всегда была смешлива, но теперь Лаптев стал
замечать, что у нее от болезни минутами как будто ослабевал рассудок, и она
смеялась от малейшего пустяка и даже без причины.

– Без тебя тут до обеда приходила Юлия, – сказала она. – Как я поглядела, она не
очень-то верит своему папаше. Пусть, говорит, вас лечит мой папа, но вы все-таки
потихоньку напишите святому старцу, чтобы он за вас помолился. Тут у них завелся
старец какой-то. Юличка у меня зонтик свой забыла, ты ей пошли завтра, –
продолжала она, помолчав немного. – Нет, уж когда конец, то не помогут ни
доктора, ни старцы.

– Нина, отчего ты по ночам не спишь? – спросил Лаптев, чтобы переменить
разговор.

– Да так. Не сплю, вот и всё. Лежу себе и думаю.

– О чем же ты думаешь, милая?

– О детях, о тебе... о своей жизни. Я ведь, Алеша, много пережила. Как начнешь
вспоминать, как начнешь... Господи боже мой! – Она засмеялась. – Шутка ли пять раз

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
рожала, троих похоронила... Бывало, собираешься родить, а мой Григорий Николаич в это время у другой сидит, послать за акушеркой или за бабкой некого, пойдешь в сени или в кухню за прислужгой, а там жида, лавочники, ростовщики – ждут, когда он домой вернется. Голова, бывало, кружится... Он не любил меня, хоть и не высказывал этого. Теперь–то я угомонилась, отлегло от сердца, а прежде, когда помоложе была, обидно было, – обидно, ах, как обидно, голубчик! Раз – это еще в деревне было – застала я его в саду с одной дамой, и ушла я... ушла, куда глаза мои глядят, и не знаю, как очутилась на паперти, упала на колени: «Царица, говорю, небесная!» А на дворе ночь, месяц светит...

Она утомилась, стала задыхаться; потом, отдохнувши немного, взяла брата за руку и продолжала слабым, беззвучным голосом:

– Какой ты, Алеша, добрый... Какой ты умный... Какой из тебя хороший человек вышел!

В полночь Лаптев простился с нею и, уходя, взял с собой зонтик, забытый Юлией Сергеевной. Несмотря на позднее время, в столовой прислуга, мужская и женская, пила чай. Какой беспорядок! Дети не спали и находились тут же в столовой. Говорили тихо, вполголоса, и не замечали, что лампа хмурится и скоро погаснет. Все эти большие и маленькие люди были обеспокоены целым рядом неблагоприятных примет, и настроение было угнетенное: разбилось в передней зеркало, самовар гудел каждый день и, как нарочно, даже теперь гудел; рассказывали, что из ботинки Нины Федоровны, когда она одевалась, выскочила мышь. И страшное значение всех этих примет было уже известно детям; старшая девочка, Саша, худенькая брюнетка, сидела за столом неподвижно, и лицо у нее было испуганное, скорбное, а младшая, Лида, семи лет, полная блондинка, стояла возле сестры и смотрела на огонь исподлобья.

Лаптев спустился к себе в нижний этаж, в комнаты с низкими потолками, где постоянно пахло геранью и было душно. В гостиной у него сидел Панауров, муж Нины Федоровны, и читал газету. Лаптев кивнул ему головой и сел против. Оба сидели и молчали. Случалось, что так молча они проводили целые вечера, и это молчание не стесняло их.

Пришли сверху девочки прощаться. Панауров молча, не спеша, несколько раз перекрестил обеих и дал им поцеловать свою руку, они сделали реверанс, затем подошли к Лаптеву, который тоже должен был крестить их и давать им целовать свою руку. Эта церемония с поцелуями и реверансами повторялась каждый вечер.

Когда девочки вышли, Панауров отложил в сторону газету и сказал:

– Скучно в нашем богоспасаемом городе! Признаюсь, дорогой мой, – добавил он со вздохом, – я очень рад, что вы наконец нашли себе развлечение.

– Вы о чем это? – спросил Лаптев.

– Давеча я видел, как вы выходили из дома доктора Белавина. Надеюсь, вы ходили туда не ради папаши.

– Конечно, – сказал Лаптев и покраснел.

– Ну, конечно. А, кстати сказать, другого такого одра, как этот папаша, не сыскать днем с огнем. Вы не можете себе представить, что это за нечистоплотная, бездарная и неуклюжая скотина! У вас там, в столице, до сих пор еще интересуются провинцией только с лирической стороны, так сказать, со стороны пейзажа и Антона Горемыки, но, клянусь вам, мой друг, никакой лирики нет, а есть только дикость, подлость, мерзость – и больше ничего. Возьмите вы здешних жрецов науки, здешнюю, так сказать, интеллигенцию. Можете ли себе представить, здесь в городе 28 докторов, все они нажили себе состояния и живут в собственных домах, а население между тем по-прежнему находится в самом беспомощном положении. Вот понадобилось сделать Нине операцию, в сущности пустую, а ведь для этого пришлось выписывать хирурга из Москвы – здесь ни один не взялся. Вы не можете себе представить. Ничего они не знают, не понимают, ничем не интересуются. Спросите-ка их, например, что такое рак? Что? Отчего он происходит?

И Панауров стал объяснять, что такое рак. Он был специалистом по всем наукам и объяснял научно всё, о чем бы ни зашла речь. Но объяснял он всё как-то по-своему. У него была своя собственная теория кровообращения, своя химия, своя

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
астрономия. Говорил он медленно, мягко, убедительно и слова «вы не можете себе представить» произносил умоляющим голосом, щурил глаза, томно вздыхал и улыбался милостиво, как король, и видно было, что он очень доволен собой и совсем не думает о том, что ему уже 50 лет.

– Мне что-то есть захотелось, – сказал Лаптев. – Я с удовольствием поел бы чего-нибудь соленого.

– Ну, что ж? Это можно сейчас устроить.

Немного погодя Лаптев и его зять сидели наверху в столовой и ужинали. Лаптев выпил рюмку водки и потом стал пить вино, Панауров же ничего не пил. Он никогда не пил и не играл в карты и, несмотря на это, все-таки прожил свое и женино состояние и наделал много долгов. Чтобы прожить так много в такое короткое время, нужно иметь не страсти, а что-то другое, какой-то особый талант. Панауров любил вкусно поесть, любил хорошую сервировку, музыку за обедом, спичи, поклоны лакеев, которым небрежно бросал на чай по десяти и даже по двадцати пяти рублей; он участвовал всегда во всех подписках и лотереях, посылал знакомым именинницам букеты, покупал чашки, подстаканники, запонки, галстуки, трости, духи, мундштуки, трубки, собачек, попугаев, японские вещи, древности; ночные сорочки у него были шелковые, кровать из черного дерева с перламутром, халат настоящий бухарский и т. п., и на всё это ежедневно уходило, как сам он выражался, «прорва» денег.

За ужином он всё вздыхал и покачивал головой.

– Да, всё на этом свете имеет конец, – тихо говорил он, щури свои темные глаза.
– Вы влюбитесь и будете страдать, разлюбите, будут вам изменять, потому что нет женщины, которая бы не изменяла, вы будете страдать, приходить в отчаяние и сами будете изменять. Но настанет время, когда всё это станет уже воспоминанием и вы будете холодно рассуждать и считать это совершенными пустяками...

А Лаптев, усталый, слегка пьяный, смотрел на его красивую голову, на черную, подстриженную бородку и, казалось, понимал, почему это женщины так любят этого избалованного, самоуверенного и физически обаятельного человека.

После ужина Панауров не остался дома, а пошел к себе на другую квартиру. Лаптев вышел проводить его. Во всем городе только один Панауров носил цилиндр, и около серых заборов, жалких трехконных домиков и кустов крапивы его изящная, щегольская фигура, его цилиндр и оранжевые перчатки производили всякий раз и странное, и грустное впечатление.

Простившись с ним, Лаптев возвращался к себе не спеша. Луна светила ярко, можно было разглядеть на земле каждую соломинку, и Лаптеву казалось, будто лунный свет ласкает его непокрытую голову, точно кто пухом проводит по волосам.

– Я люблю! – произнес он вслух, и ему захотелось вдруг бежать, догнать Панаурова, обнять его, простить, подарить ему много денег, и потом бежать куда-нибудь в поле, в рощу, и всё бежать без оглядки.

Дома он увидел на стуле зонтик, забытый Юлией Сергеевной, схватил его и жадно поцеловал. Зонтик был шелковый, уже не новый, перехваченный старою резинкой; ручка была из простой, белой кости, дешевая. Лаптев раскрыл его над собой, и ему казалось, что около него даже пахнет счастьем.

Он сел поудобнее и, не выпуская из рук зонтика, стал писать в Москву, к одному из своих друзей:

«Милый, дорогой Костя, вот вам новость: я опять люблю! Говорю опять потому, что лет шесть назад я был влюблен в одну московскую актрису, с которой мне не удалось даже познакомиться, и в последние полтора года жил с известною вам „особой“ – женщиной немолодой и некрасивой. Ах, голубчик, как вообще мне не везло в любви! Я никогда не имел успеха у женщин, а если говорю опять, то потому только, что как-то грустно и обидно сознаваться перед самим собой, что молодость моя прошла вовсе без любви и что настоящим образом я люблю впервые только теперь, в 34 года. Пусть будет опять люблю.

Если бы вы знали, что это за девушка! Красавицей ее назвать нельзя – у нее

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru широкое лицо, она очень худа, но зато какое чудесное выражение доброты, как улыбаются! Голос ее, когда она говорит, поет и звенит. Она со мной никогда не вступает в разговор, я не знаю ее, но когда я бываю возле, то чувствую в ней редкое, необыкновенное существо, проникнутое умом и высокими стремлениями. Она религиозна, и вы не можете себе представить, до какой степени это трогает меня и возвышает ее в моих глазах. По этому пункту я готов спорить с вами без конца. Вы правы, пусть будет по-вашему, но всё же я люблю, когда она в церкви молится. Она провинциалка, но она училась в Москве, любит нашу Москву, одевается по-московски, и за это я люблю ее, люблю, люблю... Я вижу, как вы хмуритесь и встаете, чтобы прочесть мне длинную лекцию о том, что такое любовь и кого можно любить, а кого нельзя, и пр., и пр. Но, милый Костя, пока я не любил, я сам тоже отлично знал, что такое любовь.

Моя сестра благодарит вас за поклон. Она часто вспоминает, как когда-то возила Костю Кочевого отдавать в приготовительный класс, и до сих пор еще называет вас бедный, так как у нее сохранилось воспоминание о вас как о сироте-мальчике. Итак, бедный сирота, я люблю. Пока это секрет, ничего не говорите там известной вам „особе“. Это, я думаю, само собой уладится, или, как говорит лакей у Толстого, образуется...»

Кончив письмо, Лаптев лег в постель. От усталости сами закрывались глаза, но почему-то не спалось; казалось, что мешает уличный шум. Стадо прогнали мимо и играли на рожке, потом вскоре зазвонили к ранней обедне. То телега проедет со скрипом, то раздастся голос какой-нибудь бабы, идущей на рынок. И воробьи чирикали всё время.

II

Утро было веселое, праздничное. Часов в десять Нину Федоровну, одетую в коричневое платье, причесанную, вывели под руки в гостиную, и здесь она прошлась немного и постояла у открытого окна, и улыбка у нее была широкая, наивная, и при взгляде на нее вспоминался один местный художник, пьяный человек, который называл ее лицо ликом и хотел писать с нее русскую масленицу. И у всех – у детей, у прислуги и даже у брата Алексея Федорыча, и у нее самой – явилась вдруг уверенность, что она непременно выздоровеет. Девочки с визгливым смехом гонялись за дядей, ловили его, и в доме стало шумно.

Приходили чужие справиться насчет ее здоровья, приносили просфоры, говорили, что за нее сегодня почти во всех церквях служили молебны. Она в своем городе была благотворительницей, ее любили. Благотворила она с необыкновенною легкостью, так же, как брат Алексей, который раздавал деньги очень легко, не соображая, нужно дать или нет. Нина Федоровна платила за бедных учеников, раздавала старухам чай, сахар, варенье, наряжала небогатых невест, и если ей в руки попадала газета, то она прежде всего искала, нет ли какого-нибудь воззвания или заметки о чьем-нибудь бедственном положении.

Теперь у нее в руках была пачка записок, по которым разные бедняки, ее просители, забирали товар в бакалейной лавке и которые накануне прислал ей купец с просьбой уплатить 82 рубля.

– Ишь ты, сколько набрали, бессовестные! – говорила она, едва разбирая на записках свой некрасивый почерк. – Шутка ли? Восемьдесят два! Возьму вот и не отдам.

– Я сегодня заплачу, – сказал Лаптев.

– Зачем это, зачем? – встревожилась Нина Федоровна. – Довольно и того, что я каждый месяц по 250 получаю от тебя и брата. Спаси вас господи, – добавила она тихо, чтобы не слышала прислуга.

– Ну, а я в месяц две тысячи пятьсот проживаю, – сказал он. – Я тебе еще раз повторяю, милая: ты имеешь такое же право тратить, как я и Федор. Пойми это раз навсегда. Нас у отца трое, и из каждых трех копеек одна принадлежит тебе.

Но Нина Федоровна не понимала, и выражение у нее было такое, как будто она мысленно решала какую-то очень трудную задачу. И эта непонятливость в денежных делах всякий раз беспокоила и смущала Лаптева. Он подозревал, кроме того, что у нее лично есть долги, о которых она стесняется сказать ему и которые заставляют ее страдать.

Послышались шаги и тяжелое дыхание: это вверх по лестнице поднимался доктор, по обыкновению растрепанный и нечесаный.

– Ру-ру-ру, – напевал он. – Ру-ру.

Чтобы не встречаться с ним, Лаптев вышел в столовую, потом спустился к себе вниз. Для него было ясно, что сойтись с доктором покороче и бывать в его доме запросто – дело невозможное: и встречаться с этим «одром», как называл его Панауров, было неприятно. И оттого он так редко виделся с Юлией Сергеевной. Он сообразил теперь, что отца нет дома, что если понесет теперь Юлии Сергеевне ее зонтик, то наверное он застанет дома ее одну, и сердце у него сжалось от радости. Скорей, скорей!

Он взял зонтик и, сильно волнуясь, полетел на крыльях любви. На улице было жарко. У доктора, в громадном дворе, поросшем бурьяном и крапивой, десятка два мальчиков играли в мяч. Всё это были дети жильцов, мастеровых, живших в трех старых, неприглядных флигелях, которые доктор каждый год собирался отремонтировать и всё откладывал. Раздавались звонкие, здоровые голоса. Далеко в стороне, около своего крыльца, стояла Юлия Сергеевна, заложив руки назад, и смотрела на игру.

– Здравствуйте! – окликнул Лаптев.

Она оглянулась. Обыкновенно он видел ее равнодушною, холодною или, как вчера, усталою, теперь же выражение у нее было живое и резвое, как у мальчиков, которые играли в мяч.

– Посмотрите, в Москве никогда не играют так весело. – говорила она, идя к нему навстречу. – Впрочем, ведь там нет таких больших дворов, бегать там негде. А папа только что пошел к вам, – добавила она, оглядываясь на детей.

– Я знаю, но я не к нему, а к вам, – сказал Лаптев, любуясь ее молодостью, которой не замечал раньше и которую как будто лишь сегодня открыл в ней; ему казалось, что ее тонкую белую шею с золотою цепочкой он видел теперь только в первый раз. – Я к вам... – повторил он. – Сестра вот прислала зонтик, вы вчера забыли.

Она протянула руку, чтобы взять зонтик, но он прижал его к груди и проговорил страстно, неудержимо, отдаваясь опять сладкому восторгу, какой он испытал вчера ночью, сидя под зонтиком:

– Прошу вас, подарите мне его. Я сохраню на память о вас... о нашем знакомстве. Он такой чудесный!

– Возьмите, – сказала она и покраснела. – Но чудесного ничего в нем нет.

Он смотрел на нее с упоением, молча и не зная, что сказать.

– Что же это я держу вас на жаре? – сказала она после некоторого молчания и рассмеялась. – Пойдемте в комнаты.

– А я вас не беспокою?

Вошли в сени. Юлия Сергеевна побежала вверх, шумя своим платьем, белым, с голубыми цветочками.

– Меня нельзя беспокоить, – ответила она, останавливаясь на лестнице, – я ведь никогда ничего не делаю. У меня праздник каждый день, от утра до вечера.

– Для меня то, что вы говорите, непонятно, – сказал он, подходя к ней. – Я вырос, в среде, где трудятся каждый день, все без исключения, и мужчины и женщины.

– А если нечего делать? – спросила она.

– Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд был необходим. Без труда не может быть чистой и радостной жизни.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Он опять прижал к груди зонтик и сказал тихо, неожиданно для самого себя, не узнавая своего голоса:

– Если бы вы согласились быть моею женой, я бы всё отдал. Я бы всё отдал... Нет цены, нет жертвы, на какую бы я ни пошел.

Она вздрогнула и посмотрела на него с удивлением и страхом.

– Что вы, что вы! – проговорила она, бледнея. – Это невозможно, уверяю вас. Извините.

Затем быстро, всё так же шумя платьем, пошла выше и скрылась в дверях.

Лаптев понял, что это значит, и настроение у него переменялось сразу, резко, как будто в душе внезапно погас свет. Испытывая стыд, унижение человека, которым пренебрегли, который не нравится, противен, быть может, гадок, от которого бегут, он вышел из дому.

«Отдал бы всё, – передразнил он себя, идя домой по жаре и вспоминая подробности объяснения. – Отдал бы всё – совсем по-купечески. Очень кому нужно это твое всё!»

Всё, что он только что говорил, казалось ему, было глупо до отвращения. Зачем он солгал, что он вырос в среде, где трудятся все без исключения? Зачем он говорил назидательным тоном о чистой, радостной жизни? Это не умно, не интересно, фальшиво – фальшиво по-московски. Но вот мало-помалу наступило безразличное настроение, в какое впадают преступники после сурового приговора, он думал уже о том, что, слава богу, теперь всё уже прошло, и нет этой ужасной неизвестности, уже не нужно по целым дням ожидать, томиться, думать всё об одном; теперь всё ясно; нужно оставить всякие надежды на личное счастье, жить без желаний, без надежд, не мечтать, не ждать, а чтобы не было этой скуки, с которой уже так надоело нянчиться, можно заняться чужими делами, чужим счастьем, а там незаметно наступит старость, жизнь придет к концу – и больше ничего не нужно. Ему уж было всё равно, он ничего не хотел и мог холодно рассуждать, но в лице, особенно под глазами, была какая-то тяжесть, лоб напрягался, как резина, – вот-вот брызнут слезы. Чувствуя во всем теле слабость, он лег в постель и минут через пять крепко уснул.

III

Предложение, которое так неожиданно сделал Лаптев, привело Юлию Сергеевну в отчаяние.

Она знала Лаптева немного, познакомилась с ним случайно; это был богатый человек, представитель известной московской фирмы «Федор Лаптев и сыновья», всегда очень серьезный, по-видимому умный, озабоченный болезнью сестры; казалось ей, что он не обращал на нее никакого внимания, и сама она была к нему совершенно равнодушна, – и вдруг это объяснение на лестнице, это жалкое, восхищенное лицо...

Предложение смутило ее и своею внезапностью, и тем, что произнесено было слово жена, и тем, что пришлось ответить отказом. Она уже не помнила, что сказала Лаптеву, но продолжала еще ощущать следы того порывистого, неприятного чувства, с каким отказала ему. Он не нравился ей; наружность у него была приказчицкая, сам он был не интересен, она не могла ответить иначе, как отказом, но всё же ей было неловко, как будто она поступила дурно.

– Боже мой, не входя в комнаты, прямо на лестнице, – говорила она с отчаянием, обращаясь к образку, который висел над ее изголовьем, – и не ухаживал раньше, а как-то странно, необыкновенно...

В одиночестве с каждым часом ее тревога становилась всё сильнее, и ей одной было не под силу справиться с этим тяжелым чувством. Надо было, чтобы кто-нибудь выслушал ее и сказал ей, что она поступила правильно. Но поговорить было не с кем. Матери у нее не было уже давно, отца считала она странным человеком и не могла говорить с ним серьезно. Он стеснял ее своими капризами, чрезмерною обидчивостью и неопределенными жестами; и стоило только завести с ним разговор, как он тотчас же начинал говорить о себе самом. И во время молитвы она не была вполне откровенной, так как не знала наверняка, чего собственно ей нужно просить

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
у бога.

Подали самовар. Юлия Сергеевна, очень бледная, усталая, с беспомощным видом, вышла в столовую, заварила чай – это было на ее обязанности – и налила отцу стакан. Сергей Борисыч, в своем длинном сюртуке ниже колен, красный, не причесанный, заложив руки в карманы, ходил по столовой, не из угла в угол, а как придется, точно зверь в клетке. Остановится у стола, отопьет из стакана с аппетитом и опять ходит, и о чем-то всё думает.

– Мне сегодня Лаптев сделал предложение, – сказала Юлия Сергеевна и покраснела.

Доктор поглядел на нее и как будто не понял.

– Лаптев? – спросил он. – Брат Панауровой?

Он любил дочь; было вероятно, что она рано или поздно выйдет замуж и оставит его, но он старался не думать об этом. Его пугало одиночество, и почему-то казалось ему, что если он останется в этом большом доме один, то с ним сделается апоплексический удар, но об этом он не любил говорить прямо.

– Что ж, я очень рад, – сказал он и пожал плечами. – От души тебя поздравляю. Теперь представляется тебе прекрасный случай расстаться со мной, к великому твоему удовольствию. И я вполне тебя понимаю. Жить у старика-отца, человека больного, полоумного, в твои годы должно быть очень тяжело. Я тебя прекрасно понимаю. И если бы я окошел поскорей, и если бы меня черти взяли, то все были бы рады. От души поздравляю.

– Я ему отказала.

У доктора стало легче на душе, но он уже был не в силах остановиться и продолжал:

– Я удивляюсь, я давно удивляюсь, отчего меня до сих пор не посадили в сумасшедший дом? Почему на мне этот сюртук, а не горячая рубашка? Я верю еще в правду, в добро, я дурак идеалист, а разве в наше время это не сумасшествие? И как мне отвечают на мою правду, на мое честное отношение? В меня чуть не бросают камнями и ездят на мне верхом. И даже близкие родные стараются только ездить на моей шее, черт бы побрал меня, старика болвана...

– С вами нельзя говорить по-человечески! – сказала Юлия.

Она порывисто встала из-за стола и ушла к себе, в сильном гневе, вспоминая, как часто отец бывал к ней несправедлив. Но немного погодя ей уже было жаль отца, и когда он уходил в клуб, она проводила его вниз и сама заперла за ним дверь. А на дворе была погода нехорошая, беспокойная; дверь дрожала от напора ветра, и в сенях дуло со всех сторон, так что едва не погасла свеча. У себя наверху Юлия обошла все комнаты и перекрестила все окна и двери; ветер завывал, и казалось, что кто-то ходит по крыше. Никогда еще не было так скучно, никогда она не чувствовала себя такою одинокой.

Она спросила себя: хорошо ли она поступила, что отказала человеку только потому, что ей не нравится его наружность? Правда, это нелюбимый человек и выйти за него значило бы проститься навсегда со своими мечтами, своими понятиями о счастье и супружеской жизни, но встретит ли она когда-нибудь того, о ком мечтала, и полюбит ли? Ей уже 21 год. Женихов в городе нет. Она представила себе всех знакомых мужчин – чиновников, педагогов, офицеров, и одни из них были уже женаты и их семейная жизнь поражала своею пустотой и скукой, другие были неинтересны, бесцветны, неумны, безнравственны. Лаптев же, как бы ни было, москвич, кончил в университете, говорит по-французски; он живет в столице, где много умных, благородных, замечательных людей, где шумно, прекрасные театры, музыкальные вечера, превосходные портнихи, кондитерские... В священном писании сказано, что жена должна любить своего мужа, и в романах любви придается громадное значение, но нет ли преувеличения в этом? Разве без любви нельзя в семейной жизни? Ведь говорят, что любовь скоро проходит и остается одна привычка и что самая цель семейной жизни не в любви, не в счастье, а в обязанностях, например в воспитании детей, в заботах по хозяйству и проч. Да и священное писание, быть может, имеет в виду любовь к мужу как к ближнему, уважение к нему, снисхождение.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Ночью Юлия Сергеевна внимательно прочла вечерние молитвы, потом стала на колени и, прижав руки к груди, глядя на огонек лампадки, говорила с чувством:

– Вразуми, заступница! Вразуми, господи!

Ей в своей жизни приходилось встречать пожилых девушек, бедных и ничтожных, которые горько раскаивались и выражали сожаление, что когда-то отказывали своим женихам. Не случится ли и с ней то же самое? Не пойти ли ей в монастырь или в сестры милосердия?

Она разделась и легла в постель, крестясь и крестя вокруг себя воздух. Вдруг в коридоре резко и жалобно прозвучал звонок.

– Ах, боже мой! – проговорила она, чувствуя от этого звонка болезненное раздражение во всем теле. Она лежала и всё думала о том, как эта провинциальная жизнь бедна событиями, однообразна и в то же время беспокойна. То и дело приходится вздрагивать, чего-нибудь опасаться, сердиться или чувствовать себя виноватой, и нервы в конце концов портятся до такой степени, что страшно бывает выглянуть из-под одеяла.

Через полчаса опять раздался звонок и такой же резкий. Должно быть, прислуга спала и не слышала. Юлия Сергеевна зажгла свечу и, дрожа, досадуя на прислугу, стала одеваться, и когда, одевшись, вышла в коридор, то внизу горничная уже запирала дверь.

– Думала, что барин, а это от больного приезжали, – сказала она.

Юлия Сергеевна вернулась к себе. Она достала из комода колоду карт и решила, что если хорошо стасовать карты и потом снять, и если под низом будет красная масть, то это значит да, т. е. надо согласиться на предложение Лаптева, если же черная, то нет. Карта оказалась пиковою десяткой.

Это ее успокоило, она уснула, но утром опять уже не было ни да, ни нет, и она думала о том, что может теперь, если захочет, переменить свою жизнь. Мысли утомили ее, она изнемогала и чувствовала себя больной, но всё же в начале двенадцатого часа оделась и пошла проведать Нину Федоровну. Ей хотелось увидеть Лаптева: быть может, теперь он покажется ей лучше; быть может, она ошибалась до сих пор...

Ей трудно было идти против ветра, она едва шла, придерживая обеими руками шляпу, и ничего не видела от пыли.

IV

Войдя к сестре и увидев неожиданно Юлию Сергеевну, Лаптев опять испытал унижительное состояние человека, который противен. Он заключил, что если она так легко может после вчерашнего бывать у сестры и встречаться с ним, то, значит, она не замечает его или считает полнейшим ничтожеством. Но когда он здоровался с ней, она, бледная, с пылью под глазами, поглядела на него печально и виновато; он понял, что она тоже страдает.

Ей нездоровилось. Посидела она очень недолго, минут десять, и стала прощаться. И уходя сказала Лаптеву:

– Проводите меня домой, Алексей Федорыч.

По улице шли они молча, придерживая шляпы, и он, идя сзади, старался заслонить ее от ветра. В переулке было тише, и тут оба пошли рядом.

– Если я вчера была неласкова, то вы простите, – начала она, и голос ее дрогнул, как будто она собиралась заплакать. – Это такое мученье! Я всю ночь не спала.

– А я отлично проспал всю ночь, – сказал Лаптев, не глядя на нее, – но это не значит, что мне хорошо. Жизнь моя разбита, я глубоко несчастлив, и после вчерашнего вашего отказа я хожу точно отравленный. Самое тяжелое было сказано вчера, сегодня с вами я уже не чувствую стеснения и могу говорить прямо. Я люблю вас больше, чем сестру, больше, чем покойную мать... Без сестры и без матери я мог жить и жил, но жить без вас – для меня это бессмыслица, я не могу...

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
И теперь, как обыкновенно, он угадывал ее намерения. Ему было понятно, что она хочет продолжать вчерашнее и только для этого попросила его проводить ее и теперь вот ведет к себе в дом. Но что она может еще прибавить к своему отказу? Что она придумала нового? По всему, по взглядам, по улыбке и даже по тому, как она, идя с ним рядом, держала голову и плечи, он видел, что она по-прежнему не любит его, что он чужой для нее. Что же она хочет еще сказать?

Доктор Сергей Борисыч был дома.

– Добро пожаловать, весьма рад вас видеть, Федор Алексеич, – сказал он, путая его имя и отчество. – Весьма рад, весьма рад.

Раньше он не бывал так приветлив, и Лаптев заключил, что о предложении его уже известно доктору; и это ему не понравилось. Он сидел теперь в гостиной, и эта комната производила странное впечатление своею бедною, мещанскою обстановкой, своими плохими картинами, и хотя в ней были и кресла, и громадная лампа с абажуром, она всё же походила на нежилое помещение, на просторный сарай, и было очевидно, что в этой комнате мог чувствовать себя дома только такой человек, как доктор; другая комната, почти вдвое больше, называлась залой и тут стояли одни только стулья, как в танцклассе. И Лаптева, пока он сидел в гостиной и говорил с доктором о своей сестре, стало мучить одно подозрение. Не затем ли Юлия Сергеевна была у сестры Нины и потом привела его сюда, чтобы объявить ему, что она принимает его предложение? О, как это ужасно, но ужаснее всего, что его душа доступна для подобных подозрений. Он представлял себе, как вчера вечером и ночью отец и дочь долго советовались, быть может, долго спорили и потом пришли к соглашению, что Юлия поступила легкомысленно, отказавши богатому человеку. В его ушах звучали даже слова, какие в подобных случаях говорят родители:

«Правда, ты не любишь его, но зато, подумай, сколько ты можешь сделать добра!»

Доктор собрался к больным. Лаптев хотел выйти с ним вместе, но Юлия Сергеевна сказала:

– А вы останьтесь, прошу вас.

Она замучилась, пала духом и уверяла себя теперь, что отказывать порядочному, доброму, любящему человеку только потому, что он не нравится, особенно когда с этим замужеством представляется возможность изменить свою жизнь, свою невеселую, монотонную, праздную жизнь, когда молодость уходит и не предвидится в будущем ничего более светлого, отказывать при таких обстоятельствах – это безумие, это каприз и прихоть, и за это может даже наказать бог.

Отец вышел. Когда шаги его затихли, она вдруг остановилась перед Лаптевым и сказала решительно, и при этом страшно побледнела:

– Я вчера долго думала, Алексей Федорыч... Я принимаю ваше предложение.

Он нагнулся и поцеловал ей руку, она неловко поцеловала его холодными губами в голову. Он чувствовал, что в этом любовном объяснении нет главного – ее любви, и есть много лишнего, и ему хотелось закричать, убежать, тотчас же уехать в Москву, но она стояла близко, казалась ему такою прекрасной, и страсть вдруг овладела им, он сообразил, что рассуждать тут уже поздно, обнял ее страстно, прижал к груди и, бормоча какие-то слова, называя ее ты, поцеловал ее в шею, потом в щеку, в голову...

Она отошла к окну, боясь этих ласк, и уже оба сожалели, что объяснились, и оба в смущении спрашивали себя: «Зачем это произошло?»

– Если бы вы знали, как я несчастна! – проговорила она, сжимая руки.

– Что с вами? – спросил он, подходя к ней и тоже сжимая руки. – Дорогая моя, ради бога, говорите – что? Но только правду, умоляю вас, только одну правду!

– Не обращайтесь внимания, – сказала она и насильно улыбнулась. – Я обещаю вам, я буду верною, преданною женой... Приходите сегодня вечером.

Сидя потом у сестры и читая исторический роман, он вспоминал всё это, и ему было обидно, что на его великолепное, чистое, широкое чувство ответили так мелко; его

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru не любили, но предложение его приняли, вероятно, только потому, что он богат, то есть предпочли в нем то, что сам он ценил в себе меньше всего. Можно допустить, что Юлия, чистая и верующая в бога, ни разу не подумала о деньгах, но ведь она не любила его, не любила, и очевидно, у нее был расчет, хотя, быть может, и не вполне осмысленный, смутный, но всё же расчет. Дом доктора был ему противен своею мещанскою обстановкой, сам доктор представлялся жалким, жирным скрягой, каким-то опереточным Гаспаром из «Корневильских колоколов», самое имя Юлия звучало уже вульгарно. Он воображал, как он и его Юлия пойдут под венец, в сущности совершенно незнакомые друг другу, без капли чувства с ее стороны, точно их сваха сосватала, и для него теперь оставалось только одно утешение, такое же банальное, как и самый этот брак, утешение, что он не первый и не последний, что так женятся и выходят замуж тысячи людей и что Юлия со временем, когда покорооче узнает его, то, быть может, полюбит.

– Ромео и Юлия! – сказал он, закрывая книгу, и засмеялся. – Я, Нина, Ромео. Можешь меня поздравить, я сегодня сделал предложение Юлии Белавиной.

Нина Федоровна думала, что он шутит, но потом поверила и заплакала. Эта новость ей не понравилась.

– Что ж, поздравляю, – сказала она. – Но почему же это так вдруг?

– Нет, это не вдруг. Это тянется с марта, только ты ничего не замечаешь... Я влюбился еще в марте, когда познакомился с ней вот тут, в твоей комнате.

– А я думала, что ты женишься на какой-нибудь нашей московской, – сказала Нина Федоровна, помолчав. – Девушки из нашего круга будут попроще. Но главное, Алеша, чтобы ты был счастлив, это самое главное. Мой Григорий Николаич не любил меня, и, скрыть нельзя, ты видишь, как мы живем. Конечно, каждая женщина может полюбить тебя за доброту и за ум, но ведь Юличка институтка и дворянка, ей мало ума и доброты. Она молода, а ты сам, Алеша, уже не молод и не красив.

Чтобы смягчить последние слова, она погладила его по щеке и сказала:

– Ты не красив, но ты славненький.

Она разволновалась, так что даже на щеках у нее выступил легкий румянец, и с увлечением говорила о том, будет ли прилично, если она благословит Алешу образом; ведь она старшая сестра и заменяет ему мать; и она все старалась убедить своего печального брата, что надо сыграть свадьбу как следует, торжественно и весело, чтобы не осудили люди.

Затем он стал ходить к Белавиным, как жених, раза по три, по четыре в день, и уже некогда ему было сменять Сашу и читать исторический роман. Юлия принимала его в своих двух комнатах, вдаль от гостиной и отцовского кабинета, и они ему очень нравились. Тут были темные стены, в углу стоял киот с образами; пахло хорошими духами и лампадным маслом. Она жила в самых дальних комнатах, кровать и туалет ее были заставлены ширмами и дверцы в книжном шкапу задернуты изнутри зеленою занавеской, и ходила она у себя по коврам, так что совсем не бывало слышно ее шагов, – и из этого он заключил, что у нее скрытный характер и любит она тихую, покойную, замкнутую жизнь. В доме она была еще на положении несовершеннолетней, у нее не было собственных денег, и случалось во время прогулок она конфузилась, что при ней нет ни копейки. На наряды и книги выдавал ей отец понемножку, не больше ста рублей в год. Да и у самого доктора едва ли были деньги, несмотря даже на хорошую практику. Каждый вечер он играл в клубе в карты и всегда проигрывал. Кроме того, он покупал дома в обществе взаимного кредита с переводом долга и отдавал их внаймы; жильцы платили ему неисправно, но он уверял, что эти операции с домами очень выгодны. Свой дом, в котором он жил с дочерью, он заложил и на эти деньги купил пустошь, и уже начал строить на ней большой двухэтажный дом, чтобы заложить его.

Лаптев жил теперь как в тумане, точно это не он был, а его двойник, и делал многое такое, чего бы он не решился сделать прежде. Он раза три ходил с доктором в клуб, ужинал с ним и сам предложил ему денег на постройку; он даже побывал у Панаурова на его другой квартире. Как-то Панауров пригласил его к себе обедать, и Лаптев, не подумав, согласился. Его встретила дама лет 35, высокая и худощавая, с легкою проседью и с черными бровями, по-видимому, не русская. На ее лице лежали белые пятна от пудры, улыбнулась она приторно и пожала руку

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru порывисто, так что зазвенели на белых руках браслеты. Лаптеву казалось, что она улыбаётся так потому, что хочет скрыть от других и от самой себя, что она несчастна. Увидел он и двух девочек, пяти и трех лет, похожих на Сашу. За обедом подавали молочный суп, холодную телятину с морковью и шоколад – это было слащаво и невкусно, но зато на столе блестели золотые вилочки, флаконы с соей и кайенским перцем, необыкновенно вычурный судок, золотая перечница.

Только поевши молочного супу, Лаптев сообразил, как это, в сущности, было некстати, что он пришел сюда обедать. Дама была смущена, все время улыбалась, показывая зубы, Панауров объяснял научно, что такое влюбленность и от чего она происходит.

– Мы тут имеем дело с одним из явлений электричества, – говорил он по-французски, обращаясь к даме. – В коже каждого человека заложены микроскопические железки, которые содержат в себе токи. Если вы встречаетесь с особью, токи которой параллельны вашим, то вот вам и любовь.

Когда Лаптев вернулся домой и сестра спросила, где он был, ему стало неловко и он ничего не ответил.

Всё время до свадьбы он чувствовал себя в ложном положении. Любовь его с каждым днем становилась всё сильнее и Юлия казалась ему поэтической и возвышенной, но всё же взаимной любви не было, а сущность была та, что он покупал, а она продавалась. Иногда, раздумавшись, он приходил просто в отчаяние и спрашивал себя: не бежать ли? Он уже не спал по целым ночам и всё думал о том, как он после свадьбы встретится в Москве с госпожой, которую в своих письмах к друзьям называл «особой», и как его отец и брат, люди тяжелые, отнесутся к его женитьбе и к Юлии. Он боялся, что отец при первой же встрече скажет Юлии какую-нибудь грубость. А с братом Федором в последнее время происходило что-то странное. Он в своих длинных письмах писал о важности здоровья, о влиянии болезней на психическое состояние, о том, что такое религия, но ни слова о Москве и о делах. Письма эти раздражали Лаптева, и ему казалось, что характер брата меняется к худшему.

Свадьба была в сентябре. Венчание происходило в церкви Петра и Павла, после обедни, и в тот же день молодые уехали в Москву. Когда Лаптев и его жена, в черном платье со шлейфом, уже по виду не девушка, а настоящая дама, прощались с Ниной Федоровной, все лицо у больной покрывилось, но из сухих глаз не вытекло ни одной слезы. Она сказала:

– Если, не дай бог, умру, возьмите к себе моих девочек.

– О, обещаю вам! – ответила Юлия Сергеевна, и у нее тоже стали нервно подергиваться губы и веки.

– Я приеду к тебе в октябре, – сказал Лаптев, растроганный. – Выздоровливай, моя дорогая.

Они ехали в отдельном купе. Обоим было грустно и неловко. Она сидела в углу, не снимая шляпы, и делала вид, что дремлет, а он лежал против нее на диване и его беспокоили разные мысли: об отце, об «особе», о том, понравится ли Юлии его московская квартира. И, поглядывая на жену, которая не любила его, он думал уныло: «Зачем это произошло?»

V

Лаптевы в Москве вели оптовую торговлю галантерейным товаром: бахромой, тесьмой, аграмантом, вязальной бумагой, пуговицами и проч. Валовая выручка достигала двух миллионов в год: каков же был чистый доход, никто не знал, кроме старика. Сыновья и приказчики определяли этот доход приблизительно в триста тысяч и говорили, что он был бы тысяч на сто больше, если бы старик «не раскидывался», то есть не отпуская в кредит без разбору; за последние десять лет одних безнадежных векселей набралось почти на миллион, и старший приказчик, когда заходила речь об этом, хитро подмигивал глазом и говорил слова, значение которых было не для всех ясно:

– Психологическое последствие века.

Главные торговые операции производились в городских рядах, в помещении, которое

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru называлось амбаром. Вход в амбар был со двора, где всегда было сумрачно, пахло рогами и стучали копытами по асфальту ломовые лошади. Дверь, очень скромная на вид, обитая железом, вела со двора в комнату с побуревшими от сырости, исписанными углем стенами и освещенную узким окном с железной решеткой, затем налево была другая комната, побольше и почище, с чугунной печью и двумя столами, но тоже с острожным окном: это – контора, и уж отсюда узкая каменная лестница вела во второй этаж, где находилось главное помещение. Это была довольно большая комната, но, благодаря постоянным сумеркам, низкому потолку и тесноте от ящиков, тюков и спящих людей, она производила на свежего человека такое же невзрачное впечатление, как обе нижние. Наверху и также в конторе на полках лежал товар в кипах, пачках и бумажных коробках, в расположении его не было видно ни порядка, ни красоты, и если бы там и сям из бумажных свертков сквозь дыры не выглядывали то пунцовые нити, то кисть, то конец бахромы, то сразу нельзя было бы догадаться, чем здесь торгуют. И при взгляде на эти помятые бумажные свертки и коробки не верилось, что на таких пустяках выручают миллионы и что тут в амбаре каждый день бывают заняты делом пятьдесят человек, не считая покупателей.

Когда на другой день по приезде в Москву, в полдень, Лаптев пришел в амбар, то артельщики, запаковывая товар, стучали по ящикам так громко, что в первой комнате и в конторе никто не слышал, как он вошел; во лестнице вниз спускался знакомый почтальон с пачкой писем в руке и морщился от стука, и тоже не заметил его. Первый, кто встретил его наверху, был брат Федор Федорыч, похожий на него до такой степени, что их считали близнецами. Это сходство постоянно напоминало Лаптеву об его собственной наружности, и теперь, видя перед собой человека небольшого роста, с румянцем, с редкими волосами на голове, с худыми, непородистыми бедрами, такого неинтересного и неинтеллигентного на вид, он спросил себя: «Неужели и я такой?»

– Как я рад тебя видеть! – сказал Федор, целуясь с братом и крепко пожимая ему руку. – Я с нетерпением ожидал тебя каждый день, милый мой. Как ты написал, что женишься, меня стало мучить любопытство, да и соскучился, брат. Сам посуди, полгода не видались. Ну, что? Как? Плоха Нина? Очень?

– Очень плоха.

– Божья воля, – вздохнул Федор. – Ну, а жена твоя? Небось, красавица? Я ее уже люблю, ведь она приходится мне сестреночкой. Будем ее вместе баловать.

Показалась давно знакомая Лаптеву широкая, сутулая спина его отца, Федора Степаныча. Старик сидел возле прилавка на табурете и разговаривал с покупателем.

– Папаша, бог радость послал! – крикнул Федор. – Брат приехал!

Федор Степаныч был высокого роста и чрезвычайно крепкого сложения, так что, несмотря на свои восемьдесят лет и морщины, всё еще имел вид здорового, сильного человека. Говорил он тяжелым, густым, гудящим басом, который выходил из его широкой груди, как из бочки. Он брил бороду, носил солдатские подстриженные усы и курил сигары. Так как ему всегда казалось жарко, то в амбаре и дома во всякое время года он ходил в просторном парусиновом пиджаке. Ему недавно снимали катаракту, он плохо видел и уже не занимался делом, а только разговаривал и пил чай с вареньем.

Лаптев нагнулся и поцеловал его в руку, потом в губы.

– Давненько не видались, милостивый государь, – сказал старик. – Давненько. Что ж, прикажешь с законным браком поздравить? Ну, изволь, поздравляю.

И он подставил губы для поцелуя. Лаптев нагнулся и поцеловал.

– Что ж, и барышню свою привез? – спросил старик и, не дожидаясь ответа, сказал, обращаясь к покупателю: – Сим извещаю вас, папаша, вступаю я в брак с девицей такой-то. Да. А того, чтоб у папаша попросить благословения и совета, нету в правилах. Теперь они своим умом. Когда я женился, мне больше сорока было, а я в ногах у отца валялся и совета просил. Нынче уже этого нету.

Старик обрадовался сыну, но считал неприличным приласкать его и как-нибудь обнаружить свою радость. Его голос, манера говорить и «барышня» навеяли на

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Лаптева то дурное настроение, какое он испытывал всякий раз в амбаре. Тут каждая мелочь напоминала ему о прошлом, когда его секли и держали на постной пище; он знал, что и теперь мальчиков секут и до крови разбивают им носы, и что когда эти мальчики вырастут, то сами тоже будут бить. И достаточно ему было пробыть в амбаре минут пять, как ему начало казаться, что его сейчас обругают или ударят по носу.

Федор похлопал покупателя по плечу и сказал брату:

– Вот, Алеша, рекомендую, наш тамбовский кормилец Григорий Тимофеич. Может служить примером для современной молодежи: уже шестой десяток пошел, а он грудных детей имеет.

Приказчики засмеялись, и покупатель, тощий старик с бледным лицом, тоже засмеялся.

– Природа сверх обыкновенного действия, – заметил старший приказчик, стоявший тут же за прилавком. – Куда вошло, оттуда и выйдет.

Старший приказчик, высокий мужчина лет 50, с темною бородой, в очках и с карандашом за ухом, обыкновенно выражал свои мысли неясно, отдаленными намеками, и по его хитрой улыбке видно было при этом, что своим словам он придавал какой-то особенный, тонкий смысл. Свою речь он любил затемнять книжными словами, которые он понимал по-своему, да и многие обыкновенные слова часто употреблял он не в том значении, какое они имеют. Например слово «кроме». Когда он выражал категорически какую-нибудь мысль и не хотел, чтоб ему противоречили, то протягивал вперед правую руку и произносил:

– Кроме!

И удивительнее всего было то, что его отлично понимали остальные приказчики и покупатели. Звали его Иван Васильич Початкин, и родом он был из Каширы. Теперь, поздравляя Лаптева, он выразился так:

– С вашей стороны заслуга храбрости, так как женское сердце есть Шамиль.

Другим важным лицом в амбаре был приказчик Макеичев, полный, солидный блондин с лысиной во все темя и с бакенами. Он подошел к Лаптеву и поздравил его почтительно, вполголоса:

– Честь имею-с... Господь услышал молитвы вашего родителя-с. Слава богу-с.

Затем стали подходить другие приказчики и поздравлять с законным браком. Все они были одеты по моде и имели вид вполне порядочных, воспитанных людей. Говорили они на о, г произносили как латинское g; оттого, что почти через каждые два слова они употребляли с, их поздравления, произносимые скороговоркой, например фраза: «желаю вам-с всего хорошего-с» слышалась так, будто кто хлыстом бил по воздуху – «жвыиссс».

Лаптеву всё это скоро наскучило и захотелось домой, но уйти было неловко. Из приличия нужно было пробыть в амбаре, по крайней мере, два часа. Он отошел в сторону от прилавка и стал расспрашивать Макеичева, благополучно ли прошло лето и нет ли чего нового, и тот отвечал почтительно, не глядя ему в глаза. Мальчик, стриженный, в серой блузе, подал Лаптеву стакан чаю без блюдечка; немного погодя другой мальчик, проходя мимо, спотыкнулся о ящик и едва не упал, и солидный Макеичев вдруг сделал страшное, злое лицо, лицо изверга, и крикнул на него:

– Ходи ногами!

Приказчики были рады, что молодой хозяин женился и наконец приехал; они поглядывали на него с любопытством и приветливо, и каждый, проходя мимо, считал долгом сказать ему почтительно что-нибудь приятное. Но Лаптев был убежден, что всё это неискренно и что ему льстят потому, что боятся его. Он никак не мог забыть, как лет пятнадцать назад один приказчик, заболевший психически, выбежал на улицу в одном нижнем белье, босой и, грозя на хозяйские окна кулаком, кричал, что его замучили; и над беднягой, когда он потом выздоровел, долго смеялись и припоминали ему, как он кричал на хозяев: «плантаторы!» – вместо «эксплоататоры». Вообще служащим жилось у Лаптевых очень плохо, и об этом давно

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru уже говорили все ряды. Хуже всего было то, что по отношению к ним старик Федор Степанч держался какой-то азиатской политики. Так, никому не было известно, сколько жалованья получали его любимцы Початкин и Макеичев; получали они по три тысячи в год вместе с наградными, не больше, он же делал вид, что платит им по семи; наградные выдавались каждый год всем приказчикам, но тайно, так что получивший мало должен был из самолюбия говорить, что получил много; ни один мальчик не знал, когда его произведут в приказчики; ни один служащий не знал, доволен им хозяин или нет. Ничто не запрещалось приказчикам прямо, и потому они не знали, что дозволяется и что – нет. Им не запрещалось жениться, но они не женились, боясь не угодить своею женитьбой хозяину и потерять место. Им позволялось иметь знакомых и бывать в гостях, но в девять часов вечера уже запирались ворота и каждое утро хозяин подозрительно оглядывал всех служащих и испытывал, не пахнет ли от кого водкой: «А ну-ка дыхни!»

Каждый праздник служащие обязаны были ходить к ранней обедне и становиться в церкви так, чтобы их всех видел хозяин. Посты строго соблюдались. В торжественные дни, например, в именины хозяина или членов его семьи, приказчики должны были по подписке подносить сладкий пирог от флея или альбом. Жили они в нижнем этаже дома на Пятницкой и во флигеле, помещаясь по трое и четверо в одной комнате, и за обедом ели из общей миски, хотя перед каждым из них стояла тарелка. Если кто из хозяев входил к ним во время обеда, то все они вставали.

Лаптев сознавал, что из них разве одни только испорченные стариковским воспитанием серьезно могли считать его благодетелем, остальные же видели в нем врага и «плантатора». Теперь после полугодового отсутствия он не видел перемен к лучшему; и было даже еще что-то новое, не предвещавшее ничего хорошего. Брат Федор, бывший раньше тихим, вдумчивым и чрезвычайно деликатным, теперь, с видом очень занятого и делового человека, с карандашом за ухом, бегал по амбару, похлопывал покупателей по плечу и кричал на приказчиков: «Друзья!» По-видимому, он играл какую-то роль, и в этой новой роли Алексей не узнавал его.

Голос старика гудел непрерывно. От нечего делать старик наставлял покупателя, как надо жить и как вести свои дела, и при этом всё ставил в пример самого себя. Это хвастовство, этот авторитетный подавляющий тон Лаптев слышал и 10, и 15, и 20 лет назад. Старик обожал себя; из его слов всегда выходило так, что свою покойную жену и ее родню он осчастливил, детей наградил, приказчиков и служащих облагодетельствовал и всю улицу и всех знакомых заставил за себя вечно бога молить; что он ни делал, всё это было очень хорошо, а если у людей плохо идут дела, то потому только, что они не хотят посоветоваться с ним; без его совета не может удалиться никакое дело. В церкви он всегда становился впереди всех и даже делал замечания священникам, когда они, по его мнению, не так служили, и думал, что это угодно богу, так как бог его любит.

К двум часам в амбаре все уже были заняты делом, кроме старика, который продолжал гудеть. Лаптев, чтобы не стоять без дела, принял у одной мастерицы аграмант и отпустил ее, потом выслушал покупателя, вологодского купца, и приказал приказчику заняться.

– Твердо, веди, аз! – слышалось со всех сторон (буквами в амбаре означались цены и номера товаров). – Рцы, иже, твердо!

Уходя, Лаптев простился с одним только Федором.

– Я завтра приеду с женой на Пятницкую, – сказал он, – но, предупреждаю, если отец скажет ей хоть одно грубое слово, то я минуты там не останусь.

– А ты всё такой же, – вздохнул Федор. – Женился, не переменялся. Надо, брат, снисходить к старику. Итак, значит, завтра часам к одиннадцати. Будем с нетерпением ждать. Так приезжай прямо с обедни.

– Я в обедне не бываю.

– Ну, это всё равно. Главное, чтобы не позже одиннадцати, чтоб успеть и богу помолиться, и позавтракать вместе. Кланяйся сестреночке и поцелуй ручку. У меня предчувствие, что я ее полюблю, – добавил Федор вполне искренно. – Завидую, брат! – крикнул он, когда уже Алексей спустился вниз.

«И почему это он всё жметя как-то застенчиво, будто кажется ему, что он голый?»

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru – думал Лаптев, идя по Никольской и стараясь понять перемену, какая произошла в Федоре. – И язык какой-то новый у него: брат, милый брат, бог милости прислал, богу помолимся, – точно щедринский Иудушка».

VI

На другой день, в воскресенье, в 11 часов, он уже ехал с женой по Пятницкой, в легкой коляске, на одной лошади. Он боялся со стороны Федора Степаныча какой-нибудь выходки, и уже заранее ему было неприятно. После двух ночей, проведенных в доме мужа, Юлия Сергеевна уже считала свое замужество ошибкой, несчастием, и если бы ей пришлось жить с мужем не в Москве, а где-нибудь в другом городе, то, казалось ей, она не перенесла бы этого ужаса. Москва же развлекала ее, улицы, дома и церкви нравились ей очень, и если бы можно было ездить по Москве в этих прекрасных санях, на дорогих лошадях, ездить целый день, от утра до вечера, и при очень быстрой езде дышать прохладным осенним воздухом, то, пожалуй, она не чувствовала бы себя такой несчастной.

Около белого, недавно оштукатуренного двухэтажного дома кучер сдержал лошадь и стал поворачивать вправо. Тут уже ждали. Около ворот стояли дворник в новом кафтане, в высоких сапогах и калошах, и двое городских; все пространство с середины улицы до ворот и потом по двору до крыльца было посыпано свежим песком. Дворник снял шапку, городские сделали под козырек. Около крыльца встретил Федор с очень серьезным лицом.

– Очень рад познакомиться, сестреночка, – сказал он, целуя Юлии руку. – Добро пожаловать.

Он повел ее под руку вверх по лестнице, потом по коридору сквозь толпу каких-то мужчин и женщин. В передней тоже было тесно, пахло ладаном.

– Я представлю вас сейчас нашему батюшке, – прошептал Федор среди гробовой торжественной тишины. – Почтенный старичок, *pater familias*. [1]

В большой зале около стола, приготовленного для молебна, стояли, очевидно в ожидании, Федор Степаныч, священник в камлавке и дьякон. Старик подал Юлии руку и не сказал ни слова. Все молчали. Юлия сконфузилась.

Священник и дьякон начали облачаться. Принесли кадило, из которого сыпались искры и шел запах ладана и угля. Зажгли свечи. Приказчики вошли в залу на цыпочках и стали у стены в два ряда. Было тихо, даже никто не кашлянул.

– Благослови, владыко, – начал дьякон.

Молебен служили торжественно, ничего не пропуская, и читали два акафиста: Иисусу сладчайшему и пресвятой богородице. Певчие пели только нотное, [2] очень долго. Лаптев заметил, как давеча сконфузилась его жена; пока читались акафисты и певчие на разные лады выводили тройное «господи помилуй», он с душевным напряжением ожидал, что вот-вот старик оглянется и сделает какое-нибудь замечание, вроде «вы не умеете креститься»; и ему было досадно: к чему эта толпа, к чему вся эта церемония с попами и певчими. Это было слишком по-купечески. Но когда она вместе со стариком подставила голову под евангелие и потом несколько раз опускалась на колени, он понял, что ей все это нравится, и успокоился.

В конце молебна, во время многолетия, священник дал приложиться к кресту старику и Алексею, но когда подошла Юлия Сергеевна, он прикрыл крест рукой и сделал вид, что желает говорить. Замахали певчим, чтобы те замолчали.

– Пророк Самуил, [3] – начал священник, – пришел в Вифлеем по повелению господню, и тут городские старейшины вопрошали его с трепетом: «мир ли вход твой, о прозорливче?» И рече пророк: «мир, пожрети бо господу приидох, освятитесь и возвеселитесь днесь со мною». Станем ли и мы, раба божия Юлия, вопрошать тебя о мире твоего пришествия в дом сей?..

Юлия раскраснелась от волнения. Кончив, священник дал ей приложиться ко кресту и сказал уже совсем другим тоном:

– Теперь Федора Федорыча надо женить. Пора.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Опять запели певчие, народ задвигался и стало шумно. Растроганный старик, с глазами полными слез, три раза поцеловал Юлию, перекрестил ей лицо и сказал:

– Это ваш дом. Мне, старику, ничего не нужно.

Приказчики поздравляли и говорили что-то, но певчие пели так громко, что ничего нельзя было расслышать. Потом завтракали и пили шампанское. Она сидела рядом со стариком, и он говорил ей о том, что нехорошо жить врозь, надо жить вместе, в одном доме, а разделы и несогласия ведут к разорению.

– Я наживал, а дети только проживают, – говорил он. – Теперь вы живите со мной в одном доме и наживайте. Мне, старику, пора и отдохнуть.

Перед глазами у Юлии все время мелькал Федор, очень похожий на мужа, но более подвижной и более застенчивый; он суетился возле и часто целовал ей руку.

– Мы, сестреночка, люди простые, – говорил он, и при этом красные пятна выступали у него на лице. – Мы живем просто, по-русски, по-христиански, сестреночка.

Когда возвращались домой, Лаптев, очень довольный, что всё обошлось благополучно и сверх ожидания не произошло ничего особенного, говорил жене:

– Ты удивляешься, что у крупного, широкоплечего отца такие малорослые, слабогрудые дети, как я и Федор. Да, но это так понятно! Отец женился на моей матери, когда ему было 45 лет, а ей только 17. Она бледнела и дрожала в его присутствии. Нина родилась первая, родилась от сравнительно здоровой матери, и потому вышла крепче и лучше нас; я же и Федор были зачаты и рождены, когда мать была уже истощена постоянным страхом. Я помню, отец начал учить меня или, попросту говоря, бить, когда мне не было еще пяти лет. Он сек меня розгами, драл за уши, бил по голове, и я, просыпаясь, каждое утро думал прежде всего: будут ли сегодня драть меня? Играть и шалить мне и Федору запрещалось; мы должны были ходить к утрени и к ранней обедне, целовать попам и монахам руки, читать дома акафисты. Ты вот религиозна и всё это любишь, а я боюсь религии, и когда прохожу мимо церкви, то мне припоминается мое детство и становится жутко. Когда мне было восемь лет, меня уже взяли в амбар; я работал, как простой мальчик, и это было нездорово, потому что меня тут били почти каждый день. Потом, когда меня отдали в гимназию, я до обеда учился, а от обеда до вечера должен был сидеть всё в том же амбаре, и так до 22 лет, пока я не познакомился в университете с Ярцевым, который убедил меня уйти из отцовского дома. Этот Ярцев сделал мне много добра. Знаешь что, – сказал Лаптев и засмеялся от удовольствия, – давай поедem сейчас с визитом к Ярцеву. Это благороднейший человек! Как он будет тронут!

VII

В одну из ноябрьских суббот в симфоническом дирижировал Антон Рубинштейн. Было очень тесно и жарко. Лаптев стоял за колоннами, а его жена и Костя Кочевой сидели далеко впереди, в третьем или четвертом ряду. В самом начале антракта мимо него совершенно неожиданно прошла «особа», Полина Николаевна Рассудина. После свадьбы он часто с тревогой помышлял о возможной встрече с ней. Когда она теперь взглянула на него открыто и прямо, он вспомнил, что до сих пор еще не собрался объяснить с ней или написать по-дружески хотя две-три строчки, точно прятался от нее; ему стало стыдно, и он покраснел. Она крепко и порывисто пожалала ему руку и спросила:

– Вы Ярцева видели?

И не дожидаясь ответа, пошла дальше стремительно, широко шагая, будто кто толкал ее сзади.

Она была очень худа и некрасива, с длинным носом, и лицо у нее всегда было утомленное, замученное, и казалось, что ей стоило больших усилий, чтобы держать глаза открытыми и не упасть. У нее были прекрасные темные глаза и умное, доброе, искреннее выражение, но движения угловатые, резкие. Говорить с ней было не легко, так как она не умела слушать и говорить покойно. Любить же ее было тяжело. Бывало, оставаясь с Лаптевым, она долго хохотала, закрыв лицо руками, и уверяла, что любовь для нее не составляет главного в жизни, жеманилась, как семнадцатилетняя девушка, и, прежде чем поцеловаться с ней, нужно было тушить все свечи. Ей было уже 30 лет. Она была замужем за педагогом, но давно уже не

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
жила с мужем. Средства к жизни добывала уроками музыки и участием в квартетах.

Во время девятой симфонии она опять прошла мимо, как бы нечаянно, но толпа мужчин, стоявшая густою стеной за колоннами, не пустила ее дальше, и она остановилась. Лаптев увидел на ней ту же самую бархатную кофточку, в которой она ходила на концерты в прошлом и третьем году. Перчатки у нее были новые, веер тоже новый, но дешевый. Она любила наряжаться, но не умела и жалела на это деньги, и одевалась дурно и неряшливо, так что на улице обыкновенно, когда она, торопливо и широко шагая, шла на урок, ее легко можно было принять за молодого послушника.

Публика аплодировала и кричала bis.

– Вы проведете сегодня вечер со мной, – сказала Полина Николаевна, подходя к Лаптеву и глядя на него сурово. – Мы отсюда поедем вместе чай пить. Слышите? Я этого требую. Вы мне многим обязаны и не имеете нравственного права отказать мне в этом пустяке.

– Хорошо, поедемте, – согласился Лаптев. После симфонии начались нескончаемые вызовы.

Публика вставала с мест и выходила чрезвычайно медленно, а Лаптев не мог уехать, не сказавшись жене. Надо было стоять у двери и ждать.

– Мучительно хочу чаю, – пожаловалась Рассудина. – Душа горит.

– Здесь можно напиться, – сказал Лаптев. – Пойдемте в буфет.

– Ну, у меня нет денег, чтобы бросать буфетчику. Я не купчишка.

Он предложил ей руку, она отказалась, проговорив длинную, утомительную фразу, которую он слышал от нее уже много раз, именно, что она не причисляет себя к слабому прекрасному полу и не нуждается в услугах господ мужчин.

Разговаривая с ним, она оглядывала публику и часто здоровалась со знакомыми; это были ее товарки по курсам Герье и по консерватории, и ученики, и ученицы. Она пожимала им руки крепко и порывисто, будто дергала. Но вот она стала поводить плечами, как в лихорадке, и дрожать и наконец проговорила тихо, глядя на Лаптева с ужасом:

– На ком вы женились? Где у вас были глаза, сумасшедший вы человек? Что вы нашли в этой глупой, ничтожной девчонке? Ведь я вас любила за ум, за душу, а этой фарфоровой кукле нужны только ваши деньги!

– Оставим это, Полина, – сказал он умоляющим голосом. – Всё, что вы можете сказать мне по поводу моей женитьбы, я сам уже говорил себе много раз... Не причиняйте мне лишней боли.

Показалась Юлия Сергеевна в черном платье и с большою бриллиантовою брошью, которую прислал ей свекор после молебна; за нею шла ее свита: кочевой, два знакомых доктора, офицер и полный молодой человек в студенческой форме, по фамилии Киш.

– Поезжай с Костей, – сказал Лаптев жене. – Я приеду после.

Юлия кивнула головой и прошла дальше. Полина Николаевна проводила ее взглядом, дрожа всем телом и нервно пожимаясь, и этот взгляд ее был полон отвращения, ненависти и боли.

Лаптев боялся ехать к ней, предчувствуя неприятное объяснение, резкости и слезы, и предложил отправиться пить чай в какой-нибудь ресторан. Но она сказала:

– Нет, нет, поедемте ко мне. Не смейте говорить мне о ресторанах.

Она не любила бывать в ресторанах, потому что ресторанный воздух казался ей отравленным табаком и дыханием мужчин. Ко всем незнакомым мужчинам она относилась с странным предубеждением, считала их всех развратниками, способными броситься на нее каждую минуту. Кроме того, ее раздражала до головной боли

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
трактирная музыка.

Выйдя из Благородного Собранин, наняли извозчика на Остоженку, в Савеловский переулок, где жила Рассудина. Лаптев всю дорогу думал о ней. В самом деле, он был ей многим обязан. Познакомился он с нею у своего друга Ярцева, которому она преподавала теорию музыки. Она полюбила его сильно, совершенно бескорыстно и, сойдясь с ним, продолжала ходить на уроки и трудиться по-прежнему до изнеможения. Благодаря ей он стал понимать и любить музыку, к которой раньше был почти равнодушен.

– Полцарства за стакан чаю! – проговорила она глухим голосом, закрывая рот муфтой, чтобы не простудиться. – Я была на пяти уроках, чтоб их черт взял! Ученики такие тупицы, такие толкачи, я чуть не умерла от злости. И не знаю, когда кончится эта каторга. Замучилась. Как только скоплю триста рублей, брошу всё и поеду в Крым. Лягу на берегу и буду глотать кислород. Как я люблю море, ах, как я люблю море!

– Никуда вы не поедете, – сказал Лаптев. – Во-первых, вы ничего не скопите, и, во-вторых, вы скупы. Простите, я опять повторю: неужели собрать эти триста рублей по грошам у праздных людей, которые учатся у вас музыке от нечего делать, менее унижительно, чем взять их займы у ваших друзей?

– У меня нет друзей! – сказала она раздраженно. – И прошу вас не говорить глупостей. У рабочего класса, к которому я принадлежу, есть одна привилегия: сознание своей неподкупности, право не одолжаться у купчишек и презирать. Нет-с, меня не купите! Я не Юличка!

Лаптев не стал платить извозчику, зная, что это вызовет целый поток слов, много раз уже слышанных раньше. Заплатила она сама.

Она нанимала маленькую комнату с мебелью и со столом в квартире одинокой дамы. Ее большой беккеровский рояль стоял пока у Ярцева, на Большой Никитской, и она каждый день ходила туда играть. В ее комнате были кресла в чехлах, кровать с белым летним одеялом и хозяйские цветы, на стенах висели олеографии, и не было ничего, что напоминало бы о том, что здесь живет женщина и бывшая курсистка. Не было ни туалета, ни книг, ни даже письменного стола. Видно было, что она ложилась спать, как только приходила домой, и, вставая утром, тотчас же уходила из дому.

Кухарка принесла самовар. Полина Николаевна заварила чай и, всё еще дрожа, – в комнате было холодно, – стала бранить певцов, которые пели в девятой симфонии. У нее закрывались глаза от утомления. Она выпила один стакан, потом другой, потом третий.

– Итак, вы женаты, – сказала она. – Но не беспокойтесь, я киснуть не буду, я сумею вырвать вас из своего сердца. Досадно только и горько, что вы такая же дрянь, как все, что вам в женщине нужны не ум, не интеллект, а тело, красота, молодость... Молодость! – проговорила она в нос, как будто передразнивая кого-то, и засмеялась. – Молодость! Вам нужна чистота, Reinheit! Reinheit![4] – захохотала она, откидываясь на спинку кресла, – Reinheit!

Когда она кончила хохотать, глаза у нее были заплаканные.

– Вы счастливы, по крайней мере? – спросила она.

– Нет.

– Она вас любит?

– Нет.

Лаптев, взволнованный, чувствуя себя несчастным, встал и начал ходить по комнате.

– Нет, – повторил он. – Я, Полина, если хотите знать, очень несчастлив. Что делать? Сделал глупость, теперь уже не поправишь. Надо философски относиться. Она вышла без любви, глупо, быть может, и по расчету, но не рассуждая, и теперь, очевидно, сознает свою ошибку и страдает. Я вижу. Ночью мы спим, но днем она

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
боится остаться со мной наедине хотя бы пять минут и ищет развлечений, общества.
Ей со мной стыдно и страшно.

– А деньги все-таки берет у вас?

– Глупо, Полина! – крикнул Лаптев. – Она берет у меня деньги потому, что для нее решительно всё равно, есть они у нее или нет. Она честный, чистый человек. Вышла она за меня просто потому, что ей хотелось уйти от отца, вот и всё.

– А вы уверены, что она вышла бы за вас, если бы вы не были богаты? – спросила Рассудина.

– Ни в чем я не уверен, – сказал с тоской Лаптев. – Ни в чем. Я ничего не понимаю. Ради бога, Полина, не будем говорить об этом.

– Вы ее любите?

– Безумно.

Затем наступило молчание. Она пила четвертый стакан, а он ходил и думал о том, что жена теперь, вероятно, в докторском клубе, ужинает.

– Но разве можно любить, не зная, за что? – спросила Рассудина и пожала плечами.
– Нет, в вас говорит животная страсть! Вы опьянены! Вы отравлены этим красивым телом, этой Reinheit! Уйдите от меня, вы грязны! Ступайте к ней!

Она махнула ему рукой, потом взяла его шапку и швырнула в него. Он молча надел шубу и вышел, но она побежала в сени и судорожно вцепилась ему в руку около плеча и зарыдала.

– Перестаньте, Полина! Полно! – говорил он и никак не мог разжать ее пальцев. – Успокойтесь, прошу вас!

Она закрыла глаза и побледнела, и длинный нос ее стал неприятного воскового цвета, как у мертвой, и Лаптев всё еще не мог разжать ее пальцев. Она была в обмороке. Он осторожно поднял ее и положил на постель и просидел возле нее минут десять, пока она очнулась. Руки у нее были холодные, пульс слабый, с перебоями.

– Уходите домой, – сказала она, открывая глаза. – Уходите, а то я опять зареву. Надо взять себя в руки.

Выйдя от нее, он отправился не в докторский клуб, где ожидала его компания, а домой. Всю дорогу он спрашивал себя с упреком: почему он устроил себе семью не с этой женщиной, которая его так любит и была уже на самом деле его женой и подругой? Это был единственный человек, который был к нему привязан, и разве, кроме того, не было бы благодарною, достойною задачей дать счастье, приют и покой этому умному, гордому и замученному трудом существу? К лицу ли ему, спрашивал он себя, эти претензии на красоту, молодость, на то самое счастье, которого не может быть и которое, точно в наказание или насмешку, вот уже три месяца держит его в мрачном, угнетенном состоянии? Медовый месяц давно прошел, а он, смешно сказать, еще не знает, что за человек его жена. Своим институтским подругам и отцу она пишет длинные письма на пяти листах, и находит же, о чем писать, а с ним говорит только о погоде и о том, что пора обедать или ужинать. Когда она перед сном долго молится богу и потом целует свои крестики и образки, он, глядя на нее, думает с ненавистью: «Вот она молится, но о чем молится? О чем?» Он в мыслях оскорблял ее и себя, говоря, что, ложась с ней спать и принимая ее в свои объятия, он берет то, за что платит, но это выходило ужасно; будь это здоровая, смелая, грешная женщина, но ведь тут молодость, религиозность, кротость, невинные, чистые глаза... Когда она была его невестой, ее религиозность трогала его, теперь же эта условная определенность взглядов и убеждений представлялась ему заставой, из-за которой не видно было настоящей правды. В его семейной жизни уже всё было мучительно. Когда жена, сидя с ним рядом в театре, вздыхала или искренно хохотала, ему было горько, что она наслаждается одна и не хочет поделиться с ним своим восторгом. И замечательно, она подружилась со всеми его приятелями, и все они уже знали, что она за человек, а он ничего не знал, а только хандрил и молча ревновал.

Придя домой, Лаптев надел халат и туфли и сел у себя в кабинете читать роман.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Жены дома не было. Но прошло не больше получаса, как в передней позвонили и глухо раздались шаги Петра, побеговшего отворять. Это была Юлия. Она вошла в кабинет в шубке, с красными от мороза щеками.

– На Пресне большой пожар, – проговорила она, запыхавшись. – Громадное зарево. Я поеду туда с Константином Ивановичем.

– С богом!

Вид здоровья, свежести и детского страха в глазах успокоил Лаптева. Он почитал еще с полчаса и пошел спать.

На другой день Полина Николаевна прислала ему в амбар две книги, которые когда-то брала у него, все его письма и его фотографии; при этом была записка, состоявшая только из одного слова: «Баста!»

VIII

Уже в конце октября у Нины Федоровны ясно определился рецидив. Она быстро худела и изменялась в лице. Несмотря на сильные боли, она воображала, что уже выздоравливает, и каждое утро одевалась, как здоровая, и потом целый день лежала в постели одетая. И под конец она стала очень разговорчива. Лежит на спине и рассказывает что-нибудь тихо, через силу, тяжело дыша. Умерла она внезапно и при следующих обстоятельствах.

Был лунный, ясный вечер, на улице катались по свежему снегу и в комнату с улицы доносился шум. Нина Федоровна лежала в постели на спине, а Саша, которую уже некому было сменить, сидела возле и дремала.

– Отчества его не помню, – рассказывала Нина Федоровна тихо, – а звали его Иван, по фамилии Кочевой, бедный чиновник. Пьяница был горький, царство небесное. Ходил он к нам, и каждый месяц мы выдавали ему по фунту сахара и по осьмьюшке чаю. Ну, случилось и деньгами, конечно. Да... Затем такое происшествие: запил шибко наш Кочевой и помер, от водки сгорел. Остался после него сынишка, мальчончек лет семи. Сироточка... Взяли мы его и спрятали у приказчиков, и жил он так цельный год, и папаша не знал. А как увидел папаша, только рукой махнул и ничего не сказал. Когда Косте, сиротке-то, пошел девятый годок, – а я в ту пору уже невестой была, – повезла я его по всем гимназиям. Туда-сюда, нигде не принимают. А он плачет... «Что же ты, – говорю, – дурачок, плачешь?» Повезла я его на Разгуляй во вторую гимназию и там, дай бог здоровья, приняли... И стал мальчишечка ходить каждый день пешком с Пятницкой на Разгуляй, да с Разгуляя на Пятницкую... Алеша за него платил... Милости господни, стал мальчик хорошо учиться, вникать и вышел из него толк... Адвокатом теперь в Москве, Алешин друг, такой же высокой науки. Вот не пренебрегли человеком, приняли его в дом, и теперь он за нас, небось, бога молит... Да...

Нина Федоровна стала говорить всё тише, с долгими паузами, потом, помолчав немного, вдруг поднялась и села.

– А мне не того... нехорошо как будто, – сказала она. – Господи помилуй. Ой, дышать не могу!

Саша знала, что мать должна скоро умереть; увидев теперь, как вдруг осунулось ее лицо, она угадала, что это конец, и испугалась.

– Мамочка, это не надо! – зарыдала она. – Это не надо!

– Сбегай в кухню, пусть за отцом сходят. Мне очень даже нехорошо.

Саша бегала по всем комнатам и звала, но во всем доме не было никого из прислуги, и только в столовой на сундуке спала Лида в одежде и без подушки. Саша, как была, без калош выбежала на двор, потом на улицу. За воротами на лавочке сидела няня и смотрела на катанье. С реки, где был каток, доносились звуки военной музыки.

– Няня, мама умирает! – сказала Саша, рыдая. – Надо сходить за папой!..

Няня пошла вверх в спальню и, взглянув на больную, сунула ей в руки зажженную восковую свечу. Саша в ужасе суетилась и умоляла, сама не зная кого, сходить за

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
папой, потом надела пальто и платок и выбежала на улицу. От прислуги она знала, что у отца есть еще другая жена и две девочки, с которыми он живет на Базарной. Она побежала влево от ворот, плача и боясь чужих людей, и скоро стала грузнуть в снегу и зябнуть.

Встретился ей извозчик порожнем, но она не наняла его: пожалуй, завезет ее за город, ограбит и бросит на кладбище (за чаем рассказывала прислуга: был такой случай). Она всё шла и шла, задыхаясь от утомления и рыдая. Выйдя на Базарную, она спросила, где здесь живет господин Панауров. Какая-то незнакомая женщина долго объясняла ей и, видя, что она ничего не понимает, привела ее за руку к одноэтажному дому с подъездом. Дверь была не заперта. Саша пробежала через сени, потом коридор и наконец очутилась в светлой, теплой комнате, где за самоваром сидел отец и с ним дама и две девочки. Но уж она не могла выговорить ни одного слова и только рыдала. Панауров понял.

– Вероятно, маме нехорошо? – спросил он. – Скажи, девочка: маме нехорошо?

Он встревожился и послал за извозчиком.

Когда приехали домой, Нина Федоровна сидела обложенная подушками, со свечой в руке. Лицо потемнело, и глаза были уже закрыты. В спальне стояли, столпившись у двери, няня, кухарка, горничная, мужик Прокофий и еще какие-то незнакомые простые люди. Няня что-то приказывала шепотом, и ее не понимали. В глубине комнаты у окна стояла Лида, бледная, заспанная, и сурово глядела оттуда на мать.

Панауров взял у Нины Федоровны из рук свечу и, брезгливо морщась, швырнул на комод.

– Это ужасно! – проговорил он, и плечи у него вздрогнули. – Нина, тебе лечь нужно, – сказал он ласково. – Ложись, милая.

Она взглянула и не узнала его.. Ее положили на спину.

Когда пришли священник и доктор Сергей Борисыч, прислуга уже набожно крестилась и поминала ее.

– Вот она какова история! – сказал доктор в раздумье, выходя в гостиную. – А ведь еще молода, ей и сорока не было.

Слышались громкие рыдания девочек. Панауров, бледный, с влажными глазами, подошел к доктору и сказал слабым, томным голосом:

– Дорогой мой, окажите услугу, пошлите в Москву телеграмму. Я решительно не в силах.

Доктор добыл чернил и написал дочери такую телеграмму: «Панаурова скончалась восемь вечера. Скажи мужу: на Дворянской продается дом переводом долга, доплатить девять. Торги двенадцатого. Советую не упустить».

IX

Лаптев жил в одном из переулков Малой Дмитровки, недалеко от Старого Пимена. Кроме большого дома на улице, он нанимал также еще двухэтажный флигель во дворе для своего друга Кочевого, помощника присяжного поверенного, которого все Лаптевы звали просто Костей, так как он вырос на их глазах. Против этого флигеля стоял другой, тоже двухэтажный, в котором жило какое-то французское семейство, состоявшее из мужа, жены и пяти дочерей.

Был мороз градусов в двадцать. Окна заиндевели. Проснувшись утром, Костя с озабоченным лицом принял пятнадцать капель какого-то лекарства, потом, доставши из книжного шкапа две гири, занялся гимнастикой. Он был высок, очень худ, с большими рыжеватыми усами; но самое заметное в его наружности – это были его необыкновенно длинные ноги.

Петр, мужик средних лет, в пиджаке и в ситцевых брюках, засунутых в высокие сапоги, принес самовар и заварил чай.

– Очень нынче хорошая погода, Константин Иваныч, – сказал он.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Да, хорошая, только вот, брат, жаль, живется нам с тобой не ахти как.

Петр вздохнул из вежливости.

– Что девочки? – спросил Кочевой.

– Батюшка не пришли, Алексей Федорыч сами с ними занимаются.

Костя нашел на окне необледеное местечко и стал смотреть в бинокль, направляя его на окна, где жило французское семейство.

– Не видать, – сказал он.

В это время внизу Алексей Федорыч занимался по закону божию с Сашей и Лидой. Вот уже полтора месяца, как они жили в Москве, в нижнем этаже флигеля, вместе со своею гувернанткой, и к ним приходили три раза в неделю учитель городского училища и священник. Саша проходила Новый завет, а Лида недавно начала Ветхий. В последний раз Лиде было задано повторить до Авраама.

– Итак, у Адама и Евы было два сына, – сказал Лаптев. – Прекрасно. Но как их звали? Припомни-ка!

Лида, по-прежнему суровая, молчала, глядя на стол, и только шевелила губами; а старшая, Саша, смотрела ей в лицо и мучилась.

– Ты прекрасно знаешь, не нужно только волноваться, – сказал Лаптев. – Ну, как же звать сыновей Адама?

– Авель и Кавель, – прошептала Лида.

– Каин и Авель, – поправил Лаптев.

По щеке у Лиды поползла крупная слеза и капнула на книжку. Саша тоже опустила глаза и покраснела, готовая заплакать. Лаптев от жалости не мог уже говорить, слезы подступили у него к горлу; он встал из-за стола и закурил папироску. В это время сошел сверху Кочевой с газетой в руках. Девочки поднялись и, не глядя на него, сделали реверанс.

– Бога ради, Костя, займитесь вы с ними, – обратился к нему Лаптев. – Я боюсь, что сам заплачу, и мне нужно до обеда в амбар съездить.

– Ладно.

Алексей Федорыч ушел. Костя с очень серьезным лицом, нахмурясь, сел за стол и потянул к себе священную историю.

– Ну-с? – спросил он. – О чем вы тут?

– Она знает о потопе, – сказала Саша.

– О потопе? Ладно, будем жарить о потопе. Валяй о потопе. – Костя пробежал в книжке краткое описание потопа и сказал: – Должен я вам заметить, такого потопа, как здесь описано, на самом деле не было. И никакого Ноя не было. За несколько тысяч лет до Рождества Христова было на земле необыкновенное наводнение, и об этом упоминается не в одной еврейской библии, но также в книгах других древних народов, как-то: греков, халдеев, индусов. Но какое бы ни было наводнение, оно не могло затопить всей земли. Ну, равнины залило, а горы-то, небось, остались. Вы эту книжку читать-то читайте, да не особенно верьте.

У Лиды опять потекли слезы, она отвернулась и вдруг зарыдала так громко, что Костя вздрогнул и поднялся с места в сильном смущении.

– Я хочу домой, – проговорила она. – К папе и к няне.

Саша тоже заплакала. Костя ушел к себе наверх и сказал в телефон Юлии Сергеевне:

– Голубушка, девочки опять плачут. Нет никакой возможности.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Юлия Сергеевна прибежала из большого дома в одном платье и вязаном платке, прохваченная морозом, и начала утешать девочек.

– Верьте мне, верьте, – говорила она умоляющим голосом, прижимая к себе то одну, то другую, – ваш папа приедет сегодня, он прислал телеграмму. Жаль мамы, и мне жаль, сердце разрывается, но что же делать? Ведь не пойдешь против бога!

Когда они перестали плакать, она укутала их и повезла кататься. Сначала проехали по Малой Дмитровке, потом мимо Страстного на Тверскую; около Иверской остановились, поставили по свече и помолились, стоя на коленях. На обратном пути заехали к Филиппову и взяли постных баранок с маком.

Обедали Лаптевы в третьем часу. Кушанья подавал Петр. Этот Петр днем бегал то в почтаamt, то в амбар, то в окружной суд для Кости, прислуживал; по вечерам он набивал папиросы, ночью бегал отворять дверь и в пятом часу утра уже топил печи, и никто не знал, когда он спит. Он очень любил откупоривать сельтерскую воду и делал это легко, бесшумно, не пролив ни одной капли.

– Дай бог! – сказал Костя, выпивая перед супом рюмку водки.

В первое время Костя не нравился Юлии Сергеевне; его бас, его словечки вроде выставил, заехал в харю, мразь, изобрази самоварчик, его привычка чокаться и причитывать за рюмкой казались ей тривиальными. Но, узнавши его покорооче, она стала чувствовать себя в его присутствии очень легко. Он был с нею откровенен, любил по вечерам поговорить с нею вполголоса о чем-нибудь и даже давал ей читать романы своего сочинения, которые до сих пор составляли тайну даже для таких его друзей, как Лаптев и Ярцев. Она читала эти романы и, чтобы не огорчить его, хвалила, и он был рад, так как надеялся стать рано или поздно известным писателем. В своих романах он описывал только деревню и помещичьи усадьбы, хотя деревню видел очень редко, только когда бывал у знакомых на даче, а в помещичьей усадьбе был раз в жизни, когда ездил в Волоколамск по судебному делу. Любовного элемента он избегал, будто стыдился, природу описывал часто и при этом любил употреблять такие выражения, как прихотливые очертания гор, причудливые формы облаков или аккорд таинственных созвучий... Романов его нигде не печатали, и это объяснял он цензурными условиями.

Адвокатская деятельность нравилась ему, но всё же главным своим занятием считал он не адвокатуру, а эти романы. Ему казалось, что у него тонкая, артистическая организация, и его всегда тянуло к искусству. Сам он не пел и не играл ни на каком инструменте и совершенно был лишен музыкального слуха, но посещал все симфонические и филармонические собрания, устраивал концерты с благотворительною целью, знакомился с певцами...

Во время обеда разговаривали.

– Удивительное дело, – сказал Лаптев, – опять меня поставил в тупик мой Федор! Надо, говорит, узнать, когда исполнится столетие нашей фирмы, чтобы хлопотать о дворянстве, и говорит это самым серьезным образом. Что с ним поделалось? Откровенно говоря, я начинаю беспокоиться.

Говорили о Федоре, о том, что теперь мода напускать на себя что-нибудь. Например, Федор старается казаться простым купцом, хотя он уже не купец, и когда приходит к нему за жалованьем учитель из школы, где старик Лаптев попечителем, то он даже меняет голос и походку и держится с учителем, как начальник.

После обеда нечего было делать, пошли в кабинет. Говорили о декадентах, об «Орлеанской девице», и Костя прочел целый монолог; ему казалось, что он очень удачно подражает Ермоловой. Потом сели играть в винт. Девочки не уходили к себе во флигель, а бледные, печальные сидели, обе в одном кресле, и прислушивались к шуму на улице: не отец ли едет? По вечерам, в темноте и при свечах, они испытывали тоску. Разговор за винтом, шаги Петра, треск в камине раздражали их, и не хотелось смотреть на огонь; по вечерам и плакать уже не хотелось, но было жутко и давило под сердцем. И было непонятно, как это можно говорить о чем-нибудь и смеяться, когда умерла мама.

– Что вы сегодня видели в бинокль? – спросила Юлия Сергеевна у Кости.

– Сегодня ничего, а вчера сам старик француз ванну принимал.

В семь часов Юлия Сергеевна и Костя уехали в Малый театр. Лаптев остался с девочками.

– А пора бы уже вашему папе приехать, – говорил он, посматривая на часы. – Должно быть, поезд опоздал.

Девочки сидели в кресле, молча, прижавшись друг к другу, как зверки, которым холодно, а он всё ходил по комнатам и с нетерпением посматривал на часы. В доме было тихо. Но вот уже в конце девятого часа кто-то позвонил. Петр пошел отворять.

Услышав знакомый голос, девочки вскрикнули, зарыдали и бросились в переднюю. Панауров был в роскошной дохе, и борода и усы у него побелели от мороза.

– Сейчас, сейчас, – бормотал он, а Саша и Лида, рыдая и смеясь, целовали ему холодные руки, шапку, доху. Красивый, томный, избалованный любовью, он, не спеша, приласкал девочек, потом вошел в кабинет и сказал, потирая руки:

– А я к вам не надолго, друзья мои. Завтра уезжаю в Петербург. Мне обещают перевод в другой город.

Остановился он в «Дрездене».

Х

У Лаптевых часто бывал Ярцев, Иван Гаврилыч. Это был здоровый, крепкий человек, черноволосый, с умным, приятным лицом; его считали красивым, но в последнее время он стал полнеть, и это портило его лицо и фигуру; портило его и то, что он стриг волосы низко, почти догола. В университете когда-то, благодаря его хорошему росту и силе, студенты называли его вышибалой.

Он вместе с братьями Лаптевыми кончил на филологическом факультете, потом поступил на естественный и теперь был магистром химии. На кафедру он не рассчитывал и нигде не был даже лаборантом, а преподавал физику и естественную историю в реальном училище и в двух женских гимназиях. От своих учеников, а особенно учениц он был в восторге и говорил, что подрастает теперь замечательное поколение. Кроме химии, он занимался еще у себя дома социологией и русской историей и свои небольшие заметки иногда печатал в газетах и журналах, подписываясь буквой Я. Когда он говорил о чем-нибудь из ботаники или зоологии, то походил на историка, когда же решал какой-нибудь исторический вопрос, то походил на естественника.

Своим человеком у Лаптевых был также Киш, прозванный вечным студентом. Он три года был на медицинском факультете, потом перешел на математический и сидел здесь на каждом курсе по два года. Отец его, провинциальный аптекарь, присылал ему по сорока рублей в месяц, и еще мать, тайно от отца, по десяти, и этих денег ему хватало на прожитие и даже на такую роскошь, как шинель с польским бобром, перчатки, духи и фотография (он часто снимался и раздавал свои портреты знакомым). Чистенький, немножко плешивый, с золотистыми бачками около ушей, скромный, он всегда имел вид человека, готового услужить. Он всё хлопотал по чужим делам: то носился с подписным листом, то с раннего утра мерз около театральной кассы, чтобы купить для знакомой дамы билет, то по чьему-нибудь поручению шел заказывать венок или букет. Про него только и говорили: Киш сходит, Киш сделает, Киш купит. Поручения исполнял он большею частью дурно. На него сыпались попреки, часто забывали заплатить ему за покупки, но он всегда молчал и в затруднительных случаях только вздыхал. Он никогда особенно не радовался, не огорчался, рассказывал всегда длинно и скучно, и остроты его всякий раз вызвали смех потому только, что не были смешны. Так, однажды, с намерением пошутить, он сказал Петру: «Петр, ты не осетр», и это вызвало общий смех, и сам он долго смеялся, довольный, что так удачно сострил. Когда хоронили какого-нибудь профессора, то он шел впереди вместе с факельщиками.

Ярцев и Киш обыкновенно приходили вечером к чаю. Если хозяева не уезжали в театр или на концерт, то вечерний чай затягивался до ужина. В один из февральских вечеров в столовой происходил такой разговор:

– Художественное произведение тогда лишь значительно и полезно, когда оно в своей идее содержит какую-нибудь серьезную общественную задачу, – говорил Костя,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru сердито глядя на Ярцева. – Если в произведении протест против крепостного права или автор вооружается против высшего света с его пошлостями, то такое произведение значительно и полезно. Те же романы и повести, где ах да ох, да она его полюбила, а он ее разлюбил, – такие произведения, говорю я, ничтожны и черт их поberi.

– Я с вами согласна, Константин Иванович, – сказала Юлия Сергеевна. – Один описывает любовное свидание, другой – измену, третий – встречу после разлуки. Неужели нет других сюжетов? Ведь очень много людей, больных, несчастных, замученных нуждой, которым, должно быть, противно всё это читать.

Лаптеву было неприятно, что его жена, молодая женщина, которой нет еще и 22 лет, так серьезно и холодно рассуждает о любви. Он догадывался, почему это так.

– Если поэзия не решает вопросов, которые кажутся вам важными, – сказал Ярцев, – то обратитесь к сочинениям по технике, полицейскому и финансовому праву, читайте научные фельетоны. К чему это нужно, чтобы в «Ромео и Жульете», вместо любви, шла речь, положим, о свободе преподавания или о дезинфекции тюрем, если об этом вы найдете в специальных статьях и руководствах?

– Дядя, это крайности! – перебил Костя. – Мы говорим не о таких гигантах, как Шекспир или Гёте, мы говорим о сотне талантливых и посредственных писателей, которые принесли бы гораздо больше пользы, если бы оставили любовь и занялись проведением в массу знаний и гуманных идей.

Киш, картавя и немножко в нос, стал рассказывать содержание повести, которую он недавно прочел. Рассказывал он обстоятельно, не спеша; прошло три минуты, потом пять, десять, а он всё продолжал, и никто не мог понять, о чем это он рассказывает, и лицо его становилось всё более равнодушным и глаза потускнели.

– Киш, рассказывайте поскорее, – не выдержала Юлия Сергеевна, – а то ведь это мучительно!

– Перестаньте, Киш! – крикнул на него Костя.

Засмеялись все, и сам Киш.

Пришел Федор. С красными пятнами на лице, торопясь, он поздоровался и увел брата в кабинет. В последнее время он избегал многочленных собраний и предпочитал общество одного человека.

– Пускай молодежь там хохочет, а мы с тобой тут поговорим по душам, – сказал он, садясь в глубокое кресло, подальше от лампы. – Давненько, братуха, не видались. Сколько времени ты в амбаре не был? Пожалуй, с неделю.

– Да. Нечего мне у вас там делать. Да и старик надоел, признаться.

– Конечно, без нас с тобой могут обойтись в амбаре, но надо же иметь какое-нибудь занятие. В поте лица будешь есть свой хлеб, [5] как говорится. Бог труды любит.

Петр принес на подносе стакан чаю. Федор выпил без сахара и еще попросил. Он пил много чаю и в один вечер мог выпить стаканов десять.

– Знаешь что, брат? – сказал он, вставая и подходя к брату. – Не мудрствуя лукаво, баллотируйся – ка ты в гласные, а мы помаленьку да полегоньку проведем тебя в члены управы, а потом в товарищи головы. Дальше – больше, человек ты умный, образованный, тебя заметят и пригласят в Петербург – земские и городские деятели теперь там в моде, брат, и, гляди, пятидесяти лет тебе еще не будет, а ты уж тайный советник и лента через плечо.

Лаптев ничего не ответил; он понял, что всего этого – и тайного советника, и ленты – хочется самому Федору, и он не знал, что ответить.

Братья сидели и молчали. Федор открыл свои часы и долго, очень долго глядел в них с напряженным вниманием, как будто хотел подметить движение стрелки, и выражение его лица казалось Лаптеву странным.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Позвали ужинать. Лаптев пошел в столовую, а Федор остался в кабинете. Спора уже не было, а Ярцев говорил тоном профессора, читающего лекцию:

– Вследствие разности климатов, энергий, вкусов, возрастов, равенство среди людей физически невозможно. Но культурный человек может сделать это неравенство безвредным так же, как он уже сделал это с болотами и медведями. Достиг же один ученый того, что у него кошка, мышь, кобчик и воробей ели из одной тарелки, и воспитание, надо надеяться, будет делать то же самое с людьми. Жизнь идет всё вперед и вперед, культура делает громадные успехи на наших глазах, и, очевидно, настанет время, когда, например, нынешнее положение фабричных рабочих будет представляться таким же абсурдом, как нам теперь крепостное право, когда меняли девок на собак.

– Это будет не скоро, очень не скоро, – сказал Костя и усмехнулся, – очень не скоро, когда Ротшильду покажутся абсурдом его подвалы с золотом, а до тех пор рабочий пусть гнет спину и пухнет с голоду. Ну, нет-с, дядя. Не ждать нужно, а бороться. Если кошка ест с мышью из одной тарелки, то вы думаете, она проникнута сознанием? Как бы не так. Ее заставили силой.

– Я и Федор богаты, наш отец капиталист, миллионер, с нами нужно бороться! – проговорил Лаптев и потер ладонью лоб. – Бороться со мной – как это не укладывается в моем сознании! Я богат, но что мне дали до сих пор деньги, что дала мне эта сила? Чем я счастливее вас? Детство было у меня каторжное, и деньги не спасали меня от розог. Когда Нина болела и умирала, ей не помогли мои деньги. Когда меня не любят, то я не могу заставить полюбить себя, хотя бы потратил сто миллионов.

– Зато вы можете много добра сделать, – сказал Киш.

– Какое там добро! Вы вчера просили меня за какого-то математика, который ищет должности. Верьте, я могу сделать для него так же мало, как и вы. Я могу дать денег, но ведь это не то, что он хочет. Как-то у одного известного музыканта я просил места для бедняка-скрипача, а он ответил так: «Вы обратились именно ко мне потому, что вы не музыкант». Так и я вам отвечу: вы обращаетесь ко мне за помощью так уверенно потому, что сами ни разу еще не были в положении богатого человека.

– Для чего тут сравнение с известным музыкантом, не понимаю! – проговорила Юлия Сергеевна и покраснела. – Причем тут известный музыкант!

Лицо ее задрожало от ненависти, и она опустила глаза, чтобы скрыть это чувство. И выражение ее лица понял не один только муж, но и все, сидевшие за столом.

– Причем тут известный музыкант! – повторила она тихо. – Нет ничего легче, как помочь бедному человеку.

Наступило молчание. Петр подал рябчиков, но никто не стал есть их, и все ели один салат. Лаптев уже не помнил, что он сказал, но для него было ясно, что ненавистны были не слова его, а уж одно то, что он вмешался в разговор.

После ужина он пошел к себе в кабинет; напряженно, с биением сердца, ожидая еще новых унижений, он прислушивался к тому, что происходило в зале. Там опять начался спор; потом Ярцев сел за рояль и спел чувствительный романс. Это был мастер на все руки: он и пел, и играл, и даже умел показывать фокусы.

– Как вам угодно, господа, а я не желаю сидеть дома, – сказала Юлия. – Надо поехать куда-нибудь.

Решили ехать за город и послали Киша к купеческому клубу за тройкой. Лаптева не приглашали с собой, потому что обыкновенно он не ездил за город и потому что у него сидел теперь брат, но он понял это так, что его общество скучно для них, что он в этой веселой, молодой компании совсем лишний. И его досада, его горькое чувство были так сильны, что он едва не плакал; он даже был рад, что с ним поступают так нелюбезно, что им пренебрегают, что он глупый, скучный муж, золотой мешок, и ему казалось, что он был бы еще больше рад, если бы его жена изменила ему в эту ночь с лучшим другом и потом созналась бы в этом, глядя на него с ненавистью... Он ревновал ее к знакомым студентам, к актерам, певцам, к Ярцеву, даже к встречным, и теперь ему страстно хотелось, чтобы она в самом деле

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
была неверна ему, хотелось застать ее с кем-нибудь, потом отравиться, отделаться раз навсегда от этого кошмара. Федор пил чай и громко глотал. Но вот и он собрался уходить.

– А у нашего старичка, должно быть, темная вода, – сказал он, надевая шубу. – Совсем стал плохо видеть.

Лаптев тоже надел шубу и вышел. Проводив брата до Страстного, он взял извозчика и поехал к Яру.

«И это называется семейным счастьем! – смеялся он над собой. – Это любовь!»

У него стучали зубы, и он не знал, ревность это или что другое. У Яра он прошелся около столов, послушал в зале куплетиста; на случай встречи со своими у него не было ни одной готовой фразы, и он заранее был уверен, что при встрече с женой он только улыбнется жалко и не умно, и все поймут, какое чувство заставило его приехать сюда. От электрического света, громкой музыки, запаха пудры и от того, что встречные дамы смотрели на него, его мутило. Он останавливался у дверей, старался подсмотреть и подслушать, что делается в отдельных кабинетах, и ему казалось, что он играет заодно с куплетистом и этими дамами какую-то низкую, презренную роль. Затем он поехал в Стрельну, но и там не встретил никого из своих, и только когда, возвращаясь назад, опять подъезжал к Яру, его с шумом обогнала тройка; пьяный ямщик кричал, и слышно было, как хохотал Ярцев: «га-га-га!»

Вернулся Лаптев домой в четвертом часу. Юлия Сергеевна была уже в постели. Заметив, что она не спит, он подошел к ней и сказал резко:

– Я понимаю ваше отвращение, вашу ненависть, но вы могли бы пощадить меня при посторонних, могли бы скрыть свое чувство.

Она села на постели, спустив ноги. При свете лампадки глаза у нее казались большими, черными.

– Я прошу извинения, – проговорила она.

От волнения и дрожи во всем теле он уже не мог выговорить ни одного слова, а стоял перед ней и молчал. Она тоже дрожала и сидела с видом преступницы, ожидая объяснения.

– Как я страдаю! – сказал он наконец и взял себя за голову. – Я как в аду, я с ума сошел!

– А мне разве легко? – спросила она дрогнувшим голосом. – Один бог знает, каково мне.

– Ты моя жена уже полгода, но в твоей душе ни даже искры любви, нет никакой надежды, никакого просвета! Зачем ты вышла за меня? – продолжал Лаптев с отчаянием. – Зачем? Какой демон толкал тебя в мои объятия? На что ты надеялась? Чего ты хотела?

А она смотрела на него с ужасом, точно боясь, что он убьет ее.

– Я тебе нравился? Ты любила меня? – продолжал он, задыхаясь. – Нет! Так что же? Что? Говори: что? – крикнул он. – О, проклятые деньги! Проклятые деньги!

– Клянусь богом, нет! – вскрикнула она и перекрестилась; она вся сжалась от оскорбления, и он в первый раз услышал, как она плачет. – Клянусь богом, нет! – повторила она. – Я не думала о деньгах, они мне не нужны, мне просто казалось, что если я откажу тебе, то поступлю дурно. Я боялась испортить жизнь тебе и себе. И теперь страдаю за свою ошибку, невыносимо страдаю!

Она горько зарыдала, и он понял, как ей больно, и, не зная, что сказать, он опустил перед ней на ковер.

– Довольно, довольно, – бормотал он. – Оскорбил я тебя, потому что люблю безумно, – он вдруг поцеловал ее в ногу и страстно обнял. – Хоть искру любви! – бормотал он. – Ну, солги мне! Солги! Не говори, что это ошибка!..

Но она продолжала плакать, и он чувствовал, что его ласки она переносит только как неизбежное последствие своей ошибки. И ногу, которую он поцеловал, она поджала под себя, как птица. Ему стало жаль ее.

Она легла и укрылась с головой, он разделся и тоже лег. Утром оба они чувствовали смущение и не знали, о чем говорить, и ему даже казалось, что она нетвердо ступает на ту ногу, которую он поцеловал.

Перед обедом приезжал прощаться Панауров. Юлии неудержимо захотелось домой на родину; хорошо бы уехать, думала она, и отдохнуть от семейной жизни, от этого смущения и постоянного сознания, что она поступила дурно. Решено было за обедом, что она уедет с Панауровым и погостит у отца недели две-три, пока не соскучится.

XI

Она и Панауров ехали в отдельном купе; на голове у него был картуз из барашкового меха какой-то странной формы.

– Да, не удовлетворил меня Петербург, – говорил он с расстановкою, вздыхая. – Обещают много, но ничего определенного. Да, дорогая моя. Был я мировым судьей, непременным членом, председателем мирового съезда, наконец, советником губернского правления; кажется, послужил отечеству и имею право на внимание, но вот вам: никак не могу добиться, чтобы меня перевели в другой город...

Панауров закрыл глаза и покачал головой.

– Меня не признают, – продолжал он, как бы засыпая. – Конечно, я не гениальный администратор, но зато я порядочный, честный человек, а по нынешним временам и это редкость. Каюсь, иногда женщин я обманывал слегка, но по отношению к русскому правительству я всегда был джентльменом. Но довольно об этом, – сказал он, открывая глаза, – будем говорить о вас. Что это вам вздумалось вдруг ехать к папаше?

– Так, с мужем немножко не поладила, – сказала Юлия, глядя на его картуз.

– Да, какой-то он у вас странный. Все Лаптевы странные. Муж ваш еще ничего, туда-сюда, но брат его Федор совсем дурак.

Панауров вздохнул и спросил серьезно:

– А любовник у вас уже есть?

Юлия посмотрела на него с удивлением и усмехнулась.

– Бог знает, что вы говорите.

На большой станции, часу в одиннадцатом, оба вышли и поужинали. Когда поезд пошел дальше, Панауров снял пальто и свой картузик и сел рядом с Юлией.

– А вы очень милы, надо вам сказать, – начал он. – Извините за трактирное сравнение, вы напоминаете мне свежеспросоленный огурчик; он, так сказать, еще пахнет парником, но уже содержит в себе немножко соли и запах укропа. Из вас мало-помалу формируется великолепная женщина, чудесная, изящная женщина. Если б эта наша поездка происходила лет пять назад, – вздохнул он, – то я почел бы приятным долгом поступить в ряды ваших поклонников, но теперь, увы, я инвалид.

Он грустно и в то же время милостиво улыбнулся и обнял ее за талию.

– Вы с ума сошли! – сказала она, покраснела и испугалась так, что у нее похолодели руки и ноги. – Оставьте, Григорий Николаич!

– Что же вы боитесь, милая? – спросил он мягко. – Что тут ужасного? Вы просто не привыкли.

Если женщина протестовала, то для него это только значило, что он произвел впечатление и нравится. Держа Юлию за талию, он крепко поцеловал ее в щеку, потом в губы, в полной уверенности, что доставляет ей большое удовольствие. Юлия оправилась от страха и смущения и стала смеяться. Он поцеловал ее еще раз и

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
сказал, надевая свой смешной картуз:

– Вот и всё, что может дать вам инвалид. Один турецкий паша, добрый старичок, получил от кого-то в подарок или, кажется, в наследство целый гарем. Когда его молодые красивые жены выстроились перед ним в шеренгу, он обошел их, поцеловал каждую и сказал: «Вот и всё, что я теперь в состоянии дать вам». То же самое говорю и я.

Все это казалось ей глупым, необыкновенным и веселило ее. Хотелось шалить. Ставши на диван и напевая, она достала с полки коробку с конфетами и крикнула, бросив кусочек шоколада:

– Ловите!

Он поймал; она бросила ему другую конфетку с громким смехом, потом третью, а он всё ловил и клал себе в рот, глядя на нее умоляющими глазами, и ей казалось, что в его лице, в чертах и в выражении много женского и детского. И когда она, запыхавшись, села на диван и продолжала смотреть на него со смехом, он двумя пальцами дотронулся до ее щеки и проговорил как бы с досадой:

– Подлая девчонка!

– Возьмите, – сказала она, подавая ему коробку. – Я не люблю сладкого.

Он съел конфеты, все до одной, и пустую коробку запер к себе в чемодан; он любил коробки с картинками.

– Однако, довольно шалить, – сказал он. – Инвалиду пора бай-бай.

Он достал из портплекда свой бухарский халат и подушку, лег и укрылся халатом.

– Спокойной ночи, голубка! – тихо проговорил он и вздохнул так, как будто у него болело всё тело.

И скоро послышался храп. Не чувствуя никакого стеснения, она тоже легла и скоро уснула.

Когда на другой день утром она в своем родном городе ехала с вокзала домой, то улицы казались ей пустынными, безлюдными, снег серым, а дома маленькими, точно кто приплюснул их. Встретилась ей процессия: несли покойника в открытом гробе, с хоругвями.

«Покойника встретить, говорят, к счастью», – подумала она.

На окнах того дома, в котором жила когда-то Нина Федоровна, теперь были приклеены белые билетки.

С замиранием сердца она въехала в свой двор и позвонила у двери. Ей отворила незнакомая горничная, полная, заспанная, в теплой ватной кофте. Идя по лестнице, Юлия вспомнила, как здесь объяснялся ей в любви Лаптев, но теперь лестница была немытая, вся в следах. Наверху, в холодном коридоре, ожидали больные в шубах. И почему-то сердце у нее сильно билось и она едва шла от волнения.

Доктор, еще больше пополнившийся, красный, как кирпич, и с взъерошенными волосами, пил чай. Увидев дочь, он очень обрадовался и даже прослезился; она подумала, что в жизни этого старика она – единственная радость, и, растроганная, крепко обняла его и сказала, что будет жить у него долго, до Пасхи. Переодевшись у себя в комнате, она пришла в столовую, чтобы вместе пить чай, он ходил из угла в угол, засунув руки в карманы, и пел: «ру-ру-ру», – значит, был чем-то недоволен.

– Тебе в Москве живется очень весело, – сказал он. – Я за тебя очень рад... Мне же, старику, ничего не нужно. Я скоро издохну и освобожу вас всех. И надо удивляться, что у меня такая крепкая шкура, что я еще жив! Изумительно!

Он сказал, что он старый, двухильный осел, на котором ездят все. На него взвалили лечение Нины Федоровны, заботы об ее детях, ее похороны; а этот хлыщ Панауров ничего знать не хотел и даже взял у него сто рублей займа и до сих пор не отдает.

– Возьми меня в Москву и посади там в сумасшедший дом! – сказал доктор. – Я сумасшедший, я наивный ребенок, так как всё еще верю в правду и справедливость!

Затем он упрекал ее мужа в недалёковидности: не покупает домов, которые продаются так выгодно. И теперь уж Юлии казалось, что в жизни этого старика она – не единственная радость. Когда он принимал больных и потом уехал на практику, она ходила по всем комнатам, не зная, что делать и о чем думать. Она уже отвыкла от родного города и родного дома; ее не тянуло теперь ни на улицу, ни к знакомым, и при воспоминании о прежних подругах и о девичьей жизни не становилось грустно и не было жаль прошлого.

Вечером она оделась понаряднее и пошла ко всеобщей. Но в церкви были только простые люди, и ее великолепная шуба и шляпка не произвели никакого впечатления. И казалось ей, будто произошла какая-то перемена и в церкви, и в ней самой. Прежде она любила, когда во всеобщей читали канон и певчие пели ирмосы, например, «Отверзу уста моя», [6] любила медленно подвигаться в толпе к священнику, стоящему среди церкви, и потом ощущать на своем лбу святой елей, теперь же она ждала только, когда кончится служба. И, выходя из церкви, она уже боялась, чтобы у нее не попросили нищие; было бы скучно останавливаться и искать карманы, да и в карманах у нее уже не было медных денег, а были только рубли.

Легла она в постель рано, а уснула поздно. Снились ей всё какие-то портреты и похоронная процессия, которую она видела утром; открытый гроб с мертвецом внесли во двор и остановились у двери, потом долго раскачивали гроб на полотенцах и со всего размаха ударили им в дверь. Юлия проснулась и вскочила в ужасе. В самом деле, внизу стучали в дверь и проволока от звонка шуршала по стене, но звонка не было слышно.

Закашлял доктор. Вот, слышно, горничная сошла вниз, потом вернулась.

– Барыня! – сказала она и постучала в дверь. – Барыня!

– Что такое? – спросила Юлия.

– Вам телеграмма!

Юлия со свечой вышла к ней. Позади горничной стоял доктор, в нижнем белье и пальто, и тоже со свечой.

– Звонок у нас испортился, – говорил он, зевая спросонок. – Давно бы починить надо.

Юлия распечатала телеграмму и прочла: «Пьем ваше здоровье. Ярцев, Кочевой».

– Ах, какие дураки! – сказала она и захохотала; на душе у нее стало легко и весело.

Вернувшись к себе в комнату, она тихо умылась, оделась, потом долго укладывала свои вещи, пока не рассвело, а в полдень уехала в Москву.

XII

На Святой неделе Лаптевы были в училище живописи на картинной выставке. Отправились они туда всем домом, по-московски, взявши с собой обеих девочек, гувернантку и Костю.

Лаптев знал фамилии всех известных художников и не пропускал ни одной выставки. Иногда летом на даче он сам писал красками пейзажи, и ему казалось, что у него много вкуса и что если б он учился, то из него, пожалуй, вышел бы хороший художник. За границей он заходил иногда к антиквариям и с видом знатока осматривал древности и высказывал свое мнение, покупал какую-нибудь вещь, антикварий брал с него, сколько хотел, и купленная вещь лежала потом, забитая в ящик, в каретном сарае, пока не исчезала неизвестно куда. Или, зайдя в эстампный магазин, он долго и внимательно осматривал картины, бронзу, делал разные замечания и вдруг покупал какую-нибудь лубочную рамочку или коробку дрянной бумаги. Дома у него были картины всё больших размеров, но плохие; хорошие же были дурно повешены. Случалось ему не раз платить дорого за вещи, которые потом оказывались грубою подделкой. И замечательно, что, робкий вообще в жизни, он был

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
чрезвычайно смел и самоуверен на картинных выставках. Отчего?

Юлия Сергеевна смотрела на картины, как муж, в кулак или бинокль и удивлялась, что люди на картинах как живые, а деревья как настоящие; но она не понимала, ей казалось, что на выставке много картин одинаковых и что вся цель искусства именно в том, чтобы на картинах, когда смотришь на них в кулак, люди и предметы выделялись, как настоящие.

– Это лес Шишкина, – объяснял ей муж. – Всегда он пишет одно и то же... А вот обрати внимание: такого лилового снега никогда не бывает... А у этого мальчика левая рука короче правой.

Когда все утомились и Лаптев пошел отыскивать Костю, чтобы ехать домой, Юлия остановилась перед небольшим пейзажем и смотрела на него равнодушно. На переднем плане речка, через нее бревенчатый мостик, на том берегу тропинка, исчезающая в темной траве, поле, потом справа кусочек леса, около него костер: должно быть, ночное стерегут. А вдали догорает вечерняя заря.

Юлия вообразила, как она сама идет по мостику, потом тропинкой, всё дальше и дальше, а кругом тихо, кричат сонные дергачи, вдали мигает огонь. И почему-то вдруг ей стало казаться, что эти самые облачка, которые протянулись по красной части неба, и лес, и поле она видела уже давно и много раз, она почувствовала себя одинокой, и захотелось ей идти, идти и идти по тропинке; и там, где была вечерняя заря, покоилось отражение чего-то неземного, вечного.

– Как это хорошо написано! – проговорила она, удивляясь, что картина стала ей вдруг понятна. – Посмотри, Алеша! Замечаешь, как тут тихо?

Она старалась объяснить, почему так нравится ей этот пейзаж, но ни муж, ни Костя не понимали ее. Она всё смотрела на пейзаж с грустной улыбкой, и то, что другие не находили в нем ничего особенного, волновало ее; потом она начала снова ходить по залам и осматривать, картины, хотела понять их, и уже ей не казалось, что на выставке много одинаковых картин. Когда она, вернувшись домой, в первый раз за всё время обратила внимание на большую картину, висевшую в зале над роялем, то почувствовала к ней вражду и сказала:

– Охота же иметь такие картины!

И после того золотые карнизы, венецианские зеркала с цветами и картины вроде той, что висела над роялем, а также рассуждения мужа и Кости об искусстве уже возбуждали в ней чувство скуки и досады, и порой даже ненависти.

Жизнь текла обыкновенно, изо дня в день, не обещая ничего особенного. Театральный сезон уже кончился, наступало теплое время. Погода всё время стояла превосходная. Как-то утром Лаптевы собрались в окружный суд послушать Костю, который защищал кого-то по назначению суда. Они замешкались дома и приехали в суд, когда уже начался допрос свидетелей. Обвинялся запасный рядовой, в краже со взломом. Было много свидетельниц-прачек; они показывали, что подсудимый часто бывал у хозяйки, содержательницы прачечной; под Воздвижение он пришел поздно вечером и стал просить денег, чтобы опохмелиться, но никто ему не дал; тогда он ушел, но через час вернулся и принес с собой пива и мятных пряников для девушек. Пили и пели песни почти до рассвета, а когда утром хватились, то замок у входа на чердак был сломан и из белья пропало: три мужских сорочки, юбка и две простыни. Костя у каждой свидетельницы спрашивал насмешливо: не пила ли она под Воздвижение того пива, которое принес подсудимый? Очевидно, он гнул к тому, что прачки сами себя обокрали. Говорил он свою речь без малейшего волнения, сердито глядя на присяжных.

Он объяснял, что такое кража со взломом и простая кража. Говорил очень подробно, убедительно, обнаруживая необыкновенную способность говорить долго и серьезным тоном о том, что давно уже всем известно. И трудно было понять, чего, собственно, он хочет? Из его длинной речи присяжный заседатель мог сделать только такой вывод: «взлом был, но кражи не было, так как белье пропили сами прачки, а если кража была, то без взлома». Но, очевидно, он говорил именно то, что нужно, так как речь его растрогала присяжных и публику и очень понравилась. Когда вынесли оправдательный приговор, Юлия закивала головой Косте и потом крепко пожала ему руку.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
В мае Лаптевы переехали на дачу в Сокольники. В это время Юлия была уже беременна.

XIII

Прошло больше года. В Сокольниках, недалеко от полотна Ярославской дороги, сидели на траве Юлия и Ярцев; немного в стороне лежал Кочевой, подложив руки под голову, и смотрел на небо. Все трое уже нагулялись и ждали, когда пройдет дачный шестичасовой поезд, чтоб идти домой пить чай.

– Матери видят в своих детях что-то необыкновенное, так уж природа устроила, – говорила Юлия. – Целые часы мать стоит у постельки, смотрит, какие у ребенка ушки, глазки, носик, восхищается. Если кто посторонний целует ее ребенка, то ей, бедной, кажется, что это доставляет ему большое удовольствие. И ни о чем мать не говорит, только о ребенке. Я знаю эту слабость матерей и слежу за собой, но, право, моя Оля необыкновенная. Как она смотрит, когда сосет! Как смеется! Ей только восемь месяцев, но, ей-богу, таких умных глаз я не видела даже у трехлетних.

– Скажите, между прочим, – спросил Ярцев, – кого вы любите больше: мужа или ребенка?

Юлия пожала плечами.

– Не знаю, – сказала она. – Я никогда сильно не любила мужа, и Оля – это, в сущности, моя первая любовь. Вы знаете, я ведь не по любви шла за Алексея. Прежде я была глупа, страдала, всё думала, что погубила и его, и свою жизнь, а теперь вижу, никакой любви не нужно, всё вздор.

– Но если не любовь, то какое же чувство привязывает вас к мужу? Отчего вы живете с ним?

– Не знаю... Так, привычка, должно быть. Я его уважаю, мне скучно, когда его долго нет, но это – не любовь. Он умный, честный человек, и для моего счастья этого достаточно. Он очень добрый, простой...

– Алеша умный, Алеша добрый, – проговорил Костя, лениво поднимая голову, – но, милая моя, чтобы узнать, что он умный, добрый и интересный, нужно с ним три пуда соли съесть... И какой толк в его доброте или в его уме? Денег он вам отвалит сколько угодно, это он может, но где нужно употребить характер, дать отпор наглецу и нахалу, там он конфузится и падает духом. Такие люди, как ваш любезный Алексис, прекрасные люди, но для борьбы они совершенно не годны. Да и вообще ни на что не годны.

Наконец показался поезд. Из трубы валил и поднимался над рощей совершенно розовый пар, и два окна в последнем вагоне вдруг блеснули от солнца так ярко, что было больно смотреть.

– Чай пить! – сказала Юлия Сергеевна, поднимаясь.

Она в последнее время пополнела, и походка у нее была уже дамская, немножко ленивая.

– А всё-таки без любви не хорошо, – сказал Ярцев, идя за ней. – Мы всё только говорим и читаем о любви, но сами мало любим, а это, право, не хорошо.

– Всё это пустяки, Иван Гаврилыч, – сказала Юлия. – Не в этом счастье.

Чай пили в садике, где цвели резеда, левкой, табак и уже распускались ранние шпажники. Ярцев и Кочевой по лицу Юлии Сергеевны видели, что она переживает счастливое время душевного спокойствия и равновесия, что ей ничего не нужно, кроме того, что уже есть, и у них самих становилось на душе покойно, славно. Кто бы что ни сказал, всё выходило кстати и умно. Сосны были прекрасны, пахло смолой чудесно, как никогда раньше, и сливки были очень вкусны, и Саша была умная, хорошая девочка...

После чаю Ярцев пел романсы, аккомпанируя себе на рояле, а Юлия и Кочевой сидели молча и слушали, и только Юлия изредка вставала и тихо выходила, чтобы взглянуть на ребенка и на Лиду, которая вот уже два дня лежала вся в жару и ничего не ела.

– «Мой друг, мой нежный друг», [7] – пел Ярцев. – Нет, господа, хоть зарежьте, – сказал он и встряхнул головой, – не понимаю, почему вы против любви! Если б я не был занят пятнадцать часов в сутки, то непременно бы влюбился.

Ужинать накрыли на террасе; было тепло и тихо, но Юлия куталась в платок и жаловалась на сырость. Когда потемнело, ей почему-то стало не по себе, она вся вздрагивала и упрашивала гостей посидеть подольше; она угощала их вином и после ужина приказала подать коньяку, чтобы они не уходили. Ей не хотелось оставаться одной с детьми и прислугой.

– Мы, дачницы, затеваем здесь спектакль для детей, – сказала она. – Уже всё есть у нас – и театр, и актеры, остановка только за пьесой. Прислали нам десятка два разных пьес, но ни одна не годится. Вот вы любите театр и хорошо знаете историю, – обратилась она к Ярцеву, – напишите-ка нам историческую пьесу.

– Что ж, это можно.

Гости выпили весь коньяк и собрались уходить. Был уже одиннадцатый час, а по-дачному это поздно.

– Как темно, зги не видать! – говорила Юлия, провожая их за ворота. – И не знаю, как вы, господа, дойдете. Но, однако, холодно!

Она укуталась плотнее и пошла назад к крыльцу.

– А мой Алексей, должно быть, где-нибудь в карты играет! – крикнула она. – Спокойной ночи!

После светлых комнат не было ничего видно. Ярцев и Костя ошупью, как слепые, добрались до полотна железной дороги и перешли его.

– Ни черта не видать, – сказал Костя басом, останавливаясь, и поглядел на небо. – А звезды-то, звезды, точно новенькие пятиалтынные! Гаврилыч!

– А? – отозвался где-то Ярцев.

– Я говорю: не видать ничего. Где вы?

Ярцев, посвистывая, подошел к нему и взял его под руку.

– Эй, дачники! – вдруг закричал Костя во всё горло. – Социалиста поймали!

Навеселе он всегда был очень беспокоен, кричал, придирался к городovým и извозчикам, пел, неистово хохотал.

– Природа, черт бы тебя подрал! – закричал он.

– Ну, ну, – унимал его Ярцев. – Не надо этого. Прошу вас.

Скоро приятели освоились с потемками и стали различать силуэты высоких сосен и телеграфных столбов. С московских вокзалов доносились изредка свистки, и жалобно гудели проволоки. Самая же роща не издавала ни звука, и в этом молчании чувствовалось что-то гордое, сильное, таинственное, и теперь ночью казалось, что верхушки сосен почти касаются неба. приятели отыскали свою просеку и пошли по ней. Было тут совсем темно, и только по длинной полосе неба, усеянной звездами, да по тому, что под ногами была утоптанная земля, они знали, что идут по аллее. Шли рядом молча, и обоим чудилось, будто навстречу им идут какие-то люди. Хмельное настроение покинуло их. Ярцеву пришло в голову, что, быть может, в этой роще носятся теперь души московских царей, бояр и патриархов, и хотел сказать это Косте, но удержался.

Когда вышли к заставе, на небе чуть брезжило. Продолжая молчать, Ярцев и Кочевой шли по мостовой мимо дешевых дач, трактиров, лесных складов; под мостом соединительной ветви их прохватила сырость, приятная, с запахом липы, и потом открылась широкая длинная улица и на ней ни души, ни огня... Когда дошли до Красного пруда, уже светало.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Москва – это город, которому придется еще много страдать, – сказал Ярцев, глядя на Алексеевский монастырь.

– Что это вам пришло в голову?

– Так. Люблю я Москву.

И Ярцев, и Костя родились в Москве и обожали ее, и относились почему-то враждебно к другим городам; они были убеждены, что Москва – замечательный город, а Россия – замечательная страна. В Крыму, на Кавказе и за границей им было скучно, неуютно, неудобно, и свою серенькую московскую погоду они находили самой приятной и здоровой. Дни, когда в окна стучит холодный дождь и рано наступают сумерки, и стены домов и церквей принимают бурый, печальный цвет, и когда, выходя на улицу, не знаешь, что надеть, – такие дни приятно возбуждали их.

Наконец около вокзала они наняли извозчика.

– В самом деле, хорошо бы написать историческую пьесу, – сказал Ярцев, – но, знаете, без Ляпуновых и без Годуновых, а из времен Ярослава или Мономаха... Я ненавижу русские исторические пьесы все, кроме монолога Пимена. Когда имеешь дело с каким-нибудь историческим источником и когда читаешь даже учебник русской истории, то кажется, что в России всё необыкновенно талантливо, даровито и интересно, но когда я смотрю в театре историческую пьесу, то русская жизнь начинает казаться мне бездарной, нездоровой, не оригинальной.

Около Дмитровки приятели расстались, и Ярцев поехал дальше к себе на Никитскую. Он дремал, покачивался и всё думал о пьесе. Вдруг он вообразил страшный шум, лязганье, крики на каком-то непонятном, точно бы калмыцком языке; и какая-то деревня, вся охваченная пламенем, и соседние леса, покрытые инеем и нежно-розовые от пожара, видны далеко кругом и так ясно, что можно различить каждую елочку; какие-то дикие люди, конные и пешие, носятся по деревне, их лошади и они сами так же багровы, как зарево на небе.

«Это половцы», – думает Ярцев.

Один из них – старый, страшный, с окровавленным лицом, весь обожженный – привязывает к седлу молодую девушку с белым русским лицом. Старик о чем-то неистово кричит, а девушка смотрит печально, умно... Ярцев встряхнул головой и проснулся.

– «Мой друг, мой нежный друг»... – запел он. Расплачиваясь с извозчиком и потом поднимаясь к себе по лестнице, он всё никак не мог очнуться и видел, как пламя перешло на деревья, затрещал и задымил лес; громадный дикий кабан, обезумевший от ужаса, несся по деревне... А девушка, привязанная к седлу, всё смотрела.

Когда он вошел к себе в комнату, то было уже светло. На рояле около раскрытых нот догорали две свечи. На диване лежала Рассудина, в черном платье, в кушаке, с газетой в руках, и крепко спала. Должно быть, играла долго, ожидая, когда вернется Ярцев, и, не дождавшись, уснула.

«Эка, умаялась!» – подумал он.

Осторожно вынув у нее из рук газету, он укрыл ее пледом, потушил свечи и пошел к себе в спальню. Ложась, он думал об исторической пьесе и из головы у него всё не выходил мотив: «Мой друг, мой нежный друг»...

Через два дня заезжал к нему на минутку Лаптев сказать, что Лида заболела дифтеритом и что от нее заразились Юлия Сергеевна и ребенок, а еще через пять дней пришло известие, что Лида и Юлия выздоравливают, а ребенок умер, и что Лаптевы бежали из своей сокольницкой дачи в город.

XIV

Лаптеву было уже неприятно оставаться подолгу дома. Жена его часто уходила во флигель, говоря, что ей нужно заняться с девочками, но он знал, что она ходит туда не заниматься, а плакать у Кости. Был девятый день, потом двадцатый, потом сороковой, и всё нужно было ездить на Алексеевское кладбище слушать панихиду и потом томиться целые сутки, думать только об этом несчастном ребенке и говорить жене в утешение разные пошлости. Он уже редко бывал в амбаре и занимался только

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
благодарностью, придумывая для себя разные заботы и хлопоты, и бывал рад, когда случалось из-за какого-нибудь пустяка проездить целый день. В последнее время он собирался ехать за границу, чтобы познакомиться там с устройством ночлежных приютов, и эта мысль теперь развлекала его.

Был осенний день. Юлия только что пошла во флигель плакать, а Лаптев лежал в кабинете на диване и придумывал, куда бы уйти. Как раз в это время Петр доложил, что пришла Рассудина. Лаптев обрадовался очень, вскочил и пошел навстречу неожиданной гостье, своей бывшей подруге, о которой он уже почти стал забывать. С того вечера, как он видел ее в последний раз, она нисколько не изменилась и была всё такая же.

– Полина! – сказал он, протягивая к ней обе руки. – Сколько зим, сколько лет! Если б вы знали, как я рад вас видеть! Милости просим!

Рассудина, здороваясь, рванула его за руку и, не снимая пальто и шляпы, вошла в кабинет и села.

– Я к вам на одну минуту, – сказала она. – О пустяках мне разговаривать некогда. Извольте сесть и слушать. Рады вы меня видеть или не рады, для меня решительно всё равно, так как милостивое внимание ко мне господ мужчин я не ставлю ни в грош. Если же я пришла к вам, то потому, что была сегодня уже в пяти местах и везде получила отказ, между тем дело неотложное. Слушайте, – продолжала она, глядя ему в глаза, – пять знакомых студентов, люди ограниченные и бестолковые, но несомненно бедные, не внесли платы, и их теперь исключают. Ваше богатство налагает на вас обязанность поехать сейчас же в университет и заплатить за них.

– С удовольствием, Полина.

– Вот вам их фамилии, – сказала Рассудина, подавая Лаптеву записку. – Поезжайте сию же минуту, а наслаждаться семейным счастьем успеете после.

В это время за дверь, ведущую в гостиную, послышался какой-то шорох: должно быть, чесалась собака. Рассудина покраснела и вскочила.

– Ваша дульцинея нас подслушивает! – сказала она. – Это гадко!

Лаптеву стало обидно за Юлию.

– Ее здесь нет, она во флигеле, – сказал он. – И не говорите о ней так. У нас умер ребенок, и она теперь в ужасном горе.

– Можете успокоить ее, – усмехнулась Рассудина, опять садясь, – будет еще целый десяток. Чтобы рожать детей, кому ума не доставало?[8]

Лаптев вспомнил, что это самое или нечто подобное он слышал уже много раз когда-то давно, и на него пахнуло поэзией минувшего, свободой одинокой, холостой жизни, когда ему казалось, что он молод и может всё, что хочет, и когда не было любви к жене и воспоминаний о ребенке.

– Поедемте вместе, – сказал он, потягиваясь.

Когда приехали в университет, Рассудина осталась ждать у ворот, а Лаптев пошел в канцелярию; немного погодя он вернулся и вручил Рассудиной пять квитанций.

– Вы теперь куда? – спросил он.

– К Ярцеву.

– И я с вами.

– Но ведь вы будете мешать ему работать.

– Нет, уверяю вас! – сказал он и посмотрел на нее умоляюще.

На ней была черная, точно траурная шляпка с креповой отделкой и очень короткое поношенное пальто, в котором оттопырились карманы. Нос у нее казался длиннее, чем был раньше, и на лице не было ни кровинки, несмотря на холод. Лаптеву было

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru приятно идти за ней, повиноваться ей и слушать ее ворчание. Он шел и думал про нее: какова, должно быть, внутренняя сила у этой женщины, если, будучи такою некрасивой, угловатой, беспокойной, не умея одеться порядочно, всегда неряшливо причесанная и всегда какая-то нескладная, она все-таки обаятельна.

К Ярцеву прошли они черным ходом, через кухню, где встретила их кухарка, чистенькая старушка с седыми кудрями; она очень сконфузилась, сладко улыбнулась, причем ее маленькое лицо стало похоже на пирожное, и сказала:

– Пожалуйте-с.

Ярцева дома не было. Рассудина села за рояль и принялась за скучные, трудные экзерцисы, приказав Лаптеву не мешать ей. И он не развлекал ее разговорами, а сидел в стороне и перелистывал «Вестник Европы». Проиграв два часа, – это была ее дневная порция, – она поела чего-то в кухне и ушла на уроки. Лаптев прочел продолжение какого-то романа, потом долго сидел, не читая и не испытывая скуки и довольный, что уже опоздал домой к обеду.

– Га-га-га! – послышался смех Ярцева, и вошел он сам, здоровый, бодрый, краснощекий, в новеньком фраке со светлыми пуговицами, – га-га-га!

Приятели пообедали вместе. Потом Лаптев лег на диван, а Ярцев сел около и закурил сигарку. Наступили сумерки.

– Я, должно быть, начинаю стареть, – сказал Лаптев. – С тех пор, как умерла сестра Нина, я почему-то стал часто подумывать о смерти.

Заговорили о смерти, о бессмертии души, о том, что хорошо бы в самом деле воскреснуть и потом полететь куда-нибудь на Марс, быть вечно праздным и счастливым, а главное, мыслить как-нибудь особенно, не по-земному.

– А не хочется умирать, – тихо сказал Ярцев. – Никакая философия, не может помирить меня со смертью, и я смотрю на нее просто как на погибель. Жить хочется.

– Вы любите жизнь, Гаврилыч?

– Да, люблю.

– А вот я никак не могу понять себя в этом отношении. У меня то мрачное настроение, то безразличное. Я робок, не уверен в себе, у меня трусливая совесть, я никак не могу приспособиться к жизни, стать ее господином. Иной говорит глупости или плутует, и так жизнерадостно, я же, случается, сознательно делаю добро и испытываю при этом только беспокойство или полнейшее равнодушие. Всё это, Гаврилыч, объясняю я тем, что я раб, внук крепостного. Прежде чем мы, чумазы, выйдем на настоящую дорогу, много нашего брата ляжет костями!

– Всё это хорошо, голубчик, – сказал Ярцев и вздохнул. – Это только показывает лишний раз, как богата, разнообразна русская жизнь. Ах, как богата! Знаете, я с каждым днем всё более убеждаюсь, что мы живем накануне величайшего торжества, и мне хотелось бы дожить, самому участвовать. Хотите верьте, хотите нет, но, по-моему, подрастает теперь замечательное поколение. Когда я занимаюсь с детьми, особенно с девочками, то испытываю наслаждение. Чудесные дети!

Ярцев подошел к роялю и взял аккорд.

– Я химик, мыслю химически и умру химиком, – продолжал он. – Но я жаден, я боюсь, что умру не насытившись; и мне мало одной химии, я хватаюсь за русскую историю, историю искусств, педагогию, музыку... Как-то летом ваша жена сказала, чтобы я написал историческую пьесу, и теперь мне хочется писать, писать; так бы, кажется, просидел трое суток, не вставая, и всё писал бы. Образы истомили меня, в голове теснота, и я чувствую, как в мозгу моем бьется пульс. Я вовсе не хочу, чтобы из меня вышло что-нибудь особенное, чтобы я создал великое, а мне просто хочется жить, мечтать, надеяться, всюду поспевать... Жизнь, голубчик, коротка, и надо прожить ее получше.

После этой дружеской беседы, которая кончилась только в полночь, Лаптев стал бывать у Ярцева почти каждый день. Его тянуло к нему. Обыкновенно он приходил

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru перед вечером, ложился и ждал его прихода терпеливо, не ощущая ни малейшей скуки. Ярцев, вернувшись со службы и пообедав, садился за работу, но Лаптев задавал ему какой-нибудь вопрос, начинался разговор, было уж не до работы, а в полночь приятели расставались, очень довольные друг другом.

Но это продолжалось не долго. Как-то придя к Ярцеву, Лаптев застал у него одну Рассудину, которая сидела за роялем и играла свои экзерцисы. Она посмотрела на него холодно, почти враждебно, и спросила, не подавая ему руки:

– Скажите, пожалуйста, когда этому будет конец?

– Чему этому? – спросил Лаптев, не понимая.

– Вы ходите сюда каждый день и мешаете Ярцеву работать. Ярцев не купчишка, а ученый, каждая минута его жизни драгоценна. Надо же понимать и иметь хотя немножко деликатности!

– Если вы находите, что я мешаю, – сказал Лаптев кротко, смутившись, – то я прекращу свои посещения.

– И прекрасно. Уходите же, а то он может сейчас прийти и застать вас здесь.

Тон, каким это было сказано, и равнодушные глаза Рассудиной окончательно смутили его. У нее уже не было никаких чувств к нему, кроме желания, чтобы он поскорее ушел, – и как это не было похоже на прежнюю любовь! Он вышел, не пожав ей руки, и казалось ему, что она окликнет его и позовет назад, но слышались опять гаммы, и он, медленно спускаясь по лестнице, понял, что он уже чужой для нее.

Дня через три пришел к нему Ярцев, чтобы вместе провести вечер.

– А у меня новость, – сказал он и засмеялся. – Полина Николаевна перебралась ко мне совсем. – Он немножко смутился и продолжал вполголоса: – Что ж? Конечно, мы не влюблены друг в друга, но, я думаю, это... это всё равно. Я рад, что могу дать ей уют и покой и возможность не работать в случае, если она заболит, ей же кажется, что оттого, что она сошлась со мной, в моей жизни будет больше порядка и что под ее влиянием я сделаюсь великим ученым. Так она думает. И пускай себе думает. У южан есть поговорка: дурень думкой богатеет. Га-га-га!

Лаптев молчал. Ярцев прошелся по кабинету, посмотрел на картины, которые он уже видел много раз раньше, и сказал; вздыхая:

– Да, друг мой. Я старше вас на три года, и мне уже поздно думать о настоящей любви, и, в сущности, такая женщина, как Полина Николаевна, для меня находка, и, конечно, я проживу с ней благополучно до самой старости, но, черт его знает, всё чего-то жалко, всё чего-то хочется и всё кажется мне, будто я лежу в долине Дагестана и снится мне бал. [9] Одним словом, никогда человек не бывает доволен тем, что у него есть.

Он пошел в гостиную и, как ни в чем не бывало, пел романсы, а Лаптев сидел у себя в кабинете, закрывши глаза, старался понять, почему Рассудина сошлась с Ярцевым. А потом он всё грустил, что нет прочных, постоянных привязанностей, и ему было досадно, что Полина Николаевна сошлась с Ярцевым, и досадно на себя, что чувство его к жене было уже совсем не то, что раньше.

XV

Лаптев сидел в кресле и читал, покачиваясь; Юлия была тут же в кабинете и тоже читала. Казалось, говорить было не о чем, и оба с утра молчали. Изредка он посматривал на нее через книгу и думал: женишься по страстной любви или совсем без любви – не всё ли равно? И то время, когда он ревновал, волновался, страдал, представлялось ему теперь далеким. Он успел уже побывать за границей и теперь отдыхал от поездки и рассчитывал с наступлением весны опять поехать в Англию, где ему очень понравилось.

А Юлия Сергеевна привыкла к своему горю, уже не ходила во флигель плакать. В эту зиму она уже не ездила по магазинам, не бывала в театрах и на концертах, а оставалась дома. Она не любила больших комнат и всегда была или в кабинете мужа, или у себя в комнате, где у нее были кюветы, полученные в приданое, и висел на стене тот самый пейзаж, который так понравился ей на выставке. Денег на себя она

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru почти не тратила и проживала теперь так же мало, как когда-то в доме отца.

Зима протекала не весело. Везде в Москве играли в карты, но если вместо этого придумывали какое-нибудь другое развлечение, например, пели, читали, рисовали, то выходило еще скучнее. И оттого, что в Москве было мало талантливых людей и на всех вечерах участвовали все одни и те же певцы и чтецы, само наслаждение искусством мало-помалу приелось и превратилось для многих в скучную, однообразную обязанность.

К тому же у Лаптевых не проходило ни одного дня без огорчений. Старик Федор Степаныч видел очень плохо и уже не бывал в амбаре, и глазные врачи говорили, что он скоро ослепнет; Федор тоже почему-то перестал бывать в амбаре, а сидел все время дома и что-то писал. Панауров получил перевод в другой город с производством в действительные статские советники и теперь жил в «Дрездене» и почти каждый день приезжал к Лаптеву просить денег. Киш, наконец, вышел из университета и в ожидании, пока Лаптевы найдут ему какую-нибудь должность, просиживал у них по целым дням, рассказывая длинные, скучные истории. Все это раздражало и утомляло и делало будничную жизнь неприятной.

Вошел в кабинет Петр и доложил, что пришла какая-то незнакомая дама. На карточке, которую он подал, было: «Жозефина Иосифовна Милан».

Юлия Сергеевна лениво поднялась и вышла, слегка прихрамывая, так как отсидела ногу. В дверях показалась дама, худая, очень бледная, с темными бровями, одетая во все черное. Она сжала на груди руки и проговорила с мольбой:

– Мосьё Лаптев, спасите моих детей!

Звон браслетов и лицо с пятнами пудры Лаптеву уже были знакомы; он узнал ту самую даму, у которой как-то перед свадьбой ему пришлось так некстати пообедать. Это была вторая жена Панаурова.

– Спасите моих детей! – повторила она, и лицо ее задрожало и стало вдруг старым и жалким, и глаза покраснели. – Только вы один можете спасти нас, и я приехала к вам в Москву на последние деньги! Дети мои умрут с голоду!

Она сделала такое движение, как будто хотела стать на колени. Лаптев испугался и схватил ее за руки повыше локтей.

– Садитесь, садитесь... – бормотал он, усаживая ее. – Прошу вас, садитесь.

– У нас теперь нет денег, чтобы купить себе хлеба, – сказала она. – Григорий Николаич уезжает на новую должность, но меня с детьми не хочет брать с собой, и те деньги, которые вы, великодушный человек, присылали нам, тратит только на себя. Что же нам делать? Что? Бедные, несчастные дети!

– Успокойтесь, прошу вас. Я прикажу в конторе, чтобы эти деньги высылали на ваше имя.

Она зарыдала, потом успокоилась, и он заметил, что от слез у нее по напудренным щекам прошли дорожки и что у нее растут усы.

– Вы великодушны без конца, мосьё Лаптев. Но будьте нашим ангелом, нашу доброю феей, уговорите Григория Николаича, чтобы он не покидал меня, а взял с собой. Ведь я его люблю, люблю безумно, он моя отрада.

Лаптев дал ей сто рублей и пообещал поговорить с Панауровым и, провожая до передней, всё боялся, как бы она не зарыдала или не стала на колени.

После нее пришел Киш. Потом пришел Костя с фотографическим аппаратом. В последнее время он увлекался фотографией и каждый день по нескольку раз снимал всех в доме, и это новое занятие приносило ему много огорчений, и он даже похудел.

Перед вечерним чаем пришел Федор. Севши в кабинете в угол, он раскрыл книгу и долго смотрел всё в одну страницу, по-видимому, не читая. Потом долго пил чай; лицо у него было красное. В его присутствии Лаптев чувствовал на душе тяжесть; даже молчание его было ему неприятно.

– Можешь поздравить Россию с новым публицистом, – сказал Федор. – Впрочем, шутки в сторону, разрешился, брат, я одною статеечкой, проба пера, так сказать, и принес тебе показать. Прочти, голубчик, и скажи свое мнение. Только искренно.

Он вынул из кармана тетрадку и подал ее брату. Статья называлась так: «Русская душа»; написана она была скучно, бесцветным слогом, каким пишут обыкновенно неталантливые, втайне самолюбивые люди, и главная мысль ее была такая: интеллигентный человек имеет право не верить в сверхъестественное, но он обязан скрывать это свое неверие, чтобы не производить соблазна и не колебать в людях веры; без веры нет идеализма, а идеализму предопределено спасти Европу и указать человечеству настоящий путь.

– Но тут ты не пишешь, от чего надо спасать Европу, – сказал Лаптев.

– Это понятно само собой.

– Ничего не понятно, – сказал Лаптев и прошелся в волнении. – Не понятно, для чего это ты написал. Впрочем, это твое дело.

– Хочу издать отдельную брошюрой.

– Это твое дело.

Помолчали минуту. Федор вздохнул и сказал:

– Глубоко, бесконечно жаль, что мы с тобой разно мыслим. Ах, Алеша, Алеша, брат мой милый! Мы с тобою люди русские, православные, широкие люди; к лицу ли нам все эти немецкие и жидовские идеишки? Ведь мы с тобой не прохвосты какие-нибудь, а представители именитого купеческого рода.

– Какой там именитый род? – проговорил Лаптев, сдерживая раздражение. – Именитый род! Деда нашего помещики драли, и каждый последний чиновничка бил его в морду. Отца драл дед, меня и тебя драл отец. Что нам с тобой дал этот твой именитый род? Какие нервы и какую кровь мы получили в наследство? Ты вот уже почти три года рассуждаешь, как дьячок, говоришь всякий вздор и вот написал – ведь это холопский бред! А я, а я? Посмотри на меня... Ни гибкости, ни смелости, ни сильной воли; я боюсь за каждый свой шаг, точно меня выпорют, я робею перед ничтожествами, идиотами, скотами, стоящими неизмеримо ниже меня умственно и нравственно; я боюсь дворников, швейцаров, городских, жандармов, я всех боюсь, потому что я родился от затравленной матери, с детства я забит и запуган!.. Мы с тобой хорошо сделаем, если не будем иметь детей. О, если бы дал бог, нами кончился бы этот именитый купеческий род!

В кабинет вошла Юлия Сергеевна и села у стола.

– Вы о чем-то тут спорили? – сказала она. – Я не помешала?

– Нет, сестреночка, – ответил Федор, – разговор у нас принципиальный. Вот ты говоришь: такой-сякой род, – обратился он к брату, – однако же, этот род создал миллионное дело. Это чего-нибудь да стоит!

– Велика важность – миллионное дело! Человек без особенного ума, без способностей случайно становится торгашом, потом богачом, торгует изо дня в день, без всякой системы, без цели, не имея даже жадности к деньгам, торгует машинально, и деньги сами идут к нему, а не он к ним. Он всю жизнь сидит у дела и любит его потому только, что может начальствовать над приказчиками, издеваться над покупателями. Он старостой в церкви потому, что там можно начальствовать над певчими и гнуть их в дугу; он попечитель школы потому, что ему нравится сознать, что учитель – его подчиненный и что он может разыгрывать перед ним начальство. Купец любит не торговать, а начальствовать, и ваш амбар не торговое учреждение, а застенки! Да, для такой торговли, как ваша, нужны приказчики обезличенные, обездоленные, и вы сами приготавливаете себе таких, заставляя их с детства кланяться вам в ноги за кусок хлеба, и с детства вы приучаете их к мысли, что вы – их благодетели. Небось вот университетского человека ты в амбар к себе не возьмешь!

– Университетские люди для нашего дела не годятся.

– Неправда! – крикнул Лаптев. – Ложь!

– Извини, мне кажется, ты плюешь в колодезь, из которого пьешь, – сказал Федор и встал. – Наше дело тебе ненавистно, однако же ты пользуешься его доходами.

– Ага, договорились! – сказал Лаптев и засмеялся, сердито глядя на брата. – Да, не принадлежи я к вашему именитому роду, будь у меня хоть на грош воли и смелости, я давно бы швырнул от себя эти доходы и пошел бы зарабатывать себе хлеб. Но вы в своем амбаре с детства обезличили меня! Я ваш!

Федор взглянул на часы и стал торопливо прощаться. Он поцеловал руку у Юлии и вышел, но, вместо того, чтобы идти в переднюю, прошел в гостиную, потом в спальню.

– Я забыл расположение комнат, – сказал он в сильном замешательстве. – Странный дом. Не правда ли, странный дом?

Когда он надевал шубу, то был будто ошеломлен, и лицо его выражало боль. Лаптев уже не чувствовал гнева; он испугался и в то же время ему стало жаль Федора, и та теплая, хорошая любовь к брату, которая, казалось, погасла в нем в эти три года, теперь проснулась в его груди, и он почувствовал сильное желание выразить эту любовь.

– Ты, Федя, приходи завтра к нам обедать, – сказал он и погладил его по плечу. – Придешь?

– Да, да. Но дайте мне воды.

Лаптев сам побежал в столовую, взял в буфете, что первое попало ему под руки, – это была высокая пивная кружка, – налил воды и принес брату. Федор стал жадно пить, но вдруг укусил кружку, послышался скрежет, потом рыдание. Вода полилась на шубу, на сюртук. И Лаптев, никогда раньше не выдавший плачущих мужчин, в смущении и испуге стоял и не знал, что делать. Он растерянно смотрел, как Юлия и горничная сняли с Федора шубу и повели его обратно в комнаты, и сам пошел за ними, чувствуя себя виноватым.

Юлия уложила Федора и опустилась перед ним на колени.

– Это ничего, – утешала она. – Это у вас нервы...

– Голубушка, мне так тяжело! – говорил он. – Я несчастлив, несчастлив... но все время я скрывал, скрывал!

Он обнял ее за шею и прошептал ей на ухо:

– Я каждую ночь вижу сестру Нину. Она приходит и садится в кресло возле моей постели...

Когда час спустя он опять надевал в передней шубу, то уже улыбался и ему было совестно горничной. Лаптев поехал проводить его на Пятницкую.

– Ты приезжай к нам завтра обедать, – говорил он дорогой, держа его под руку, – а на Пасху поедем вместе за границу. Тебе необходимо проветриться, а то ты совсем закис.

– Да, да. Я поеду, я поеду... И сестреночку с собой возьмем.

Вернувшись домой, Лаптев застал жену в сильном нервном возбуждении. Происшествие с Федором потрясло ее, и она никак не могла успокоиться. Она не плакала, но была очень бледна и металась в постели и цепко хваталась холодными пальцами за одеяло, за подушку, за руки мужа. Глаза у нее были большие, испуганные.

– Не уходи от меня, не уходи, – говорила она мужу. – Скажи, Алеша, отчего я перестала богу молиться? Где моя вера? Ах, зачем вы при мне говорили о религии? Вы смутили меня, ты и твои друзья. Я уже не молюсь.

Он клал ей на лоб компрессы, согревал ей руки, поил ее чаем, а она жалась к нему

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
в страхе...

К утру она утомилась и уснула, а Лаптев сидел возле и держал ее за руку. Так ему и не удалось уснуть. Целый день потом он чувствовал себя разбитым, тупым, ни о чем не думал и вяло бродил по комнатам.

XVI

Доктора сказали, что у Федора душевная болезнь. Лаптев не знал, что делается на Пятницкой, а темный амбар, в котором уже не показывались ни старик, ни Федор, производил на него впечатление склепа. Когда жена говорила ему, что ему необходимо каждый день бывать и в амбаре, и на Пятницкой, он или молчал, или же начинал с раздражением говорить о своем детстве, о том, что он не в силах простить отцу своего прошлого, что Пятницкая и амбар ему ненавистны и проч.

В одно из воскресений, утром, Юлия сама поехала на Пятницкую. Она застала старика Федора Степаныча в той самой зале, в которой когда-то, по случаю ее приезда, служили молебны. Он в своем парусиновом пиджаке, без галстука, в туфлях, сидел неподвижно в кресле и моргал слепыми глазами.

– Это я, ваша невестка, – сказала она, подходя к нему. – Я приехала проведать вас.

Он стал тяжело дышать от волнения. Она, тронутая его несчастьем, его одиночеством, поцеловала ему руку, а он ощупал ее лицо и голову и, как бы убедившись, что это она, перекрестил ее.

– Спасибо, спасибо, – сказал он. – А я вот глаза потерял и ничего не вижу... Окно чуть-чуть вижу и огонь тоже, а людей и предметы не замечаю. Да, я слепну, Федор заболел, и без хозяйского глаза теперь плохо. Если случится какой беспорядок, то взыскать некому; избалуется народ. А отчего это Федор заболел? От простуды, что ли? А я вот никогда не хворал и никогда не лечился. Никаких я докторов не знал.

И старик, по обыкновению, стал хвастать. Между тем прислуга торопливо накрывала в зале на стол и ставила закуски и бутылки с винами. Было поставлено бутылок десять, и одна из них имела вид Эйфелевой башни. Подали полное блюдо горячих пирожков, от которых пахло вареным рисом и рыбой.

– Прошу дорогую гостью закусить, – сказал старик.

Она взяла его под руку и подвела к столу и налила ему водки.

– Я к вам и завтра приеду, – сказала она, – и привезу с собой ваших внучек, Сашу и Лиду. Они будут жалеть и ласкать вас.

– Не нужно, не привозите. Они незаконные.

– Почему же незаконные? Ведь отец и мать их были повенчаны.

– Без моего позволения. Я не благословлял их и знать не хочу. Бог с ними.

– Странно вы говорите, Федор Степаныч, – сказала Юлия и вздохнула.

– В евангелии сказано: дети должны уважать и бояться своих родителей.

– Ничего подобного. В евангелии сказано, что мы должны прощать даже врагам своим.

– В нашем деле нельзя прощать. Если будешь всех прощать, то через три года в трубу вылетишь.

– Но простить, сказать ласковое, приветливое слово человеку, даже виноватому, – это выше дела, выше богатства!

Юлии хотелось смягчить старика, внушить ему чувство жалости, пробудить в нем раскаяние, но всё, что она говорила, он выслушивал только снисходительно, как взрослые слушают детей.

– Федор Степаныч, – сказала Юлия решительно, – вы уже стары, и скоро бог

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
призовет вас к себе; он спросит вас не о том, как вы торговали и хорошо ли шли ваши дела, а о том, были ли вы милостивы к людям; не были ли вы суровы к тем, кто слабее вас, например, к прислуге, к приказчикам?

– Для своих служащих я был всегда благодетель, и они должны за меня вечно бога молить, – сказал старик с убеждением; но тронутый искренним тоном Юлии и желая доставить ей удовольствие, он сказал: – Хорошо, привозите завтра внучек. Я велю им подарочков купить.

Старик был неаккуратно одет, и на груди и на коленях у него был сигарный пепел; по-видимому, никто не чистил ему ни сапог, ни платья. Рис в пирожках был недоварен, от скатерти пахло мылом, прислуга громко стучала ногами. И старик, и весь этот дом на Пятницкой имели заброшенный вид, и Юлии, которая это чувствовала, стало стыдно за себя и за мужа.

– Я к вам непременно приеду завтра, – сказала она.

Она прошла по комнатам и приказала убрать в спальне старика и зажечь у него лампадку. Федор сидел у себя в комнате и смотрел в раскрытую книгу, не читая; Юлия поговорила с ним и у него тоже велела убрать, потом пошла вниз к приказчикам. Среди комнаты, где обедали приказчики, стояла деревянная некрашеная колонна, подпиравшая потолок, чтобы он не обрушился; потолки здесь были низкие, стены оклеены дешевыми обоями, было угарно и пахло кухней. По случаю праздника все приказчики были дома и сидели у себя на кроватях в ожидании обеда. Когда вошла Юлия, они вскочили с мест и на ее вопросы отвечали робко, глядя на нее исподлобья, как арестанты.

– Господи, какое у вас дурное помещение! – сказала она, всплескивая руками. – И вам здесь не тесно?

– В тесноте, да не в обиде, – сказал Макеичев. – Много вами довольны и возносим наши молитвы милосердному богу.

– Соответствие жизни по амбиции личности, – сказал Початкин.

И, заметив, что Юлия не поняла Початкина, Макеичев поспешил пояснить:

– Мы маленькие люди и должны жить соответственно званию.

Она осмотрела помещение для мальчиков и кухню, познакомилась с экономкой и осталась очень недовольна.

Вернувшись домой, она сказала мужу:

– Мы должны как можно скорее перебраться на Пятницкую и жить там. И ты каждый день будешь ездить в амбар.

Потом оба сидели в кабинете рядом и молчали. У него было тяжело на душе и не хотелось ему ни на Пятницкую, ни в амбар, но он угадывал, о чем думает жена, и был не в силах противоречить ей. Он погладил ее по щеке и сказал:

– У меня такое чувство, как будто жизнь наша уже кончилась, а начинается теперь для нас серая полужизнь. Когда я узнал, что брат Федор безнадежно болен, я заплакал; мы вместе прожили наше детство и юность, когда-то я любил его всею душой, и вот тебе катастрофа, и мне кажется, что, теряя его, я окончательнорываю со своим прошлым. А теперь, когда ты сказала, что нам необходимо переезжать на Пятницкую, в эту тюрьму, то мне стало казаться, что у меня нет уже и будущего.

Он встал и отошел к окну.

– Как бы то ни было, приходится проститься с мыслями о счастье, – сказал он, глядя на улицу. – Его нет. Его не было никогда у меня и, должно быть, его не бывает вовсе. Впрочем, раз в жизни я был счастлив, когда сидел ночью под твоим зонтиком. Помнишь, как-то у сестры Нины ты забыла свой зонтик? – спросил он, обернувшись к жене. – Я тогда был влюблен в тебя и, помню, всю ночь просидел под этим зонтиком и испытывал блаженное состояние.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
В кабинете около шкапов с книгами стоял комод из красного дерева с бронзой, в котором Лаптев хранил разные ненужные вещи, в том числе зонтик. Он достал его и подал жене.

– Вот он.

Юлия минуту смотрела на зонтик, узнала и грустно улыбнулась.

– Помню, – сказала она. – Когда ты объяснялся мне в любви, то держал его в руках, – и, заметив, что он собирается уходить, она сказала: – Если можно, пожалуйста, возвращайся пораньше. Без тебя мне скучно.

И потом она ушла к себе в комнату и долго смотрела на зонтик.

XVII

В амбаре, несмотря на сложность дела и на громадный оборот, бухгалтера не было, и из книг, которые вел конторщик, ничего нельзя было понять. Каждый день приходили в амбар комиссионеры, немцы и англичане, с которыми приказчики говорили о политике и религии; приходил спившийся дворянин, больной, жалкий человек, который переводил в конторе иностранную корреспонденцию; приказчики называли его фитюлькой и поили его чаем с солью. И в общем вся эта торговля представлялась Лаптеву каким-то большим чудачеством.

Он каждый день бывал в амбаре и старался заводить новые порядки; он запрещал сечь мальчиков и глумиться над покупателями, выходил из себя, когда приказчики, с веселым смехом, отпускали куда-нибудь в провинцию залежалый и негодный товар под видом свежего и самого модного. Теперь в амбаре он был главным лицом, но по-прежнему ему не было известно, как велико его состояние, хорошо ли идут его дела, сколько получают жалованья старшие приказчики и т. п. Початкин и Макеичев считали его молодым и неопытным, многое скрывали от него и каждый вечер о чем-то таинственно шептались со слепым стариком.

Как-то в начале июня Лаптев и Початкин пошли в Бубновский трактир, чтобы позавтракать и кстати поговорить о делах. Початкин служил у Лаптевых уже давно и поступил к ним, когда ему было еще восемь лет. Он был своим человеком, ему доверяли вполне, и когда, уходя из амбара, он забирал из кассы всю выручку и набивал ею карманы, то это не возбуждало никаких подозрений. Он был главным в амбаре и в доме, а также в церкви, где вместо старика исполнял обязанности старосты. За жестокое обращение с подчиненными приказчики и мальчики прозвали его Малютой Скуратовым.

Когда пришли в трактир, он кивнул половому и сказал:

– Дай-ка нам, братец, полдиковинки и двадцать четыре неприятности.

Половой немного погодя подал на подносе полбутылки водки и несколько тарелок с разнообразными закусками.

– Вот что, любезный, – сказал ему Початкин, – дай-ка ты нам порцию главного мастера клеветы и злословия с картофельным пюре.

Половой не понял и смутился, и хотел что-то сказать, но Початкин строго поглядел на него и сказал:

– Кроме!

Половой думал с напряжением, потом пошел советоваться с товарищами, и в конце концов все-таки догадался, принес порцию языка. Когда выпили по две рюмки и закусили, Лаптев спросил:

– Скажите, Иван Васильич, правда ли, что наши дела в последние годы стали падать?

– Ни отнюдь.

– Скажите мне откровенно, начистоту, сколько мы получали и получаем дохода и как велико наше состояние? Нельзя же ведь в потемках ходить. У нас был недавно счет амбара, но, простите, я этому счету не верю; вы находите нужным что-то скрывать

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru от меня и говорите правду только отцу. Вы с ранних лет привыкли к политике и уже не можете обходиться без нее. А к чему она? Так вот, прошу вас, будьте откровенны. В каком положении наши дела?

– Всё зависимо от волнения кредита, – ответил Початкин, подумав.

– Что вы подразумеваете под волнением кредита? Початкин стал объяснять, но Лаптев ничего не понял и послал за Макеичевым. Тот немедленно явился, закурил, помолясь, и своим солидным, густым баритоном заговорил прежде всего о том, что приказчики обязаны денно и нощно молить бога за своих благодетелей.

– Прекрасно, только позвольте мне не считать себя вашим благодетелем, – сказал Лаптев.

– Каждый человек должен помнить, что он есть, и чувствовать свое звание. Вы, по милости божией, наш отец и благодетель, а мы ваши рабы.

– Всё это, наконец, мне надоело! – рассердился Лаптев. – Пожалуйста, теперь будьте вы моим благодетелем, объясните, в каком положении наши дела. Не извольте считать меня мальчишкой, иначе я завтра же закрою амбар. Отец ослеп, брат в сумасшедшем доме, племянницы мои еще молоды; это дело я ненавижу, я охотно бы ушел, но заменить меня некому, вы сами знаете. Бросьте же политику, ради бога!

Пошли в амбар считать. Потом считали вечером дома, причем помогал сам старик; посвящая сына в свои коммерческие тайны, он говорил таким тоном, как будто занимался не торговлей, а колдовством. Оказалось, что доход ежегодно увеличивался приблизительно на одну десятую часть и что состояние Лаптевых, считая одни только деньги и ценные бумаги, равнялось шести миллионам рублей.

Когда в первом часу ночи, после счетов, Лаптев вышел на свежий воздух, то чувствовал себя под обаянием этих цифр. Ночь была тихая, лунная, душная; белые стены замоскворецких домов, вид тяжелых запертых ворот, тишина и черные тени производили в общем впечатление какой-то крепости и недоставало только часового с ружьем. Лаптев пошел в садик и сел на скамью около забора, отделявшего от соседнего двора, где тоже был садик. Цвела черемуха. Лаптев вспомнил, что эта черемуха во времена его детства была такою же корявой и такого же роста и несколько не изменилась с тех пор. Каждый уголок в саду и во дворе напоминал ему далекое прошлое. И в детстве так же, как теперь, сквозь редкие деревья виден был весь двор, залитый лунным светом, так же были таинственны и строги тени, так же среди двора лежала черная собака и открыты были настежь окна у приказчиков. И всё это были невеселые воспоминания.

За забором в чужом дворе послышались легкие шаги.

– Моя дорогая, моя милая... – прошептал мужской голос у самого забора, так что Лаптев слышал даже дыхание.

Вот поцеловались. Лаптев был уверен, что миллионы и дело, к которому у него не лежала душа, испортят ему жизнь и окончательно сделают из него раба; он представлял себе, как он мало-помалу свыкнется со своим положением, мало-помалу войдет в роль главы торговой фирмы, начнет тупеть, стариться и в конце концов умрет, как вообще умирают обыватели, дрянно, кисло, нагоняя тоску на окружающих. Но что же мешает ему бросить и миллионы, и дело, и уйти из этого садика и двора, которые были ненавистны ему еще с детства?

Шёпот и поцелуи за забором волновали его. Он вышел на середину двора и, расстегнувши на груди рубаху, глядел на луну, и ему казалось, что он сейчас велит отпереть калитку, выйдет и уже более никогда сюда не вернется; сердце сладко сжалось у него от предчувствия свободы, он радостно смеялся и воображал, какая бы это могла быть чудная, поэтическая, быть может, даже святая жизнь...

Но он всё стоял и не уходил, и спрашивал себя: «Что же меня держит здесь?» И ему было досадно и на себя, и на эту черную собаку, которая валялась на камнях, а не шла в поле, в лес, где бы она была независима, радостна. И ему, и этой собаке мешало уйти со двора, очевидно, одно и то же: привычка к неволе, к рабскому состоянию...

На другой день в полдень он поехал к жене и, чтобы скучно не было, пригласил с

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru собой Ярцева. Юлия Сергеевна жила на даче в Бутове, и он не был у нее уже пять дней. Приехав на станцию, приятели сели в коляску, и Ярцев всю дорогу пел и восхищался великолепной погодой. Дача находилась недалеко от станции в большом парке. Где начиналась главная аллея, шагах в двадцати от ворот, под старым широким тополем сидела Юлия Сергеевна, поджидая гостей. На ней было легкое изящное платье, отделанное кружевами, платье светлое кремового цвета, а в руках был всё тот же старый знакомый зонтик. Ярцев поздоровался с ней и пошел к даче, откуда слышались голоса Саши и Лиды, а Лаптев сел рядом с ней, чтобы поговорить о делах.

– Отчего ты так долго не был? – спросила она, не выпуская его руки. – Я целые дни всё сижу здесь и смотрю: не едешь ли ты. Мне без тебя скучно!

Она встала и рукой провела по его волосам, и с любопытством оглядывала его лицо, плечи, шляпу.

– Ты знаешь, я люблю тебя, – сказала она и покраснела. – Ты мне дорог. Вот ты приехал, я вижу тебя и счастлива, не знаю как. Ну, давай поговорим. Расскажи мне что-нибудь.

Она объяснялась ему в любви, а у него было такое чувство, как будто он был женат на ней уже лет десять, и хотелось ему завтракать. Она обняла его за шею, щекоча шелком своего платья его щеку; он осторожно отстранил ее руку, встал и, не сказав ни слова, пошел к даче. Навстречу ему бежали девочки.

«Как они выросли! – думал он. – И сколько перемен за эти три года... Но ведь придется, быть может, жить еще тринадцать, тридцать лет... Что-то еще ожидает нас в будущем! Поживем – увидим».

Он обнял Сашу и Лиду, которые повисли ему на шею, и сказал:

– Кланяется дедушка... дядя Федя скоро умрет, дядя Костя прислал письмо из Америки и велит вам кланяться. Он соскучился на выставке и скоро вернется. А дядя Алеша хочет есть.

Потом он сидел на террасе и видел, как по аллее тихо шла его жена, направляясь к даче. Она о чем-то думала и на ее лице было грустное, очаровательное выражение, и на глазах блеснули слезы. Это была уже не прежняя тонкая, хрупкая, бледнолицая девушка, а зрелая, красивая, сильная женщина. И Лаптев заметил, с каким восторгом смотрел ей навстречу Ярцев, как это ее новое, прекрасное выражение отражалось на его лице, тоже грустном и восхищенном. Казалось, что он видел ее первый раз в жизни. И когда завтракали на террасе, Ярцев как-то радостно и застенчиво улыбался и всё смотрел на Юлию, на ее красивую шею. Лаптев следил за ним невольно и думал о том, что, быть может, придется жить еще тринадцать, тридцать лет... И что придется пережить за это время? Что ожидает нас в будущем?

И думал:

«Поживем – увидим».

Супруга

– Я просил вас не убирать у меня на столе, – говорил Николай Евграфыч. – После ваших уборок никогда ничего не найдешь. Где телеграмма? Куда вы ее бросили? Извольте искать. Она из Казани, помечена вчерашним числом.

Горничная, бледная, очень тонкая, с равнодушным лицом, нашла в корзине под столом несколько телеграмм и молча подала их доктору; но всё это были городские телеграммы, от пациентов. Потом искали в гостиной и в комнате Ольги Дмитриевны.

Был уже первый час ночи. Николай Евграфыч знал, что жена вернется домой не скоро, по крайней мере часов в пять. Он не верил ей и, когда она долго не возвращалась, не спал, томился, и в то же время презирал и жену, и ее постель, и зеркало, и ее бонбоньерки, и эти ландыши и гиацинты, которые кто-то каждый день присылал ей и которые распространяли по всему дому приторный запах цветочной лавки. В такие ночи он становился мелочен, капризен, придирчив, и теперь ему казалось, что ему очень нужна телеграмма, полученная вчера от брата, хотя эта телеграмма не содержала в себе ничего, кроме поздравления с праздником.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
В комнате жены на столе, под коробкой с почтовой бумагой, он нашел какую-то телеграмму и взглянул на нее мельком. Она была адресована на имя тещи, для передачи Ольге Дмитриевне, из Монте-Карло, подпись: Michel... Из текста доктор не понял ни одного слова, так как это был какой-то иностранный, по-видимому, английский язык.

– Кто этот Мишель? Почему из Монте-Карло? Почему на имя тещи?

За время семилетней супружеской жизни он привык подозревать, угадывать, разбираться в уликах, и ему не раз приходило в голову, что благодаря этой домашней практике из него мог бы выйти теперь отличный сыщик. Придя в кабинет и начавши соображать, он тотчас же вспомнил, как года полтора назад он был с женой в Петербурге и завтракал у Кюба с одним своим школьным товарищем, инженером путей сообщения, и как этот инженер представил ему и его жене молодого человека лет 22–23, которого звали Михаилом Ивановичем; фамилия была короткая, немножко странная: Рис. Спустя два месяца доктор видел в альбоме жены фотографию этого молодого человека с надписью по-французски: «на память о настоящем и в надежде на будущее»: потом он два раза встречал его самого у своей тещи... И как раз это было то время, когда жена стала часто отлучаться и возвращалась домой в четыре и пять часов утра, и всё просила у него заграничного паспорта, а он отказывал ей, и у них в доме по целым дням происходила такая война, что от прислуги было совестно.

Полгода назад товарищи-врачи решили, что у него начинается чахотка, и посоветовали ему бросить всё и уехать в Крым. Узнавши об этом, Ольга Дмитриевна сделала вид, что это ее очень испугало; она стала ласкаться к мужу и всё уверяла, что в Крыму холодно и скучно, а лучше бы в Ниццу, и что она поедет вместе и будет там ухаживать за ним, беречь его, покоить...

И теперь он понимал, почему жене так хочется именно в Ниццу: ее Michel живет в Монте-Карло.

Он взял английско-русский словарь и, переводя слова и угадывая их значение, мало-помалу составил такую фразу: «Пью здоровье моей дорогой возлюбленной, тысячу раз целую маленькую ножку. Нетерпеливо жду приезда». Он представил себе, какую бы смешную, жалкую роль он играл, если бы согласился поехать с женой в Ниццу, едва не заплакал от чувствата обиды и в сильном волнении стал ходить по всем комнатам. В нем возмущилась его гордость, его плебейская брезгливость. Сжимая кулаки и морщась от отвращения, он спрашивал себя, как это он, сын деревенского попа, бурсак по воспитанию, прямой, грубый человек, по профессии хирург – как это он мог отдаться в рабство, так позорно подчинить себя этому слабому, ничтожному, продажному, низкому созданию?

– Маленькая ножка! – бормотал он, комкая телеграмму. – Маленькая ножка!

От того времени, когда он влюбился и сделал предложение и потом жил семь лет, осталось воспоминание только о длинных душистых волосах, массе мягких кружев и о маленькой ножке, в самом деле очень маленькой и красивой; и теперь еще, казалось, от прежних объятий сохранилось на руках и лице ощущение шелка и кружев – и больше ничего. Ничего больше, если не считать истерик, визга, попреков, угроз и лжи, наглой, изменнической лжи... Он помнил, как у отца в деревне, бывало, со двора в дом нечаянно влетала птица и начинала неистово биться о стекла и опрокидывать вещи, так и эта женщина, из совершенно чуждой ему среды, влетела в его жизнь и произвела в ней настоящий разгром. Лучшие годы жизни протекли, как в аду, надежды на счастье разбиты и осмеяны, здоровья нет, в комнатах его пошлая кокеточная обстановка, а из десяти тысяч, которые он зарабатывает ежегодно, он никак не соберется послать своей матери-попадье хотя бы десять рублей и уже должен по векселям тысяч пятнадцать. Казалось, если бы в его квартире жила шайка разбойников, то и тогда бы жизнь его не была так безнадежно, непоправимо разрушена, как при этой женщине.

Он стал кашлять и задыхаться. Надо было бы лечь в постель и согреться, но он не мог, и всё ходил по комнатам или садился за стол и нервно водил карандашом по бумаге, и писал машинально:

«Проба пера... Маленькая ножка»...

К пяти часам он ослабел и уже обвинял во всем одного себя, ему казалось теперь,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
что если бы Ольга Дмитриевна вышла за другого, который мог бы иметь на нее доброе влияние, то – кто знает? – в конце концов, быть может, она стала бы доброй, честной женщиной; он же плохой психолог и не знает женской души, к тому же неинтересен, груб...

«Мне уже осталось немного жить, – думал он, – я труп и не должен мешать живым. Теперь, в сущности, было бы странно и глупо отстаивать какие-то свои права. Я объяснюсь с ней; пусть она уходит к любимому человеку... Дам ей развод, приму вину на себя...»

Ольга Дмитриевна приехала наконец и, как была, в белой ротонде, шапке и в калошах, вошла в кабинет и упала в кресло.

– Противный, толстый мальчишка, – сказала она, тяжело дыша, и всхлипнула. – Это даже нечестно, это гадко. – Она топнула ногой. – Я не могу, не могу, не могу!

– Что такое? – спросил Николай Евграфыч, подходя к ней.

– Меня провожал сейчас студент Азарбеков и потерял мою сумку, а в сумке пятнадцать рублей. Я у мамы взяла.

Она плакала самым серьезным образом, как девочка, и не только платок, но даже перчатки у нее были мокры от слез.

– Что ж делать! – вздохнул доктор. – Потерял, так и потерял, ну и бог с ним. Успокойся, мне нужно поговорить с тобой.

– Я не миллионерша, чтобы так манкировать деньгами. Он говорит, что отдаст, но я не верю, он бедный ...

Муж просил ее успокоиться и выслушать его, а она говорила всё о студенте и о своих потерянных пятнадцати рублях.

– Ах, я дам тебе завтра двадцать пять, только замолчи, пожалуйста! – сказал он с раздражением.

– Мне надо переодеться! – заплакала она. – Не могу же я серьезно говорить, если я в шубе! Как странно!

Он снял с нее шубу и калоши и в это время ощутил запах белого вина, того самого, которым она любила запивать устриц (несмотря на свою воздушность, она очень много ела и много пила). Она пошла к себе и немного погодя вернулась переодетая, напудренная, с заплаканными глазами, села и вся ушла в свой легкий с кружевами капот, и в массе розовых волн муж различал только ее распущенные волосы и маленькую ножку в туфле.

– Ты о чем хочешь говорить? – спросила она, покачиваясь в кресле.

– Я нечаянно увидел вот это... – сказал доктор и подал ей телеграмму.

Она прочла и пожала плечами.

– Что ж? – сказала она, раскачиваясь сильнее. – Это обыкновенное поздравление с Новым годом и больше ничего. Тут нет секретов.

– Ты рассчитываешь на то, что я не знаю английского языка. Да, я не знаю, но у меня есть словарь. Это телеграмма от Риса, он пьет здоровье своей возлюбленной и тысячу раз целует тебя. Но оставим, оставим это... – продолжал доктор торопливо. – Я вовсе не хочу упрекать тебя или делать сцену. Довольно уже было и сцен, и попреков, пора кончить... Вот что я тебе хочу сказать: ты свободна и можешь жить, как хочешь.

Помолчали. Она стала тихо плакать.

– Я освобождаю тебя от необходимости притворяться и лгать, – продолжал Николай Евграфыч. – Еслилюбишь этого молодого человека, то люби; если хочешь ехать к нему за границу, поезжай. Ты молода, здорова, а я уже калека, жить мне осталось недолго. Одним словом... ты меня понимаешь.

Он был взволнован и не мог продолжать. Ольга Дмитриевна, плача и голосом, каким говорят, когда жалеют себя, созналась, что она любит Рису и ездила с ним кататься за город, бывала у него в номере, и в самом деле ей очень хочется теперь поехать за границу.

– Видишь, я ничего не скрываю, – сказала она со вздохом. – Вся душа моя нараспашку. И я опять умоляю тебя, будь великодушен, дай мне паспорт!

– Повторяю: ты свободна.

Она пересела на другое место, поближе к нему, чтобы взглянуть на выражение его лица. Она не верила ему и хотела теперь понять его тайные мысли. Она никогда никому не верила, и как бы благородны ни были намерения, она всегда подозревала в них мелкие или низменные побуждения и эгоистические цели. И когда она пылливо засматривала ему в лицо, ему показалось, что у нее в глазах, как у кошки, блеснул зеленый огонек.

– Когда же я получу паспорт? – спросила она тихо.

Ему вдруг захотелось сказать «никогда», но он сдержал себя и сказал:

– Когда хочешь.

– Я поеду только на месяц.

– Ты поедешь к Рису навсегда. Я дам тебе развод, приму вину на себя, и Рису можно будет жениться на тебе.

– Но я вовсе не хочу развода! – живо сказала Ольга Дмитриевна, делая удивленное лицо. – Я не прошу у тебя развода! Дай мне паспорт, вот и всё.

– Но почему же ты не хочешь развода? – спросил доктор, начиная раздражаться. – Ты странная женщина. Какая ты странная! Если ты серьезно увлеклась и он тоже любит тебя, то в вашем положении вы оба ничего не придумаете лучше брака. И неужели ты еще станешь выбирать между браком и адюльтером?

– Я понимаю вас, – сказала она, отходя от него, и лицо ее приняло злое, мстительное выражение. – Я отлично понимаю вас. Я надоела вам, и вы просто хотите избавиться от меня, навязать этот развод. Благодарю вас, я не такая дура, как вы думаете. Развода я не приму и от вас не уйду, не уйду, не уйду! Во-первых, я не желаю терять общественного положения, – продолжала она быстро, как бы боясь, что ей помешают говорить, – во-вторых, мне уже 27 лет, а Рису 23; через год я ему надоем и он меня бросит. И в-третьих, если хотите знать, я не ручаюсь, что это мое увлечение может продолжаться долго... Вот вам! Не уйду я от вас.

– Так я тебя выгоню из дому! – крикнул Николай Евграфыч и затопал ногами. – Выгоню вон, низкая, гнусная женщина!

– Увидим-с! – сказала она и вышла.

Уже давно рассвело на дворе, а доктор всё сидел у стола, водил карандашом по бумаге и писал машинально:

«Милостивый государь... Маленькая ножка...»

Или же он ходил и останавливался в гостиной перед фотографией, снятой семь лет назад, вскоре после свадьбы, и долго смотрел на нее. Это была семейная группа: теща, теща, его жена Ольга Дмитриевна, когда ей было двадцать лет, и он сам в качестве молодого, счастливого мужа. Тесть, бритый, пухлый, водяночный тайный советник, хитрый и жадный до денег, теща – полная дама с мелкими и хищными чертами, как у хорька, безумно любящая свою дочь, и во всем помогающая ей; если бы дочь душила человека, то мать не сказала бы ей ни слова и только заслонила бы ее своим подолом. У Ольги Дмитриевны тоже мелкие и хищные черты лица, но более выразительные и смелые, чем у матери; это уж не хорек, а зверь покрупнее! А сам Николай Евграфыч глядит на этой фотографии таким простаком, добрым малым, человеком-рубахой; добродушная семинарская улыбка расплылась по его лицу, и он

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
наивно верит, что эта компания хищников, в которую случайно втолкнула его судьба, даст ему и поэзию, и счастье, и всё то, о чем он мечтал, когда еще студентом пел песню: «Не любить – погубить значит жизнь молодой»...[10]

И опять, с недоумением, спрашивал себя, как это он, сын деревенского попа, по воспитанию – бурсак, простой, грубый и прямой человек, мог так беспомощно отдаться в руки этого ничтожного, лживого, пошлого, мелкого, по натуре совершенно чуждого ему существа.

Когда в одиннадцать часов он надевал сюртук, чтобы ехать в больницу, в кабинет вошла горничная.

– Что вам? – спросил он.

– Барыня встали и просят двадцать пять рублей, что вы давеча обещали.

Белолобый

Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Ее волчата, все трое, крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла.

Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и все думала о том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и темная унавоженная дорога пугали ее; ей казалось, будто за деревьями в потемках стоят люди и где-то за лесом воят собаки.

Она была уже не молода и чутье у нее ослабело, так что, случалось, лисий след она принимала за собачий и иногда даже, обманутая чутьем, сбивалась с дороги, чего с нею никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с жеребятами, а питалась одною падалью; свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у нее детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята.

В верстах четырех от ее логовища, у почтовой дороги, стояло зимовье. Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти, который все кашлял и разговаривал сам с собой; обыкновенно ночью он спал, а днем бродил по лесу с ружьем-одностволкой и посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше он служил в механиках, потому что каждый раз, прежде чем остановиться, кричал себе: «Стоп, машина!» и прежде чем пойти дальше: «Полный ход!» При нем находилась громадная черная собака неизвестной породы, по имени Арапка. Когда она забегала далеко вперед, то он кричал ей: «Задний ход!» Иногда он пел и при этом сильно шатался и часто падал (волчиха думала, что это от ветра) и кричал: «Сошел с рельсов!»

Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки, и когда она не так давно пробежала мимо, то ей послышалось, будто в хлеву блеяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Ее мучил голод, она думала о том, с какою жадностью она будет есть ягненка, и от таких мыслей зубы у нее щелкали и глаза светились в потемках, как два огонька.

Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо. Арапка, должно быть, спала под сараем.

По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась; на нее вдруг прямо в морду пахнуло теплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял ягненок. Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и теплое, должно быть, на барана, и в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким, подвывающим голоском, овцы шарахнулись к стенке, и волчиха, испугавшись, схватила, что первое попало в зубы, и бросилась вон..

Она бежала, напрягая силы, а в это время Арапка, уже почуявшая волка, неистово выла, кудахтали в зимовье потревоженные куры, и Игнат, выйдя на крыльцо, кричал:

– Полный ход! Пошел к свистку!

И свистел, как машина, и потом – го-го-го-го!.. И весь этот шум повторяло лесное эхо.

Когда мало-помалу все это затихло, волчиха успокоилась немного и стала замечать, что ее добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто тверже, чем обыкновенно бывают в эту пору ягнята; и пахло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки... Волчиха остановилась и положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть, и вдруг отскочила с отвращением. Это был не ягненок, а щенок, черный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пятном во весь лоб, как у Арапки. Судя по манерам, это был невежа, простой дворняжка. Он облизал свою помятую, раненую спину и, как ни в чем не бывало, замахал хвостом и залаял на волчиху. Она зарычала, как собака, и побежала от него. Он за ней. Она оглянулась и щелкнула зубами; он остановился в недоумении и, вероятно, решив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким радостным лаем, как бы приглашая мать свою Арапку поиграть с ним и с волчихой.

Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то было видно отчетливо каждую осинку, и уже просыпались тетерева и часто вспархивали красивые петухи, обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка.

«Зачем он бежит за мной? – думала волчиха с досадой. – Должно быть, он хочет, чтобы я его съела».

Жила она с волчатами в неглубокой яме; года три назад во время сильной бури вывернуло с корнем высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь на дне ее были старые листья и мох, тут же валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей ямы и, глядя на возвращавшуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них; заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих.

Уже рассвело и взшло солнце, засверкал кругом снег, а он все стоял поодаль и лалял. Волчата сосали свою мать, пихая ее лапами в тощий живот, а она в это время грызла лошадиную кость, белую и сухую; ее мучил голод, голова разболелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься на непрошенного гостя и разорвать его.

Наконец щенок утомился и охрип; видя, что его не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Теперь, при дневном свете, легко уже было рассмотреть его... Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой бывает у очень глупых собак; глаза были маленькие, голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперед широкие лапы, положил на них морду и начал:

– Мня, мня... нга-нга-нга!..

Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил лапой одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок стал к нему боком и посмотрел на него искоса, помахивая хвостом, потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту. Волчата погнались за ним, он упал на спину и задрал вверх ноги, а они втроем напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его, но не больно, а в шутку. Вороны сидели на высокой сосне и смотрели сверху на их борьбу, и очень беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по-весеннему; и петухи, то и дело перелетавшие через сосну, поваленную бурей, при блеске солнца казались изумрудными.

Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давая им поиграть добычей; и теперь, глядя, как волчата гонялись по насту за щенком и боролись с ним, волчиха думала:

«Пускай приучаются».

Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, потом также растянулся на солнышке. А проснувшись, опять стали играть.

Весь день и вечером волчиха вспоминала, как прошлую ночью в хлеву блеял ягненок

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru и как пахло овечьим молоком, и от аппетита она все щелкала зубами и не переставала грызть с жадностью старую кость, воображая себе, что это ягненок. Волчата сосали, а щенок, который хотел есть, бегал кругом и обнюхивал снег.

«Съем-ка его...» – решила волчиха.

Она подошла к нему, а он лизнул ее в морду и заскулил, думая, что она хочет играть с ним. В былое время она едала собак, но от щенка сильно пахло псиной, и, по слабости здоровья, она уже не терпела этого запаха; ей стало противно, и она отошла прочь...

К ночи похолодело. Щенок соскучился и ушел домой.

Когда волчата крепко уснули, волчиха опять отправилась на охоту. Как и в прошлую ночь, она тревожилась малейшего шума, и ее пугали пни, дрова, темные, одиноко стоящие кусты можжевельника, издали похожие на людей. Она бежала в стороне от дороги, по насту. Вдруг далеко впереди на дороге замелькало что-то темное... Она напрягла зрение и слух: в самом деле, что-то шло впереди, и даже слышны были мерные шаги. Не барсук ли? Она осторожно, чуть дыша, забирая все в сторону, обогнала темное пятно, оглянулась на него и узнала. Это, не спеша, шагом, возвращался к себе в зимовье щенок с белым лбом.

«Как бы он опять мне не помешал», – подумала волчиха и быстро побежала вперед.

Но зимовье было уже близко. Она опять взобралась на хлев по сугробу. Вчерашняя дыра была уже заделана яровой соломой, и по крыше протянулись две новые слеги. Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не идет ли щенок, но едва пахнуло на нее теплым паром и запахом навоза, как сзади послышался радостный, залихватый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу, потом в дыру и, почувствовав себя дома, в тепле, узнав своих овец, залаял еще громче... Арапка проснулась под сараем и, почуяв волка, завывала, закудахтали куры, и когда на крыльце показался Игнат со своей одностволкой, то перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья.

– Фюйт! – засвистел Игнат. – Фюйт! Гони на всех парах!

Он спустил курок – ружье дало осечку; он спустил еще раз – опять осечка; он спустил в третий раз – и громадный огненный снап вылетел из ствола и раздалось оглушительное «бу! бу!» Ему сильно отдало в плечо; и, взявши в одну руку ружье, а в другую топор, он пошел посмотреть, отчего шум...

Немного погодя он вернулся в избу.

– Что там? – спросил хриплым голосом странник, ночевавший у него в эту ночь и разбуженный шумом.

– Ничего... – ответил Игнат. – Пустое дело. Повадился наш Белолобый с овцами спать, в тепле. Только нет того понятия, чтобы в дверь, а норовит все как бы в крышу. Намедни ночью разобрал крышу и гулять ушел, подлец, а теперь вернулся и опять разворошил крышу.

– Глупый.

– Да, пружина в мозгу лопнула. Смерть не люблю глупых! – вздохнул Игнат, полезая на печь. – Ну, божий человек, рано еще вставать, давай спать полным ходом...

А утром он подозвал к себе Белолобого, больно оттрепал его за уши и потом, наказывая его хворостиной, все приговаривал:

– Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь!

Ариадна

На палубе парохода, шедшего из Одессы в Севастополь, какой-то господин, довольно красивый, с круглою бородкой, подошел ко мне, чтобы закурить, и сказал:

– Обратите внимание на этих немцев, что сидят около рубки. Когда сойдутся немцы или англичане, то говорят о ценах на шерсть, об урожае, о своих личных делах; но почему-то когда сходимся мы, русские, то говорим только о женщинах и высоких

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru материях. Но главное – о женщинах.

Лицо этого господина было уже знакомо мне. Накануне мы возвращались в одном поезде из-за границы, и в Волочиске[11] я видел, как он во время таможенного осмотра стоял вместе с дамой, своей спутницей, перед целой горой чемоданов и корзин, наполненных дамским платьем, и как он был смущен и подавлен, когда пришлось платить пошлину за какую-то шелковую тряпку, а его спутница протестовала и грозила кому-то пожаловаться; потом по пути в Одессу я видел, как он носил в дамское отделение то пирожки, то апельсины.

Было немножко сыро, слегка покачивало, и дамы ушли к себе в каюты. Господин с круглою бородкой сел со мной рядом и продолжал:

– Да, когда русские сходятся, то говорят только о высоких материях и женщинах. Мы так интеллигентны, так важны, что изрекаем одни истины и можем решать вопросы только высшего порядка. Русский актер не умеет шалить, он в водевиле играет глубокомысленно; так и мы: когда приходится говорить о пустяках, то мы трактуем их не иначе, как с высшей точки зрения. Это недостаток смелости, искренности и простоты. О женщинах же мы говорим так часто потому, мне кажется, что мы неудовлетворены. Мы слишком идеально смотрим на женщин и предъявляем требования, несоизмеримые с тем, что может дать действительность, мы получаем далеко не то, что хотим, и в результате неудовлетворенность, разбитые надежды, душевная боль, а что у кого болит, тот о том и говорит. Вам не скучно продолжать этот разговор?

– Нет, нисколько.

– В таком случае позвольте представиться, – сказал мой собеседник, слегка приподнимаясь: – Иван Ильич Шамохин, московский помещик некоторым образом... Вас же я хорошо знаю.

Он сел и продолжал, ласково и искренно глядя мне в лицо:

– Эти постоянные разговоры о женщинах какой-нибудь философ средней руки, вроде Макса Нордау, объяснил бы эротическим помешательством или тем, что мы крепостники и прочее, я же на это дело смотрю иначе. Повторяю: мы неудовлетворены, потому что мы идеалисты. Мы хотим, чтобы существа, которые рожают нас и наших детей, были выше нас, выше всего на свете. Когда мы молоды, то поэтизируем и боготворим тех, в кого влюбляемся; любовь и счастье у нас – синонимы. У нас в России брак не по любви презирается, чувственность смешна и внушает отвращение, и наибольшим успехом пользуются те романы и повести, в которых женщины красивы, поэтичны и возвышенны, и если русский человек издавна восторгается рафаэлевской мадонной или озабочен женской эмансипацией, то, уверяю вас, тут нет ничего напускного. Но беда вот в чем. Едва мы женимся или сходимся с женщиной, проходит каких-нибудь два-три года, как мы уже чувствуем себя разочарованными, обманутыми; сходимся с другими, и опять разочарование, опять ужас, и в конце концов убеждаемся, что женщины лживы, мелочны, суетны, несправедливы, неразвиты, жестоки, – одним словом, не только не выше, но даже неизмеримо ниже нас, мужчин. И нам, неудовлетворенным, обманутым, не остается ничего больше, как брюзжать и походя говорить о том, в чем мы так жестоко обманулись.

Пока Шамохин говорил, я заметил, что русский язык и русская обстановка доставляли ему большое удовольствие. Это оттого, вероятно, что за границей он сильно соскучился по родине. Хваля русских и приписывая им редкий идеализм, он не отзывался дурно об иностранцах, и это располагало в его пользу. Было также заметно, что на душе у него неладно и хочется ему говорить больше о себе самом, чем о женщинах, и что не миновать мне выслушать какую-нибудь длинную историю, похожую на исповедь.

И в самом деле, когда мы потребовали бутылку вина и выпили по стакану, он начал так:

– Помнится, в какой-то повести вельтмана[12] кто-то говорит: «Вот так история!» А другой ему отвечает: «Нет, это не история, а только интродукция в историю». Так и то, что я до сих пор говорил, есть только интродукция, мне же, собственно, хочется рассказать вам свой последний роман. Виноват, я еще раз спрошу: вам не скучно слушать?

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Я сказал, что не скучно, и он продолжал:

– Действие происходит в Московской губернии, в одном из ее северных уездов. Природа тут, должен я вам сказать, удивительная. Усадьба наша находится на высоком берегу быстрой речки, у так называемого быркового места, где вода шумит день и ночь; представьте же себе большой старый сад, уютные цветники, пасеку, огород, внизу река с кудрявым ивняком, который в большую росу кажется немножко матовым, точно седеет, а по ту сторону луг, за лугом на холме страшный, темный бор. В этом бору рыжики рождаются видимо-невидимо, и в самой чаще живут лоси. Я умру, заколотят меня в гроб, а всё мне, кажется, будут сниться ранние утра, когда, знаете, больно глазам от солнца, или чудные весенние вечера, когда в саду и за садом кричат соловьи и дергачи, а с деревни доносится гармоника, в доме играют на рояле, шумит река – одним словом, такая музыка, что хочется и плакать и громко петь. Запашка у нас небольшая, но выручают луга, которые вместе с лесом дают тысяч около двух ежегодно. Я у отца единственный сын, оба мы люди скромные, и этих денег, плюс еще отцовская пенсия, совершенно хватало. Первые три года по окончании университета я прожил в деревне, хозяйничал и всё ждал, что меня куда-нибудь выберут, главное же, я был сильно влюблен в одну необыкновенно красивую, обаятельную девушку. Была она сестрой моего соседа, помещика Котловича, прогоревшего барина, у которого в имени были ананасы, замечательные персики, громотоводы, фонтан посреди двора и в то же время ни копейки денег. Он ничего не делал, ничего не умел, был какой-то квольный, точно сделанный из пареной репы; лечил мужиков гомеопатией и занимался спиритизмом. Человек он, впрочем, был деликатный, мягкий и неглупый, но не лежит у меня душа к этим господам, которые беседуют с духами и лечат баб магнетизмом. Во-первых, у умственно не свободных людей всегда бывает путаница понятий и говорить с ними чрезвычайно трудно, и, во-вторых, обыкновенно никого они не любят, с женщинами не живут, а эта таинственность действует на впечатлительных людей неприятно. И наружность его мне не нравилась. Он был высок, толст, бел, с маленькой головой, с маленькими блестящими глазами, с белыми пухлыми пальцами. Он не жал вам руку, а мял. И всё, бывало, извиняется. Просит что-нибудь – извините, дает – тоже извините. Что же касается его сестры, то это лицо совсем из другой оперы. Надо вам заметить, что в детстве и в юности я не был знаком с Котловичами, так как мой отец был профессором в N. и мы долго жили в провинции, а когда я познакомился с ними, то этой девушке было уже двадцать два года, и она давно успела и институт кончить, и пожить года два-три в Москве, с богатой теткой, которая вывозила ее в свет. Когда я познакомился и мне впервые пришлось говорить с ней, то меня прежде всего поразило ее редкое и красивое имя – Ариадна. Оно так шло к ней! Это была брюнетка, очень худая, очень тонкая, гибкая, стройная, чрезвычайно грациозная, с изящными, в высшей степени благородными чертами лица. У нее тоже блестели глаза, но у брата они блестели холодно и слащаво, как леденцы, в ее же взгляде светилась молодость, красивая, гордая. Она покорила меня в первый же день знакомства – и не могло быть иначе. Первые впечатления были так властны, что я до сих пор не расстаюсь с иллюзиями, мне всё еще хочется думать, что у природы, когда она творила эту девушку, был какой-то широкий, изумительный замысел. Голос Ариадны, ее шаги, шляпка и даже отпечатки ее ножек на песчаном берегу, где она удила пескарей, вызывали во мне радость, страстную жажду жизни. По прекрасному лицу и прекрасным формам я судил о душевной организации, и каждое слово Ариадны, каждая улыбка восхищали меня, подкупали и заставляли предполагать в ней возвышенную душу. Она была ласкова, разговорчива, весела, проста в обращении, поэтично верила в бога, поэтично рассуждала о смерти, и в ее душевном складе было такое богатство оттенков, что даже своим недостаткам она могла придавать какие-то особенные, милые свойства. Положим, понадобилась ей новая лошадь, а денег нет, – ну, что ж за беда? Можно продать что-нибудь или заложить, а если приказчик божится, что ничего нельзя ни продать, ни заложить, то можно содрать с флигелей железные крыши и спустить их на фабрику или в самую горячую пору погнать рабочих лошадей на базар и продать там за бесценок. Эти необузданные желания порой приводили в отчаяние всю усадьбу, но выражала она их с таким изяществом, что ей в конце концов всё прощалось и всё позволялось, как богине или жене Цезаря. Любовь моя была трогательна, и ее скоро все заметили: и мой отец, и соседи, и мужики. И все мне сочувствовали. Когда, случалось, я угощал рабочих водкой, то они кланялись и говорили:

– Дай бог вам жениться на котловичевой барышне.

И сама Ариадна знала, что я ее люблю. Она часто приезжала к нам верхом или на шарабанах и проводила иногда целые дни со мною и с отцом. С моим стариком она подружилась, и он даже научил ее кататься на велосипеде – это было его любимое

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
развлечение. Помню, как однажды вечером они собрались кататься и я помогал ей сесть на велосипед, и в это время она была так хороша, что мне казалось, будто я, прикасаясь к ней, обжигал себе руки, я дрожал от восторга, и когда они оба, старик и она, красивые, стройные, покатали рядом по шоссе, встречная вороная лошадь, на которой ехал приказчик, бросилась в сторону, и мне показалось, что она бросилась оттого, что была тоже поражена красотой. Моя любовь, мое поклонение трогали Ариадну, умиляли ее, и ей страстно хотелось быть тоже очарованною, как я, и отвечать мне тоже любовью. Ведь это так поэтично!

Но любить по-настоящему, как я, она не могла, так как была холодна и уже достаточно испорчена. В ней уже сидел бес, который день и ночь шептал ей, что она очаровательна, божественна, и она, определенно не зная, для чего, собственно, она создана и для чего ей дана жизнь, воображала себя в будущем не иначе, как очень богатую и знатную, ей грезилась балы, скачки, ливреи, роскошная гостиная, свой salon и целый рой графов, князей, посланников, знаменитых художников и артистов, и всё это поклоняется ей и восхищается ее красотой и туалетами... Эта жажда власти и личных успехов и эти постоянные мысли всё в одном направлении расхолаживают людей, и Ариадна была холодна: и ко мне, и к природе, и к музыке. Время между тем шло, а посланников всё не было, Ариадна продолжала жить у своего брата спирита, дела становились всё хуже, так что уже ей не на что было покупать себе платья и шляпки и приходилось хитрить и изворачиваться, чтобы скрывать свою бедность.

Как нарочно, когда она еще жила в Москве у тетки, к ней сватался некий князь Мактуев, человек богатый, но совершенно ничтожный. Она отказала ему наотрез. Но теперь иногда ее мучил червь раскаяния: зачем отказала. Как наш мужик дует с отвращением на квас с тараканами и все-таки пьет, так и она брезгливо морщилась при воспоминании о князе и все-таки говорила мне:

– Что ни говорите, а в титуле есть что-то необъяснимое, обаятельное...

Она мечтала о титуле, о блеске, но в то же время ей не хотелось упустить и меня. Как там ни мечтай о посланниках, а всё же сердце не камень и жаль бывает своей молодости. Ариадна старалась влюбиться, делала вид, что любит, и даже клялась мне в любви. Но я человек нервный, чуткий; когда меня любят, то я чувствую это даже на расстоянии, без уверений и клятв, тут же веяло на меня холодом, и когда она говорила мне о любви, то мне казалось, что я слышу пение металлического соловья. Ариадна сама чувствовала, что у нее не хватает порохи, ей было досадно, и я не раз видел, как она плакала. А то, можете себе представить, она вдруг обняла меня порывисто и поцеловала, – это произошло вечером, на берегу, – и я видел по глазам, что она меня не любит, а обняла просто из любопытства, чтобы испытать себя: что, мол, из этого выйдет. И мне сделалось страшно. Я взял ее за руки и проговорил в отчаянии:

– Эти ласки без любви причиняют мне страдание!

– Какой вы... чудак! – сказала она с досадой и отошла.

По всей вероятности, прошел бы еще год-два, и я женился бы на ней, тем и кончилась бы эта история, но судьбе угодно было устроить наш роман по-иному. Случилось так, что на нашем горизонте появилась новая личность. К брату Ариадны приехал погостить его университетский товарищ Лубков, Михаил Иванович, милый человек, про которого кучера и лакеи говорили: «за-а-нятный господин!» Этак среднего роста, тощенький, плешивый, лицо, как у доброго буржуа, не интересное, но благообразное, бледное, с жесткими холеными усами, на шее гусиная кожа с пупырышками, большой кадык. Носил он рiнсе-pez на широкой черной тесьме, картавил, не выговаривая ни р, ни л, так что, например, слово «сделал» у него выходило так: сдевав. Он был всегда весел, всё ему было смешно. Женился он как-то необыкновенно глупо, двадцати лет, получил в приданое два дома в Москве, под Девичьим, занялся ремонтом и постройкой бани, разорился в пух, и теперь его жена и четверо детей жили в «Восточных номерах», терпели нужду, и он должен был содержать их, – и это ему было смешно. Ему было 36 лет, а жене его уже 42, – и это тоже было смешно. Мать его, чванная, надутая особа с дворянскими претензиями, презирала его жену и жила отдельно с целою оравой собак и кошек, и он должен был выдавать ей особу по 75 рублей в месяц; и сам он был человек со вкусом, любил позавтракать в «Славянском Базаре» и пообедать в «Эрмитаже»; денег нужно было очень много, но дядя выдавал ему только по две тысячи в год, этого не хватало, и он по целым дням бегал по Москве, как говорится, высунув язык, и

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru искал, где бы перехватить займы, – и это тоже было смешно. Приехал он к Котловичу, как говорил, для того, чтобы отдохнуть на лоне природы от семейной жизни. За обедом, за ужином, на прогулках он говорил нам про свою жену, про мать, про кредиторов, судебных приставов и смеялся над ними; смеялся над собой и уверял, что благодаря этой способности брать займы он приобрел много приятных знакомств. Смеялся он не переставая, и мы тоже смеялись. При нем и время мы стали проводить иначе. Я был склонен больше к тихим, так сказать, идиллическим удовольствиям; любил ужение рыбы, вечерние прогулки, собиранье грибов; Лубков же предпочитал пикники, ракеты, охоту с гончими. Он раза три в неделю затевал пикники, и Ариадна с серьезным, вдохновенным лицом записывала на бумажке устриц, шампанского, конфет и посылала меня в Москву, конечно, не спрашивая, есть ли у меня деньги. А на пикниках тосты, смех и опять жизнерадостные рассказы о том, как стара жена, какие у матери жирные собачки, какие милые люди кредиторы...

Лубков любил природу, но смотрел на нее как на нечто давно уже известное, притом по существу стоящее неизмеримо ниже его и созданное только для его удовольствия. Бывало, остановится перед каким-нибудь великолепным пейзажем и скажет: «Хорошо бы здесь чайку попить!» Однажды, увидев Ариадну, которая вдаль шла с зонтиком, он кивнул на нее и сказал:

– Она худа, и это мне нравится. Я не люблю полных.

Меня это покорило. Я попросил его не выражаться так при мне о женщинах. Он посмотрел на меня с удивлением и сказал:

– Что же в том дурного, что я люблю худых и не люблю полных?

Я ничего ему не ответил. Потом как-то, будучи в отличном расположении и слегка навеселе, он сказал:

– Я заметил, вы Ариадне Григорьевне нравитесь. Удивляюсь вам, отчего вы зеваете.

Мне стало неловко от этих слов, и я, смущаясь, высказал ему свой взгляд на любовь и женщин.

– Не знаю, – вздохнул он. – По-моему, женщина есть женщина, мужчина есть мужчина. Пусть Ариадна Григорьевна, как вы говорите, поэтична и возвышенна, но это не значит, что она должна быть вне законов природы. Вы сами видите, она уже в таком возрасте, когда ей нужен муж или любовник. Я уважаю женщин не меньше вашего, но думаю, что известные отношения не исключают поэзии. Поэзия сама по себе, а любовник сам по себе. Всё равно, как в сельском хозяйстве: красота природы сама по себе, а доход с лесов и полей сам по себе.

Когда я и Ариадна удили пескарей, Лубков лежал тут же на песке и подшучивал надо мной или учил меня, как жить.

– Удивляюсь, сударь, как это вы можете жить без романа! – говорил он. – Вы молоды, красивы, интересны, – одним словом, мужчина хоть куда, а живете по-монашески. Ох, уже эти мне старики в 28 лет! Я старше вас почти на десять лет, а кто из нас моложе? Ариадна Григорьевна, кто?

– Конечно, вы, – отвечала ему Ариадна.

И когда ему надоедало наше молчание и то внимание, с каким мы глядели на поплавки, он уходил в дом, а она говорила, глядя на меня сердито:

– В самом деле, вы не мужчина, а какая-то, прости господи, размазня. Мужчина должен увлекаться, безумствовать, делать ошибки, страдать! Женщина простит вам и дерзость и наглость, но она никогда не простит этой вашей рассудительности.

Она не на шутку сердилась и продолжала:

– Чтобы иметь успех, надо быть решительным и смелым. Лубков не так красив, как вы, но он интереснее вас и всегда будет иметь успех у женщин, потому что он не похож на вас, он мужчина...

И даже какое-то ожесточение слышалось в ее голосе. Однажды за ужином она, не обращая ко мне, стала говорить о том, что если бы она была мужчиной, то не

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
кисла бы в деревне, а поехала бы путешествовать, жила бы зимой где-нибудь за границей, например, в Италии. О, Италия! Тут отец мой невольно подлил масла в огонь; он долго рассказывал про Италию, как там хорошо, какая чудная природа, какие музеи! У Ариадны вдруг загорелось желание ехать в Италию. Она даже кулаком по столу ударила и глаза у ней засверкали: ехать!

И начались затем разговоры, как хорошо будет в Италии, – ах, Италия, ах да ох – и так каждый день, и когда Ариадна глядела мне через плечо, то по ее холодному и упрямому выражению я видел, что в своих мечтах она уже покорила Италию со всеми ее салонами, знатными иностранцами и туристами и что удержать ее уже невозможно. Я советовал обождать немного, отложить поездку на год-два, но она брезгливо морщилась и говорила:

– Вы рассудительны, как старая баба.

Лубков же был за поездку. Он говорил, что это обойдется очень дешево и что он тоже с удовольствием поедет в Италию и отдохнет там от семейной жизни. Я, каюсь, вел себя наивно, как гимназист. Не из ревности, а из предчувствия чего-то страшного, необычайного, я старался, когда было возможно, не оставлять их вдвоем, и они подшучивали надо мной; например, когда я входил, делали вид, что только что целовались и т. п.

Но вот в одно прекрасное утро является ко мне ее пухлый, белый брат спирт и выражает желание поговорить со мной наедине. Это был человек без воли; несмотря на воспитание и деликатность, он никак не мог удержаться, чтобы не прочесть чужого письма, если оно лежало перед ним на столе. И теперь в разговоре он признался, что нечаянно прочел письмо Лубкова к Ариадне.

– Из этого письма я узнал, что она в скором времени уезжает за границу. Милый друг, я очень взволнован! Объясните мне бога ради, я ничего не понимаю!

Когда он говорил это, то тяжело дышал, дышал мне прямо в лицо, и от него пахло вареной говядиной.

– Извините, я посвящаю вас в тайны этого письма, – продолжал он, – но вы друг Ариадны, она вас уважает! Быть может, вам известно что-нибудь. Она хочет уехать, но с кем? Господин Лубков тоже собирается с ней ехать. Извините, но это даже странно со стороны господина Лубкова. Он – женатый человек, имеет детей, а между тем объясняется в любви, пишет Ариадне «ты». Извините, но это странно!

Я похолодел, руки и ноги у меня онемели, и я почувствовал в груди боль, как будто положили туда трехугольный камень. Котлович в изнеможении опустился в кресло, и руки у него повисли, как плети.

– Что же я могу сделать? – спросил я.

– Внушить ей, убедить... Посудите: что ей Лубков? Пара ли он ей? О, боже, как это ужасно, как ужасно! – продолжал он, хватая себя за голову. – У нее такие чудесные партии, князь Мактуев и... и другие. Князь обожает ее и не дальше, как в среду на прошлой неделе, его покойный дед Иларион положительно, как дважды два, подтверждал, что Ариадна будет его женой. Положительно! Дед Иларион уже мертв, но это изумительно умный человек. Дух его мы вызываем каждый день.

После этого разговора я не спал всю ночь, хотел застрелиться. Утром я написал пять писем и все изорвал в клочки, потом рыдал в риге, потом взял у отца денег и уехал на Кавказ не простившись.

Конечно, женщина есть женщина и мужчина есть мужчина, но неужели всё это так же просто в наше время, как было до потопа, и неужели я, культурный человек, одаренный сложной духовной организацией, должен объяснять свое сильное влечение к женщине только тем, что формы тела у нее иные, чем у меня? О, как бы это было ужасно! Мне хочется думать, что борющийся с природой человеческий гений боролся и с физической любовью, как с врагом, и что если он и не победил ее, то все же удалось ему опутать ее сетью иллюзий братства и любви; и для меня по крайней мере это уже не просто отправление моего животного организма, как у собаки или лягушки, а настоящая любовь, и каждое объятие бывает одухотворено чистым сердечным порывом и уважением к женщине. В самом деле, отвращение к животному инстинкту воспитывалось веками в сотнях поколений, оно унаследовано мною с

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru кровью и составляет часть моего существа, и если я теперь поэтизирую любовь, то не так же ли это естественно и необходимо в наше время, как то, что мои ушные раковины неподвижны и что я не покрыт шерстью. Мне кажется, так мыслит большинство культурных людей, так как в настоящее время отсутствие в любви нравственного и поэтического элемента третируется уже, как явление атавизма; говорят, что оно есть симптом вырождения, многих помешательств. Правда, поэтизируя любовь, мы предполагаем в тех, кого любим, достоинства, каких у них часто не бывает, ну, а это служит для нас источником постоянных ошибок и постоянных страданий. Но уж лучше, по-моему, пусть будет так, то есть лучше страдать, чем успокаивать себя на том, что женщина есть женщина, а мужчина есть мужчина.

В Тифлисе я получил от отца письмо. Он писал, что Ариадна Григорьевна такого-то числа отбыла за границу с намерением прожить там всю зиму. Через месяц я вернулся домой. Была уже осень. Каждую неделю Ариадна присылала моему отцу письма на душистой бумаге, очень интересные, написанные прекрасным литературным языком. Я того мнения, что каждая женщина может быть писательницей. Ариадна очень подробно описывала, как ей нелегко было помириться с своей теткой и выпросить у нее на дорогу тысячу рублей и как долго она отыскивала в Москве одну свою дальнюю родственницу, старушку, чтоб уговорить ее ехать вместе. Это излишество подробностей очень уж отдавало сочиненностью, и я понял, конечно, что никакой у нее спутницы не было. Немного погодя и я получил от нее письмо, тоже душистое и литературное. Она писала, что соскучилась по мне, по моим красивым, умным, влюбленным глазам, дружески упрекала, что я гублю свою молодость, кисну в деревне в то время, как мог бы, подобно ей, жить в раю, под пальмами, вдыхать в себя аромат апельсиновых деревьев. И подписалась так: «брошенная вами Ариадна». Потом дня через два другое письмо в том же роде и подпись: «забытая вами». У меня мутилось в голове. Любил я ее страстно, снилась она мне каждую ночь, а тут еще «брошенная», «забытая» – к чему это? для чего? – а тут еще деревенская скука, длинные вечера, тягучие мысли насчет Лубкова... Неизвестность мучила меня, отравляла мне дни и ночи, стало невыносимо. Я не выдержал и поехал.

Ариадна звала меня в Аббацию. Я приехал туда в ясный, теплый день после дождя, капли которого еще висели на деревьях, и остановился в том же громадном, похожем на казарму *dépendance*'e, [13] где жили Ариадна и Лубков. Их не было дома. Я отправился в здешний парк, побродил по аллеям, потом сел. Прошел мимо австрийский генерал, заложив руки назад, с такими же красными лампасами, какие носят наши генералы. Провезли в колясочке младенца, и колеса визжали по сырому песку. Прошел дряхлый старик с желтухой, толпа англичанок, ксендз, потом опять австрийский генерал. Поплелись к будке военные музыканты, только что приехавшие из Фиуме, со сверкающими трубами; заиграла музыка. Вы бывали когда-нибудь в Аббации? Это грязный славянский городишка с одной только улицей, которая воняет и по которой после дождя нельзя проходить без калош. Я так много и всякий раз с таким умилением читал про этот рай земной, что когда я потом, подсучив брюки, осторожно переходил через узкую улицу и от скуки покупал жесткие груши у старой бабы, которая, узнав во мне русского, говорила «читирь», «давадцать», и когда я в недоумении спрашивал себя, куда же мне, наконец, идти и что мне тут делать, и когда мне непременно встречались русские, обманутые так же, как я, то мне становилось досадно и стыдно. Тут есть тихая бухта, по которой ходят пароходы и лодки с разноцветными парусами; отсюда видны и Фиуме, и далекие острова, покрытые лиловатою мглой, и это было бы картинно, если бы вид на бухту не загораживали отели и их *dépendance*'ы [14] нелепой мещанской архитектуры, которыми застроили весь этот зеленый берег жадные торгаши, так что большею частью вы ничего не видите в раю, кроме окон, террас и площадок с белыми столиками и черными лакейскими фраками. Тут есть парк, какой вы найдете теперь во всяком заграничном курорте. И темная, неподвижная, молчаливая зелень пальм, и ярко-желтый песок на аллеях, и ярко-зеленые скамьи, и блеск ревуших солдатских труб, и красные лампасы генерала – всё это надоедает в десять минут. А между тем вы обязаны почему-то прожить здесь десять дней, десять недель! Таскаясь поневоле по этим курортам, я всё более убеждался, как неудобно и скучно живется сытым и богатым, как вяло и слабо воображение у них, как несмелы их вкусы и желания. И во сколько раз счастливее их те старые и молодые туристы, которые, не имея денег, чтобы жить в отелях, живут где придется, любят вид моря с высоты гор, лежат на зеленой траве, ходят пешком, видят близко леса, деревни, наблюдают обычаи страны, слышат ее песни, влюбляются в ее женщин...

Пока я сидел в парке, стало темнеть, и в сумерках показалась моя Ариадна, изящная и нарядная, как принцесса; за нею шел Лубков, одетый во всё новое и

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
широкое, купленное, вероятно, в Вене.

– Что же вы сегдитесь? – говорил он. – Что я вам сдевав?

Увидев меня, она вскрикнула от радости, и если б это было не в парке, наверное, бросилась бы мне на шею; она крепко жала мне руки и смеялась, и я тоже смеялся и едва не плакал от волнения. Начались расспросы: как в деревне, что отец, видел ли я брата и проч. Она требовала, чтобы я смотрел ей в глаза, и спрашивала, помню ли я пескарей, наши маленькие ссоры, пикники...

– В сущности, как всё это было хорошо, – вздохнула она. – Но мы и здесь живем не скучно. У нас есть много знакомых, мой милый, мой хороший! Завтра я представлю вас здесь одному русскому семейству. Только, пожалуйста, купите себе другую шляпу. – Она оглядела меня и поморщилась. – Аббатия не деревня, – сказала она. – Тут надо быть комильфо.

Потом мы пошли в ресторан. Ариадна всё время смеялась, шалила и называла меня милым, хорошим, умным и точно глазам своим не верила, что я с ней. Так просидели мы часов до одиннадцати и разошлись очень довольные и ужином, и друг другом. На другой день Ариадна представила меня русскому семейству: «сын известного профессора, наш сосед по имению». Говорила она с этим семейством только об имениях и урожаях и при этом всё ссылалась на меня. Ей хотелось казаться очень богатой помещицей, и, право, это ей удавалось. Держалась она превосходно, как настоящая аристократка, какую, впрочем, она и была по происхождению.

– Но какова тетя! – сказала она вдруг, глядя на меня с улыбкой. – Мы с ней немножко поссорились, и она укатила в Меран. Какова?

Потом, когда мы гуляли с ней в парке, я спросил:

– Про какую это вы тетю говорили давеча? Что еще за тетя?

– Это ложь во спасение, – рассмеялась Ариадна. – Они не должны знать, что я без спутницы. – После минутного молчания она прижалась ко мне и сказала: – Голубчик, милый, подружитесь с Лубковым! Он такой несчастный! Его мать и жена просто ужасны.

Она говорила Лубкову вы и, уходя спать, прощалась с ним так же, как со мной, «до завтра», и жили они в разных этажах, – это подавало мне надежду, что всё вздор и никакого романа у них нет, и, встречаясь с ним, я чувствовал себя легко. И когда он однажды попросил у меня триста рублей займа, то я дал ему их с большим удовольствием.

Каждый день мы гуляли и только гуляли. То бродили по парку, то ели, то пили. Каждый день разговоры с русским семейством. Я мало-помалу привык к тому, что если я войду в парк, то непременно встречу старика с желтухой, ксендза и австрийского генерала, который носил с собою колоду маленьких карт и, где только можно было, садился и раскладывал пасьянс, нервно подергивая плечами. И музыка играла всё одно и то же. Дома в деревне мне бывало стыдно от мужиков, когда я в будни ездил с компанией на пикник или удил рыбу, так и здесь мне было стыдно от лакеев, кучеров, встречных рабочих; мне всё казалось, что они глядели на меня и думали: «Почему ты ничего не делаешь?» И этот стыд я испытывал от утра до вечера, каждый день. Странное, неприятное, монотонное время; разнообразилось оно разве только тем, что Лубков брал у меня займа то сто, то пятьдесят гульденов, и от денег вдруг оживал, как морфинист от морфия, и начинал шумно смеяться над женой, над собой или над кредиторами.

Но вот пошли дожди, стало холодно. Мы поехали в Италию, и я телеграфировал отцу, чтобы он, бога ради, прислал мне в Рим переводом рублей восемьсот. Мы останавливались в Венеции, в Болонье, во Флоренции и в каждом городе непременно попадали в дорогую отель, где с нас драли отдельно и за освещение, и за прислугу, и за отопление, и за хлеб к завтраку, и за право пообедать не в общей зале. Ели мы ужасно много. Утром нам подавали *café complet*. [15] В час завтрак: мясо, рыба, какой-нибудь омлет, сыр, фрукты и вино. В шесть часов обед из восьми блюд, с длинными антрактами, в течение которых мы пили пиво и вино. В девятом часу чай. Перед полуночью Ариадна объявляла, что она хочет есть, и требовала ветчины и яиц всмятку. С ней за компанию ели и мы. А в промежутках между едой мы бегали по музеям и выставкам, с постоянной мыслью, как бы не опоздать к обеду

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru или завтраку. Я тосковал перед картинами, меня тянуло домой полежать, я утомлялся, искал глазами стула и лицемерно повторял за другими: «Какая прелесть! Сколькo воздуху!» Мы, как сытые удавы, обращали внимание только на блестящие предметы, окна магазинов гипнотизировали нас, и мы восхищались фальшивыми брошками и покупали массу ненужных, ничтожных вещей.

То же было и в Риме. Тут шел дождь, дул холодный ветер. После жирного завтрака мы поехали осматривать храм Петра и, благодаря нашей сытости и, быть может, дурной погоде, он не произвел на нас никакого впечатления, и мы, уличая друг друга в равнодушии к искусству, едва не поссорились.

Пришли от отца деньги. Я отправился получать их, помню, утром. Со мной пошел и Лубков.

– Настоящее не может быть полным и счастливым, когда есть прошлое, – сказал он. – У меня от прошлого остался на шее большой багаж. Впрочем, будь деньги, всё бы не беда, а то яко наг, яко благ... Верите ли, у меня осталось только восемь франков, – продолжал он, понижая голос, – между тем, я должен послать жене сто и матери столько же. Да и здесь надо жить. Ариадна, точно ребенок, не хочет войти в положение и сорит деньгами, как герцогиня. Для чего она вчера купила часы? И, скажите, для чего это нам продолжать разыгрывать из себя каких-то паинек? Ведь то, что она и я скрываем от прислуги и знакомых наши отношения, обходится нам в сутки лишних 10–15 франков, так как я занимаю отдельный номер. Для чего это?

Острый камень повернулся у меня в груди. Незвестности уже не было, всё уже было ясно для меня, я весь похолодел, и тотчас же у меня явилось решение: не видеть их обоих, бежать от них, немедленно ехать домой...

– Сходиться с женщиной легко, – продолжал Лубков, – стоит только раздеть ее, а потом как всё это тяжело, какая ерунда!

Когда я считал полученные деньги, он сказал:

– Если вы не дадите мне тысячу франков взаймы, то я должен буду погибнуть. Эти ваши деньги для меня единственный ресурс.

Я дал ему, и он тотчас же оживился и стал смеяться над своим дядей, чудачком, который не мог сохранить в тайне от жены его адреса. Придя в отель, я уложился и заплатил по счету. Оставалось проститься с Ариадной.

Я постучался к ней.

– Entrez! [16]

В ее номере был утренний беспорядок: на столе чайная посуда, недоеденная булка, яичная скорлупа; сильный, удушающий запах духов. Постель была не убрана, и было очевидно, что на ней спали двое. Сама Ариадна недавно еще встала с постели и была теперь во фланелевой блузе, не причесанная.

Я поздоровался, потом молча посидел минуту, пока она старалась привести в порядок свои волосы, и спросил, дрожа всем телом:

– Зачем... зачем вы выписали меня сюда за границу?

По-видимому, она догадалась, о чем я думаю; она взяла меня за руку и сказала:

– Я хочу, чтобы вы были тут. Вы такой чистый!

Мне стало стыдно своего волнения, своей дрожи. А вдруг еще зарыдаю! Я вышел, не сказавши больше ни слова, и час спустя уже сидел в вагоне. Всю дорогу почему-то я воображал Ариадну беременной, и она была мне противна, и все женщины, которых я видел в вагонах и на станциях, казались мне почему-то беременными и были тоже противны и жалки. Я находился в положении того жадного, страстного корыстолюбца, который вдруг открыл бы, что все его червонцы фальшивы. Чистые, грациозные образы, которые так долго лелеяло мое воображение, подогреваемое любовью, мои планы, надежды, мои воспоминания, взгляды мои на любовь и женщину, – всё это теперь смеялось надо мной и показывало мне язык. Ариадна, спрашивал я с ужасом, эта молодая, замечательно красивая, интеллигентная девушка, дочь сенатора, в

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
связи с таким заурядным, неинтересным пошляком? Но почему же ей не любить Лубкова? отвечал я себе. Чем он хуже меня? О, пусть она любит, кого ей угодно, но зачем лгать? Но с какой стати она должна быть откровенна со мной? И так далее, всё в таком роде, до одурения. А в вагоне было холодно. Ехал я в первом классе, но там сидят по трое на одном диване, двойных рам нет, наружная дверь открывается прямо в купе, – и я чувствовал себя, как в колодках, стиснутым, брошенным, жалким, и ноги страшно зябли, и, в то же время, то и дело приходило на память, как обольстительна она была сегодня в своей блузе и с распущенными волосами, и такая сильная ревность вдруг овладевала мной, что я вскакивал от душевной боли, и соседи мои смотрели на меня с удивлением и даже страхом.

Дома я застал сугробы и двадцатиградусный мороз. Я люблю зиму, люблю, потому что в это время дома, даже в трескучие морозы, мне бывало особенно тепло. Приятно, надевши полушубок и валенки, в ясный морозный день делать что-нибудь в саду или на дворе, или читать у себя в жарко натопленной комнате, сидеть в кабинете отца перед камином, мыться в своей деревенской бане... Только вот если нет в доме матери, сестры или детей, то как-то жутко в зимние вечера, и кажутся они необыкновенно длинными и тихими. И чем теплее и уютнее, тем сильнее чувствуется это отсутствие. В ту зиму, когда я вернулся из-за границы, вечера были длинные-длинные, я сильно тосковал и от тоски не мог даже читать; днем еще туда-сюда, то снег в саду почистишь, то кур и телят покормишь, а по вечерам – хоть пропадай.

Прежде я не любил гостей, теперь же бывал им рад, так как знал, что непременно будет разговор об Ариадне. Часто приезжал спирт Котлович, чтобы поговорить о сестре, и иногда привозил с собою своего друга князя Мактуева, который был влюблен в Ариадну не менее моего. Сидеть в комнате Ариадны, перебирать клавиши ее пианино, смотреть в ее ноты, – для князя было уже потребностью, он не мог жить без этого, а дух деда Илариона продолжал предсказывать, что рано или поздно она будет его женой. У нас обыкновенно князь сидел подолгу, этак от завтрака до полуночи, и всё молчал; молча выпивал бутылки две-три пива и только изредка, чтобы показать, что он тоже участвует в разговоре, смеялся отрывистым, печальным, глуповатым смехом. Перед тем, как уехать домой, он всякий раз отводил меня в сторону и говорил вполголоса:

– Когда вы видели в последний раз Ариадну Григорьевну? Здорова ли она? Я думаю, ей там не скучно?

Наступила весна. Надо было ходить на тягу, потом сеять яровые и клевер. Было грустно, но уже по-весеннему: хотелось мириться с потерей. Работая в поле и слушая жаворонков, я спрашивал себя: не покончить ли уж сразу с этим вопросом личного счастья, не жениться ли мне без затей на простой крестьянской девушке? Как вдруг в самый разгар работ получаю письмо с итальянской маркой. И клевер, и пасака, и телята, и крестьянская девушка – всё разлетелось, как дым. На этот раз Ариадна писала, что она глубоко, бесконечно несчастна. Она упрекала меня, что я не протянул ей руку помощи, а взглянул на нее с высоты своей добродетели и покинул ее в минуту опасности. Всё это было написано крупным нервным почерком, с помарками и кляксами, и видно было, что она торопилась писать и страдала. В заключение она умоляла меня приехать и спасти ее.

Опять меня сорвало с якоря и понесло. Ариадна жила в Риме. Приехал я к ней поздно вечером и, когда она увидела меня, то зарыдала и бросилась мне на шею. За зиму она несколько не изменилась и была всё так же молода и прелестна. Мы вместе поужинали и потом до рассвета катались по Риму, и всё время она рассказывала мне про свое житье-бытье. Я спросил, где Лубков.

– Не напоминайте мне про эту тварь! – крикнула она. – Он мне противен и гадок!

– Но ведь вы, кажется, любили его, – сказал я.

– Никогда! На первых порах он казался оригинальным и возбуждал жалость – вот и всё. Он нахален, берет женщину приступом, и это привлекательно. Но не будем говорить о нем. Это печальная страница моей жизни. Он уехал в Россию за деньгами – туда ему и дорога! Я сказала, чтоб он не смел возвращаться.

Она жила уже не в отеле, а на частной квартире из двух комнат, которые убрала по своему вкусу, холодно и роскошно. После того, как уехал Лубков, она задолжала своим знакомым около пяти тысяч франков, и мой приезд в самом деле был для нее

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru спасением. Я рассчитывал увезти ее в деревню, но это мне не удалось. Она тосковала по родине, но воспоминания о пережитой бедности, о недостатках, о заржавленной крыше на доме брата вызвали в ней отвращение, дрожь, и когда я предлагал ей ехать домой, она судорожно сжимала мне руки и говорила:

– Нет, нет! Я там умру с тоски!

Затем любовь моя вступила в свой последний фазис, в свою последнюю четверть.

– Будьте прежним дусей, любите меня немножко, – говорила Ариадна, склоняясь ко мне. – Вы угрюмы и рассудительны, боитесь отдаться порыву и всё думаете о последствиях, а это скучно. Ну, прошу вас, умоляю, будьте ласковы!.. Мой чистый, мой святой, мой милый, я вас так люблю!

Я стал ее любовником. По крайней мере, с месяц я был, как сумасшедший, испытывая один восторг. Держать в объятиях молодое, прекрасное тело, наслаждаться им, чувствовать всякий раз, пробудившись от сна, ее теплоту и вспоминать, что она тут, она, моя Ариадна, – о, к этому не легко привыкнуть! Но я все-таки привык и мало-помалу стал относиться к своему новому положению сознательно. Прежде всего я понял, что Ариадна, как и прежде, не любила меня. Но ей хотелось любить серьезно, она боялась одиночества, а главное я был молод, здоров, крепок, она же была чувственна, как все вообще холодные люди, – и мы оба делали вид, что сошлись по взаимной страстной любви. Затем я понял кое-что и другое.

Жили мы в Риме, в Неаполе, во Флоренции; поехали было в Париж, но там нам показалось холодно, и мы вернулись в Италию. Мы всюду рекомендовались мужем и женой, богатыми помещиками, с нами охотно знакомились, и Ариадна имела большой успех. Так как она брала уроки живописи, то ее называли художницей и, представьте, к ней это очень шло, хотя таланта не было ни малейшего. Спала она каждый день до двух, до трех часов; кофе пила и завтракала в постели. За обедом она съедала суп, лангуста, рыбу, мясо, спаржу, дичь, и потом, когда ложилась, я подавал ей в постель чего-нибудь, например, ростбифа, и она съедала его с печальным, озабоченным выражением, а проснувшись ночью, кушала яблоки и апельсины.

Главным, так сказать, основным свойством этой женщины было изумительное лукавство. Она хитрила постоянно, каждую минуту, по-видимому, без всякой надобности, а как бы по инстинкту, по тем же побуждениям, по каким воробей чирикает или таракан шевелит усам. Она хитрила со мной, с лакеями, с портье, с торговцами в магазинах, со знакомыми; без кривлянья и ломанья не обходился ни один разговор, ни одна встреча. Нужно было войти в наш номер мужчине, – кто бы он ни был, гарсон или барон, – как она меняла взгляд, выражение, голос, и даже контуры ее фигуры менялись. Если бы вы видели ее тогда хоть раз, то сказали бы, что более светских и более богатых людей, чем мы, нет во всей Италии. Ни одного художника и музыканта она не пропускала, чтобы не налгать ему всякого вздора по поводу его замечательного таланта.

– Вы такой талант! – говорила она сладко-певучим голосом. – С вами даже страшно. Я думаю, вы должны видеть людей насквозь.

И всё это для того, чтобы нравиться, иметь успех, быть обаятельной! Она просыпалась каждое утро с единственной мыслью: «нравиться!» И это было целью и смыслом ее жизни. Если бы я сказал ей, что на такой-то улице в таком-то доме живет человек, которому она не нравится, то это заставило бы ее серьезно страдать. Ей каждый день нужно было очаровывать, пленять, сводить с ума. То, что я был в ее власти и перед ее чарами обращался в совершенное ничтожество, доставляло ей то самое наслаждение, какое победители испытывали когда-то на турнирах. Моего унижения было недостаточно, и она еще по ночам, развалившись, как тигрица, не укрытая, – ей всегда бывало жарко, – читала письма, которые присылал ей Лубков; он умолял ее вернуться в Россию, иначе клялся обокрасть кого-нибудь или убить, чтобы только добыть денег и приехать к ней. Она ненавидела его, но его страстные, рабские письма волновали ее. О своих чарах она была необыкновенного мнения; ей казалось, что если бы где-нибудь в многолюдном собрании увидели, как хорошо она сложена и какого цвета у нее кожа, то она победила бы всю Италию, весь свет. Эти разговоры о сложении, о цвете кожи оскорбляли меня, и, заметив это, она, когда бывала сердита, чтобы досадить мне, говорила всякие пошлости и дразнила меня, и дошло даже до того, что однажды на даче у одной дамы она рассердилась и сказала мне:

– Если вы не перестанете надоедать мне вашими поучениями, то я сейчас же разденусь и голая лягу вот на эти цветы!

Часто, глядя, как она спит или ест, или старается придать своему взгляду наивное выражение, я думал: для чего же даны ей богом эта необыкновенная красота, грация, ум? Неужели для того только, чтобы валяться в постели, есть и лгать, лгать без конца? Да и была ли она умна? Она боялась трех свечей, тринадцатого числа, приходила в ужас от сглаза и дурных снов, о свободной любви и вообще свободе толковала, как старая богомолка, уверяла, что Болеслав Маркевич лучше Тургенева. Но она была дьявольски хитра и остроумна, и в обществе умела казаться очень образованным, передовым человеком.

Ей ничего не стоило даже в веселую минуту оскорбить прислугу, убить насекомое; она любила бои быков, любила читать про убийства и сердилась, когда подсудимых оправдывали.

При той жизни, какую вели я и Ариадна, нам много нужно было денег. Бедный отец высылал мне свою пенсию, все свои доходишки, занимал для меня, где только можно было, и когда он однажды ответил мне «non habeo», [17] я послал ему отчаянную телеграмму, в которой умолял заложить имение. Немного погодя я попросил его взять где-нибудь денег под вторую закладную. То и другое он исполнил безропотно и выслал мне все деньги до копейки. А Ариадна презирала практику жизни, ей не было никакого дела до всего этого, и, когда я, бросая тысячи франков на удовлетворение ее безумных желаний, кричал, как старое дерево, она с легкой душой напевала «Addio, bella Napoli». [18] Мало-помалу я охладел к ней и стал стыдиться нашей связи. Я не люблю беременности и родов, но теперь уже мечтал иногда о ребенке, который был бы хотя формальным оправданием этой нашей жизни. Чтобы не опротиветь себе окончательно, я стал посещать музеи и галереи и читать книжки, мало ел и бросил пить. Этак гоняешь себя на корде от утра до вечера, оно как будто на душе легче.

Надоел и я Ариадне. Кстати же люди, у которых она имела успех, были всё средние люди, посланников и салона по-прежнему не было, денег не хватало, и это оскорбляло ее и заставляло рыдать, и она объявила мне, наконец, что, пожалуй, она не прочь бы и в Россию. И вот мы едем. В последние месяцы перед отъездом она усердно переписывалась со своим братом, у нее, очевидно, какие-то тайные замыслы, а какие – бог весть. Мне уже надоело вникать в ее хитрости. Но мы едем не в деревню, а в Ялту, потом из Ялты на Кавказ. Теперь она может жить только в курортах, а если б вы знали, до какой степени я ненавижу все эти курорты, как в них мне бывает душно и стыдно. Мне бы теперь в деревню! Мне бы теперь работать, добывать хлеб в поте лица, искупать свои ошибки. Теперь я чувствую в себе избыток сил, и мне кажется, что, напрягши эти силы, я выкупил бы имение в пять лет. Но вот, как видите, осложнение. Здесь не заграница, а Россия матушка, приходится подумать о законном браке. Конечно, увлечение уже прошло, любви прежней нет и в помине, но, как бы ни было, я обязан на ней жениться.

* * *

Шамохин, взволнованный своим рассказом, и я спустились вниз и продолжали говорить о женщинах. Было уже поздно. Оказалось, что он и я помещались в одной каюте.

– Пока только в деревнях женщина не отстает от мужчины, – говорил Шамохин, – там она так же мыслит, чувствует и так же усердно борется с природой во имя культуры, как и мужчина. Городская же, буржуазная, интеллигентная женщина давно уже отстала и возвращается к своему первобытному состоянию, наполовину она уже человек-зверь, и благодаря ей очень многое, что было завоевано человеческим гением, уже потеряно; женщина мало-помалу исчезает, на ее место садится первобытная самка. Эта отсталость интеллигентной женщины угрожает культуре серьезной опасностью; в своем регрессивном движении она старается увлечь за собой мужчину и задерживает его движение вперед. Это несомненно.

Я спросил: зачем обобщать, зачем по одной Ариадне судить обо всех женщинах? Уже одно стремление женщин к образованию и равноправию полов, которое я понимаю как стремление к справедливости, само по себе исключает всякое предположение о регрессивном движении. Но Шамохин едва слушал меня и недоверчиво улыбался. Это был уже страстный, убежденный женоненавистник, и переубедить его было невозможно.

– Э, полноте! – перебил он. – Раз женщина видит во мне не человека, не равного себе, а самца и всю свою жизнь хлопочет только о том, чтобы понравиться мне, т. е. завладеть мной, то может ли тут быть речь о полноправии? Ох, не верьте им, они очень, очень хитры! Мы, мужчины, хлопочем насчет их свободы, но они вовсе не хотят этой свободы и только делают вид, что хотят. Ужасно хитрые, страшно хитрые!

Мне уже было скучно спорить и хотелось спать. Я повернулся лицом к стенке.

– Да-с, – слышал я, засыпая. – Да-с. А всему виной наше воспитание, батенька. В городах всё воспитание и образование женщины в своей главной сущности сводятся к тому, чтобы выработать из нее человека-зверя, т. е. чтобы она нравилась самцу и чтобы умела победить этого самца. Да-с, – Шамохин вздохнул. – Нужно, чтобы девочки воспитывались и учились вместе с мальчиками, чтобы те и другие были всегда вместе. Надо воспитывать женщину так, чтобы она умела, подобно мужчине, сознавать свою неправоту, а то она, по ее мнению, всегда права. Внушайте девочке с пеленок, что мужчина прежде всего не кавалер и не жених, а ее ближний, равный ей во всем. Приучайте ее логически мыслить, обобщать и не уверяйте ее, что ее мозг весит меньше мужского[19] и что поэтому она может быть равнодушна к наукам, искусствам, вообще культурным задачам. Мальчишка-подмастерье, сапожник или маляр, тоже имеет мозг меньших размеров, чем взрослый мужчина, однако же участвует в общей борьбе за существование, работает, страдает. Надо также бросить эту манеру ссылаться на физиологию, на беременность и роды, так как, во-первых, женщина родит не каждый месяц; во-вторых, не все женщины рожают и, в-третьих, нормальная деревенская женщина работает в поле накануне родов – и ничего с ней не делается. Затем должно быть полнейшее равноправие в обыденной жизни. Если мужчина подает даме стул или поднимает оброненный платок, то пусть и она платит ему тем же. Я ничего не буду иметь против, если девушка из хорошего семейства поможет мне надеть пальто или подаст мне стакан воды...

Больше я ничего не слышал, так как уснул. На другой день утром, когда мы подходили к Севастополю, была неприятная сырая погода. Покачивало. Шамохин сидел со мной в рубке, о чем-то думал и молчал. Мужчины с поднятыми воротниками пальто и дамы с бледными, заспанными лицами, когда позвонили к чаю, стали спускаться вниз. Одна дама, молодая и очень красивая, та самая, которая в Волочиске сердилась на таможенных чиновников, остановилась перед Шамохиным и сказала ему с выражением капризного, избалованного ребенка:

– Жан, твою птичку укачало!

Потом, живя в Ялте, я видел, как эта красивая дама мчалась на иноходце, и за ней едва поспевали какие-то два офицера, и как она однажды утром, во фригийской шапочке и в фартучке, писала красками этюд, сидя на набережной, и большая толпа стояла поодаль и любовалась ею. Познакомился и я с ней. Она крепко-крепко пожала мне руку и, глядя на меня с восхищением, поблагодарила сладко-певучим голосом за то удовольствие, какое я доставляю ей своими сочинениями.

– Не верьте, – шепнул мне Шамохин, – она ничего вашего не читала.

Как-то перед вечером, когда я гулял по набережной, мне встретился Шамохин; в руках у него были большие свертки с закусками и фруктами.

– Князь Мактуев здесь! – сказал он радостно. – Вчера приехал с ее братом-спиритом. Теперь я понимаю, о чем она тогда переписывалась с ним! Господи, – продолжал он, глядя на небо и прижимая свертки к груди, – если у нее наладится с князем, то ведь это значит свобода, я могу уехать тогда в деревню, к отцу!

И он побежал дальше.

– Я начинаю веровать в духов! – крикнул он мне, оглядываясь, – Дух деда Илариона, кажется, напророчил правду! О, если бы!

На другой день после этой встречи я выехал из Ялты, и чем кончился роман Шамохина – мне неизвестно.

Убийство

I

На станции Прогонной служили всюнощную. Перед большим образом, написанным ярко, на золотом фоне, стояла толпа станционных служащих, их жен и детей, а также дровосеков и пильщиков, работавших вблизи по линии. Все стояли в безмолвии, очарованные блеском огней и воем метели, которая ни с того, ни с сего разыгралась на дворе, несмотря на канун Благовещения. Служил старик священник из Веденяпина; пели псаломщик и Матвей Терехов.

Лицо Матвея сияло радостью, он пел и при этом вытягивал шею, как будто хотел взлететь. Пел он тенором и канон читал тоже тенором, сладостно, убедительно. Когда пели «Архангельский глас», [20] он помахивал рукой, как регент, и, стараясь подладиться под глухой стариковский бас дьячка, выводил своим тенором что-то необыкновенно сложное, и по лицу его было видно, что испытывал он большое удовольствие.

Но вот всюнощная окончилась, все тихо разошлись, и стало опять темно и пусто, и наступила та самая тишина, какая бывает только на станциях, одиноко стоящих в поле или в лесу, когда ветер подвывает и ничего не слышно больше и когда чувствуется вся эта пустота кругом, вся тоска медленно текущей жизни.

Матвей жил недалеко от станции, в трактире своего двоюродного брата. Но ему не хотелось домой. Он сидел у буфетчика за прилавком и рассказывал вполголоса:

– У нас на изразцовом заводе был свой хор. И должен я вам заметить, хотя мы и простые мастера были, но пели мы по-настоящему, великолепно. Нас часто приглашали в город, и когда там викарный владыка Иоанн изволил служить в Троицкой церкви, то архиерейские певчие пели на правом клиросе, а мы на левом. Только в городе жаловались, что мы долго поем: заводские, говорили, тянут. Оно правда, мы «Андреево стояние» и «Похвалу» [21] начинали в седьмом, а кончали после одиннадцати, так что, бывало, придешь домой на завод, а уже первый час. Хорошо было! – вздохнул Матвей. – Очень даже хорошо, Сергей Никанорыч! А здесь, в родительском доме, никакой радости. Самая ближняя церковь в пяти верстах, при моем слабом здоровье и не дойдешь туда, певчих нет. А в семействе нашем никакого спокойствия, день-деньской шум, брань, нечистота, все из одной чашки едим, как мужики, а щи с тараканами... Не дает бог здоровья, а то бы я давно ушел, Сергей Никанорыч.

Матвей Терехов был еще не стар, лет 45, но выражение у него было болезненное, лицо в морщинах, и жидкая, прозрачная бородка совсем уже поседела, и это старило его на много лет. Говорил он слабым голосом, осторожно и, кашляя, брался за грудь, и в это время взгляд его становился беспокойным и тревожным, как у очень мнительных людей. Он никогда не говорил определенно, что у него болит, но любил длинно рассказывать, как однажды на заводе он поднял тяжелый ящик и надорвался и как от этого образовалась грызь, заставившая его бросить службу на изразцовом заводе и вернуться на родину. А что значит грызь, объяснить он не мог.

– Признаться, не люблю я брата, – продолжал он, наливая себе чаю. – Он мне старший, грех осуждать, и боюсь господ бога, но не могу утерпеть. Человек он надменный, суровый, ругательный, для своих родственников и работников мучитель, и на духу не бывает. В прошлое воскресенье я прошу его ласково: «Братец, поедимте в Пахомово к обедне!» А он: «Не поеду, – там, говорит, поп картежник». И сюда не пошел сегодня, потому, говорит, веденяпинский священник курит и водку пьет. Не любит духовенства! Сам себе и обедницу служит, и часы, и вечерню, а сестрица ему вместо дьячка. Он: господу помолимся! А она тонким голосочком, как индюшка: господи помилуй!.. Грех, да и только. Каждый день ему говорю: «Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!» – а он без внимания.

Сергей Никанорыч, буфетчик, налил пять стаканов чаю и понес их на подносе в дамскую. Едва он вошел туда, как послышался крик:

– Как ты подаешь, поросычья морда? Ты не умеешь подавать!

Это был голос начальника станции. Послышалось робкое бормотанье, потом опять крик, сердитый и резкий:

– Пошел вон!

Буфетчик вернулся сильно сконфуженный.

– Было время, когда угождал и графам, и князьям, – проговорил он тихо, – а теперь, видите, не умею чай подать... Обругал при священнике и дамах!

Буфетчик Сергей Никанорыч когда-то имел большие деньги и держал буфет на первом классе станции, в губернском городе, где перекрещивались две дороги. Тогда он носил фрак и золотые часы. Но дела у него шли плохо, он потратил все свои деньги на роскошную сервировку, обкрадывала его прислуга, и, запутавшись мало-помалу, он перешел на другую станцию, менее бойкую; здесь от него ушла жена и увезла с собой всё серебро, и он перешел на третью станцию, похуже, где уже не полагалось горячих кушаний. Потом на четвертую. Часто меняя места и спускаясь все ниже и ниже, он, наконец, попал на Прогонную и здесь торговал только чаем, дешевой водкой и на закуску ставил крутые яйца и твердую колбасу, от которой пахло смолой и которую сам же он в насмешку называл музыкантской. У него была лысина во всё темя, голубые глаза навывкате и густые, пушистые бакены, которые он часто расчесывал гребенкой, глядясь в маленькое зеркальце. Воспоминания о прошлом томили его постоянно, он никак не мог привыкнуть к музыкантской колбасе, к грубости начальника станции и к мужикам, которые торговались, а, по его мнению, торговаться в буфете было так же неприлично, как в аптеке. Ему было стыдно своей бедности и своего унижения, и этот стыд был теперь главным содержанием его жизни.

– А весна в этом году поздняя, – сказал Матвей, прислушиваясь. – Оно и лучше, я не люблю весны. Весной грязно очень, Сергей Никанорыч. В книжках пишут: весна, птицы поют, солнце заходит, а что тут приятного? Птица и есть птица и больше ничего. Я люблю хорошее общество, чтоб людей послушать, об леригии поговорить или хором спеть что-нибудь приятное, а эти там соловьи да цветочки – бог с ними!

Он опять начал об изразцовом заводе, о хоре, но оскорбленный Сергей Никанорыч никак не мог успокоиться и всё пожимал плечами и бормотал что-то. Матвей протерся и пошел домой.

Мороза не было, и уже таяло на крышах, но шел крупный снег; он быстро кружился в воздухе, и белые облака его гонялись друг за другом по полотну дороги. А дубовый лес, по обе стороны линии, едва освещенный луной, которая пряталась где-то высоко за облаками, издавал суровый, протяжный шум. Когда сильная буря качает деревья, то как они страшны! Матвей шел по шоссе вдоль линии, пряча лицо и руки, и ветер толкал его в спину. Вдруг показалась небольшая лошаденка, облепленная снегом, сани скребли по голым камням шоссе, и мужик с окутанною головой, тоже весь белый, хлестал кнутом. Матвей оглянулся, но уже не было ни саней, ни мужика, как будто всё это ему только примерещилось, и он ускорил шаги, вдруг испугавшись, сам не зная чего.

Вот переезд и темный домик, где живет сторож. Шлагбаум поднят, и около намело целые горы, и, как ведьмы на шабаше, кружатся облака снега. Тут линию пересекает старая, когда-то большая дорога, которую до сих пор еще зовут трактом. Направо, недалеко от переезда, у самой дороги, стоит трактир Терехова, бывший постоянный двор. Тут по ночам всегда брезжит огонек.

Когда Матвей пришел домой, во всех комнатах и даже в сенях сильно пахло ладаном. Брат его Яков Иваныч еще продолжал служить всенощную. В молельной, где это происходило, в переднем углу стоял киот со старинными дедовскими образами в позолоченных ризах, и обе стены направо и налево были уставлены образами старого и нового письма, в киотах и просто так. На столе, покрытом до земли скатертью, стоял образ Благовещения и тут же кипарисовый крест и кадильница; горели восковые свечи. Возле стола был аналой. Проходя мимо молельной, Матвей остановился и заглянул в дверь. Яков Иваныч в это время читал у аналая; с ним молилась сестра его Аглая, высокая, худощавая старуха в синем платье и белом платочке. Была тут и дочь Якова Иваныча, Дашутка, девушка лет 18, некрасивая, вся в веснушках, по обыкновению босая и в том же платье, в каком под вечер поила скотину.

– Слава тебе, показавшему нам свет![22] – провозгласил Яков Иваныч нараспев и низко поклонился,

Аглая подперла рукой подбородок и запела тонким, визгливым, тягучим голосом. А вверху над потолком тоже раздавались какие-то неясные голоса, которые будто угрожали или предвещали дурное. Во втором этаже после пожара, бывшего когда-то

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
очень давно, никто не жил, окна были забиты тесом и на полу между балок валялись
пустые бутылки. Теперь там стучал и гудел ветер и казалось, что кто-то бегал,
спотыкаясь о балки.

Половина нижнего этажа была занята под трактир, в другой помещалась семья
Терехова, так что когда в трактире шумели пьяные проезжие, то было слышно в
комнатах всё до одного слова. Матвей жил рядом с кухней, в комнате с большой
печью, где прежде, когда тут был постоянный двор, каждый день пекли хлеб. В этой
же комнате, за печкой помещалась и Дашутка, у которой не было своей комнаты.
Всегда тут по ночам кричал сверчок и суетились мыши.

Матвей зажег свечу и стал читать книгу, взятую им у станционного жандарма. Пока
он сидел над ней, моление кончилось и все легли спать. Дашутка тоже легла. Она
захрапела тотчас же, но скоро проснулась и сказала, зевая:

– Ты, дядя Матвей, зря бы свечку не жег.

– Это моя свечка, – ответил Матвей. – Я ее за свои деньги купил.

Дашутка поворочалась немного и опять заснула. Матвей сидел еще долго – ему не
хотелось спать – и, кончив последнюю страницу, достал из сундука карандаш и
написал на книге: «Сию книгу читал я, Матвей Терехов, и нахожу ее из всех
читанных мною книг самую лутшею, в чем и приношу мою признательность
унтер-офицеру жандармского управления железных дорог Кузьме Николаеву Жукову,
как владельцу оной бесценной книги». Делать подобные надписи на чужих книгах он
считал долгом вежливости.

II

В самый день Благовещения, после того, как проводили почтовый поезд, Матвей
сидел в буфете, пил чай с лимоном и говорил.

Слушали его буфетчик и жандарм Жуков.

– Я, надо вам заметить, – рассказывал Матвей, – еще в малолетстве был привержен
к леригии. Мне только двенадцать годочков было, а я уже в церкви апостола
читал, [23] и родители мои весьма утешались, и каждое лето мы с покойной
маменькой ходили на богомолье. Бывало, другие ребята песни поют или раков ловят,
а я в это время с маменькой. Старшие меня одобряли, да и мне самому было это
приятно, что я такого хорошего поведения. И как маменька благословили меня на
завод, то я между делом пел там тенором в нашем хоре, и не было лучшего
удовольствия. Само собой, водки я не пил, табаку не курил, соблюдал чистоту
телесную, а такое направление жизни, известно, не нравится врагу рода
человеческого, и захотел он, окаянный, погубить меня и стал омрачать мой разум,
всё равно, как теперь у братца. Самое первое, дал я обет не кушать по
понедельникам скоромного и не кушать мяса во все дни, и вообще с течением
времени нашла на меня фантазия. В первую неделю Великого поста до субботы святые
отцы положили сухоядение, но трудящим и слабым не грех даже чайку попить, у меня
же до самого воскресенья ни крошки во рту не было, и потом во весь пост я не
разрешал себе масла ни отнюдь, а в среды и пятницы так и вовсе ничего не кушал.
То же и в малые посты. Бывало, в Петровки наши заводские хлебают щи из судака, а
я в стороночке от них сухарик сосу. У людей сила разная, конечно, но я об себе
скажу: в постные дни мне не трудно было и так даже, что чем больше усердия, тем
легче. Хочется кушать только в первые дни поста, а потом привыкаешь, становится
всё легче и, гляди, в конце недели совсем ничего и в ногах этакое онемение,
будто ты не на земле, а на облаке. И, кроме того, налагал я на себя всякие
послушания: вставал по ночам и поклоны бил, камни тяжелые таскал с места на
место, на снег выходил босиком, ну, и вериги тоже. Только вот по прошествии
времени исповедаюсь я однажды у священника и вдруг такое мечтание: ведь
священник этот, думаю, женатый, скоромник и табачник; как же он может меня
исповедать и какую он имеет власть отпускать мне грехи, ежели он грешнее, чем я?
Я даже постного масла остерегаюсь, а он, небось, осетрину ел. Пошел я к другому
священнику, а этот, как на грех, толстомясый, в шелковой рясе, шуршит будто
дама, и от него тоже табаком пахнет. Пошел я говеть в монастырь, и там мое
сердце не спокойно, всё кажется, будто монахи не по уставу живут. И после этого
никак я не могу найти службу по себе: в одном месте служат очень скоро, в
другом, гляди, задостойник [24] не тот пропели, в третьем дьячок гугнивый...
Бывало, господи прости меня грешного, стою это в церкви, а от гнева сердце
трясется. Какая уж тут молитва? И представляется мне, будто народ в церкви не

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru так крестится, не так слушает; на кого ни погляжу, все пьяницы, скоромники, табачники, блудники, картежники, один только я живу по заповедям. Лукавый бес не дремал, дальше-больше, перестал я петь в хоре и уж вовсе не хожу в церковь; так уж я об себе понимаю, будто я человек праведный, а церковь по своему несовершенству для меня не подходит, то есть, подобно падшему ангелу, возмечтал я в гордыне своей до невероятия. После этого стал я хлопотать, как бы свою церковь устроить. Нанял я у глухой мещанки комнатусечку далеко за городом, около кладбища, и устроил молельную, вот как у братца, но только у меня еще ставники были и настоящее кадило. В этой своей молельной я держался устава святой Афонской горы, [25] то есть каждый день обязательно утренняя у меня начиналась в полночь, а под особо чтимые двенадцатые праздники [26] всенощная у меня служилась часов десять, а когда и двенадцать. Монахи все-таки, по уставу, во время кафизм и паремий [27] сидят, а я желал быть угоднее монахов и всё, бывало, на ногах. Читал я и пел протяжно, со слезами и со вздыханием, воздевая руки, и прямо с молитвы, не спавши, на работу, да и работаю всё с молитвой. Ну, пошло по городу: Матвей святой, Матвей больных и безумных исцеляет. Никого я, конечно, не исцелял, но известно, как только заведется какой раскол и лжеучение, то от женского пола отбоя нет. Всё равно, как мухи на мед. Повадились ко мне разные бабки и старые девки, в ноги мне кланяются, руки целуют и кричат, что я святой и прочее, а одна даже на моей голове сияние видела. Стало тесно в молельной, взял я комнату побольше, и пошло у нас настоящее столпотворение, бес забрал меня окончательно и заслонил свет от очей моих своими погаными копытами. Мы все вроде как бы взбесились. Я читал, а бабки и старые девки пели, и этак, долго не евши и не пивши, простоявши на ногах сутки или дольше, вдруг начинается с ними трясение, будто их лихорадка бьет, потом, этого, то одна крикнет, то другая – и этак страшно! Я тоже трясусь весь, как жид на сковородке, сам не знаю, по какой такой причине, и начинают наши ноги прыгать. Чудно, право: не хочешь, а прыгаешь и руками болтаешь; и потом, этого, крик, визг, все пляшем и друг за дружкой бегаем, бегаем до упаду. И таким образом, в диком беспамятстве впал я в блуд.

Жандарм засмеялся, но, заметив, что никто больше не смеется, стал серьезен и сказал:

– Это молоканство. Я читал, на Кавказе все так. [28]

– Но не убило меня громом, – продолжал Матвей, перекрестясь на образ и пошевелив губами. – Должно, молилась за меня на том свете покойница маменька. Когда уже меня все в городе святым почитали и даже дамы и хорошие господа стали приезжать ко мне потихоньку за утешением, как-то пошел я к нашему хозяину Осипу Варламычу прощаться – тогда прощенный день [29] был, – а он этак запер на крючок дверь и остались мы вдвоем, с глазу на глаз. И стал он меня отчитывать. А должен я вам заметить, Осип Варламыч без образования, но дальнего ума человек, и все его почитали и боялись, потому был строгой, богоугодной жизни и тружденник. Городским головой был и старостой лет, может, двадцать и много добра сделал; Ново-Московскую улицу всю покрыл гравием, выкрасил собор и колонны расписал под малафтит. Ну, запер дверь и – «давно, говорит, я до тебя добираюсь, такой-сякой... Ты, говорит, думаешь, что ты святой? Нет, ты не святой, а богоотступник, еретик и злодей!..» И пошел, и пошел... Не могу я вам выразить, как это он говорил, складненько да умненько, словно по-писаному, и так трогательно. Говорил часа два. Пронял он меня своими словами, открылись мои глаза. Слушал я, слушал и – как зарыдаю! «Будь, говорит, обыкновенным человеком, ешь, пей, одевайся и молись, как все, а что сверх обыкновения, то от беса. Вериги, говорит, твои от беса, посты твои от беса, молельная твоя от беса; всё, говорит, это гордость». На другой день, в чистый понедельник, [30] привел меня бог заболеть. Я надорвался, отвезли меня в больницу; мучился я до чрезвычайности и горько плакал и трепетал. Думал, что из больницы мне прямая дорога – в ад, и чуть не номер. Промучился я на одре болезни с полгода, а как выписался, то первым делом отговелся по-настоящему и стал опять человеком. Отпускал меня Осип Варламыч домой и наставлял: «Помни же, Матвей, что сверх обыкновения, то от беса». И я теперь ем и пью, как все, и молюсь, как все... Ежели теперь, случается, от батюшки пахнет табаком или винцом, то я не дерзаю осуждать, потому ведь и батюшка обыкновенный человек. Но как только говорят, что вот в городе или в деревне завелся, мол, святой, по неделям не ест и свои уставы заводит, то уж я понимаю, чьи тут дела. Так вот, судари мои, какая была история в моей жизни. Теперь и я, как Осип Варламыч, всё наставляю братца и сестрицу и укоряю их, но выходит глас вопиющего в пустыне. [31] Не дал мне бог дара.

Рассказ Матвея, по-видимому, не произвел никакого впечатления. Сергей Никанорыч

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
ничего не сказал и стал убирать с прилавка закуску, а жандарм заговорил о том, как богат брат Матвея, Яков Иваныч.

– У него тысяч тридцать, по крайней мере, – сказал он.

Жандарм Жуков, рыжий, полнолицый (когда он ходил, у него дрожали щеки), здоровый, сытый, обыкновенно, когда не было старших, сидел развалившись и положив ногу на ногу; разговаривая, он покачивался и небрежно посвистывал, и в это время на лице его было самодовольное, сытое выражение, как будто он только что пообедал. Деньги у него водились, и он всегда говорил о них с видом большого знатока. Он занимался комиссионерством, и когда нужно было кому-нибудь продать имение, лошадь или подержанный экипаж, то обращались к нему.

– Да, тридцать тысяч будет, пожалуй, – согласился Сергей Никанорыч. – У вашего дедушки было огромное состояние, – сказал он, обращаясь к Матвею. – Огромное! Всё потом осталось вашему отцу и вашему дяде. Ваш отец помер в молодых летах, и после него всё забрал дядя, а потом, значит, Яков Иваныч. Пока вы с маменькой на богомолье ходили и на заводе тенором пели, тут без вас не зевали.

– На вашу долю приходится тысяч пятнадцать, – сказал жандарм, покачиваясь. – Трактир у вас общий, значит, и капитал общий. Да. На вашем месте я давно бы подал в суд. Я бы в суд подал само собой, а пока дело, один на один всю бы рожу ему до крови...

Якова Иваныча не любили, потому что когда кто-нибудь верует не так, как все, то это неприятно волнует даже людей равнодушных к вере. Жандарм же не любил его еще и за то, что он тоже продавал лошадей и подержанные экипажи.

– Вам не охота судиться с братом, потому что у вас своих денег много, – сказал буфетчик Матвею, глядя на него с завистью. – Хорошо тому, у кого есть средства, а вот я, должно быть, так и умру в этом положении...

Матвей стал уверять, что у него вовсе нет денег, но Сергей Никанорыч уже не слушал; воспоминания о прошлом, об оскорблениях, которые он терпел каждый день, нахлынули на него; лысая голова его вспотела, он покраснел и замигал глазами.

– Жизнь проклятая! – сказал он с досадой и ударил колбасой о пол.

III

Рассказывали, что постоялый двор был построен еще при Александре I какою-то вдовой, которая поселилась здесь со своим сыном; называлась она Авдотьей Тереховой. У тех, кто, бывало, проезжал мимо на почтовых, особенно в лунные ночи, темный двор с навесом и постоянно запертые ворота своим видом вызвали чувство скуки и безотчетной тревоги, как будто в этом дворе жили колдуны или разбойники; и всякий раз, уже проехав мимо, ямщик оглядывался и подгонял лошадей. Останавливались здесь неохотно, так как хозяева всегда были неласковы и брали с проезжих очень дорого. Во дворе было грязно даже летом; здесь в грязи лежали громадные, жирные свиньи и бродили без привязи лошади, которыми барышничали Тереховы, и случалось часто, что лошади, соскучившись, выбегали со двора и, как бешеные, носились по дороге, пугая странниц. В то время здесь было большое движение; проходили длинные обозы с товарами, и бывали тут разные случаи, вроде того, например, как лет 30 назад обозчики, рассердившись, затеяли драку и убили проезжего купца, и в полуверсте от двора до сих пор еще стоит погнувшийся крест; проезжали почтовые тройки со звонками и тяжелые барские дормезы, с ревом и в облаках пыли проходили гурты рогатого скота.

Когда провели железную дорогу, то в первое время на этом месте был только полустанок, который назывался просто разъездом, потом же лет через десять построили теперешнюю Прогонную. Движение по старой почтовой дороге почти прекратилось, и по ней уже ездили только местные помещики и мужики, да весной и осенью проходили толпами рабочие. Постоялый двор превратился в трактир; верхний этаж обгорел, крыша стала желтой от ржавчины, навес мало-помалу обвалился, но на дворе в грязи всё еще валялись громадные, жирные свиньи, розовые, отвратительные. По-прежнему иногда со двора выбегали лошади и бешено, задрав хвосты, носились по дороге. В трактире торговали чаем, сеном, мукой, а также водкой и пивом, распивочно и на вынос; спиртные напитки продавали с опаской, так как патента никогда не брали.

Тереховы вообще всегда отличались религиозностью, так что им даже дали прозвище – Богомолы. Но, быть может, оттого, что они жили особняком, как медведи, избегали людей и до всего доходили своим умом, они были склонны к мечтаньям и к колебаниям в вере, и почти каждое поколение веровало как-нибудь особенно. Бабка Авдотья, которая построила постоянный двор, была старой веры, ее же сын и оба внука (отцы Матвея и Якова) ходили в православную церковь, принимали у себя духовенство и новым образом молились с таким же благоговением, как старым; сын в старости не ел мяса и наложил на себя подвиг молчания, считая грехом всякий разговор, а у внуков была та особенность, что они понимали писание не просто, а всё искали в нем скрытого смысла, уверяя, что в каждом святом слове должна содержаться какая-нибудь тайна. Правнук Авдотьи, Матвей, с самого детства боролся с мечтаньями и едва не погиб, другой правнук, Яков Иваныч, был православным, но после смерти жены вдруг перестал ходить в церковь и молился дома. На него глядя, совратилась и сестра Аглая: сама не ходила в церковь и Дашутку не пускала. Про Аглаю еще рассказывали, будто в молодых годах она хаживала в Веденяпино к хлыстам и что втайне она еще продолжает быть хлыстовкой, [32] а потому-де ходит в белом платочке.

Яков Иваныч был старше Матвея на десять лет. Это был очень красивый старик, высокого роста, с широкою седою бородой, почти до пояса, и с густыми бровями, придававшими его лицу суровое, даже злое выражение. Носил он длинную поддевку из хорошего сукна или черный романовский полубубок и вообще старался одеваться чисто и прилично; калоши носил даже в сухую погоду. В церковь он не ходил потому, что, по его мнению, в церкви не точно исполняли устав, и потому, что священники пили вино в непоказанное время и курили табак. Дома у себя он каждый день читал и пел вместе с Аглаей. В Веденяпине в заутрени вовсе не читали канона и вечерни не служили даже в большие праздники, он же у себя дома прочитывал всё, что полагалось на каждый день, не пропуская ни одной строки и не торопясь, а в свободное время читал вслух жития. И в обыденной жизни он строго держался устава; так, если в Великом посту в какой-нибудь день разрешалось, по уставу, вино «ради труда бденного», то он непременно пил вино, даже если не хотелось.

Он читал, пел, кадил и постился не для того, чтобы получить от бога какие-либо блага, а для порядка. Человек не может жить без веры, и вера должна выражаться правильно, из года в год, изо дня в день в известном порядке, чтобы каждое утро и каждый вечер человек обращался к богу именно с теми словами и мыслями, какие приличны данному дню и часу. Нужно жить, а значит и молиться так, как угодно богу, и поэтому каждый день следует читать и петь только то, что угодно богу, то есть что полагается по уставу; так, первую главу от Иоанна нужно читать только в день Пасхи, а от Пасхи до Вознесения нельзя петь «Достойно есть» [33] и проч. Сознание этого порядка и его важности доставляло Якову Иванычу во время молитвы большое удовольствие. Когда ему по необходимости приходилось нарушать этот порядок, например, уезжать в город за товаром или в банк, то его мучила совесть и он чувствовал себя несчастным.

Брат Матвей, приехавший неожиданно из завода я поселившийся в трактире, как дома, с первых же дней стал нарушать порядок. Он не хотел молиться вместе, ел и пил чай не вовремя, поздно вставал, в среды и пятницы пил молоко, будто бы по слабости здоровья; почти каждый день во время молитвы он входил в молельную и кричал: «Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!» От этих слов Якова Иваныча бросало в жар, а Аглая, не выдержав, начинала браниться. Или ночью, подкравшись, Матвей входил в молельную и говорил тихо: «Братец, ваша молитва не угодна богу. Потому что сказано: прежде смиришь с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой. [34] Вы же деньги в рост даете, водочкой торгуете. Покайтесь!»

В словах Матвея Яков видел лишь обычную отговорку пустых и нерадивых людей, которые говорят о любви к ближнему, о примирении с братом и проч. для того только, чтобы не молиться, не постить и не читать святых книг, и которые презрительно отзываются о наживе и процентах только потому, что не любят работать. Ведь быть бедным, ничего не копить и ничего не беречь гораздо легче, чем быть богатым.

А всё же он был взволнован и уже не мог молиться, как прежде. Едва он входил в молельную и раскрывал книгу, как уже начинал бояться, что вот-вот войдет брат и помешает ему; и в самом деле, Матвей появлялся скоро и кричал дрожащим голосом: «Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!» Сестра бранилась, и Яков тоже выходил из себя и кричал: «Пошел вон из моего дома!» А тот ему: «Этот дом наш общий».

Начинал Яков снова читать и петь, но уже не мог успокоиться и, сам того не замечая, вдруг задумывался над книгой; хотя слова брата считал он пустяками, но почему-то и ему в последнее время тоже стало приходить на память, что богатому трудно войти в царство небесное, что в третьем году он купил очень выгодно краденую лошадь, что еще при покойнице жене однажды какой-то пьяница умер у него в трактире от водки...

По ночам он спал теперь нехорошо, чутко, и ему слышно было, как Матвей тоже не спал и всё вздыхал, скучая по своему изразцовому заводу. И Якову ночью, пока он ворочался с боку на бок, вспоминались и краденая лошадь, и пьяница, и евангельские слова о верблюде.

Похоже было на то, как будто у него опять начинались мечтания. А как нарочно, каждый день, несмотря на то, что уже был конец марта, шел снег и лес шумел по-зимнему, и не верилось, что весна настанет когда-нибудь. Погода располагала и к скуке, и к ссорам, и к ненависти, а ночью, когда ветер гудел над потолком, казалось, что кто-то жил там наверху, в пустом этаже, мечтания мало-помалу наваливали на ум, голова горела и не хотелось спать.

IV

Утром в Страстной понедельник Матвей слышал из своей комнаты, как Дашутка сказала Аглае:

– Дядя Матвей говорил надысь, поститься, говорил, не надо.

Матвей припомнил весь разговор, какой у него был накануне с Дашуткой, и ему вдруг стало обидно.

– Девушка, не грехи! – сказал он стонущим голосом, как больной. – Без постов нельзя, сам господь наш постился сорок дней. А только я тебе объяснял, что худому человеку и пост не в пользу.

– А ты только послушай заводских, они научат добру, – проговорила насмешливо Аглая, моя пол (в будни она обыкновенно мыла полы и при этом сердилась на всех). – На заводе известно какой пост. Ты вот спроси его, дядю-то своего, спроси про душеньку, как он с ней, с гадюкой, в постные дни молоко трескал. Других-то он учит, а сам забыл про гадюку. А спроси: кому он деньги оставил, кому?

Матвей тщательно, как неопрытаную рану, скрывал ото всех, что в тот самый период своей жизни, когда во время молений с ним вместе прыгали и бегали старухи и девки, он вступил в связь с одной мещанкой и имел от нее ребенка. Уезжая домой, он отдал этой женщине всё, что скопил на заводе, а для себя на проезд взял у хозяина, и теперь у него было всего несколько рублей, которые он тратил на чай и свечи. «Душенька» потом извещала его, что ребенок умер, и спрашивала в письме, как поступить с деньгами. Это письмо принес со станции работник, Аглая перехватила и прочла, и потом каждый день попрекала Матвея «душенькой».

– Шутка, девятьсот рублей! – продолжала Аглая. – Отдал девятьсот рублей чужой гадюке, заводской кобыле, чтоб ты лопнул! – Она уже разошлась и кричала визгливо: – Молчишь? Я б тебя разорвала, лядащий! Девятьсот рублей, как копеечка! Ты бы под Дашутку подписал – своя, не чужая, – а то послал бы в Белев Марьиным сиротам несчастным. И не подавилась твоя гадюка, будь она трижды анафема проклята, дьяволица, чтоб ей светлого дня не дожидаться!

Яков Иваныч окликнул ее; было уже время начинать часы. Она умылась, надела белую косыночку и пошла в молельную к своему любимому брату уже тихая, скромная. Когда она говорила с Матвеем или в трактире подавала мужикам чай, то это была тощая, остроглазая, злая старуха, в молельной же лицо у нее было чистое, умиленное, сама она как-то вся молодела, манерно приседала и даже складывала сердечком губы.

Яков Иваныч начал читать часы тихо и заунывно, как он читал всегда в Великий пост. Почитав немного, он остановился, чтобы прислушаться к покою, какой был во всем доме, и потом продолжал опять читать, испытывая удовольствие; он молитвенно складывал руки, закатывал глаза, покачивал головой, вздыхал. Но вдруг слышались голоса. К Матвею пришли в гости жандарм и Сергей Никанорыч. Яков Иваныч стеснялся читать вслух и петь, когда в доме были посторонние, и теперь,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru услышав голоса, стал читать шепотом и медленно. В молельной было слышно, как буфетчик говорил:

– Татарин в Щепове сдает свое дело за полторы тысячи. Можно дать ему теперь пятьсот, а на остальные вексель. Так вот, Матвей Васильич, будьте столь благонадежны, одолжите мне эти пятьсот рублей. Я вам два процента в месяц.

– Какие у меня деньги! – изумился Матвей. – Какие у меня деньги!

– Два процента в месяц, это для вас как с неба, – объяснял жандарм. – А лежавши у вас, ваши деньги только моль ест и больше никакого результата.

Потом гости ушли, и наступило молчание. Но едва Яков Иваныч начал опять читать вслух и петь, как из-за двери послышался голос:

– Братец, позвольте мне лошади в Веденяпино съездить!

Это был Матвей. И у Якова на душе стало опять непокойно.

– На чем же вы поедете? – спросил он, подумав. – На гнедом работник свинью повез, а на жеребчике я сам поеду в Шутейкино, вот как кончу.

– Братец, почему это вы можете распоряжаться лошадьми, а я нет? – спросил с раздражением Матвей.

– Потому что я не гулять, а по делу.

– Имущество у нас общее, значит, и лошади общие, и вы это должны понимать, братец.

Наступило молчание. Яков не молился и ждал, когда отойдет от двери Матвей.

– Братец, – говорил Матвей, – я человек больной, не хочу я имения, бог с ним, владейте, но дайте хоть малую часть на пропитание в моей болезни. Дайте, и я уйду.

Яков молчал. Ему очень хотелось развязаться с Матвеем, но дать ему денег он не мог, так как все деньги были при деле; да и во всем роду Тереховых не было еще примера, чтобы братья делились; делиться – разориться.

Яков молчал и всё ждал, когда уйдет Матвей, и всё смотрел на сестру, боясь, как бы она не вмешалась и не началась бы опять брань, какая была утром. Когда, наконец, Матвей ушел, он продолжал читать, но уже удовольствия не было, от земных поклонов тяжелела голова и темнело в глазах, и было скучно слушать свой тихий, заунывный голос. Когда такой упадок духа бывал у него по ночам, то он объяснял его тем, что не было сна, днем же это его пугало и ему начинало казаться, что на голове и на плечах у него сидят бесы.

Кончив кое-как часы, недовольный и сердитый, он поехал в Шутейкино. Еще осенью землекопы рыли около Прогонной межевую канаву и прохарчили в трактире 18 рублей, и теперь нужно было застать в Шутейкине их подрядчика и получить с него эти деньги. От тепла и метелей дорога испортилась, стала темною и ухабистою и местами уже проваливалась; снег по бокам осел ниже дороги, так что приходилось ехать, как по узкой насыпи, и сворачивать при встречах было очень трудно. Небо хмурилось еще с утра, и дул сырой ветер...

Навстречу ехал длинный обоз: бабы везли кирпич. Яков должен был свернуть с дороги; лошадь его вошла в снег по брюхо, сани-одиночки накренились вправо, и сам он, чтобы не свалиться, согнулся влево и сидел так всё время, пока мимо него медленно подвигался обоз; он слышал сквозь ветер, как скрипели сани и дышали тощие лошади и как бабы говорили про него: «Богомолов едет», – а одна, поглядев с жалостью на его лошадь, сказала быстро:

– Похоже, снег до Егория пролежит. Замучились!

Яков сидел неудобно, согнувшись, и щурил глаза от ветра, а перед ним всё мелькали то лошади, то красный кирпич. И, быть может, оттого, что ему было неудобно и болел бок, вдруг ему стало досадно, и дело, по которому он теперь

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru ехал, показалось ему неважным, и он сообразил, что можно было бы в Шутейкино послать завтра работника. Опять почему-то, как в прошлую бессонную ночь, он вспомнил слова про верблюда и затем полезли в голову разные воспоминания то о мужике, который продавал краденую лошадь, то о пьянице, то о бабах, которые приносили ему в заклад самовары. Конечно, каждый купец старается взять больше, но Яков почувствовал утомление оттого, что он торговец, ему захотелось уйти куда-нибудь подальше от этого порядка и стало скучно от мысли, что сегодня ему еще надо читать вечерню. Ветер бил ему прямо в лицо и шуршал в воротнике, и казалось, что это он нашептывал ему все эти мысли, принося их с широкого белого поля... Глядя на это поле, знакомое ему с детства, Яков вспоминал, что точно такая же тревога и те же мысли были у него в молодые годы, когда на него находили мечтания и колебалась вера.

Ему было жутко оставаться одному в поле, он повернул назад и тихо поехал за обозом, а бабы смеялись и говорили:

– Богомоллов вернулся.

Дома, по случаю поста, ничего не варили и не ставили самовара, и день поэтому казался очень длинным. Яков Иваныч давно уже убрал лошадь, отпустил муки на станцию и два раза принимался читать псалтирь, а до вечера всё еще было далеко. Аглая вымыла уже все полы и, от нечего делать, убирала у себя в сундуке, крышка которого изнутри была вся оклеена ярлыками с бутылок. Матвей, голодный и грустный, сидел и читал или же подходил к голландской печке и подолгу осматривал изразцы, которые напоминали ему завод. Дашутка спала, потом, проснувшись, пошла поить скотину. У нее, когда она доставала воду из колодца, оборвалась веревка и ведро упало в воду. Работник стал искать багор, чтобы вытащить ведро, а Дашутка ходила за ним по грязному снегу, босая, с красными, как у гусыни, ногами и повторяла: «Там глыбля!» Она хотела сказать, что в колодце глубже, чем может достать багор, но работник не понимал ее, и, очевидно, она надоела ему, так как он вдруг обернулся и выбралил ее нехорошими словами. Яков Иваныч, вышедший в это время на двор, слышал, как Дашутка ответила работнику скороговоркой длинной, отборною бранью, которой она могла научиться только в трактире у пьяных мужиков.

– Что ты, срамница? – крикнул он ей и даже испугался. – Какие это ты слова?

А она глядела на отца с недоумением, тупо, не понимая, почему нельзя произносить таких слов. Он хотел прочесть ей наставление, но она показалась ему такою дикою, темною, и в первый раз за всё время, пока она была у него, он сообразил, что у нее нет никакой веры. И вся эта жизнь в лесу, в снегу, с пьяными мужиками, с бранью представилась ему такою же дикою и темной, как эта девушка, и, вместо того, чтобы читать ей наставление, он только махнул рукой и вернулся в комнату.

В это время опять пришли к Матвею жандарм и Сергей Никанорыч. Яков Иваныч вспомнил, что у этих людей тоже нет никакой веры и что это их несколько не беспокоит, и жизнь стала казаться ему странною, безумною и беспросветною, как у собаки; он без шапки прошелся по двору, потом вышел на дорогу и ходил, сжав кулаки, – в это время пошел снег хлопьями, – борода у него развевалась по ветру, он всё встряхивал головой, так как что-то давило ему голову и плечи, будто сидели на них бесы, и ему казалось, что это ходит не он, а какой-то зверь, громадный, страшный зверь, и что если он закричит, то голос его пронесется ревом по всему полю и лесу и испугает всех...

У

Когда он вернулся в дом, жандарма уже не было, а буфетчик сидел в комнате Матвея и считал что-то на счетах. Он и раньше часто, почти каждый день, бывал в трактире; прежде ходил к Якову Иванычу, а в последнее время к Матвею. Он всё считал на счетах, и при этом лицо его напрягалось и потело, или просил денег, или, разглаживая бакены, рассказывал о том, как когда-то на первоклассной станции он приготавливал для офицеров крышон и на парадных обедах сам разливал стерляжьё уху. На этом свете его ничто не интересовало, кроме буфетов, и умел он говорить только о кушаньях, сервировках, винах. Однажды, подавая чай молодой женщине, которая кормила грудью ребенка, и желая сказать ей что-нибудь приятное, он выразился так:

– Грудь матери, это – буфет для младенца.

Считая на счетах в комнате Матвея, он просил денег, говорил, что на Прогонной

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
ему уже нельзя жить, и несколько раз повторил таким тоном, как будто собирался заплакать:

– Куда же я пойду? Куда я теперь пойду, скажите на милость?

Потом Матвей пришел в кухню и стал чистить вареный картофель, который он припрятал, вероятно, со вчерашнего дня. Было тихо, и Якову Иванычу показалось, что буфетчик ушел. Давно уже была пора начинать вечерню; он позвал Аглаю и, думая, что в доме нет никого, запел без стеснения, громко. Он пел и читал, но мысленно произносил другие слова: «Господи, прости! Господи, спаси!» – и один за другим, не переставая, клал земные поклоны, точно желая утомить себя, и всё встряхивал головой, так что Аглая смотрела на него с удивлением. Он боялся, что войдет Матвей, и был уверен, что он войдет, и чувствовал против него злобу, которой не мог одолеть ни молитвой, ни частыми поклонами.

Матвей тихо-тихо отворил дверь и вошел в молельную.

– Грех, какой грех! – сказал он укоризненно и вздохнул. – Покайтесь! Опомнитесь, братец!

Яков Иваныч, сжав кулаки, не глядя на него, чтобы не ударить, быстро вышел из молельной. Так же, как давеча на дороге, чувствуя себя громадным, страшным зверем, он прошел через сени в серую, грязную, пропитанную туманом и дымом половину, где обыкновенно мужики пили чай, и тут долго ходил из угла в угол, тяжело ступая, так что звенела посуда на полках и шатались столы. Ему уже было ясно, что сам он недоволен своею верой и уже не может молиться по-прежнему. Надо было каяться, надо было опомниться, образумиться, жить и молиться как-нибудь иначе. Но как молиться? А, может быть, всё это только смущает бес и ничего этого не нужно?.. Как быть? Что делать? Кто может научить? Какая беспомощность! Он остановился и, взявшись за голову, стал думать, но то, что близко находился Матвей, мешало ему спокойно соображать. И он быстро пошел в комнаты.

Матвей сидел в кухне перед чашкой с картофелем и ел. Тут же около печи сидели друг против друга Аглая и Дашутка и мотали нитки. Между печью и столом, за которым сидел Матвей, была протянута гладильная доска; на ней стоял холодный утюг.

– Сестрица, – попросил Матвей, – позвольте мне маслица!

– Кто же в такой день масло ест? – спросила Аглая.

– Я, сестрица, не монах, а мирянин. А по слабости здоровья мне не то что масло, даже молоко можно.

– Да, у вас на заводе всё можно.

Аглая достала с полки бутылку с постным маслом и поставила ее перед Матвеем, сердито стукнув, с злорадною улыбкой, очевидно, довольная, что он такой грешник.

– А я тебе говорю, ты не можешь есть масла! – крикнул Яков.

Аглая и Дашутка вздрогнули, а Матвей, точно не слышал, налил себе масла в чашку и продолжал есть.

– А я тебе говорю, ты не можешь есть масла! – крикнул Яков еще громче, покраснел весь и вдруг схватил чашку, поднял ее выше головы и изо всей силы ударил оземь, так что полетели черепки. – Не смей говорить! – крикнул он неистовым голосом, хотя Матвей не сказал ни слова. – Не смей! – повторил он и ударил кулаком по столу.

Матвей побледнел и встал.

– Братец! – сказал он, продолжая жевать. – Братец, опомнитесь!

– Вон из моего дома сию минуту! – крикнул Яков; ему были противны морщинистое лицо Матвея, и его голос, и крошки на усах, и то, что он жует. – Вон, тебе говорят!

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Братец, уймись! Вас обуяла гордость бесовская!

– Молчи! (Яков застучал ногами.) Уходи, дьявол!

– Вы, ежели желаете знать, – продолжал Матвей громко, тоже начиная сердиться, – вы богоотступник и еретик. Бесы окаянные заслонили от вас истинный свет, ваша молитва не угодна богу. Покайтесь, пока не поздно! Смерть грешника люта! Покайтесь, братец!

Яков взял его за плечи и потащил из-за стола, а он еще больше побледнел и, испугавшись, смутившись, забормотал: «Что ж оно такое? Что ж оно такое?» – и, упираясь, делая усилия, чтобы высвободиться из рук Якова, нечаянно ухватился за его рубаху около шеи и порвал воротник, а Аглае показалось, что это он хочет бить Якова, она вскрикнула, схватила бутылку с постным маслом и изо всей силы ударила ею ненавистного брата прямо по темени. Матвей пошатнулся, и лицо его в одно мгновение стало спокойным, равнодушным; Яков, тяжело дыша, возбужденный и испытывая удовольствие оттого, что бутылка, ударившись о голову, крикнула, как живая, не давал ему упасть и несколько раз (это он помнил очень хорошо) указал Аглае пальцем на утюг, и только когда полилась по его рукам кровь и послышался громкий плач Дашутки, и когда с шумом упала гладильная доска и на нее грузно повалился Матвей, Яков перестал чувствовать злобу и понял, что произошло.

– Пусть издыхает, заводский жеребец! – с отвращением проговорила Аглая, не выпуская из рук утюга; белый, забрызганный кровью платочек сполз у нее на плечи, и седые волосы распустились. – Туда ему и дорога!

Всё было страшно. Дашутка сидела на полу около печки с нитками в руках, всхлипывала и всё кланялась, произнося с каждым поклоном: «гам! гам!» Но ничто не было так страшно для Якова, как вареный картофель в крови, на который он боялся наступить, и было еще нечто страшное, что угнетало его, как тяжкий сон, и казалось самым опасным и чего он никак не мог понять в первую минуту. Это был буфетчик Сергей Никанорыч, который стоял на пороге со счетами в руках, очень бледный, и с ужасом смотрел на то, что происходило в кухне. Только когда он повернулся и быстро пошел в сени, а оттуда наружу, Яков понял, кто это, и пошел за ним.

Вытирая на ходу руки о снег, он думал. Промелькнула мысль о том, что работник отпросился ночевать к себе в деревню и ушел уже давно; вчера резали свинью, и громадные кровавые пятна были на снегу, на санях и даже одна сторона колодезного сруба была обрызгана кровью, так что если бы теперь вся семья Якова была в крови, то это не могло бы показаться подозрительным. Скрывать убийство было бы мучительно, но то, что явится со станции жандарм, который будет посвистывать и насмешливо улыбаться, придут мужики и крепко свяжут руки Якову и Аглае и с торжеством поведут их в волость, а оттуда в город, и дорогой все будут указывать на них и весело говорить: «Богомоловых ведут!» – это представлялось Якову мучительнее всего, и хотелось протянуть как-нибудь время, чтобы пережить этот срам не теперь, а когда-нибудь после.

– Я вам могу одолжить тысячу рублей... – сказал он, догнав Сергея Никанорыча. – Если вы кому скажете, то от этого никакой пользы... а человека все равно не воскресить, – и, едва поспевая за буфетчиком, который не оглядывался и старался идти всё скорее, он продолжал: – И полторы тысячи могу дать...

Он остановился, потому что запыхался, а Сергей Никанорыч пошел дальше всё так же быстро, вероятно, боясь, чтобы его также не убили. Только миновав переезд и пройдя половину шоссе, которое вело от переезда до станции, он мельком оглянулся и пошел тише. На станции и по линии уже горели огни, красные и зеленые; ветер утих, но снег всё еще сыпался хлопьями и дорога опять побелела. Но вот почти около самой станции Сергей Никанорыч остановился, подумал минуту и решительно пошел назад. Становилось темно.

– Пожалуйте полторы тысячи, Яков Иваныч, – сказал он тихо, дрожа всем телом. – Я согласен.

VI

Деньги Якова Иваныча лежали в городском банке и были розданы под вторые закладные; дома у себя он держал немного, только то, что нужно было для оборота. Войдя в кухню, он нащупал жестянку со спичками и, пока синим огнем горела сера,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru успел разглядеть Матвея, который лежал по-прежнему на полу около стола, но уже был накрыт белой простыней, и были видны только его сапоги. Кричал сверчок. Аглая и Дашутки не было в комнатах: обе они сидели в чайной за прилавком и молча мотали нитки. Яков Иваныч с лампочкой прошел к себе в комнату и вытащил из-под кровати сундучок, в котором держал расхожие деньги. В этот раз набралось всего четыреста двадцать одними мелкими бумажками и серебра на тридцать пять рублей; от бумажек шел нехороший, тяжелый дух. Забрав деньги в шапку, Яков Иваныч вышел на двор, потом за ворота. Он шел и глядел по сторонам, но буфетчика не было.

– Гоп! – крикнул Яков.

У самого переезда от шлагбаума отделилась темная фигура и нерешительно пошла к нему.

– Что вы всё ходите и ходите? – проговорил Яков с досадой, узнав буфетчика. – Вот вам: тут немного не хватило до пятисот... Дома нет больше.

– Хорошо... Очень вам благодарен, – бормотал Сергей Никанорыч, хватая деньги с жадностью и запихивая их в карманы; он весь дрожал, и это было заметно, несмотря на потемки. – А вы, Яков Иваныч, будьте покойны... К чему мне болтать? Мое дело такое, я был да ушел. Как говорится, знать ничего не знаю, ведать не ведаю... – и тут же добавил со вздохом: – Жизнь проклятая!

Минуту стояли молча, не глядя друг на друга.

– Так это у вас, из пустяков, бог его знает как... – сказал буфетчик, дрожа. – Сижу я, считаю себе и вдруг шум... Гляжу в дверь, а вы из-за постного масла... Где он теперь?

– Лежит там в кухне.

– Вы бы его свезли куда... Что ждать?

Яков проводил его до станции молча, потом вернулся домой и запряг лошадь, чтобы везти Матвея в Лимарово. Он решил, что свезет его в Лимаровский лес и оставит там на дороге, а потом будет говорить всем, что Матвей ушел в Веденяпино и не возвращался, и все тогда подумают, что его убили прохожие. Он знал, что этим никого не обманешь, но двигаться, делать что-нибудь, хлопотать было не так мучительно, как сидеть и ждать. Он кликнул Дашутку и вместе с ней повез Матвея. А Аглая осталась убирать в кухне.

Когда Яков и Дашутка возвращались назад, их задержал у переезда опущенный шлагбаум. Шел длинный товарный поезд, который тащили два локомотива, тяжело дыша и выбрасывая из поддувал снопы багрового огня. На переезде в виду станции передний локомотив издал пронзительный свист.

– Свистить... – проговорила Дашутка.

Поезд, наконец, прошел, и сторож не спеша поднял шлагбаум.

– Это ты, Яков Иваныч? – сказал он. – Не узнал, богатым быть.

А потом, когда приехали домой, надо было спать. Аглая и Дашутка легли рядом, постлавши себе в чайной на полу, а Яков расположился на прилавке. Перед тем, как ложиться, богу не молились и лампад не зажигали. Все трое не спали до самого утра, но не промолвили ни одного слова, и казалось им всю ночь, что наверху в пустом этаже кто-то ходит.

Через два дня приехали из города становой пристав и следователь и сделали обыск сначала в комнате Матвея, потом во всем трактире. Допрашивали прежде всего Якова, и он показал, что Матвей в понедельник под вечер ушел в Веденяпино говеть и что, должно быть, дорогой его убили пильщики, работающие теперь по линии. А когда следователь спросил его, почему же так случилось, что Матвея нашли на дороге, а шапка его оказалась дома, – разве он пошел в Веденяпино без шапки? и почему около него на дороге на снегу не нашли ни одной капли крови, в то время как голова у него была проломлена и лицо и грудь были черны от крови, Яков смутился растерялся и ответил:

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Не могу знать.

И произошло именно то, чего так боялся Яков: приходил жандарм, урядник курил в молельной, и Аглая набросилась на него с бранью и нагрубилась становому приставу, и когда потом Якова и Аглаю вели со двора, у ворот толпились мужики и говорили: «Богомолова ведут!» – и казалось, все были рады.

Жандарм на допросе показал прямо, что Матвея убили Яков и Аглая, чтобы не делиться с ним, и что у Матвея были свои деньги, и если их не оказалось при обыске, то, очевидно, ими воспользовались Яков и Аглая. И Дашутку спрашивали. Она сказала, что дядя Матвей и тетка Аглая каждый день бранились и чуть не дрались из-за денег, а дядя был богатый, так как он даже какой-то своей душеньке подарил девятьсот рублей.

Дашутка осталась в трактире одна; никто уж не приходил пить чай и водку, и она то убирала в комнатах, то пила мед и ела баранки; но через несколько дней допрашивали сторожа на переезде, и он сказал, что в понедельник поздно вечером видел, как Яков ехал с Дашуткой из Лимарова. Дашутку тоже арестовали, повели в город и посадили в острог. Вскоро, со слов Аглаи, стало известно, что во время убийства присутствовал Сергей Никанорыч; у него сделали обыск и нашли деньги в необычном месте, в валенке под печкой, и деньги всё были мелкие, одних рублевых бумажек было триста. Он божился, что эти деньги он наторговал и что в трактире он не был уже более года, а свидетели показали, что он был беден и в последнее время сильно нуждался в деньгах и ходил в трактир каждый день, чтобы взять у Матвея займы, и жандарм рассказал, как в день убийства сам он два раза ходил с буфетчиком в трактир, чтобы помочь ему сделать заем. Вспомнили кстати, что в понедельник вечером Сергей Никанорыч не выходил к товаро-пассажирскому поезду, а уходил куда-то. И его тоже арестовали и отправили в город.

Через одиннадцать месяцев был суд.

Яков Иваныч сильно постарел, похудел и говорил уже тихо, как больной. Он чувствовал себя слабым, жалким, нише всех ростом, и было похоже на то, как будто от мучений совести и мечтаний, которые не покидали его и в тюрьме, душа его так же постарела и отошала, как тело. Когда зашла речь о том, что он не ходит в церковь, председатель спросил его:

– Вы раскольник?

– Не могу знать, – ответил он.

Он не имел уже никакой веры, ничего не знал и не понимал, а прежняя вера была ему теперь противна и казалась неразумной, темной. Аглая не смирилась нисколько и продолжала бранить покойного Матвея, обвиняя его во всех несчастиях. У Сергея Никанорыча на месте бакенов выросла борода; на суде он потел, краснел и, видимо, стыдился серого халата и того, что его посадили на одну скамью с простыми мужиками. Он неловко оправдывался и, желая доказать, что в трактире он не был целый год, вступал в спор с каждым свидетелем, и публика смеялась над ним. Дашутка, пока была в тюрьме, пополнела; на суде она не понимала вопросов, которые задавали ей, и сказала только, что когда дядю Матвея убивали, то она очень испугалась, а потом ничего.

Все четверо были признаны виновными в убийстве с корыстной целью. Яков Иваныч был приговорен к каторжным работам на двадцать лет, Аглая – на тринадцать с половиной, Сергей Никанорыч – на десять, Дашутка – на шесть.

VII

На Дуэском рейде на Сахалине поздно вечером остановился иностранный пароход и потребовал угля. Просили командира подождать до утра, но он не пожелал ждать и одного часа, говоря, что если за ночь погода испортится, то он рискует уйти без угля. В Татарском проливе погода может резко измениться в какие-нибудь полчаса, и тогда сахалинские берега становятся опасны. А уже свежело и разводило порядочную волну.

Из Воеводской тюрьмы, самой неприглядной и суровой из всех сахалинских тюрем, погнали в рудник партию арестантов. Предстояло нагружать углем баржи, затем тащить их на буксире парового катера к борту парохода, который стоял более чем в полуверсте от берега, и там должна была начаться перегрузка – мучительная

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru работа, когда баржу бьет о пароход и рабочие едва держатся на ногах от морской болезни. Каторжные, только что поднятые с постелей, сонные, шли по берегу, спотыкаясь в потемках и звеня кандалами. Налево был едва виден высокий крутой берег, чрезвычайно мрачный, а направо была сплошная, беспросветная тьма, в которой стонало море, издавая протяжный, однообразный звук: «а... а... а... а...», и только когда надзиратель закуривал трубку и при этом мельком освещался конвойный с ружьем и два-три ближайших арестанта с грубыми лицами, или когда он подходил с фонарем близко к воде, то можно было разглядеть белые гребни передних волн.

В этой партии находился Яков Иваныч, прозванный на каторге Веником за свою длинную бороду. По имени и отчеству его давно уже никто не величал, а звали просто Яшкой. Был он здесь на плохом счету, так как месяца через три по прибытии на каторгу, чувствуя сильную, непобедимую тоску по родине, он поддался искушению и бежал, а его скоро поймали, присудили к бессрочной каторге и дали ему сорок плетей; потом его еще два раза наказывали розгами за растрату казенного платья, хотя это платье в оба раза было у него украдено. Тоска по родине началась у него с тех самых пор, как его везли в Одессу и арестантский поезд остановился ночью на Прогонной, и Яков, припав к окну, старался увидеть родной двор и ничего не увидел впотьмах.

Не с кем было поговорить о родной стороне. Сестру Аглаю отправили на каторгу через Сибирь, и было неизвестно, где она теперь. Дашутка была на Сахалине, но ее отдали какому-то поселенцу в сожительницы, в дальнее селение; слухов о ней не было никаких, и раз только один поселенец, попавший в Воеводскую тюрьму, рассказывал Якову, будто Дашутка имела уже троих детей. Сергей Никанорыч служил лакеем у чиновника тут же недалеко, в Дуэ, но нельзя было рассчитывать повидаться с ним когда-нибудь, так как он стыдился знакомства с каторжными из простого звания.

Партия пришла в рудник и расположилась на пристани. Говорили, что нагрузки не будет, так как погода всё портится и пароход будто бы собирается уходить. Видно было три огня. Один из них двигался: это паровой катер ходил к пароходу и теперь, кажется, уже возвращался, чтобы сообщить, будет работа или нет. Дрожа от осеннего холода и морской сырости, кутаясь в свой короткий, рванный полушубок, Яков Иваныч пристально, не мигая, смотрел в ту сторону, где была родина. С тех пор, как он пожил в одной тюрьме вместе с людьми, пригнанными сюда с разных концов, – с русскими, хохлами, татарами, грузинами, китайцами, чухной, цыганами, евреями, и с тех пор, как прислушался к их разговорам, наглядясь на их страдания, он опять стал возноситься к богу, и ему казалось, что он, наконец, узнал настоящую веру, ту самую, которой так жаждал и так долго искал и не находил весь его род, начиная с бабки Авдотьи. Всё уже он знал и понимал, где бог и как должно ему служить, но было непонятно только одно, почему жребий людей так различен, почему эта простая вера, которую другие получают от бога даром вместе с жизнью, досталась ему так дорого, что от всех этих ужасов и страданий, которые, очевидно, будут без перерыва продолжаться до самой его смерти, у него трясутся, как у пьяницы, руки и ноги? Он вглядывался напряженно в потемки, и ему казалось, что сквозь тысячи верст этой тьмы он видит родину, видит родную губернию, свой уезд, Прогонную, видит темноту, дикость, бессердечие и тупое, суровое, скотское равнодушие людей, которых он там покинул; зрение его туманилось от слез, но он всё смотрел вдаль, где еле-еле светились бледные огни парохода, и сердце щемило от тоски по родине, и хотелось жить, вернуться домой, рассказать там про свою новую веру и спасти от гибели хотя бы одного человека и прожить без страданий хотя бы один день.

Катер пришел, и надзиратель объявил громко, что нагрузки не будет.

– Назад! – скомандовал он. – Смирно!

Было слышно, как на пароходе убирали якорную цепь. Дул уже сильный, пронзительный ветер, и где-то вверху на крутом берегу скрипели деревья. Вероятно, начинался шторм.

Анна на шее

I

После венчания не было даже легкой закуски; молодые выпили по бокалу, переоделись и поехали на вокзал. Вместо веселого свадебного бала и ужина, вместо музыки и танцев – поездка на богомолье за двести верст. Многие одобряли это, говоря, что Модест Алексеич уже в чинах и не молод, и шумная свадьба могла бы,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru пожалуй, показаться не совсем приличной; да и скучно слушать музыку, когда чиновник 52 лет женится на девушке, которой едва минуло 18. Говорили также, что эту поездку в монастырь Модест Алексеич, как человек с правилами, затеял, собственно, для того, чтобы дать понять своей молодой жене, что и в браке он отдает первое место религии и нравственности.

Молодых провожали. Толпа сослуживцев и родных стояла с бокалами и ждала, когда пойдет поезд, чтобы крикнуть ура, и Петр Леонтьич, отец, в цилиндре, в учительском фраке, уже пьяный и уже очень бледный, всё тянулся к окну со своим бокалом и говорил умоляюще:

– Анюта! Аня! Аня, на одно слово!

Аня наклонялась к нему из окна, и он шептал ей что-то, обдавая ее запахом винного перегара, дул в ухо – ничего нельзя было понять – и крестил ей лицо, грудь, руки; при этом дыхание у него дрожало и на глазах блестели слезы. А братья Ани, Петя и Андрюша, гимназисты, дергали его сзади за фрак и шептали сконфуженно:

– Папочка, будет... Папочка, не надо...

Когда поезд тронулся, Аня видела, как ее отец побежал немножко за вагоном, пошатываясь и расплескивая свое вино, и какое у него было жалкое, доброе, виноватое лицо.

– Ура-а-а! – кричал он.

Молодые остались одни. Модест Алексеич осмотрелся в купе, разложил вещи по полкам и сел против своей молодой жены, улыбаясь. Это был чиновник среднего роста, довольно полный, пухлый, очень сытый, с длинными бакенами и без усов, и его бритый, круглый, резко очерченный подбородок походил на пятку. Самое характерное в его лице было отсутствие усов, это свежесбритое, голое место, которое постепенно переходило в жирные, дрожащие, как желе, щеки. Держался он солидно, движения у него были не быстрые, манеры мягкие.

– Не могу не припомнить теперь одного обстоятельства, – сказал он, улыбаясь. – Пять лет назад, когда Косоротов получил орден святыя Анны второй степени и пришел благодарить, то его сиятельство выразился так: «Значит, у вас теперь три Анны: одна в петлице, две на шее». А надо сказать, что в то время к Косоротову только что вернулась его жена, особа сварливая и легкомысленная, которую звали Анной. Надеюсь, что когда я получу Анну второй степени, то его сиятельство не будет иметь повода сказать мне то же самое.

Он улыбался своими маленькими глазками. И она тоже улыбалась, волнуясь от мысли, что этот человек может каждую минуту поцеловать ее своими полными, влажными губами и что она уже не имеет права отказать ему в этом. Мягкие движения его пухлого тела пугали ее, ей было и страшно, и гадко. Он встал, не спеша снял с шеи орден, снял фрак и жилет и надел халат.

– Вот так, – сказал он, садясь рядом с Аней. Она вспоминала, как мучительно было венчание, когда казалось ей, что и священник, и гости, и все в церкви глядели на нее печально: зачем, зачем она, такая милая, хорошая, выходит за этого пожилого, неинтересного господина? Еще утром сегодня она была в восторге, что всё так хорошо устроилось, во время же венчания и теперь в вагоне чувствовала себя виноватой, обманутой и смешной. Вот она вышла за богатого, а денег у нее все-таки не было, венчальное платье шили в долг, и, когда сегодня ее провожали отец и братья, она по их лицам видела, что у них не было ни копейки. Будут ли они сегодня ужинать? А завтра? И ей почему-то казалось, что отец и мальчики сидят теперь без нее голодные и испытывают точно такую же тоску, какая была в первый вечер после похорон матери.

«О, как я несчастна! – думала она. – Зачем я так несчастна?»

С неловкостью человека солидного, не привыкшего обращаться с женщинами, Модест Алексеич трогал ее за талию и похлопывал по плечу, а она думала о деньгах, о матери, об ее смерти. Когда умерла мать, отец, Петр Леонтьич, учитель чистописания и рисования в гимназии, запил, наступила нужда; у мальчиков не было сапог и калош, отца таскали к мировому, приходил судебный пристав и описывал

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
мебель... Какой стыд! Аня должна была ухаживать за пьяным отцом, штопать братьям чулки, ходить на рынок, и, когда хвалили ее красоту, молодость и изящные манеры, ей казалось, что весь свет видит ее дешевую шляпку и дырочки на ботинках, замазанные чернилами. А по ночам слезы и неотвязчивая, беспокойная мысль, что скоро-скоро отца уволят из гимназии за слабость и что он не перенесет этого и тоже умрет, как мать. Но вот знакомые дамы засуетились и стали искать для Ани хорошего человека. Скоро нашелся вот этот самый Модест Алексеич, не молодой и не красивый, но с деньгами. У него в банке тысяч сто и есть родовое имение, которое он отдает в аренду. Это человек с правилами и на хорошем счету у его сиятельства; ему ничего не стоит, как говорили Ане, взять у его сиятельства записочку к директору гимназии и даже к попечителю, чтобы Петра Леонтьича не увольняли...

Пока она вспоминала эти подробности, послышалась вдруг музыка, ворвавшаяся в окно вместе с шумом голосов. Это поезд остановился на полустанке. За платформой в толпе бойко играли на гармонике и на дешевой визгливой скрипке, а из-за высоких берез и тополей, из-за дач, залитых лунным светом, доносились звуки военного оркестра: должно быть, на дачах был танцевальный вечер. На платформе гуляли дачники и горожане, приехавшие сюда в хорошую погоду подышать чистым воздухом. Был тут и Артынов, владелец всего этого дачного места, богач, высокий, полный брюнет, похожий лицом на армянина, с глазами навывкате и в странном костюме. На нем была рубаха, расстегнутая на груди, и высокие сапоги со шпорами, и с плеч спускался черный плащ, тащившийся по земле, как шлейф. За ним, опустив свои острые морды, ходили две борзые.

У Ани еще блестили на глазах слезы, но она уже не помнила ни о матери, ни о деньгах, ни о своей свадьбе, а пожимала руки знакомым гимназистам и офицерам, весело смеялась и говорила быстро:

– Здравствуйте! Как поживаете?

Она вышла на площадку, под лунный свет, и стала так, чтобы видели ее всю в новом великолепном платье и в шляпке.

– Зачем мы здесь стоим? – спросила она.

– Здесь разъезд, – ответили ей, – ожидают почтового поезда.

Заметив, что на нее смотрит Артынов, она кокетливо прищурила глаза и заговорила громко по-французски, и оттого, что ее собственный голос звучал так прекрасно и что слышалась музыка и луна отражалась в пруде, и оттого, что на нее жадно и с любопытством смотрел Артынов, этот известный дон-жуан и баловник, и оттого, что всем было весело, она вдруг почувствовала радость, и, когда поезд тронулся и знакомые офицеры на прощанье сделали ей под козырек, она уже напевала польку, звуки которой посылал ей вдогонку военный оркестр, гремевший где-то там за деревьями; и вернулась она в свое купе с таким чувством, как будто на полустанке ее убедили, что она будет счастлива непременно, несмотря ни на что.

Молодые пробыли в монастыре два дня, потом вернулись в город. Жили они на казенной квартире. Когда Модест Алексеич уходил на службу, Аня играла на рояле, или плакала от скуки, или ложилась на кушетку и читала романы, и рассматривала модный журнал. За обедом Модест Алексеич ел очень много и говорил о политике, о назначениях, переводах и наградах, о том, что надо трудиться, что семейная жизнь есть не удовольствие, а долг, что копейка рубль бережет и что выше всего на свете он ставит религию и нравственность. И, держа нож в кулаке, как меч, он говорил:

– Каждый человек должен иметь свои обязанности!

А Аня слушала его, боялась и не могла есть, и обыкновенно вставала из-за стола голодной. После обеда муж отдыхал и громко храпел, а она уходила к своим. Отец и мальчики посматривали на нее как-то особенно, как будто только что до ее прихода осуждали ее за то, что она вышла из-за денег, за нелюбимого, нудного, скучного человека; ее шурящее платье, браслетки и вообще дамский вид стесняли, оскорбляли их; в ее присутствии они немножко конфузились и не знали, о чем говорить с ней; но всё же любили они ее по-прежнему и еще не привыкли обедать без нее. Она садилась и кушала с ними щи, кашу и картошку, жареную на бараньем сале, от которого пахло свечкой. Петр Леонтьич дрожащей рукой наливал из

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
графинчика и выпивал быстро, с жадностью, с отвращением, потом выпивал другую
рюмку, потом третью.. Петя и Андруша, худенькие, бледные мальчишки с большими
глазами, брали графинчик и говорили растерянно:

– Не надо, папочка... Довольно, папочка...

И Аня тоже тревожилась и умоляла его больше не пить, а он вдруг вспыхивал и стучал кулаком по столу.

– Я никому не позволю надзирать за мной! – кричал он. – Мальчишки! Девчонка! Я вас всех выгоню вон!

Но в голосе его слышались слабость, доброта, и никто его не боялся. После обеда обыкновенно он наряжался; бледный, с порезанным от бритья подбородком, вытягивая тощую шею, он целых полчаса стоял перед зеркалом и прихорашивался, то причесываясь, то закручивая свои черные усы, прыскался духами, завязывал бантом галстук, потом надевал перчатки, цилиндр и уходил на частные уроки. А если был праздник, то он оставался дома и писал красками или играл на фисгармонии, которая шипела и рычала; он старался выдать из нее стройные, гармоничные звуки и подпевал, или же сердился на мальчишек:

– Мерзавцы! Негодяи! Испортили инструмент!

По вечерам муж Ани играл в карты со своими сослуживцами, жившими с ним под одной крышей в казенном доме. Сходились во время карт жены чиновников, некрасивые, безвкусно наряженные, грубые, как кухарки, и в квартире начинались сплетни, такие же некрасивые и безвкусные, как сами чиновницы. Случалось, что Модест Алексеич ходил с Аней в театр. В антрактах он не отпускал ее от себя ни на шаг, а ходил с ней под руку по коридорам и по фойе. Раскланявшись с кем-нибудь, он тотчас уже шептал Ане: «Статский советник... принят у его сиятельства...» или: «Со средствами... имеет свой дом...» Когда проходили мимо буфета, Ане очень хотелось чего-нибудь сладкого; она любила шоколад и яблочное пирожное, но денег у нее не было, а спросить у мужа она стеснялась. Он брал грушу, мял ее пальцами и спрашивал нерешительно:

– Сколько стоит?

– Двадцать пять копеек.

– Однако! – говорил он и клал грушу на место; но так как было неловко отойти от буфета, ничего не купивши, то он требовал сельтерской воды и выпивал один всю бутылку, и слезы выступали у него на глазах, и Аня ненавидела его в это время.

Или он, вдруг весь покраснев, говорил ей быстро:

– Поклонись этой старой даме!

– Но я с ней незнакома.

– Всё равно. Это супруга управляющего казенной палатой! Поклонись же, тебе говорю! – ворчал он настойчиво. – Голова у тебя не отвалится.

Аня кланялась, и голова у нее в самом деле не отваливалась, но было мучительно. Она делала всё, что хотел муж, и злилась на себя за то, что он обманул ее, как последнюю дурочку. Выходила она за него только из-за денег, а между тем денег у нее теперь было меньше, чем до замужества. Прежде хоть отец давал двугривенные, а теперь – ни гроша. Брать тайно или просить она не могла, она боялась мужа, трепетала его. Ей казалось, что страх к этому человеку она носит в своей душе уже давно. Когда-то в детстве самой внушительной и страшной силой, надвигающейся как туча или локомотив, готовый задавить, ей всегда представлялся директор гимназии; другой такой же силой, о которой в семье всегда говорили и которую почему-то боялись, был его сиятельство; и был еще десяток сил помельче, и между ними учителя гимназии с бритыми усами, строгие, неумолимые, и теперь вот, наконец, Модест Алексеич, человек с правилами, который даже лицом походил на директора. И в воображении Ани все эти силы сливались в одно и в виде одного страшного громадного белого медведя надвигались на слабых и виноватых, таких, как ее отец, и она боялась сказать что-нибудь против, и натянута улыбалась, и выражала притворное удовольствие, когда ее грубо ласкали и оскверняли объятиями,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
наводившими на нее ужас.

Только один раз Петр Леонтыч осмелился попросить у него пятьдесят рублей
взаимы, чтобы заплатить какой-то очень неприятный долг, но какое это было
страдание!

– Хорошо, я вам дам, – сказал Модест Алексеич, подумав, – но предупреждаю, что
больше уже не буду помогать вам, пока вы не бросите пить. Для человека,
состоящего на государственной службе, постыдна такая слабость. Не могу не
напомнить вам общеизвестного факта, что многих способных людей погубила эта
страсть, между тем как при воздержании они, быть может, могли бы со временем
сделаться высокопоставленными людьми.

И потянулись длинные периоды: «по мере того»... «исходя из того положения»... «ввиду
только что сказанного», а бедный Петр Леонтыч страдал от унижения и испытывал
сильное желание выпить.

И мальчики, приходившие к Ане в гости, обыкновенно в рваных сапогах и в
поношенных брюках, тоже должны были выслушивать наставления.

– Каждый человек должен иметь свои обязанности! – говорил им Модест Алексеич.

А денег не давал. Но зато он дарил Ане кольца, браслеты и броши, говоря, что эти
вещи хорошо иметь про черный день. И часто он отпирал ее комод и делал ревизию:
все ли вещи целы.

II

Наступила между тем зима. Еще задолго до Рождества в местной газете было
объявлено, что 29-го декабря в дворянском собрании «имеет быть» обычный зимний
бал. Каждый вечер после карт Модест Алексеич, взволнованный, шептался с
чиновницами, озабоченно поглядывая на Аню, и потом долго ходил из угла в угол, о
чем-то думая. Наконец, как-то поздно вечером, он остановился перед Аней и
сказал:

– Ты должна сшить себе бальное платье. Понимаешь? Только, пожалуйста,
посоветуйся с Марьей Григорьевной и с Натальей Кузьминишной.

И дал ей сто рублей. Она взяла; но, заказывая бальное платье, ни с кем не
советовалась, а поговорила только с отцом и постаралась вообразить себе, как бы
оделась на бал ее мать. Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде
и всегда возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу, и научила ее говорить
по-французски и превосходно танцевать мазурку (до замужества она пять лет
прослужила в гувернантках). Аня так же, как мать, могла из старого платья
сделать новое, мыть в бензине перчатки, брать напрокат bijoux[35] и так же, как
мать, умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходиться, когда
нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно. А от отца она унаследовала
темный цвет волос и глаз, нервность и эту манеру всегда прихорашиваться.

Когда за полчаса до отъезда на бал Модест Алексеич вошел к ней без сюртука,
чтобы перед ее трюмо надеть себе на шею орден, то, очарованный ее красотой и
блеском ее свежего, воздушного наряда, самодовольно расчесал себе бакены и
сказал:

– Вот ты у меня какая... вот ты какая! Анята! – продолжал он, вдруг впадая в
торжественный тон. – Я тебя осчастливил, а сегодня ты можешь осчастливить меня.
Прошу тебя, представься супруге его сиятельства! Ради бога! Через нее я могу
получить старшего докладчика!

Поехали на бал. Вот и дворянское собрание, и подъезд со швейцаром. Передняя с
вешалками, шубы, снующие лакеи и декольтированные дамы, закрывающиеся веерами от
сквозного ветра; пахнет светильным газом и солдатами. Когда Аня, идя вверх по
лестнице под руку с мужем, услышала музыку и увидела в громадном зеркале всю
себя, освещенную множеством огней, то в душе ее проснулась радость и то самое
предчувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке. Она шла
гордая, самоуверенная, в первый раз чувствуя себя не девочкой, а дамой, и
невольно походкою и манерами подражая своей покойной матери. И в первый раз в
жизни она чувствовала себя богатой и свободной! Даже присутствие мужа не
стесняло ее, так как, перейдя порог собрания, она уже угадала инстинктом, что

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
близость старого мужа нисколько не унижает ее, а, наоборот, кладет на нее печать пикантной таинственности, которая так нравится мужчинам. В большой зале уже гремел оркестр и начались танцы. После казенной квартиры, охваченная впечатлениями света, пестроты, музыки, шума, Аня окинула взглядом залу и подумала: «Ах, как хорошо!» и сразу отличила в толпе всех своих знакомых, всех, кого она раньше встречала на вечерах или на гуляньях, всех этих офицеров, учителей, адвокатов, чиновников, помещиков, его сиятельство, Артынова и дам высшего общества, разодетых, сильно декольтированных, красивых и безобразных, которые уже занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара, чтобы начать торговлю в пользу бедных. Громадный офицер в эполетах – она познакомилась с ним на Старо-Киевской улице, когда была гимназисткой, а теперь не помнила его фамилии – точно из-под земли вырос и пригласил на вальс, и она отлетела от мужа, и ей уж казалось, будто она плыла на парусной лодке, в сильную бурю, а муж остался далеко на берегу... Она танцевала страстно, с увлечением и вальс, и польку, и кадрили, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картавя, смеясь и не думая ни о муже, ни о ком и ни о чем. Она имела успех у мужчин, это было ясно, да иначе и быть не могло, она задыхалась от волнения, судорожно тискала в руках веер и хотела пить. Отец, Петр Леонтьич, в помятом фраке, от которого пахло бензином, подошел к ней, протягивая блюдечко с красным мороженым.

– Ты очаровательна сегодня, – говорил он, глядя на нее с восторгом, – и никогда еще я так не жалел, что ты поспешила замуж... Зачем? Я знаю, ты сделала это ради нас, но... – он дрожащими руками вытащил пачечку денег и сказал: – Я сегодня получил с урока и могу отдать долг твоему мужу.

Она сунула ему в руки блюдечко и, подхваченная кем-то, унеслась далеко и мельком, через плечо своего кавалера, видела, как отец, скользя по паркету, обнял даму и понесся с ней по зале.

«Как он мил, когда трезв!» – думала она.

Мазурку она танцевала с тем же громадным офицером; он важно и тяжело, словно туша в мундире, ходил, поводил плечами и грудью, притоптывал ногами еле-еле – ему страшно не хотелось танцевать, а она порхала около, дразня его своей красотой, своей открытой шеей; глаза ее горели задором, движения были страстные, а он становился всё равнодушнее и протягивал к ней руки милостиво, как король.

– Bravo, bravo!.. – говорили в публике.

Но мало-помалу и громадного офицера прорвало; он оживился, заволновался и, уже поддавшись очарованию, вошел в азарт и двигался легко, молодо, а она только поводила плечами и глядела лукаво, точно она уже королева, а он раб, и в это время ей казалось, что на них смотрит вся зала, что все эти люди млеют и завидуют им. Едва громадный офицер успел поблагодарить ее, как публика вдруг расступилась и мужчины вытянулись как-то странно, опустив руки... Это шел к ней его сиятельство, во фраке с двумя звездами. Да, его сиятельство шел именно к ней, потому что глядел прямо на нее в упор и слащаво улыбался, и при этом жевал губами, что делал он всегда, когда видел хорошеньких женщин.

– Очень рад, очень рад... – начал он. – А я прикажу посадить вашего мужа на гауптвахту за то, что он до сих пор скрывал от нас такое сокровище. Я к вам с поручением от жены, – продолжал он, подавая ей руку. – Вы должны помочь нам... М-да... Нужно назначить вам премию за красоту... как в Америке... М-да... Американцы... Моя жена ждет вас с нетерпением.

Он привел ее в избушку, к пожилой даме, у которой нижняя часть лица была несоразмерно велика, так что казалось, будто она во рту держала большой камень.

– Помогите нам, – сказала она в нос, нараспев. – Все хорошенькие женщины работают на благотворительном базаре, и только одна вы почему-то гуляете. Отчего вы не хотите нам помочь?

Она ушла, и Аня заняла ее место около серебряного самовара с чашками. Тотчас же началась бойкая торговля. За чашку чаю Аня брала не меньше рубля, а громадного офицера заставила выпить три чашки. Подошел Артынов, богач, с выпуклыми глазами, страдающий одышкой, но уже не в том странном костюме, в каком видела его Аня летом, а во фраке, как все. Не отрывая глаз с Ани, он выпил бокал шампанского и

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru заплатил сто рублей, потом выпил чаю и дал еще сто – и всё это молча, страдая астмой... Аня зазывала покупателей и брала с них деньги, уже глубоко убежденная, что ее улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего, кроме большого удовольствия. Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни с музыкой, танцами, поклонниками, и давнишний страх ее перед силой, которая надвигается и грозит задавить, казался ей смешным; никого она уже не боялась и только жалела, что нет матери, которая порадовалась бы теперь вместе с ней ее успехам.

Петр Леонтьич, уже бледный, но еще крепко держась на ногах, подошел к избушке и попросил рюмку коньяку. Аня покраснела, ожидая, что он скажет что-нибудь неподобающее (ей уже было стыдно, что у нее такой бедный, такой обыкновенный отец), но он выпил, выбросил из своей пачечки десять рублей и важно отошел, не сказав ни слова. Немного погодя она видела, как он шел в паре в grand rond[36] и в этот раз он уже пошатывался и что-то выкрикивал, к великому конфузу своей дамы, и Аня вспомнила, как года три назад на балу он так же вот пошатывался и выкрикивал – и кончилось тем, что околоточный увез его домой спать, а на другой день директор грозил уволить со службы. Как некстати было это воспоминание!

Когда в избушках потухли самовары и утомленные благотворительницы сдали выручку пожилой даме с камнем во рту, Артынов повел Аню под руку в залу, где был сервирован ужин для всех участвовавших в благотворительном базаре. Ужинало человек двадцать, не больше, но было очень шумно. Его сиятельство провозгласил тост: «В этой роскошной столовой будет уместно выпить за процветание дешевых столовых, служивших предметом сегодняшнего базара». Бригадный генерал предложил выпить «за силу, перед которой пасует даже артиллерия», и все потянулись чокаться с дамами. Было очень, очень весело!

Когда Аню провожали домой, то уже светало и кухарки шли на рынок. Радостная, пьяная, полная новых впечатлений, замученная, она разделась, повалилась в постель и тотчас же уснула...

Во втором часу дня ее разбудила горничная и доложила, что приехал господин Артынов с визитом. Она быстро оделась и пошла в гостиную. Вскоре после Артынова приезжал его сиятельство благодарить за участие в благотворительном базаре. Он, глядя на нее слащаво и жуя, поцеловал ей ручку и попросил позволения бывать еще и уехал, а она стояла среди гостиной, изумленная, очарованная, не веря, что перемена в ее жизни, удивительная перемена, произошла так скоро; и в это самое время вошел ее муж, Модест Алексеич... И перед ней также стоял он теперь с тем же заискивающим, сладким, холопски-почтительным выражением, какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных; и с восторгом, с негодованием, с презрением, уже уверенная, что ей за это ничего не будет, она сказала, отчетливо выговаривая каждое слово:

– Подите прочь, болван!

После этого у Ани не было уже ни одного свободного дня, так как она принимала участие то в пикнике, то в прогулке, то в спектакле. Возвращалась она домой каждый день под утро и ложилась в гостиную на полу, и потом рассказывала всем трогательно, как она спит под цветами. Денег нужно было очень много, но она уже не боялась Модеста Алексеича и тратила его деньги, как свои; и она не просила, не требовала, а только посылала ему счета или записки: «выдать подателю сего 200 р.» или: «немедленно уплатить 100 р.»

На Пасхе Модест Алексеич получил Анну второй степени. Когда он пришел благодарить, его сиятельство отложил в сторону газету и сел поглубже в кресло.

– Значит, у вас теперь три Анны, – сказал он, осматривая свои белые руки с розовыми ногтями, – одна в петлице, две на шее.

Модест Алексеич приложил два пальца к губам из осторожности, чтобы не рассмеяться громко, и сказал:

– Теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира. Осмелюсь просить ваше сиятельство в воспитанники.

Он намекал на Владимира IV степени и уже воображал, как он будет всюду рассказывать об этом своем каламбуре, удачном по находчивости и смелости, и

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru хотел сказать еще что-нибудь такое же удачное, но его сиятельство вновь углубился в газету и кивнул головой...

А Аня всё каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноактных пьесах, ужинала, и всё реже и реже бывала у своих. Они обедали уже одни. Петр Леонтьич запивал сильнее прежнего, денег не было, и фисгармонию давно уже продали за долг. Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу и всё следили за ним, чтобы он не упал; и когда во время катанья на Старо-Киевской им встречалась Аня на паре с пристяжной на отлете и с Артыновым на козлах вместо кучера, Петр Леонтьич снимал цилиндр и собирался что-то крикнуть, а Петя и Андрюша брали его под руки и говорили умоляюще:

– Не надо, папочка... Будет, папочка...

Дом с мезонином
(Рассказ художника)

I

Это было 6–7 лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т-ой губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и всё жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все десять больших окон вдруг освещались молнией.

Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал всё, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь.

Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную, красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоем. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость; прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть, тоже старушка. Но вот и липы кончились; я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве.

А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание; другая же, совсем еще молоденькая – ей было 17–18 лет, не больше – тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась, и мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон.

Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова и что намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться.

– Вы совсем забыли нас, Петр Петрович, – сказала она Белокурову, подавая ему руку. – Приезжайте, и если monsieur N. (она назвала мою фамилию) захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады.

Я поклонился.

Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи и звали ее Лидией Волчаниновой, а имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же, как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчаниновы жили в деревне безвыездно, лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет.

– Интересная семья, – сказал Белокуров. – Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады.

Как-то после обеда, в один из праздников, мы вспомнили про Волчаниновых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать, Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила два-три моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотел в них выразить. Лидия, или, как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании.

– Не хорошо, Петр Петрович, – говорила она укоризненно. – Не хорошо. стыдно.

– Правда, Лида, правда, – соглашалась мать. – Не хорошо.

– Весь наш уезд находится в руках Балагина, – продолжала Лида, обращаясь ко мне. – Сам он председатель управы, и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию, но вы видите, какая у нас молодежь. стыдно, Петр Петрович!

Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах, ее в семье еще не считали взрослой и, как маленькую, называли Мисюсь, потому что в детстве она называла так мисс, свою гувернантку. Все время она смотрела на меня с любопытством и, когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: «Это дядя... Это крестный папа», и водила пальчиком по портретам, и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом.

Мы играли в крокет и lawn-tennis, гуляли посаду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографий и прислуге говорили вы, и всё мне казалось молодым и чистым, благодаря присутствию Лиды и Мисюсь, и всё дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко – быть может оттого, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но, кроме меня, казалось, никто не заметил этого.

Когда мы возвращались домой, было темно и тихо.

– Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой, – сказал Белокуров и вздохнул. – Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей, ах как отстал! А всё дела, дела! дела!

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Он говорил о том, как много приходится работать, когда хочешь стать образцовым сельским хозяином. А я думал: какой это тяжелый и ленивый малый! Он, когда говорил о чем-нибудь серьезно, то с напряжением тянул «э-э-э-э», и работал так же, как говорил, – медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верил уже потому, что письма, которые я поручал ему отправлять на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане.

– Тяжелее всего, – бормотал он, идя рядом со мной, – тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. Никакого сочувствия!

II

Я стал бывать у Волчаниновых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы; меня томило недовольство собой, было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно, и я всё думал о том, как хорошо было вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили, слышался шорох платьев, перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой, под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким, изящно очерченным ртом, всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо:

– Это для вас не интересно.

Я был ей не симпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка бурятка, в рубахе и в штанах из синей дабы, верхом на лошади; я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку, и, пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной, она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его и, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их и что легко быть благодетелем, когда имеешь две тысячи десятин.

А ее сестра, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось, например, о том, что в людской загорелась сажа, или что работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и в темно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке, и, когда она прыгала, чтобы достать вишню или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие, слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением.

В одно из воскресений, в конце июля, я пришел к Волчаниновым утром, часов в девять. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать, обе в светлых праздничных платьях, прошли из церкви домой, и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай.

Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день, все лето.

Пришла Женя с корзиной; у нее было такое выражение, как будто она знала или

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru предчувствовала, что найдет меня в саду. Мы подбирали грибы и говорили, и когда она спрашивала о чем-нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое лицо.

– Вчера у нас в деревне произошло чудо, – сказала она. – Хромая Пелагея была больна целый год, никакие доктора и лекарства не помогали, а вчера старуха пошептала и прошло.

– Это не важно, – сказал я. – Не следует искать чудес только около больных и старух. Разве здоровье не чудо? А сама жизнь? Что не понятно, то и есть чудо.

– А вам не страшно то, что не понятно?

– Нет. К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным, иначе он не человек, а мышь, которая всего боится.

Женя думала, что я, как художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю. Ей хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по ее мнению, я был своим человеком, и она говорила со мной о боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допуская, что я и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал: «да, люди бессмертны», «да, нас ожидает вечная жизнь». А она слушала, верила и не требовала доказательств.

Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала:

– Наша Лида замечательный человек. Не правда ли? Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее жизнью. Но скажите, – Женя дотронулась до моего рукава пальцем, – скажите, почему вы с ней всё спорите? Почему вы раздражены?

– Потому что она неправа.

Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нее на глазах.

– Как это непонятно! – проговорила она.

В это время Лида только что вернулась откуда-то и, стоя около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла двух-трех больных, потом с деловым, озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкаф, то другой, уходила в мезонин; ее долго искали и звали обедать, и пришла она, когда мы уже съели суп. Все эти мелкие подробности я почему-то помню и люблю, и весь этот день живо помню, хотя не произошло ничего особенного. После обеда Женя читала, лежа в глубоком кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Всё небо заволочило облаками, и стал накрапывать редкий, мелкий дождь. Было жарко, ветер давно уже стих, и казалось, что этот день никогда не кончится. К нам на террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная, с веером.

– О, мама, – сказала Женя, целуя у нее руку, – тебе вредно спать днем.

Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала: «ау, Женя!» или: «мамочка, где ты?» Они всегда вместе молились и обе одинаково верили, и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне, и когда я не появлялся два-три дня, присылала узнать, здоров ли я. На мои этюды она смотрела тоже с восхищением, и с такою же болтливостью и так же откровенно, как Мисюсь, рассказывала мне, что случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны.

Она благоговела перед своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном; она жила своею особенною жизнью и для матери и для сестры была такою же священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который всё сидит у себя в каюте.

– Наша Лида замечательный человек, – говорила часто мать. – Не правда ли?

И теперь, пока накрапывал дождь, мы говорили о Лиде.

– Она замечательный человек, – сказала мать и прибавила вполголоса тоном заговорщицы, испуганно оглядываясь: – Таких днем с огнем поискать, хотя, знаете ли, я начинаю немножко беспокоиться. Школа, аптечки, книжки – всё это хорошо, но зачем крайности? Ведь ей уже двадцать четвертый год, пора о себе серьезно подумать. Этак за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдет... Замуж нужно.

Женя, бледная от чтения, с помятою прической, приподняла голову и сказала как бы про себя, глядя на мать:

– Мамочка, всё зависит от воли божией!

И опять погрузилась в чтение.

Пришел Белокуров в поддевке и в вышитой сорочке. Мы играли в крокет и Town-tennis, потом, когда потемнело, долго ужинали, и Лида опять говорила о школах и о Балагине, который забрал в свои руки весь уезд. Уходя в этот вечер от Волчаниновых, я уносил впечатление длинного-длинного, праздного дня, с грустным сознанием, что всё кончается на этом свете, как бы ни было длинно. Нас до ворот провожала Женя, и оттого, быть может, что она провела со мной весь день от утра до вечера, я почувствовал, что без нее мне как будто скучно и что вся эта милая семья близка мне; и в первый раз за всё лето мне захотелось писать.

– Скажите, отчего вы живете так скучно, так не колоритно? – спросил я у Белокурова, идя с ним домой. – Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник, я странный человек, я издерган с юных дней завистью, недовольством собой, неверием в свое дело, я всегда беден, я бродяга, но вы-то, вы, здоровый, нормальный человек, помещик, барин, – отчего вы живете так неинтересно, так мало берете от жизни? Отчего, например, вы до сих пор не влюбились в Лиду или Женю?

– Вы забываете, что я люблю другую женщину. – ответил Белокуров.

Это он говорил про свою подругу, Любовь Ивановну, жившую с ним вместе во флигеле. Я каждый день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая на откормленную гусыню, гуляла по саду, в русском костюме с бусами, всегда под зонтиком, и прислуга то и дело звала ее то кушать, то чай пить. Года три назад она наняла один из флигелей под дачу, да так и осталась жить у Белокурова, по-видимому, навсегда. Она была старше его лет на десять и управляла им строго, так что, отлучаясь из дому, он должен был спрашивать у нее позволения. Она часто рыдала мужским голосом, и тогда я посылал сказать ей, что если она не перестанет, то я съеду с квартиры; и она переставала.

Когда мы пришли домой, Белокуров сел на диван и нахмурился в раздумье, а я стал ходить по зале, испытывая тихое волнение, точно влюбленный. Мне хотелось говорить про Волчаниновых.

– Лида может полюбить только земца, увлеченного так же, как она, больницами и школами, – сказал я. – О, ради такой девушки можно не только стать земцем, но даже истаскать, как в сказке, железные башмаки. А Мисюсь? Какая прелесть эта Мисюсь!

Белокуров длинно, растягивая «э-э-э-э...», заговорил о болезни века – пессимизме. Говорил он уверенно и таким тоном, как будто я спорил с ним. Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит и неизвестно, когда он уйдет.

– Дело не в пессимизме и не в оптимизме, – сказал я раздраженно, – а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума.

Белокуров принял это на свой счет, обиделся и ушел.

III

– В Малозёмове гостит князь, тебе кланяется, – говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки. – Рассказывал много интересного... Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малозёмове, но говорит: мало надежды. – И обратя ко мне, она сказала: – Извините, я всё забываю, что для вас это не может быть интересно.

Я почувствовал раздражение.

– Почему же не интересно? – спросил я и пожал плечами. – Вам не угодно знать мое мнение, но уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует.

– Да?

– Да. По моему мнению, медицинский пункт в Малозёмове вовсе не нужен.

Мое раздражение передалось и ей; она посмотрела на меня, прищурив глаза, и спросила:

– Что же нужно? Пейзажи?

– И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно.

Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты; через минуту она сказала тихо, очевидно, сдерживая себя:

– На прошлой неделе умерла от родов Анна, а если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет.

– Я имею на этот счет очень определенное убеждение, уверяю вас, – ответил я, а она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать. – По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки, при существующих условиях, служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья – вот вам мое убеждение.

Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль:

– Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в воню; их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных – только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобию; голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а, напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину.

– Я спорить с вами не стану, – сказала Лида, опуская газету. – Я уже это слышала. Скажу вам только одно: нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечества и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы – правы. Самая высокая и святая задача культурного человека – это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь.

– Правда, Лида, правда, – сказала мать.

В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное; и никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась: правда, Лида, правда.

– Мужичья грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада, – сказал я. – Вы не даете ничего, вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности, новый повод к труду.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь! – сказала Лида с досадой, и по ее тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их.

– Нужно освободить людей от тяжелого физического труда, – сказал я. – Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности – в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе и тогда увидите, какая в сущности насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, науки, искусства, а не эти пустяки.

– Освободить от труда! – усмехнулась Лида. – Разве это возможно?

– Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов, – сколько свободного времени у нас остается в конце концов! Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужика миром починяют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и – я уверен в этом – правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного мучительного, угнетающего, страха смерти, и даже от самой смерти.

– Вы, однако, себе противоречите, – сказала Лида. – Вы говорите – наука, наука, а сами отрицаете грамотность.

– Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках да изредка книжки, которых не понимает, – такая грамотность держится у нас со времен Рюрика, гоголевский Петрушка давно уже читает, между тем деревня, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты.

– Вы и медицину отрицаете.

– Да. Она была бы нужна только для изучения болезней как явлений природы, а не для лечения их. Если уж лечить, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину – физический труд – и тогда не будет болезней. Не признаю я науки, которая лечит, – продолжал я возбужденно. – Науки и искусства, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему, – она ищет правды и смысла жизни, ищет бога, душу, а когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных, преходящих нужд... У ученых, писателей и художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся, между тем до правды еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным, и всё клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и потеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать, и не буду... Ничего не нужно, пусть земля провалится в тартарары!

– Мисюська, выйди, – сказала Лида сестре, очевидно находя мои слова вредными для такой молодой девушки.

Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла.

– Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать свое равнодушие, – сказала Лида. – Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить.

– Правда, Лида, правда, – согласилась мать.

– Вы угрожаете, что не станете работать, – продолжала Лида. – Очевидно, вы высоко цените ваши работы. Перестанем же спорить, мы никогда не споемся, так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я ставлю выше всех пейзажей в свете. – И тотчас же, обратясь к матери, она заговорила совсем другим тоном: – Князь очень похудел и сильно изменился с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши.

Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у нее горело, и, чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Мое присутствие было неприятно. Я простился и пошел домой.

IV

На дворе было тихо; деревня по ту сторону пруда уже спала, не было видно ни одного огонька, и только на пруде едва светились бледные отражения звезд. У ворот со львами стояла Женя неподвижно, поджидая меня, чтобы проводить.

– В деревне все спят, – сказал я ей, стараясь разглядеть в темноте ее лицо, и увидел устремленные на меня темные, печальные глаза. – И кабатчик и конокрады покойно спят, а мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим.

Была грустная августовская ночь, – грустная, потому, что уже пахло осенью; покрытая багровым облаком, восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля. Часто падали звезды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали ее.

– Мне кажется, вы правы, – сказала она, дрожа от ночной сырости. – Если бы люди, все сообща, могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы всё.

– Конечно. Мы высшие существа, и если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет – человечество выродится и от гения не останется и следа.

Когда не стало видно ворот, Женя остановилась и торопливо пожала мне руку.

– Спокойной ночи, – проговорила она, дрожа; плечи ее были покрыты только одною рубашечкой, и она сжалась от холода. – Приходите завтра.

Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный собой и людьми; и я сам уже старался не глядеть на падающие звезды.

– Побудьте со мной еще минуту, – сказал я. – Прошу вас.

Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня, за то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее книги. А ум? Я подозревал у нее недюжинный ум, меня восхищала широта ее воззрений, быть может, потому что она мыслила иначе, чем строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник, я победил ее сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для нее, и я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этою природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным.

– Оставайтесь еще минуту, – попросил я. – Умоляю вас.

Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи; она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его, и в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки.

– До завтра! – прошептала она и осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня. – Мы не имеем тайн друг от друга, я должна сейчас рассказать всё маме и сестре... Это так страшно! Мама ничего, мама любит вас, но Лида!

Она побежала к воротам.

– Прощайте! – крикнула она.

И потом минуты две я слышал, как она бежала. Мне не хотелось домой, да и незачем было идти туда. Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще взглянуть на дом, в котором она жила, милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, и понимал всё. Я прошел мимо террасы, сел на скамье около площадки для lawn-tennis, в темноте под старым вязом, и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила Мисюся, блеснул яркий свет, потом покойный зеленый – это лампу накрыли абажуром. Задвигались тени... Я был полон нежности, тишины и довольства собою, довольства, что сумел увлечься и полюбить, и в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время, в нескольких шагах от меня, в одной из комнат этого дома живет Лида, которая не любит, быть может, ненавидит меня. Я сидел и всё ждал, не выйдет ли Женя, прислушивался, и мне казалось, будто в мезонине говорят.

Прошло около часа. Зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки; георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно. Я вышел из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой.

Когда на другой день после обеда я пришел к Волчаниновым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя или донесется ее голос из комнат; потом я прошел в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю, потом назад. Тут в коридоре было несколько дверей, и за одной из них раздавался голос Лиды.

– Вороне где-то... бог... – говорила она громко и протяжно, вероятно, диктуя. – Бог послал кусочек сыру... Вороне... где-то... Кто там? – окликнула она вдруг, услышав мои шаги.

– Это я.

– А! Простите, я не могу сейчас выйти к вам, я занимаюсь с Дашей.

– Екатерина Павловна в саду?

– Нет, она с сестрой уехала сегодня утром к тете, в Пензенскую губернию. А зимой, вероятно, они поедут за границу... – добавила она, помолчав. – Вороне где-то... бо-ог послал ку-усочек сыру... Написала?

Я вышел в переднюю и, ни о чем не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню, а до меня доносилось:

– Кусочек сыру... Вороне где-то бог послал кусочек сыру...

И я ушел из усадьбы тою же дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке: сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее... Тут догнал меня мальчишка и подал записку. «Я рассказала всё сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами, – прочел я. – Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам счастья, простите меня. Если бы вы знали, как я и мама горько плачем!»

Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь... На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчаниновых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург.

* * *

Больше я уже не видел Волчаниновых. Как-то недавно, едучи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и в вышитой сорочке и, когда я спросил его о здоровье, ответил: «Вашими молитвами». Мы разговорились. Имение свое он продал и купил другое, поменьше, на имя Любови Ивановны. Про Волчаниновых сообщил он немного. Лида, по его словам, жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей; мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей, которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах «прокатили» Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд. Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где.

Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того, ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся...

Мисюсь, где ты?

Моя жизнь
(Рассказ провинциала)

I

Управляющий сказал мне: «Держу вас только из уважения к вашему почтенному батюшке, а то бы вы у меня давно полетели». Я ему ответил: «Вы слишком льстите мне, ваше превосходительство, полагая, что я умею летать». И потом я слышал, как он сказал: «Уберите этого господина, он портит мне нервы».

Дня через два меня уволили. Итак, за всё время, пока я считаюсь взрослым, к великому огорчению моего отца, городского архитектора, я переменял девять должностей. Я служил по различным ведомствам, но все эти девять должностей были похожи одна на другую, как капли воды: я должен был сидеть, писать, выслушивать глупые или грубые замечания и ждать, когда меня уволят.

Отец, когда я пришел к нему, сидел глубоко в кресле, с закрытыми глазами. Его лицо, тощее, сухое, с сизым отливом на бритых местах (лицом он походил на старого католического органиста), выражало смирение и покорность. Не отвечая на мое приветствие и не открывая глаз, он сказал:

– Если бы моя дорогая жена, а твоя мать была жива, то твоя жизнь была бы для нее источником постоянной скорби. В ее преждевременной смерти я усматриваю промысл божий. Прошу тебя, несчастный, – продолжал он, открывая глаза, – научи: что мне с тобою делать?

Прежде, когда я был помоложе, мои родные и знакомые знали, что со мною делать: одни советовали мне поступить в вольноопределяющиеся, другие – в аптеку, третьи – в телеграф; теперь же, когда мне уже минуло двадцать пять и показалась даже седина в висках, и когда я побывал уже и в вольноопределяющихся, и в фармацевтах, и на телеграфе, всё земное для меня, казалось, было уже исчерпано, и уже мне не советовали, а лишь вздыхали или покачивали головами.

– Что ты о себе думаешь? – продолжал отец. – В твои годы молодые люди имеют уже прочное общественное положение, а ты взгляни на себя: пролетарий, нищий, живешь на шее отца!

И, по обыкновению, он стал говорить о том, что теперешние молодые люди гибнут, гибнут от неверия, материализма и излишнего самомнения, и что надо запретить любительские спектакли, так как они отвлекают молодых людей от религии и обязанностей.

– Завтра мы пойдем вместе, и ты извинишься перед управляющим и пообещаешь ему служить добросовестно, – заключил он. – Ни одного дня ты не должен оставаться без общественного положения.

– Я прошу вас выслушать меня, – сказал я угрюмо, не ожидая ничего хорошего от этого разговора. – То, что вы называете общественным положением, составляет

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
привилегию капитала и образования. Небогатые же и необразованные люди добывают себе кусок хлеба физическим трудом, и я не вижу основания, почему я должен быть исключением.

– Когда ты начинаешь говорить о физическом труде, то это выходит глупо и пошло!
– сказал отец с раздражением. – Пойми ты, тупой человек, пойми, безмозглая голова, что у тебя, кроме грубой физической силы, есть еще дух божий, святой огонь, который в высочайшей степени отличает тебя от осла или от гада и приближает к божеству! Этот огонь добывался тысячи лет лучшими из людей. Твой прадед Полознев, генерал, сражался при Бородине, дед твой был поэт, оратор и предводитель дворянства, дядя – педагог, наконец, я, твой отец, – архитектор! Все Полозневы хранили святой огонь для того, чтобы ты погасил его!

– Надо быть справедливым, – сказал я. – Физический труд несут миллионы людей.

– И пускай несут! Другого они ничего не умеют делать! Физическим трудом может заниматься всякий, даже набитый дурак и преступник, этот труд есть отличительное свойство раба и варвара, между тем как огонь дан в удел лишь немногим!

Продолжать этот разговор было бесполезно. Отец обожал себя, и для него было убедительно только то, что говорил он сам. К тому же я знал очень хорошо, что это высокомерие, с каким он отзывался о черном труде, имело в своем основании не столько соображения насчет святого огня, сколько тайный страх, что я поступлю в рабочие и заставлю говорить о себе весь город; главное же, все мои сверстники давно уже окончили в университете и были на хорошей дороге, и сын управляющего конторой Государственного банка был уже коллежским ассессором, я же, единственный сын, был ничем! Продолжать разговор было бесполезно и неприятно, но я всё сидел и слабо возражал, надеясь, что меня, наконец, поймут. Ведь весь вопрос стоял просто и ясно и только касался способа, как мне добыть кусок хлеба, но простоты не видели, а говорили мне, слащаво округляя фразы, о Бородине, о святом огне, о дяде, забытом поэте, который когда-то писал плохие и фальшивые стихи, грубо обзывали меня безмозглою головой и тупым человеком. А как мне хотелось, чтобы меня поняли! Несмотря ни на что, отца и сестру я люблю, и во мне с детства засела привычка спрашиваться у них, засела так крепко, что я едва ли отделаюсь от нее когда-нибудь; бываю я прав или виноват, но я постоянно боюсь огорчить их, боюсь, что вот у отца от волнения покраснела его тощая шея, и как бы с ним не сделался удар.

– Сидеть в душной комнате, – проговорил я, – переписывать, соперничать с пишущей машиной для человека моих лет стыдно и оскорбительно. Может ли тут быть речь о святом огне!

– Все-таки это умственный труд, – сказал отец. – Но довольно, прекратим этот разговор, и во всяком случае, я предупреждаю: если ты не поступишь опять на службу и последуешь своим презренным наклонностям, то я и моя дочь лишим тебя нашей любви. Я лишу тебя наследства – клянусь истинным богом!

Совершенно искренно, чтобы показать всю чистоту побуждений, какими я хотел руководиться во всей своей жизни, я сказал:

– Вопрос о наследстве для меня не представляется важным. Я заранее отказываюсь от всего.

Почему-то, совершенно неожиданно для меня, эти слова сильно оскорбили отца. Он весь побагровел.

– Не смей так разговаривать со мною, глупец! – крикнул он тонким, визгливым голосом. – Негодяй! – И быстро и ловко, привычным движением ударил меня по щеке раз и другой. – Ты стал забываться!

В детстве, когда меня бил отец, я должен был стоять прямо, руки по швам, и глядеть ему в лицо. И теперь, когда он бил меня, я совершенно терялся и, точно мое детство всё еще продолжалось, вытягивался и старался смотреть прямо в глаза. Отец мой был стар и очень худ, но, должно быть, тонкие мышцы его были крепки, как ремни, потому что дрался он очень больно.

Я попятился назад в переднюю, и тут он схватил свой зонтик и несколько раз ударил меня по голове и по плечам; в это время сестра отворила из гостиной

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
дверь, чтобы узнать, что за шум, но тотчас же с выражением ужаса и жалости отвернулась, не сказав в мою защиту ни одного слова.

Намерение мое не возвращаться в канцелярию, а начать новую рабочую жизнь, было во мне непоколебимо. Оставалось только выбрать род занятия – и это не представлялось особенно трудным, так как мне казалось, что я был очень силен, вынослив, способен на самый тяжкий труд. Мне предстояла однообразная, рабочая жизнь с проголодью, вонью и грубостью обстановки, с постоянной мыслью о заработке и куске хлеба. И – кто знает? – возвращаясь с работы по Большой Дворянской, я, быть может, не раз еще позавидую инженеру Должикову, живущему умственным трудом, но теперь думать обо всех этих будущих моих невзгодах мне было весело. Когда-то я мечтал о духовной деятельности, воображая себя то учителем, то врачом, то писателем, но мечты так и остались мечтами. Наклонность к умственным наслаждениям – например, к театру и чтению – у меня была развита до страсти, но была ли способность к умственному труду – не знаю. В гимназии у меня было непобедимое отвращение к греческому языку, так что меня должны были взять из четвертого класса. Долго ходили репетиторы и приготавливали меня в пятый класс, потом я служил по различным ведомствам, проводя большую часть дня совершенно праздно, и мне говорили, что это – умственный труд; моя деятельность в сфере учения и служебной не требовала ни напряжения ума, ни таланта, ни личных способностей, ни творческого подъема духа: она была машинной; а такой умственный труд я ставлю ниже физического, презираю его и не думаю, чтобы он хотя одну минуту мог служить оправданием праздной, беззаботной жизни, так как сам он не что иное, как обман, один из видов той же праздности. По всей вероятности, настоящего умственного труда я не знал никогда.

Наступил вечер. Мы жили на Большой Дворянской – это была главная улица в городе, и на ней по вечерам, за неимением порядочного городского сада, гулял наш beau monde. [37] Эта прелестная улица отчасти заменяла сад, так как по обе стороны ее росли тополи, которые благоухали, особенно после дождя, и из-за заборов и палисадников нависали акации, высокие кусты сирени, черемуха, яблони. Майские сумерки, нежная молодая зелень с тенями, запах сирени, гуденье жуков, тишина, тепло – как всё это ново и как необыкновенно, хотя весна повторяется каждый год! Я стоял у калитки и смотрел на гуляющих. С большинством из них я рос и когда-то шалил вместе, теперь же близость моя могла бы смутить их, потому что одет я был бедно, не по моде, и про мои очень узкие брюки и большие, неуклюжие сапоги говорили, что это у меня макароны на кораблях. К тому же в городе у меня была дурная репутация оттого, что я не имел общественного положения и часто играл в дешевых трактирах на бильярде, и еще оттого, быть может, что меня два раза, без всякого с моей стороны повода, водили к жандармскому офицеру.

В большом доме напротив, у инженера Должикова играли на рояле. Начинало темнеть, и на небе замигали звезды. Вот медленно, отвечая на поклоны, прошел отец в старом цилиндре с широкими загнутыми вверх полями, под руку с сестрой.

– Взгляни! – говорил он сестре, указывая на небо тем самым зонтиком, которым давеча бил меня. – Взгляни на небо! Звезды, даже самые маленькие, – всё это миры! Как ничтожен человек в сравнении со вселенной!

И говорил он это таким тоном, как будто ему было чрезвычайно лестно и приятно, что он так ничтожен. Что это за бездарный человек! К сожалению, он был у нас единственным архитектором, и за последние 15–20 лет, на моей памяти, в городе не было построено ни одного порядочного дома. Когда ему заказывали план, то он обыкновенно чертил сначала зал и гостиную; как в былое время институтки могли танцевать только от печки, так и его художественная идея могла исходить и развиваться только от зала и гостиной. К ним он пририсовывал столовую, детскую, кабинет, соединяя комнаты дверями, и потом все они неизбежно оказывались проходными и в каждой было по две, даже по три лишних двери. Должно быть, идея у него была неясная, крайне спутанная, куцая; всякий раз, точно чувствуя, что чего-то не хватает, он прибежал к разного рода пристройкам, присаживая их одну к другой, и я как сейчас вижу узкие сенцы, узкие коридорчики, кривые лестнички, ведущие в антресоли, где можно стоять только согнувшись и где вместо пола – три громадных ступени вроде банных полок; а кухня непременно под домом, со сводами и с кирпичным полом. У фасада упрямое, черствое выражение, линии сухие, робкие, крыша низкая, приплюснутая, а на толстых, точно сдобных трубах непременно проволочные колпаки с черными, визгливыми флюгерами. И почему-то все эти выстроенные отцом дома, похожие друг на друга, смутно напоминали мне его цилиндр, его затылок, сухой и упрямый. С течением времени в городе к бездарности

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
отца пригляделись, она укоренилась и стала нашим стилем.

Этот стиль отец внес и в жизнь моей сестры. Начать с того, что он назвал ее Клеопатрой (как меня назвал Мисаилом). Когда она была еще девочкой, он пугал ее напоминанием о звездах, о древних мудрецах, о наших предках, подолгу объяснял ей, что такое жизнь, что такое долг; и теперь, когда ей было уже 26 лет, продолжал то же самое, позволяя ей ходить под руку только с ним одним и воображая почему-то, что рано или поздно должен явиться приличный молодой человек, который пожелает вступить с нею в брак из уважения к его личным качествам. А она обожала отца, боялась и верила в его необыкновенный ум.

Стало совсем темно, и улица мало-помалу опустела. В доме, что напротив, затихла музыка; отворились настежь ворота, и по нашей улице, балуясь, мягко играя бубенчиками, покатила тройка. Это инженер с дочерью поехал кататься. Пора спать!

В доме у меня была своя комната, но жил я на дворе в хибарке, под одну крышей с кирпичным сараем, которую построили когда-то, вероятно, для хранения сруби, – в стены были вбиты большие костыли, – теперь же она была лишней, и отец вот уже тридцать лет складывал в ней свою газету, которую для чего-то переплетал по полугодиям и не позволял никому трогать. Живя здесь, я реже попадался на глаза отцу и его гостям, и мне казалось, что если я живу не в настоящей комнате и не каждый день хожу в дом обедать, то слова отца, что я живу у него на шее, звучат уже как будто не так обидно.

Меня поджидала сестра. Она тайно от отца принесла мне ужин: небольшой кусочек холодной телятины и ломтик хлеба. У нас в доме часто повторяли: «деньги счет любят», «копейка рубль бережет» и тому подобное, и сестра, подавленная этими пошлостями, старалась только о том, как бы сократить расходы, и оттого питались мы дурно. Поставив тарелку на стол, она села на мою постель и заплакала.

– Мисаил, – сказала она, – что ты с нами делаешь?

Она не закрывала лица, слезы у нее капали на грудь и на руки, и выражение было скорбное. Она упала на подушку и дала волю слезам, вздрагивая всем телом и всхлипывая.

– Ты опять оставил службу... – проговорила она. – О, как это ужасно!

– Но пойми, сестра, пойми... – сказал я, и оттого, что она плакала, мною овладело отчаяние.

Как нарочно, в лампочке моей выгорел уже весь керосин, она коптила, собираясь погаснуть, и старые костыли на стенах глядели сурово, и тени их мигали.

– Пощади нас! – сказала сестра, поднимаясь. – Отец в страшном горе, а я больна, схожу с ума. Что с тобою будет? – спрашивала она, рыдая и протягивая ко мне руки. – Прошу тебя, умоляю, именем нашей покойной мамы прошу: иди опять на службу!

– Не могу, Клеопатра! – сказал я, чувствуя, что еще немного – и я сдамся. – Не могу!

– Почему? – продолжала сестра. – Почему? Ну, если не поладил с начальником, ищи себе другое место. Например, отчего бы тебе не пойти служить на железную дорогу? Я сейчас говорила с Анютой Благово, она уверяет, что тебя примут на железную дорогу, и даже обещала похлопотать за тебя. Бога ради, Мисаил, подумай! Подумай, умоляю тебя!

Мы поговорили еще немного, и я сдался. Я сказал, что мысль о службе на строящейся железной дороге мне еще ни разу не приходила в голову и что, пожалуй, я готов попробовать.

Она радостно улыбнулась сквозь слезы и пожала мне руку и потом всё еще продолжала плакать, так как не могла остановиться, а я пошел в кухню за керосином.

II

Среди охотников до любительских спектаклей, концертов и живых картин с

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru благотворительной целью первое место в городе принадлежало Ажогиным, жившим в собственном доме на Большой Дворянской; они всякий раз давали помещение и они же принимали на себя все хлопоты и расходы. Эта богатая помещичья семья имела в уезде тысяч около трех десятин с роскошной усадьбой, но деревни не любила и жила зиму и лето в городе. Состояла она из матери, высокой, худощавой, деликатной дамы, носившей короткие волосы, короткую кофточку и плоскую юбку на английский манер, – и трех дочерей, которых, когда говорили о них, называли не по именам, а просто: старшая, средняя и младшая. Все они были с некрасивыми острыми подбородками, близоруки, сутулы, одеты так же, как мать, неприятно шепелявили и все-таки, несмотря на это, обязательно участвовали в каждом представлении и постоянно делали что-нибудь с благотворительною целью – играли, читали, пели. Они были очень серьезны и никогда не улыбались и даже в водевилях с пением играли без малейшей веселости, с деловым видом, точно занимались бухгалтерией.

Я любил наши спектакли, а особенно репетиции, частые, немножко бестолковые, шумные, после которых нам всегда давали ужинать. В выборе пьес и в распределении ролей я не принимал никакого участия. На мне лежала закулисная часть. Я писал декорации, переписывал роли, суфлировал, гримировал, и на меня было возложено также устройство разных эффектов вроде грома, пения соловья и т. п. Так как у меня не было общественного положения и порядочного платья, то на репетициях я держался особняком, в тени кулис, и застенчиво молчал.

Декорации писал я у Ажогиных в сарае или на дворе. Мне помогал маляр, или, как он сам называл себя, подрядчик малярных работ, Андрей Иванов, человек лет пятидесяти, высокий, очень худой и бледный, с впалой грудью, с впалыми висками и с синевой под глазами, немножко даже страшный на вид. Он был болен какою-то изнурительною болезнью, и каждую осень и весну говорили про него, что он отходит, но он, полежавши, вставал и потом говорил с удивлением: «А я опять не помер!»

В городе его звали Редькой и говорили, что это его настоящая фамилия. Он любил театр так же, как я, и едва до него доходили слухи, что у нас затевается спектакль, как он бросал все свои работы и шел к Ажогиным писать декорации.

На другой день после объяснения с сестрой я с утра до вечера работал у Ажогиных. Репетиция была назначена в семь часов вечера, и за час до начала в зале уже были в сборе все любители, и по сцене ходили старшая, средняя и младшая и читали по тетрадкам. Редька в длинном рыжем пальто и в шарфе, намотанном на шею, уже стоял, прислонившись виском к стене, и смотрел на сцену с набожным выражением. Ажогина-мать подходила то к одному, то к другому гостю и говорила каждому что-нибудь приятное. У нее была манера пристально смотреть в лицо и говорить тихо, как по секрету.

– Должно быть, трудно писать декорации, – сказала она тихо, подходя ко мне. – А мы только что с мадам Муфке говорили о предрассудках, и я видела, как вы вошли. Бог мой, я всю, всю мою жизнь боролась с предрассудками! Чтобы убедить прислугу, какие пустяки все эти их страхи, я у себя всегда зажигаю три свечи и все свои важные дела начинаю тринадцатого числа.

Пришла дочь инженера Должикова, красивая, полная блондинка, одетая, как говорили у нас, во всё парижское. Она не играла, но на репетициях для нее ставили стул на сцене, и спектаклей не начинали раньше, пока она не появлялась в первом ряду, сияя и изумляя всех своим нарядом. Ей, как столичной штучке, разрешалось во время репетиций делать замечания, и делала она их с милою, снисходительною улыбкой, и видно было, что на наши представления она смотрела, как на детскую забаву. Про нее говорили, что она училась петь в петербургской консерватории и будто даже целую зиму пела в частной опере. Она мне очень нравилась, и обыкновенно на репетициях и во время спектакля я не спускал с нее глаз.

Я уже взял тетрадку, чтобы начать суфлировать, как неожиданно появилась сестра. Не снимая мантию и шляпы, она подошла ко мне и сказала:

– Прощу тебя, пойдём.

Я пошел. За сценой, в дверях стояла Аня Благово, тоже в шляпке, с темною вуалью. Это была дочь товарища председателя суда, служившего в нашем городе давно, чуть ли не с самого основания окружного суда. Так как она была высока ростом и хорошо сложена, то участие ее в живых картинах считалось обязательным,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru и когда она изображала какую-нибудь фею или Славу, то лицо ее горело от стыда; но в спектаклях она не участвовала, а заходила на репетиции только на минутку, по какому-нибудь делу, и не шла в зал. И теперь видно было, что она зашла только на минутку.

– Мой отец говорил о вас, – сказала она сухо, не глядя на меня и краснея. – Должиков обещал вам место на железной дороге. Отправляйтесь к нему завтра, он будет дома.

Я поклонился и поблагодарил за хлопоты.

– А это вы можете оставить, – сказала она, указав на тетрадку.

Она и сестра подошли к Ажогойной и минуты две шептались с нею, поглядывая на меня. Они советовались о чем-то.

– В самом деле, – сказала Ажогойная тихо, подходя ко мне и пристально глядя в лицо, – в самом деле, если это отвлекает вас от серьезных занятий, – она потянула из моих рук тетрадь, – то вы можете передать кому-нибудь другому. Не беспокойтесь, мой друг, идите себе с богом.

Я простился с нею и вышел сконфуженный. Спускаясь вниз по лестнице, я видел, как уходили сестра и Анята Благово; они оживленно говорили о чем-то, должно быть о моем поступлении на железную дорогу, и спешили. Сестра раньше никогда не бывала на репетициях, и теперь, вероятно, ее мучила совесть, и она боялась, как бы отец не узнал, что она без его позволения была у Ажогойных.

Я отправился к Должинову на другой день, в первом часу. Лакей проводил меня в очень красивую комнату, которая была у инженера гостиной и в то же время рабочим кабинетом. Тут было всё мягко, изящно и для такого непривычного человека, как я, даже странно. Дорогие ковры, громадные кресла, бронза, картины, золотые и плюшевые рамы; на фотографиях, разбросанных по стенам, очень красивые женщины, умные, прекрасные лица, свободные позы; из гостиной дверь ведет прямо в сад, на балкон, видна сирень, виден стол, накрытый для завтрака, много бутылок, букет из роз, пахнет весной и дорогою сигарой, пахнет счастьем, – и всё, кажется, так и хочет сказать, что вот-де пожил человек, потрудился и достиг, наконец, счастья, возможного на земле. За письменным столом сидела дочь инженера и читала газету.

– Вы к отцу? – спросила она. – Он принимает душ, сейчас придет. Посидите пока, прошу вас.

Я сел.

– Вы ведь, кажется, против нас живете? – спросила она опять, после некоторого молчания.

– Да.

– Я от скуки каждый день наблюдаю из окна, уж вы извините, – продолжала она, глядя в газету, – и часто вижу вас и вашу сестру. У нее всегда такое доброе, сосредоточенное выражение.

Вошел Должиков. Он вытирал полотенцем шею.

– Папа, monsieur Полознев, – сказала дочь.

– Да, да, мне говорил Благово, – живо обратился он ко мне, не подавая руки. – Но, послушайте, что же я могу вам дать? Какие у меня места? Странные вы люди, господа! – продолжал он громко и таким тоном, как будто делал мне выговор. – Ходит вас ко мне по двадцать человек в день, вообразили, что у меня департамент! У меня линия, господа, у меня каторжные работы, мне нужны механики, слесаря, землекопы, столяры, колодезники, а ведь все вы можете только сидеть и писать, больше ничего! Все вы писатели!

И от него пахло на меня тем же счастьем, что и от его ковров и кресел. Полный, здоровый, с красными щеками, с широкою грудью, вымытый, в ситцевой рубашке и шароварах, точно фарфоровый, игрушечный ящик. У него была круглая, курчавая бородка – и ни одного седого волоска, нос с горбинкой, а глаза темные, ясные,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
невинные.

– Что вы умеете делать? – продолжал он. – Ничего вы не умеете! Я инженер-с, я обеспеченный человек-с, но, прежде чем мне дали дорогу, я долго тер лямку, я ходил машинистом, два года работал в Бельгии как простой смазчик. Посудите сами, любезнейший, какую работу я могу вам предложить?

– Конечно, это так... – пробормотал я в сильном смущении, не вынося его ясных, невинных глаз.

– По крайней мере, умеете ли вы управляться с аппаратом? – спросил он, подумав.

– Да, я служил на телеграфе.

– Гм... Ну, там посмотрим. Отправляйтесь пока в Дубечню. Там у меня уже сидит один, но дрянь ужасная.

– А в чем будут заключаться мои обязанности? – спросил я.

– Там увидим. Отправляйтесь пока, я распоряжусь. Только, пожалуйста, у меня не пьянствовать и не беспокоить меня никакими просьбами. Выгоню.

Он отошел от меня и даже головой не кивнул. Я поклонился ему и его дочери, читавшей газету, и вышел. На душе у меня было тяжело до такой степени, что когда сестра стала спрашивать, как принял меня инженер, то я не мог выговорить ни одного слова.

Чтобы идти в Дубечню, я встал рано утром, с восходом солнца. На нашей Большой Дворянской не было ни души, все еще спали, и шаги мои раздавались одиноко и глухо. Тополи, покрытые росой, наполняли воздух нежным ароматом. Мне было грустно и не хотелось уходить из города. Я любил свой родной город. Он казался мне таким красивым и теплым! Я любил эту зелень, тихие солнечные утра, звон наших колоколов; но люди, с которыми я жил в этом городе, были мне скучны, чужды и порой даже гадки. Я не любил и не понимал их.

Я не понимал, для чего и чем живут все эти шестьдесят пять тысяч людей. Я знал, что Кимры добывают себе пропитание сапогами, что Тула делает самовары и ружья, что Одесса портовый город, но что такое наш город и что он делает – я не знал. Большая Дворянская и еще две улицы почище жили на готовые капиталы и на жалованье, получаемое чиновниками из казны; но чем жили остальные восемь улиц, которые тянулись параллельно версты на три и исчезали за холмом, – это для меня было всегда непостижимо загадкой. И как жили эти люди, стыдно сказать! Ни сада, ни театра, ни порядочного оркестра; городская и клубная библиотеки посещались только евреями-подростками, так что журналы и новые книги по месяцам лежали неразрезанными; богатые и интеллигентные спали в душных, тесных спальнях, на деревянных кроватях с клопами, детей держали в отвратительно грязных помещениях, называемых детскими, а слуги, даже старые и почтенные, спали в кухне на полу и укрывались лохмотьями. В скоромные дни в домах пахло борщом, а в постные – осетриной, жаренной на подсолнечном масле. Ели невкусно, пили нездоровую воду. В думе, у губернатора, у архиерея, всюду в домах много лет говорили о том, что у нас в городе нет хорошей и дешевой воды и что необходимо занять у казны двести тысяч на водопровод; очень богатые люди, которых у нас в городе можно было насчитать десятка три и которые, случалось, проигрывали в карты целые имения, тоже пили дурную воду и всю жизнь говорили с азартом о займе – и я не понимал этого; мне казалось, было бы проще взять и выложить эти двести тысяч из своего кармана.

Во всем городе я не знал ни одного честного человека. Мой отец брал взятки и воображал, что это дают ему из уважения к его душевным качествам; гимназисты, чтобы переходить из класса в класс, поступали на хлеба к своим учителям, и эти брали с них большие деньги; жена воинского начальника во время набора брала с рекрутов и даже позволяла угощать себя и раз в церкви никак не могла подняться с колен, так как была пьяна; во время набора брали и врачи, а городской врач и ветеринар обложили налогом мясные лавки и трактиры; в уездном училище торговали свидетельствами, дававшими льготу по третьему разряду; благочинные брали с подчиненных причтов и церковных старост; в городской, мещанской, во врачебной и во всех прочих управах каждому просителю кричали вслед: «Благодарить надо!» – и проситель возвращался, чтобы дать 30–40 копеек. А те, которые взяток не брали,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru как, например, чины судебного ведомства, были надменны, подавали два пальца, отличались холодностью и узостью суждений, играли много в карты, много пили, женились на богатых и, несомненно, имели на среду вредное, развращающее влияние. Лишь от одних девушек веяло нравственного чистотой; у большинства из них были высокие стремления, честные, чистые души; но они не понимали жизни и верили, что взятки даются из уважения к душевным качествам, и, выйдя замуж, скоро старились, опускались и безнадежно тонули в тине пошлого, мещанского существования.

III

В нашей местности строилась железная дорога. Накануне праздников по городу толпами ходили оборванцы, которых звали «чугункой» и которых боялись. Нередко приходилось мне видеть, как оборванца с окровавленной физиономией, без шапки, вели в полицию, а сзади, в виде вещественного доказательства, несли самовар или недавно вымытое, еще мокрое белье. «Чугунка» обыкновенно толпилась около кабаков и на базарах; она пила, ела, нехорошо бранилась и каждую мимо проходившую женщину легкого поведения провожала пронзительным свистом. Наши лавочники, чтобы позабавить эту голодную рвань, поили собак и кошек водкой или привязывали собаке к хвосту жестянку из-под керосина, поднимали свист, и собака мчалась по улице, гремя жестянкой, визжа от ужаса; ей казалось, что ее преследует по пятам какое-то чудовище, она бежала далеко за город, в поле и там выбивалась из сил; и у нас в городе было несколько собак, постоянно дрожавших, с поджатыми хвостами, про которых говорили, что они не перенесли такой забавы, сошли с ума.

Вокзал строился в пяти верстах от города. Говорили, что инженеры за то, чтобы дорога подходила к самому городу, просили взятку в пятьдесят тысяч, а городское управление соглашалось дать только сорок, разошлись в десяти тысячах, и теперь горожане раскаивались, так как предстояло проводить до вокзала шоссе, которое по смете обходилось дороже. По всей линии были уже положены шпалы и рельсы, и ходили служебные поезда, возившие строительный материал и рабочих, и задержка была только за мостами, которые строил Должиков, да кое-где не были еще готовы станции.

Дубечня – так называлась наша первая станция – находилась в семнадцати верстах от города. Я шел пешком. Ярко зеленели озимь и яровые, охваченные утренним солнцем. Место было ровное, веселое, и вдаль ясно вырисовывались вокзал, курганы, далекие усадьбы... как хорошо было тут на воле! И как я хотел проникнуться сознанием свободы, хотя бы на одно это утро, чтобы не думать о том, что делалось в городе, не думать о своих нуждах, не хотеть есть! Ничто так не мешало мне жить, как острое чувство голода, когда мои лучшие мысли странно мешались с мыслями о гречневой каше, о котлетах, о жареной рыбе. Вот я стою один в поле и смотрю вверх на жаворонка, который повис в воздухе на одном месте и залился, точно в истерике, а сам думаю: «Хорошо бы теперь поесть хлеба с маслом!» Или вот сажусь у дороги и закрываю глаза, чтобы отдохнуть, прислушаться к этому чудесному майскому шуму, и мне припоминается, как пахнет горячий картофель. При моем большом росте и крепком сложении мне приходилось есть вообще мало, и потому главным чувством моим в течение дня был голод, и потому, быть может, я отлично понимал, почему такое множество людей работает только для куска хлеба и может говорить только о харчах.

В Дубечне штукатурили внутри станцию и строили верхний деревянный этаж у водокачки. Было жарко, пахло известкой, и рабочие вяло бродили по кучам щепы и мусора; около своей будки спал стрелочник, и солнце жгло ему прямо в лицо. Ни одного дерева. Слабо гудела телеграфная проволока, и на ней кое-где отдыхали ястреба. Бродя тоже по кучам, не зная, что делать, я вспоминал, как инженер на мой вопрос, в чем будут заключаться мои обязанности, ответил мне: «Там увидим». Но что можно было увидеть в этой пустыне? Штукатуры говорили про десятника и про какого-то Федота Васильева, я не понимал, и мною мало-помалу овладела тоска – тоска физическая, когда чувствуешь свои руки, ноги и всё свое большое тело и не знаешь, что делать с ними, куда деваться.

Походив, по крайней мере с два часа, я заметил, что от станции куда-то вправо от линии шли телеграфные столбы и через полторы-две версты оканчивались у белого каменного забора; рабочие сказали, что там контора, и наконец я сообразил, что мне нужно именно туда.

Это была очень старая, давно заброшенная усадьба. Забор из белого ноздреватого камня уже выветрился и обвалился местами, и на флигеле, который своею глухою стеной выходил в поле, крыша была ржавая, и на ней кое-где блестели латки из

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
жести. В ворота был виден просторный двор, поросший бурьяном, и старый барский дом с жалюзи на окнах и с высокою крышей, рыжею от ржавчины. По сторонам долга, направо и налево, стояли два одинаковых флигеля; у одного окна были забиты досками, около другого, с открытыми окнами, висело на веревке белье и ходили телята. Последний телеграфный столб стоял во дворе, и проволока от него шла к окну того флигеля, который своею глухою стеной выходил в поле. Дверь была отворена, я вошел. За столом у телеграфного станка сидел какой-то господин с темною, кудрявою головой, в пиджаке из парусинки; он сурово, исподлобья поглядел на меня, но тотчас же улыбнулся и сказал:

– Здравствуй, маленькая польза!

Это был Иван Чепраков, мой товарищ по гимназии, которого исключили из второго класса за курение табаку. Мы вместе когда-то, в осеннее время, ловили щеглов, чижей и дубоносов и продавали их на базаре рано утром, когда еще наши родители спали. Мы подстерегали стайки перелетных скворцов и стреляли в них мелкою дробью, потом подбирали раненых, и одни у нас умирали в страшных мучениях (я до сих пор еще помню, как они ночью стонали у меня в клетке), других, которые выздоравливали, мы продавали и нагло божились при этом, что всё это одни самцы. Как-то раз на базаре у меня остался один только скворец, которого я долго предлагал покупателям и наконец сбил за копейку. «Все-таки маленькая польза!» – сказал я себе в утешение, пряча эту копейку, и с того времени уличные мальчишки и гимназисты прозвали меня маленькою пользой; да и теперь еще мальчишки и лавочники, случалось, дразнили меня так, хотя, кроме меня, уже никто не помнил, откуда произошло это прозвище.

Чепраков был не крепкого сложения; узкогрудый, сутулый, длинноногий. Галстук веревочкой, жилетки не было вовсе, а сапоги хуже моих – с кривыми каблуками. Он редко мигал глазами и имел стремительное выражение, будто собирался что-то схватить, и всё суетился.

– Да ты постой, – говорил он, суетясь. – Да ты послушай!.. О чем, бишь, я только что говорил?

Мы разговорились. Я узнал, что имение, в котором я теперь находился, еще недавно принадлежало Чепраковым и только прошлого осенью перешло к инженеру Должикову, который полагал, что держать деньги в земле выгоднее, чем в бумагах, и уже купил в наших краях три порядочных имения с переводом долга; мать Чепракова при продаже выговорила себе право жить в одном из боковых флигелей еще два года и выпросила для сына место при конторе.

– Еще бы ему не покупать! – сказал Чепраков про инженера. – С одних подрядчиков дерет сколько! Со всех дерет!

Потом он повел меня обедать, решив суетливо, что жить я буду с ним вдвоем во флигеле, а столоваться у его матери.

– Она у меня скряга, – сказал он, – но дорого с тебя не возьмет.

В маленьких комнатах, где жила его мать, было очень тесно; все они, даже сени и передняя, были загромождены мебелью, которую после продажи имения перенесли сюда из большого дома; и мебель была всё старинная, из красного дерева. Госпожа Чепракова, очень полная, пожилая дама, с косыми китайскими глазами, сидела у окна в большом кресле и вязала чулок. Приняла она меня церемонно.

– Это, мамаша, Полознев, – представил меня Чепраков. – Он будет служить тут.

– Вы дворянин? – спросила она странным, неприятным голосом; мне показалось, будто у нее в горле клокочет жир.

– Да, – ответил я.

– Садитесь.

Обед был плохой. Подавали только пирог с горьким творогом и молочный суп. Елена Никифоровна, хозяйка, всё время как-то странно подмигивала то одним глазом, то другим. Она говорила, ела, но во всей ее фигуре было уже что-то мертвенное и даже как будто чувствовался запах трупа. Жизнь в ней едва теплилась, теплилось и

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
сознание, что она – барыня-помещица, имевшая когда-то своих крепостных, что она – генеральша, которую прислуга обязана величать превосходительством; и когда эти жалкие остатки жизни вспыхивали в ней на мгновение, то она говорила сыну:

– Жан, ты не так держишь нож!

Или же говорила мне, тяжело переводя дух, с жеманством хозяйки, желающей занять гостя:

– А мы, знаете, продали наше имение. Конечно, жаль, привыкли мы тут, но Должиков обещал сделать Жана начальником станции Дубечни, так что мы не уедем отсюда, будем жить тут на станции, а это всё равно, что в имении. Инженер такой добрый! Не находите ли вы, что он очень красив?

Еще недавно Чепраковы жили богато, но после смерти генерала всё изменилось. Елена Никифоровна стала ссориться с соседями, стала судиться, недоплачивать приказчикам и рабочим; всё боялась, как бы ее не ограбили – и в какие-нибудь десять лет Дубечня стала неузнаваемой.

Позади большого дома был старый сад, уже одичавший, заглушенный бурьяном и кустарником. Я прошелся по террасе, еще крепкой и красивой; сквозь стеклянную дверь видна была комната с паркетным полом, должно быть, гостиная; старинное фортепиано да на стенах гравюры в широких рамах из красного дерева – и больше ничего. От прежних цветников уцелели одни пионы и маки, которые поднимали из травы свои белые и ярко-красные головы; по дорожкам, вытягиваясь, мешая друг другу, росли молодые клены и вязы, уже ощипанные коровами. Было густо, и сад казался непроходимым, но это только вблизи дома, где еще стояли тополи, сосны и старые липы-сверстницы, уцелевшие от прежних аллей, а дальше за ними сад расчищали для сенокоса, и тут уже не парило, паутина не лезла в рот и в глаза, подувал ветерок; чем дальше вглубь, тем просторнее, и уже росли на просторе вишни, сливы, раскидистые яблони, обезображенные подпорками и гангреной, и груши такие высокие, что даже не верилось, что это груши. Эту часть сада арендовали наши городские торговки, и сторожил ее от воров и скворцов мужик-дурачок, живший в шалаше.

Сад, всё больше редая, переходя в настоящий луг, спускался к реке, поросшей зеленым камышом и ивняком; около мельничной плотины был плёс, глубокий и рыбный, сердито шумела небольшая мельница с соломенной крышей, неистово квакали лягушки. На воде, гладкой, как зеркало, изредка ходили круги да вздрагивали речные лилии, потревоженные веселою рыбой. По ту сторону речки находилась деревушка Дубечня. Тихий голубой плёс манил к себе, обещая прохладу и покой. И теперь всё это – и плёс, и мельница, и уютные берега принадлежали инженеру!

И вот началась моя новая служба. Я получал телеграммы и отправлял их дальше, писал разные ведомости и переписывал начисто требовательные записи, претензии и рапорты, которые присылались к нам в контору безграмотными десятниками и мастерами. Но большую часть дня я ничего не делал, а ходил по комнате, ожидая телеграмм, или сажал во флигеле мальчику, а сам уходил в сад и гулял, пока мальчик не прибежал сказать, что стучит аппарат. Обедал я у госпожи Чепраковой. Мясо подавали очень редко, блюда всё были молочные, а в среды и в пятницы – постные, и в эти дни подавались к столу розовые тарелки, которые назывались постными. Чепракова постоянно подмигивала – это была у нее такая привычка, и в ее присутствии мне всякий раз становилось не по себе.

Так как работы во флигеле не хватало и на одного, то Чепраков ничего не делал, а только спал или уходил с ружьем на плёс стрелять уток. По вечерам он напивался в деревне или на станции и перед тем, как спать, смотрелся в зеркальце и кричал:

– Здравствуй, Иван Чепраков!

Пьяный он был очень бледен и всё потирал руки и смеялся, точно ржал: ги-ги-ги! Из озорства он раздевался донага и бегал по полю голый. Ел мух и говорил, что они кисленькие.

IV

Как-то после обеда он прибежал во флигель, запыхавшись, и сказал:

– Ступай, там сестра твоя приехала.

Я вышел. В самом деле, у крыльца большого дома стояла городская извозчицья линейка. Приехала моя сестра, а с нею Анята Благово и еще какой-то господин в военном кителе. Подойдя ближе, я узнал военного: это был брат Аняты, доктор.

– Мы к вам на пикник приехали, – сказал он. – Ничего?

Сестра и Анята хотели спросить, как мне тут живется, но обе молчали и только смотрели на меня. Я тоже молчал. Они поняли, что мне тут не нравится, и у сестры навернулись слезы, а Анята Благово стала красной. Пошли в сад. Доктор шел впереди всех и говорил восторженно:

– Вот так воздух! Мать честная, вот так воздух!

По наружному виду это был еще совсем студент. И говорил, и ходил он, как студент, и взгляд его серых глаз был такой же живой, простой и открытый, как у хорошего студента. Рядом со своею высокою и красивою сестрой он казался слабым, жидким; и борода у него была жидкая, и голос тоже – жиденький тенорок, довольно, впрочем, приятный. Он служил где-то в полку и теперь приехал в отпуск к своим и говорил, что осенью поедет в Петербург держать экзамен на доктора медицины. У него уже была своя семья – жена и трое детей; женился он рано, когда еще был на втором курсе, и теперь в городе рассказывали про него, что он несчастлив в семейной жизни и уже не живет с женой.

– Который теперь час? – беспокоилась сестра. – Нам бы пораньше вернуться, папа отпустил меня к брату только до шести часов.

– Ох, уж ваш папа! – вздохнул доктор.

Я поставил самовар. На ковре перед террасой большого дома мы пили чай, и доктор, стоя на коленях, пил из блюдечка и говорил, что он испытывает блаженство. Потом Чепраков сходил за ключом и отпер стеклянную дверь, и все мы вошли в дом. Было здесь сумрачно, таинственно, пахло грибами, и шаги наши издавали гулкой шум, точно под полом был подвал. Доктор, стоя, тронул клавиши фортепиано, и оно ответило ему слабо, дрожащим, сиплым, но еще стройным аккордом; он попробовал голос и запел какой-то романс, морщась и нетерпеливо стуча ногой, когда какой-нибудь клавиш оказывался немым. Моя сестра уже не собиралась домой, а в волнении ходила по комнате и говорила:

– Мне весело! Мне очень, очень весело!

В ее голосе слышалось удивление, точно ей казалось невероятным, что у нее тоже может быть хорошо на душе. Это первый раз в жизни я видел ее такою веселою. Она даже похорошела. В профиль она была некрасива, у нее нос и рот как-то выдавались вперед и было такое выражение, точно она дула, но у нее были прекрасные темные глаза, бледный, очень нежный цвет лица и трогательное выражение доброты и печали, и когда она говорила, то казалась миловидною и даже красивою. Мы оба, я и она, уродились в нашу мать, широкие в плечах, сильные, выносливые, но бледность у нее была болезненная, она часто кашляла, и в глазах у нее я иногда подмечал выражение, какое бывает у людей, которые серьезно больны, но почему-то скрывают это. В ее теперешней веселости было что-то детское, наивное, точно та радость, которую во время нашего детства пригнетали и заглушали суровым воспитанием, вдруг проснулась теперь в душе и вырвалась на свободу.

Но когда наступил вечер и подали лошадей, сестра притихла, осунулась и села на линейку с таким видом, как будто это была скамья подсудимых.

Вот они все уехали, шум затих... Я вспомнил, что Анята Благово за всё время не сказала со мною ни одного слова.

«Удивительная девушка! – подумал я. – Удивительная девушка!»

Наступил Петровский пост, и нас уже каждый день кормили постным. От праздности и неопределенности положения меня тяготила физическая тоска, и я, недовольный собою, вялый, голодный, слонялся по усадьбе и только ждал подходящего настроения, чтобы уйти.

Как-то перед вечером, когда у нас во флигеле сидел Редька, неожиданно вошел

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru Должиков, сильно загоревший и серый от пыли. Он три дня пробыл на своем участке и теперь приехал в Дубечню на паровозе, а к нам со станции пришел пешком. В ожидании экипажа, который должен был прийти из города, он со своим приказчиком обошел усадьбу, громким голосом давая приказания, потом целый час сидел у нас во флигеле и писал какие-то письма; при нем на его имя приходили телеграммы, и он сам выстукивал ответы. Мы трое стояли молча, навтыяжку.

– Какие беспорядки! – сказал он, брезгливо заглянув в ведомость. – Через две недели я перевожу контору на станцию и уж не знаю, что мне с вами делать, господа.

– Я стараюсь, ваше высокородие, – проговорил Чепраков.

– То-то, вижу, как вы стараетесь. Только жалованье умеете получать, – продолжал инженер, глядя на меня. – Всё надеетесь на протекцию, как бы поскорее и полегче faire la carrière.[38] Ну, я не посмотрю на протекцию. За меня никто не хлопотал-с. Прежде чем мне дали дорогу, я ходил машинистом, работал в Бельгии как простой смазчик-с. А ты, Пантелей, что здесь делаешь? – спросил он, повернувшись к Редьке. – Пьянствуешь с ними?

Он всех простых людей почему-то называл Пантелеями, а таких, как я и Чепраков, презирал и за глаза обзывал пьяницами, скотами, сволочью. Вообще к мелким служащим он был жесток и штрафовал, и гонял их со службы холодно, без объяснений.

Наконец, приехали за ним лошади. Он на прощанье пообещал уволить всех нас через две недели, обозвал приказчика болваном и затем, развалившись в коляске, покатил в город.

– Андрей Иванович, – сказал я Редьке, – возьмите меня к себе в рабочие.

– Ну, что ж!

И мы пошли вместе по направлению к городу. Когда станция и усадьба остались далеко за нами, я спросил:

– Андрей Иванович, зачем вы давеча приходили в Дубечню?

– Первое, ребята мои работают на линии, а второе – приходил к генеральше проценты платить. Летешний год я у нее полсотню взял и плачу теперь ей по рублю в месяц.

Маляр остановился и взял меня за пуговицу.

– Мисаил Алексеич, ангел вы наш, – продолжал он, – я так понимаю, ежели какой простой человек или господин берет даже самый малый процент, тот уже есть злодей. В таком человеке не может правда существовать.

Тощий, бледный, страшный Редька закрыл глаза, покачал головой и изрек тоном философа:

– Тля ест траву, ржа – железо, а лжа – душу. Господи, спаси нас грешных!

У

Редька был непрактичен и плохо умел соображать; набирал он работы больше, чем мог исполнить, и при расчете тревожился, терялся и потому почти всегда бывал в убытке. Он красил, вставлял стекла, оклеивал стены обоями и даже принимал на себя кровельные работы, и я помню, как он, бывало, из-за ничтожного заказа бегал дня по три, отыскивая кровельщиков. Это был превосходный мастер, случалось ему иногда зарабатывать до десяти рублей в день, и если бы не это желание – во что бы то ни стало быть главным и называться подрядчиком, то у него, вероятно, водились бы хорошие деньги.

Сам он получал издельно, а мне и другим ребятам платил поденно, от семидесяти копеек до рубля в день. Пока стояла жаркая и сухая погода, мы исполняли разные наружные работы, главным образом красили крыши. С непривычки моим ногам было горячо, точно я ходил по раскаленной плите, а когда надевал валенки, то ногам было душно. Но это только на первых порах, потом же я привык, и всё пошло, как

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru по маслу. Я жил теперь среди людей, для которых труд был обязателен и неизбежен и которые работали, как ломовые лошади, часто не сознавая нравственного значения труда и даже никогда не употребляя в разговоре самого слова «труд»; около них и я тоже чувствовал себя ломовиком, всё более проникаясь обязательностью и неизбежностью того, что я делал, и это облегчало мне жизнь, избавляя от всяких сомнений.

В первое время всё занимало меня, всё было ново, точно я вновь родился. Я мог спать на земле, мог ходить босиком, – а это чрезвычайно приятно; мог стоять в толпе простого народа, никого не стесняя, и когда на улице падала извозчичья лошадь, то я бежал и помогал поднять ее, не боясь запачкать свое платье. А главное, я жил на свой собственный счет и никому не был в тягость!

Окраска крыш, особенно с нашею олифой и краской, считалась очень выгодным делом, и потому эту грубую, скучную работу не брезговали даже такие хорошие мастера, как Редька. В коротких брючках, с тощими лиловыми ногами, он ходил по крыше, похожий на аиста, и я слышал, как, работая кистью, он тяжело вздыхал и говорил:

– Горе, горе нам, грешным!

По крыше он ходил так же свободно, как по полу. Несмотря на то, что он был болен и бледен, как мертвец, прыткость у него была необыкновенная; он так же, как молодые, красил купол и главы церкви без подмостков, только при помощи лестниц и веревки, и было немножко страшно, когда он тут, стоя на высоте, далеко от земли, выпрямлялся во весь свой рост и изрекал неизвестно для кого:

– Тля ест траву, ржа – железо, а лжа – душу!

Или же, думая о чем-нибудь, отвечал вслух своим мыслям:

– Всё может быть! Всё может быть!

Когда я возвращался с работы домой, то все эти, которые сидели у ворот на лавочках, все приказчики, мальчишки и их хозяева пускали мне вслед разные замечания, насмешливые и злобные, и это на первых порах волновало меня и казалось просто чудовищным.

– Маленькая польза! – слышалось со всех сторон. – Мальяр! Охра!

И никто не относился ко мне так немилостиво, как именно те, которые еще так недавно сами были простыми людьми и добывали себе кусок хлеба черным трудом. В торговых рядах, когда я проходил мимо железной лавки, меня, как бы нечаянно, обливали водой и раз даже швырнули в меня палкой. А один купец-рыбник, седой старик, загородил мне дорогу и сказал, глядя на меня со злобой:

– Не тебя, дурака, жалко! Отца твоего жалко!

А мои знакомые при встречах со мною почему-то конфузились. Одни смотрели на меня, как на чудака и шута, другим было жаль меня, третьи же не знали, как относиться ко мне, и понять их было трудно. Как-то днем, в одном из переулков около нашей Большой Дворянской, я встретил Анюту Благово. Я шел на работу и нес две длинные кисти и ведро с краской. Узнав меня, Анята вспыхнула.

– Прошу вас не кланяться мне на улице... – проговорила она нервно, сурово, дрожащим голосом, не подавая мне руки, и на глазах у нее вдруг заблестели слезы. – Если, по-вашему, всё это так нужно, то пусть... пусть, но прошу вас, не встречайтесь со мною!

Я уже жил не на Большой Дворянской, а в предместье Макарихе, у своей няни Карповны, доброй, но мрачной старушки, которая всегда предчувствовала что-нибудь дурное, боялась всех снов вообще и даже в пчелах и в осах, которые залетали к ней в комнату, видела дурные приметы. И то, что я сделался рабочим, по ее мнению, не предвещало ничего хорошего.

– Пропала твоя головушка! – говорила она печально, покачивая головой. – Пропала!

С нею в домике жил ее приемыш Прокофий, мясник, громадный, неуклюжий малый лет тридцати, рыжий, с жесткими усами. Встречаясь со мною в сенях, он молча и

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru почтительно уступал мне дорогу, и если был пьян, то всей пятерней делал мне под козырек. По вечерам он ужинал, и сквозь дощатую перегородку мне слышно было, как он крякал и вздыхал, выпивая рюмку за рюмкой.

– Мамаша! – звал он вполголоса.

– Ну? – отзывалась Карповна, любившая без памяти своего приемыша – Что, сынок?

– Я вам, мамаша, могу снисхождение сделать. В сей земной жизни буду вас питать на старости лет в юдоли, а когда помрете, на свой счет похороню. Сказал – и верно.

Вставал я каждый день до восхода солнца, ложился рано. Ели мы, маляры, очень много и спали крепко, и только почему-то по ночам сильно билось сердце. С товарищами я не ссорился. Брань, отчаянные клятвы и пожелания вроде того, например, чтобы лопнули глаза или схватила холера, не прекращались весь день, но, тем не менее, все-таки жили мы между собою дружно. Ребята подозревали во мне религиозного сектанта и добродушно подшучивали надо мною, говоря, что от меня даже родной отец отказался, и тут же рассказывали, что сами они редко заглядывают в храм божий и что многие из них по десяти лет на духу не бывали, и такое свое беспутство оправдывали тем, что маляр среди людей всё равно, что галка среди птиц.

Ребята уважали меня и относились ко мне с почтением; им, очевидно, нравилось, что я не пью, не курю и веду тихую, степенную жизнь. Их только неприятно шокировало, что я не участвую в краже олифы и вместе с ними не хожу к заказчикам просить на чай. Кража хозяйской олифы и краски была у маляров в обычае и не считалась кражей, и замечательно, что даже такой справедливый человек, как Редька, уходя с работы, всякий раз уносил с собою немножко белил и олифы. А просить на чай не стыдились даже почтенные старики, имевшие в Макарихе собственные дома, и было досадно и стыдно, когда ребята гурьбой поздравляли какое-нибудь ничтожество с первоначатием или окончанием и, получив от него гривенник, униженно благодарили.

С заказчиками они держали себя, как лукавые царедворцы, и мне почти каждый день вспоминался шекспировский Полоний.

– А, должно быть, дождь будет, – говорил заказчик, глядя на небо.

– Будет, беспреренно будет! – соглашались маляры.

– Впрочем, облака не дождевые. Пожалуй, не будет дождя.

– Не будет, ваше высокородие! Верно, не будет.

Заглазно они относились к заказчикам вообще иронически, и когда, например, видели барина, сидящего на балконе с газетой, то замечали:

– Газету читает, а есть, небось, нечего.

Дома у своих я не бывал. Возвращаясь с работы, я часто находил у себя записки, короткие в тревожные, в которых сестра писала мне об отце: то он был за обедом как-то особенно задумчив и ничего не ел, то пошатнулся, то заперся у себя и долго не выходил. Такие известия волновали меня, я не мог спать и, случалось даже, ходил ночью по Большой Дворянской мимо нашего дома, вглядываясь в темные окна и стараясь угадать, всё ли дома благополучно. По воскресеньям приходила ко мне сестра, но украдкой, будто не ко мне, а к няньке. И если входила ко мне, то очень бледная, с заплаканными глазами, и тотчас же начинала плакать.

– Наш отец не перенесет этого! – говорила она. – Если, не дай бог, с ним случится что-нибудь, то тебя всю жизнь будет мучить совесть. Это ужасно, мисаил! Именем нашей матери умоляю тебя: исправься!

– Сестра, дорогая моя, – говорил я, – как исправляться, если я убежден, что поступаю по совести? Пойми!

– Я знаю, что по совести, но, может быть, это можно как-нибудь иначе, чтобы никого не огорчать.

– Ох, батюшки! – вздыхала за дверью старуха. – Пропала твоя головушка! Быть беде, родимые мои, быть беде!

VI

В одно из воскресений ко мне неожиданно явился доктор Благово. Он был в кителе поверх шелковой рубахи и в высоких лакированных сапогах.

– А я к вам! – начал он, крепко, по-студенчески пожимая мне руку. – Каждый день слышу про вас и всё собираюсь к вам потолковать, как говорится, по душам. В городе страшная скука, нет ни одной живой души, не с кем слово сказать. Жарко, мать пречистая! – продолжал он, снимая китель и оставаясь в одной шелковой рубахе. – Голубчик, позвольте с вами поговорить!

Мне самому было скучно и давно уже хотелось побыть в обществе не маляров. Я искренно обрадовался ему.

– Начну с того, – сказал он, садясь на мою постель, – что я вам сочувствую от всей души и глубоко уважаю эту вашу жизнь. Здесь в городе вас не понимают; да и некому понимать, так как, сами знаете, здесь, за весьма малыми исключениями, всё гоголевские свиные рыла. Но я тогда же на пикнике сразу угадал вас. Вы – благородная душа, честный, возвышенный человек! Уважаю вас и считаю за великую честь пожать вашу руку! – продолжал он восторженно. – Чтобы изменить так резко и круто свою жизнь, как сделали это вы, нужно было пережить сложный душевный процесс, и, чтобы продолжать теперь эту жизнь и постоянно находиться на высоте своих убеждений, вы должны изо дня в день напряженно работать и умом, и сердцем. Теперь, для начала нашей беседы, скажите, не находите ли вы, что если бы силу воли, это напряжение, всю эту потенцию, вы затратили на что-нибудь другое, например, на то, чтобы сделаться со временем великим ученым или художником, то ваша жизнь захватывала бы шире и глубже и была бы продуктивнее во всех отношениях?

Мы разговорились, и когда у нас зашла речь о физическом труде, то я выразил такую мысль: нужно, чтобы сильные не поработали слабых, чтобы меньшинство не было для большинства паразитом или насосом, высасывающим из него хронически лучшие соки, то есть нужно, чтобы все без исключения – и сильные и слабые, богатые и бедные, равномерно участвовали в борьбе за существование, каждый сам за себя, а в этом отношении нет лучшего нивелирующего средства, как физический труд, в качестве общей, для всех обязательной повинности.

– Стало быть, по-вашему, физическим трудом должны заниматься все без исключения? – спросил доктор.

– Да.

– А не находите ли вы, что если все, в том числе и лучшие люди, мыслители и великие ученые, участвуя в борьбе за существование каждый сам за себя, станут тратить время на битие щепня и окраску крыш, то это может угрожать прогрессу серьезною опасностью?

– В чем же опасность? – спросил я. – Ведь прогресс – в делах любви, в исполнении нравственного закона. Если вы никого не поработаете, никому не в тягость, то какого вам нужно еще прогресса?

– Но позвольте! – вдруг вспыхнул Благово, вставая. – Но, позвольте! Если улитка в своей раковине занимается личным самосовершенствованием и ковыряется в нравственном законе, то вы это называете прогрессом?

– Почему же – ковыряется? – обиделся я. – Если вы не заставляете своих ближних кормить вас, одевать, возить, защищать вас от врагов, то в жизни, которая вся построена на рабстве, разве это не прогресс? По-моему, это прогресс самый настоящий и, пожалуй, единственно возможный и нужный для человека.

– Пределы общечеловеческого, мирового прогресса в бесконечности, и говорить о каком-то «возможном» прогрессе, ограниченном нашими нуждами или временными воззрениями, это, извините, даже странно.

– Если пределы прогресса в бесконечности, как вы говорите, то, значит, цели его

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
неопределенны, – сказал я. – Жить и не знать определенно, для чего живешь!

– Пусть! Но это «не знать» не так скучно, как ваше «знать». Я иду по лестнице, которая называется прогрессом, цивилизацией, культурой, иду и иду, не зная определенно, куда иду, но, право, ради одной этой чудесной лестницы стоит жить; а вы знаете, ради чего живете – ради того, чтобы одни не поработали других, чтобы художник и тот, кто растирает для него краски, обедали одинаково. Но ведь это мещанская, кухонная, серая сторона жизни, и для нее одной жить – неужели не противно? Если одни насекомые поработают других, то и черт с ними, пусть съедают друг друга! Не о них нам надо думать – ведь они всё равно помрут и сгниют, как ни спасайте их от рабства, – надо думать о том великом иксе, который ожидает всё человечество в отдаленном будущем.

Благово спорил со мною горячо, но в то же время было заметно, что его волнует какая-то посторонняя мысль.

– Должно быть, ваша сестра не придет, – сказал он, посмотрев на часы. – Вчера она была у наших и говорила, что будет у вас. Вы всё толкуете – рабство, рабство... – продолжал он. – Но ведь это вопрос частный, и все такие вопросы решаются человечеством постепенно, само собой.

Заговорили о постепенности. Я сказал, что вопрос – делать добро или зло – каждый решает сам за себя, не дожидаясь, когда человечество подойдет к решению этого вопроса путем постепенного развития. К тому же постепенность – палка о двух концах. Рядом с процессом постепенного развития идей гуманных наблюдается и постепенный рост идей иного рода. Крепостного права нет, зато растет капитализм. И в самый разгар освободительных идей, так же, как во времена Батюя, большинство кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само голодным, раздетым и беззащитным. Такой порядок прекрасно уживается с какими угодно веяниями и течениями, потому что искусство порабощения тоже культивируется постепенно. Мы уже не дерем на конюшне наших лакеев, но мы придаем рабству утонченные формы, по крайней мере, умеем находить для него оправдание в каждом отдельном случае. У нас идеи – идеями, но если бы теперь, в конце XIX века, можно было взвалить на рабочих еще также наши самые неприятные физиологические отправления, то мы взвалили бы и потом, конечно, говорили бы в свое оправдание, что если, мол, лучшие люди, мыслители и великие ученые станут тратить свое золотое время на эти отправления, то прогрессу может угрожать серьезная опасность.

Но вот пришла и сестра. Увидев доктора, она засуетилась, встревожилась и тотчас же заговорила о том, что ей пора домой, к отцу.

– Клеопатра Алексеевна, – сказал Благово убедительно, прижимая обе руки к сердцу, – что станется с вашим батюшкой, если вы проведете со мною и братом каких-нибудь полчаса?

Он был простосердечен и умел сообщать свое оживление другим. Моя сестра, подумав минуту, рассмеялась и повеселела вдруг, внезапно, как тогда на пикнике. Мы пошли в поле и, расположившись на траве, продолжали наш разговор и смотрели на город, где все окна, обращенные на запад, казались ярко-золотыми оттого, что заходило солнце.

После этого, всякий раз, когда приходила ко мне сестра, являлся и Благово, и оба здоровались с таким видом, как будто встреча их у меня была нечаянной. Сестра слушала, как я и доктор спорили, и в это время выражение у нее было радостно восторженное, умиленное и пытлиное, и мне казалось, что перед ее глазами открывался мало-помалу иной мир, какого она раньше не видела даже во сне и какой старалась угадать теперь. Без доктора она была тиха и грустна, и если теперь иногда плакала, сидя на моей постели, то уже по причинам, о которых не говорила.

В августе Редька приказал нам собираться на линию. Дня за два перед тем, как нас «погнали» за город, ко мне пришел отец. Он сел и не спеша, не глядя на меня, вытер свое красное лицо, потом достал из кармана наш городской «Вестник» и медленно, с ударением на каждом слове, прочел о том, что мой сверстник, сын управляющего конторою Государственного банка, назначен начальником отделения в казенной палате.

– А теперь взгляни на себя, – сказал он, складывая газету, – нищий, оборванец, негодяй! Даже мещане и крестьяне получают образование, чтобы стать людьми, а ты,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Полознев, имеющий знатных, благородных предков, стремишься в грязь! Но я пришел сюда не для того, чтобы разговаривать с тобою; на тебя я уже махнул рукой, – продолжал он придушенным голосом, вставая. – Я пришел затем, чтобы узнать: где твоя сестра, негодяй? Она ушла из дому после обеда, и вот уже восьмой час, а ее нет. Она стала часто уходить, не говоря мне, она уже менее почтительна, – и я вижу тут твое злое, подлое влияние. Где она?

В руках у него был знакомый мне зонтик, и я уже растерялся и вытянулся, как школьник, ожидая, что отец начнет бить меня, но он заметил взгляд мой, брошенный на зонтик, и, вероятно, это сдержало его.

– Живи, как хочешь! – сказал он. – Я лишаю тебя моего благословения!

– Батюшки-светы, – бормотала за дверью нянька. – Бедная, несчастная твоя головушка! Ох, чует мое сердце, чует!

Я работал на линии. Весь август непрерывно шли дожди, было сыро и холодно; с полей не свозили хлеба, и в больших хозяйствах, где косили машинами, пшеница лежала не в копнах, а в кучах, и я помню, как эти печальные кучи с каждым днем становились всё темнее, и зерно прорастало в них. Работать было трудно; ливень портил всё, что мы успевали сделать. Жить и спать в станционных зданиях нам не позволялось, и ютились мы в грязных, сырых землянках, где летом жила «чугунка», и по ночам я не мог спать от холода и оттого, что по лицу и по рукам ползали мокрицы. А когда работали около мостов, то по вечерам приходила к нам гурьбой «чугунка» только затем, чтобы бить маляров, – для нее это был род спорта. Нас били, выкрадывали у нас кисти и, чтобы раздражить нас и вызвать на драку, портили нашу работу, например, вымазывали будки зеленою краской. В довершение всех наших бед, Редька стал платить крайне неисправно. Все малярные работы на участке были сданы подрядчику, этот сдал другому, и уже этот сдал Редьке, выговорив себе процентов двадцать. Работа сама по себе была невыгодна, а тут еще дожди; время пропадало даром, мы не работали, а Редька был обязан платить ребятам поденно. Голодные маляры едва не били его, обзывали жуликом, кровопийцей, Иудой-христородавцем, а он, бедняга, вздыхал, в отчаянии воздевал к небу руки и то и дело ходил к госпоже Чепраковой за деньгами.

VII

Наступила дождливая, грязная, темная осень. Наступила безработица, и я дня по три сидел дома без дела или же исполнял разные не малярные работы, например, таскал землю для черного наката, получая за это по двугривенному в день. Доктор Благово уехал в Петербург. Сестра не приходила ко мне. Редька лежал у себя дома больной, со дня на день ожидая смерти.

И настроение было осеннее. Быть может оттого, что, ставши рабочим, я уже видел нашу городскую жизнь только с ее изнанки, почти каждый день мне приходилось делать открытия, приводившие меня просто в отчаяние. Те мои сограждане, о которых раньше я не был никакого мнения или которые с внешней стороны представлялись вполне порядочными, теперь оказывались людьми низкими, жестокими, способными на всякую гадость. Нас, простых людей, обманывали, обсчитывали, заставляли по целым часам дожидаться в холодных сенях или в кухне, нас оскорбляли и обращались с нами крайне грубо. Осенью в нашем клубе я оклеивал обоями читальню и две комнаты; мне заплатили по семь копеек за кусок, но приказали расписаться – по двенадцати, и когда я отказался исполнить это, то благообразный господин в золотых очках, должно быть, один из старшин клуба, сказал мне:

– Если ты, мерзавец, будешь еще много разговаривать, то я тебе всю морду побую.

И когда лакей шепнул ему, что я сын архитектора Полознева, то он сконфузился, покраснел, но тотчас же оправился и сказал:

– А черт с ним!

В лавках нам, рабочим, сбывали тухлое мясо, лёгкую муку и спитой чай; в церкви нас толкала полиция, в больницах нас обирали фельдшера и сиделки, и если мы по бедности не давали им взятку, то нас в отместку кормили из грязной посуды; на почте самый маленький чиновник считал себя вправе обращаться с нами, как с животными, и кричать грубо и нагло: «Обожди! Куда лезешь?» Даже дворовые собаки – и те относились к нам недружелюбно и бросались на нас с какою-то особенною

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru злобой. Но главное, что больше всего поражало меня в моем новом положении, это совершенное отсутствие справедливости, именно то самое, что у народа определяется словами: «Бога забыли». Редкий день обходился без мошенничества. Мошенничали и купцы, продававшие нам олифу, и подрядчики, и ребята, и сами заказчики. Само собою, ни о каких наших правах не могло быть и речи, и свои заработанные деньги мы должны были всякий раз выпрашивать, как милостыню, стоя у черного крыльца без шапок.

Я оклеивал в клубе одну из комнат, смежных с читальней; вечером, когда я уже собирался уходить, в эту комнату вошла дочь инженера Должикова, с пачкой книг в руках.

Я поклонился ей.

– А, здравствуйте! – сказала она, тотчас же узнав меня и протягивая руку. – Очень рада вас видеть.

Она улыбалась и осматривала с любопытством и с недоумением мою блузу, ведро с клейстером, обои, растянутые на полу; я смутился, и ей тоже стало неловко.

– Вы извините, что я на вас смотрю так, – сказала она. – Мне много говорили о вас. Особенно доктор Благово – он просто влюблен в вас. И с сестрой вашей я уже познакомилась; милая, симпатичная девушка, но я никак не могла убедить ее, что в вашем опрощении нет ничего ужасного. Напротив, вы теперь самый интересный человек в городе.

Она опять поглядела на ведро с клейстером, на обои и продолжала:

– Я просила доктора Благово познакомить меня с вами поближе, но, очевидно, он забыл или не успел. Как бы ни было, мы все-таки знакомы, и если бы вы пожаловали ко мне как-нибудь запросто, то я была бы вам чрезвычайно обязана. Мне так хочется поговорить! Я простой человек, – сказала она, протягивая мне руку, – и, надеюсь, у меня вы будете без стеснения. Отца нет, он в Петербурге.

Она ушла в читальню, шурша платьем, а я, придя домой, долго не мог уснуть.

В эту же невеселую осень какая-то добрая душа, очевидно, желая хотя немного облегчить мое существование, изредка присылала мне то чаю и лимонов, то печений, то жареных рябчиков. Карповна говорила, что приносил это всякий раз солдат, а от кого – неизвестно; и солдат расспрашивал, здоров ли я, каждый ли день я обедаю и есть ли у меня теплое платье. Когда наступили морозы, мне таким же образом, в мое отсутствие, с солдатом прислали мягкий вязаный шарф, от которого шел нежный, едва уловимый запах духов, и я угадал, кто была моя добрая фея. От шарфа пахло ландышами, любимыми духами Анюты Благово.

К зиме набралось больше работы, стало веселей. Редька опять ожил, и мы вместе работали в кладбищенской церкви, где шпатлевали иконостас для позолоты. Это была работа чистая, покойная и, как говорили наши, спорая. В один день можно было много сработать, и притом время бежало быстро, незаметно. Ни брани, ни смеха, ни громких разговоров. Само место обязывало к тишине и благочинию и располагало к тихим, серьезным мыслям. Погруженные в работу, мы стояли или сидели неподвижно, как статуи; была тишина мертвая, какая подобает кладбищу, так что если падал инструмент или трещал огонь в лампадке, то звуки эти раздавались гулко и резко – и мы оглядывались. После долгой тишины слышалось гуденье, точно летели пчелы; это у притвора, не торопясь, вполголоса, отпевали младенца; или живописец, писавший на куполе голубя и вокруг него звезды, начинал тихо посвистывать и, спохватившись, тотчас же умолкал; или Редька, отвечая своим мыслям, говорил со вздохом: «Всё может быть! Всё может быть!»; или над нашими головами раздавался медленный заунывный звон, и маляры замечали, что это, должно быть, богатого покойника несут...

Дни проводил я в этой тишине, в церковных сумерках, а в длинные вечера играл на бильярде или ходил в театр на галерею, в своей новой триковой паре, которую я купил себе на заработанные деньги. У Ажогиных уже начались спектакли и концерты; декорации писал теперь один Редька. Он рассказывал мне содержание пьес и живых картин, какие ему приходилось видеть у Ажогиных, и я слушал его с завистью. Меня сильно тянуло на репетиции, но идти к Ажогиным я не решался.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
За неделю до Рождества приехал доктор Благово. И опять мы спорили и по вечерам играли на бильярде. Играя, он снимал сюртук и расстегивал на груди рубаху и вообще старался почему-то придать себе вид отчаянного кутилы. Пил он немного, но шумно, и ухитрялся оставлять в таком плохом, дешевом трактире, как «Волга», по двадцати рублей в вечер.

Опять у меня стала бывать сестра; оба они, увидев друг друга, всякий раз удивлялись, но по радостному, виноватому лицу ее видно было, что встречи эти были не случайные. Как-то вечером, когда мы играли на бильярде, доктор сказал мне:

– Послушайте, отчего вы не бываете у Должиковой? Вы не знаете Марии Викторовны, это умница, прелесть, простая, добрая душа.

Я рассказал ему, как весной принял меня инженер.

– Пустое! – рассмеялся доктор. – Инженер – сам по себе, а она – сама по себе. Право, голубчик, не обижайте ее, сходите к ней как-нибудь. Например, давайте сходим к ней завтра вечером. Хотите?

Он уговорил меня. На другой день вечером, надевши свою новую триковую пару и волнуясь, я отправился к Должиковой. Лакей уже не показался мне таким надменным и страшным и мебель такую роскошную, как в то утро, когда я являлся сюда просителем. Мария Викторовна ожидала меня и встретила, как старого знакомого, и пожала руку крепко, дружески. Она была в сером суконном платье с широкими рукавами и в прическе, которую у нас в городе, год спустя, когда она вошла в моду, называли «собачьими ушами». Волосы с висков были зачесаны на уши, и от этого лицо у Марии Викторовны стало как будто шире, и она показалась мне в этот раз очень похожей на своего отца, у которого лицо было широкое, румяное, и в выражении было что-то ямщицкое. Она была красива и изящна, но не молода, лет тридцати на вид, хотя на самом деле ей было двадцать пять, не больше.

– Милый доктор, как я ему благодарна! – говорила она, сажая меня. – Если бы не он, то вы не пришли бы ко мне. Мне скучно до смерти! Отец уехал и оставил меня одну, и я не знаю, что мне делать в этом городе.

Затем она стала расспрашивать меня, где я теперь работаю, сколько получаю, где живу.

– Вы тратите на себя только то, что зарабатываете? – спросила она.

– Да.

– Счастливый человек! – вздохнула она. – В жизни всё зло, мне кажется, от праздности, от скуки, от душевной пустоты, а всё это неизбежно, когда привыкаешь жить на счет других. Не подумайте, что я рисуюсь, искренно вам говорю: неинтересно и неприятно быть богатым. Приобретайте друзей богатством несправедливым – так сказано, потому что вообще нет и не может быть богатства праведного.

Она с серьезным, холодным выражением оглядела мебель, точно хотела сосчитать ее, и продолжала:

– Комфорт и удобства обладают волшебною силой; они мало-помалу затягивают людей даже с сильною волей. Когда-то отец и я жили небогато и просто, а теперь видите как. Слыханное ли дело, – сказала она, пожав плечами, – мы проживаем до двадцати тысяч в год! В провинции!

– На комфорт и удобства приходится смотреть как на неизбежную привилегию капитала и образования, – сказал я, – и мне кажется, что удобства жизни можно сочетать с каким угодно, даже с самым тяжелым и грязным трудом. Ваш отец богат, однако же, как он говорит, ему пришлось побывать и в машинистах, и в простых смазчиках.

Она улыбнулась и с сомнением покачала головой.

– Папа иногда ест и тюрю с квасом, – сказала она. – Забава, прихоть!

В это время послышался звонок, и она встала.

– Образованные и богатые должны работать, как все, – продолжала она, – а если комфорт, то одинаково для всех. Никаких привилегий не должно быть. Ну, бог с нею, с философией. Расскажите мне что-нибудь веселенькое. Расскажите мне про маляров. Какие они? Смешные?

Пришел доктор. Я стал рассказывать про маляров, но с непривычки стеснялся и рассказывал, как этнограф, серьезно и вяло. Доктор тоже рассказал несколько анекдотов из жизни мастеровых. Он пошатывался, плакал, становился на колени и даже, изображая пьяного, ложился на пол. Это была настоящая актерская игра, и Мария Викторовна, глядя на него, хохотала до слез. Потом он играл на рояле и пел своим приятным жиденьким тенором, а Мария Викторовна стояла возле и выбирала для него, что петь, и поправляла, когда он ошибался.

– Я слышал, вы тоже поете? – спросил я.

– Тоже! – ужаснулся доктор. – Она – чудная певица, артистка, а вы – тоже! Эка хватил!

– Я когда-то занималась серьезно, – ответила она на мой вопрос, – но теперь бросила.

Сидя на низкой скамеечке, она рассказывала нам про свою жизнь в Петербурге и изображала в лицах известных певцов, передразнивая их голоса и манеру петь; рисовала в альбоме доктора, потом меня, рисовала плохо, но оба мы вышли похожи. Она смеялась, шалила, мило гримасничала, и это больше шло к ней, чем разговоры о богатстве несправедливом, и мне казалось, что говорила она со мною давеча о богатстве и комфорте не серьезно, а подражая кому-то. Это была превосходная комическая актриса. Я мысленно ставил ее рядом с нашими барышнями, и даже красивая, солидная Анята Благово не выдерживала сравнения с нею; разница была громадная, как между хорошей культурной розой и диким шиповником.

Мы втроем ужинали. Доктор и Мария Викторовна пили красное вино, шампанское и кофе с коньяком; они чокались и пили за дружбу, за ум, за прогресс, за свободу и не пьянели, а только раскраснелись и часто хохотали без причины, до слез. Чтобы не показаться скучным, и я тоже пил красное вино.

– Талантливые, богато одаренные натуры, – сказала Должикова, – знают, как им жить, и идут своею дорогой; средние же люди, как я, например, ничего не знают и ничего сами не могут; им ничего больше не остается, как подметить какое-нибудь глубокое общественное течение и плыть, куда оно понесет.

– Разве можно подметить то, чего нет? – спросил доктор.

– Нет, потому что мы не видим.

– Так ли? Общественные течения – это новая литература выдумала. Их нет у нас.

Начался спор.

– Никаких глубоких общественных течений у нас нет и не было, – говорил доктор громко. – Мало ли чего не выдумала новая литература! Она выдумала еще каких-то интеллигентных тружеников в деревне, а у нас обыщите все деревни и найдете разве только Неуважай-Корыто в пиджаке или в черном сюртуке, делающего в слове «еще» четыре ошибки. Культурная жизнь у нас еще не начиналась. Та же дикость, то же сплошное хамство, то же ничтожество, что и пятьсот лет назад. Течения, веяния, но ведь всё это мелко, мизерабельно, притянута к пошлым, грошовым интересикам – и неужели в них можно видеть что-нибудь серьезное? Если вам покажется, что вы подметили глубокое общественное течение, и, следуя за ним, вы посвятите вашу жизнь таким задачам в современном вкусе, как освобождение насекомых от рабства или воздержание от говяжьих котлет, то – поздравляю вас, сударыня. Учиться нам нужно, учиться и учиться, а с глубокими общественными течениями погодим: мы еще не доросли до них и, по совести, ничего в них не понимаем.

– Вы не понимаете, а я понимаю, – сказала Мария Викторовна. – Вы сегодня бог знает какой скучный!

– Наше дело – учиться и учиться, стараться накоплять возможно больше знаний,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru потому что серьезные общественные течения там, где знания, и счастье будущего человечества только в знании. Пью за науку!

– Одно несомненно: надо устраивать себе жизнь как-нибудь по-иному, – сказала Мария Викторовна, помолчав и подумав, – а та жизнь, какая была до сих пор, ничего не стоит. Не будем говорить о ней.

Когда мы вышли от нее, то в соборе било уже два часа.

– Понравилась? – спросил доктор. – Не правда ли, славная?

В первый день Рождества мы обедали у Марии Викторовны и потом, в продолжение всех праздников, ходили к ней почти каждый день. У нее никто не бывал, кроме нас, и она была права, когда говорила, что, кроме меня и доктора, у нее в городе нет никого знакомых. Время мы проводили большею частью в разговорах; иногда доктор приносил с собою какую-нибудь книгу или журнал и читал нам вслух. В сущности, это был первый образованный человек, какого я встретил в жизни. Не могу судить, много ли он знал, но он постоянно обнаруживал свои знания, так как хотел, чтобы и другие также знали. Когда он говорил о чем-нибудь относящемся к медицине, то не походил ни на одного из наших городских докторов, а производил какое-то новое, особенное впечатление, и мне казалось, что если бы он захотел, то мог бы стать настоящим ученым. И это, пожалуй, был единственный человек, который в то время имел серьезное влияние на меня. Видаясь с ним и прочитывая книги, какие он давал мне, я стал мало-помалу чувствовать потребность в знаниях, которые одухотворяли бы мой невеселый труд. Мне уже казалось странным, что раньше я не знал, например, что весь мир состоит из шестидесяти простых тел, не знал, что такое олифа, что такое краски, и как-то мог обходиться без этих знаний. Знакомство с доктором подняло меня и нравственно. Я часто спорил с ним, и хотя обыкновенно оставался при своем мнении, но всё же, благодаря ему, я мало-помалу стал замечать, что для самого меня не всё было ясно, и я уже старался выработать в себе возможно определенные убеждения, чтобы указания совести были определенны и не имели бы в себе ничего смутного. Тем не менее все-таки этот самый образованный и лучший человек в городе далеко еще не был совершенством. В его манерах, в привычке всякий разговор сводить на спор, в его приятном теноре и даже в его ласковости было что-то грубоватое, семинарское, и когда он снимал сюртук и оставался в одной шелковой рубахе или бросал в трактире лакею на чай, то мне казалось всякий раз, что культура – культурой, а татарин всё еще бродит в нем.

На Крещение он опять уехал в Петербург. Он уехал утром, а после обеда пришла ко мне сестра. Не снимая шубы и шапки, она сидела молча, очень бледная, и смотрела в одну точку. Ее познабливало, и видно было, что она перемогалась.

– Ты, должно быть, простудилась, – сказал я.

Глаза у нее наполнились слезами, она встала и пошла к Карповне, не сказав мне ни слова, точно я обидел ее. И немного погодя я слышал, как она говорила тоном горького упрека:

– Нянька, для чего я жила до сих пор? Для чего? Ты скажи: разве я не погубила своей молодости? В лучшие годы своей жизни только и знать, что записывать расходы, разливать чай, считать копейки, занимать гостей и думать, что выше этого ничего нет на свете! Нянька, пойми, ведь и у меня есть человеческие запросы, и я хочу жить, а из меня сделали какую-то ключницу. Ведь это ужасно, ужасно!

Она швырнула ключи в дверь, и они со звоном упали в моей комнате. Это были ключи от буфета, от кухонного шкапа, от погреба и от чайной шкатулки – те самые ключи, которые когда-то еще носила моя мать.

– Ах, ох, батюшки! – ужасалась старуха. – Святители-угодники!

Уходя домой, сестра зашла ко мне, чтобы подобрать ключи, и сказала:

– Ты извини меня. Со мною в последнее время делается что-то странное.

VIII

Как-то, вернувшись от Марии Викторовны поздно вечером, я застал у себя в комнате

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
молодого околоточного в новом мундире; он сидел за моим столом и перелистывал книгу.

– Наконец-то! – сказал он, вставая и потягиваясь. – Я к вам уже в третий раз прихожу. Губернатор приказал, чтобы вы пришли к нему завтра ровно в девять часов утра. Непременно.

Он взял с меня подписку, что я в точности исполню приказ его превосходительства, и ушел. Это позднее посещение околоточного и неожиданное приглашение к губернатору подействовали на меня самым угнетающим образом. У меня с раннего детства остался страх перед жандармами, полицейскими, судейскими, и теперь меня томило беспокойство, будто я в самом деле был виноват в чем-то. И я никак не мог уснуть. Нянька и Прокофий тоже были взволнованы и не спали. К тому же еще у няньки болело ухо, она стонала и несколько раз принималась плакать от боли. Услышав, что я не сплю, Прокофий осторожно вошел ко мне с лампочкой и сел у стола.

– Вам бы перцовки выпить... – сказал он, подумав. – В сей юдоли как выпьешь, оно и ничего. И ежели бы мамаше влить в ухо перцовки, то большая польза.

В третьем часу он собрался в бойню за мясом. Я знал, что мне уже не уснуть до утра, и, чтобы как-нибудь скоротать время до девяти часов, я отправился вместе с ним. Мы шли с фонарем, а его мальчик Николка, лет тринадцати, с синими пятнами на лице от ознобов, по выражению – совершенный разбойник, ехал за нами в санях, хриплым голосом понукая лошадь.

– Вас у губернатора, должно, наказывать будут, – говорил мне дорогой Прокофий. – Есть губернаторская наука, есть архимандритская наука, есть офицерская наука, есть докторская наука, и для каждого звания есть своя наука. А вы не держитесь своей науки, и этого вам нельзя дозволить.

Бойня находилась за кладбищем, и раньше я видел ее только издали. Это были три мрачных сарая, окруженные серым забором, от которых, когда дул с их стороны ветер, летом в жаркие дни несло удушливою вонью. Теперь, войдя во двор, в потемках я не видел сараев; мне всё попадались лошади и сани, пустые и уже нагруженные мясом; ходили люди с фонарями и отвратительно бранились. Бранились и Прокофий, и Николка, так же гадко, и в воздухе стоял непрерывный гул от брани, кашля и лошадиного ржанья.

Пахло трупами и навозом. Таяло, снег уже перемешался с грязью, и мне в потемках казалось, что я хожу по лужам крови.

Набравши полные сани мяса, мы отправились на рынок в мясную лавку. Стало светать. Пошли одна за другою кухарки с корзинами и пожилые дамы в салопах. Прокофий с топором в руке, в белом, обрызганном кровью фартуке, страшно клялся, крестился на церковь, кричал громко на весь рынок, уверяя, что он отдает мясо по своей цене и даже себе в убыток. Он обвешивал, обсчитывал, кухарки видели это, но, оглушенные его криком, не протестовали, а только обзывали его кáтом. Поднимая и опуская свой страшный топор, он принимал картинные позы и всякий раз со свирепым выражением издавал звук «гек!», и я боялся, как бы в самом деле он не отрубил кому-нибудь голову или руку.

Я пробыл в мясной лавке всё утро, и когда, наконец, пошел к губернатору, то от моей шубы пахло мясом и кровью. Душевное состояние у меня было такое, будто я, по чьему-то приказанию, шел с рогатиной на медведя. Я помню высокую лестницу с полосатым ковром и молодого чиновника во фраке со светлыми пуговицами, который, молча, двумя руками, указал мне на дверь и побежал доложить. Я вошел в зал, в котором обстановка была роскошна, но холодна и безвкусна, и особенно неприятно резали глаза высокие и узкие зеркала в простенках и ярко-желтые портьеры на окнах; видно было, что губернаторы менялись, а обстановка оставалась всё та же. Молодой чиновник опять указал мне двумя руками на дверь, и я направился к большому зеленому столу, за которым стоял военный генерал с Владимиром на шее.

– Господин Полознев, я просил вас явиться, – начал он, держа в руке какое-то письмо и раскрывая рот широко и кругло, как буква о, – я просил вас явиться, чтобы объявить вам следующее. Ваш уважаемый батюшка письменно и устно обращался к губернаторскому предводителю дворянства, прося его вызвать вас и оставить вам на вид всё несоответствие поведения вашего со званием дворянина, которое вы имеете

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
честь носить. Его превосходительство Александр Павлович, справедливо полагая, что поведение ваше может служить соблазном, и находя, что тут одного убеждения с его стороны было бы недостаточно, а необходимо серьезное административное вмешательство, представил мне вот в этом письме свои соображения относительно вас, которые я разделяю.

Он говорил это тихо, почтительно, стоя прямо, точно я был его начальником, и глядя на меня совсем не строго. Лицо у него было дряблое, поношенное, всё в морщинах, под глазами отвисали мешки, волоса он красил, и вообще по наружности нельзя было определить, сколько ему лет – сорок или шестьдесят.

– Надеюсь, – продолжал он, – что вы оцените деликатность почтенного Александра Павловича, который обратился ко мне не официально, а частным образом. Я также пригласил вас неофициально и говорю с вами не как губернатор, а как искренний почитатель вашего родителя. Итак, прошу вас – или изменить ваше поведение и вернуться к обязанностям, приличным вашему званию, или же, во избежание соблазна, переселиться в другое место, где вас не знают и где вы можете заниматься чем вам угодно. В противном же случае я должен буду принять крайние меры.

Он с полминуты простоял молча, с открытым ртом, глядя на меня.

– Вы вегетарианец?[39] – спросил он.

– Нет, ваше превосходительство, я ем мясо.

Он сел и потянул к себе какую-то бумагу; я поклонился и вышел.

До обеда уже не стоило идти на работу. Я отправился домой спать, но не мог уснуть от неприятного, болезненного чувства, навеянного на меня бойней и разговором с губернатором, и, дождавшись вечера, расстроенный, мрачный, пошел к Марии Викторовне. Я рассказывал ей о том, как я был у губернатора, а она смотрела на меня с недоумением, точно не верила, и вдруг захохотала весело, громко, задорно, как умеют хохотать только добродушные, смешливые люди.

– Если бы это рассказать в Петербурге! – проговорила она, едва не падая от смеха и склоняясь к своему столу. – Если бы это рассказать в Петербурге!

IX

Теперь мы виделись уже часто, раза по два в день. Она почти каждый день после обеда приезжала на кладбище и, поджидая меня, читала надписи на крестах и памятниках; иногда входила в церковь и, стоя возле меня, смотрела, как я работаю. Тишина, наивная работа живописцев и позолотчиков, рассудительность Редьки и то, что я наружно ничем не отличался от других мастеровых и работал, как они, в одной жилетке и в опорках, и что мне говорили ты – это было ново для нее и трогало ее. Однажды при ней живописец, писавший наверху голубя, крикнул мне:

– Мисаил, дай-ка мне белил!

Я отнес ему белил, и, когда потом спускался вниз по жидким подмосткам, она смотрела на меня, растроганная до слез, и улыбалась.

– Какой вы милый! – сказала она.

У меня с детства осталось в памяти, как у одного из наших богачей вылетел из клетки зеленый попугай и как потом эта красивая птица целый месяц бродила по городу, лениво перелетая из сада в сад, одинокая, бесприютная. И Мария Викторовна напоминала мне эту птицу.

– Кроме кладбища, мне теперь положительно негде бывать, – говорила она мне со смехом. – Город прискучил до отвращения. У Ажогиных читают, поют, сюсюкают, я не переношу их в последнее время; ваша сестра – нелюдимка, m-lle Благово за что-то ненавидит меня, театра я не люблю. Куда прикажете деваться?

Когда я бывал у нее, от меня пахло краской и скипидаром, руки мои были темны – и ей это нравилось; она хотела также, чтобы я приходил к ней не иначе как в своем обыкновенном рабочем платье; но в гостиной это платье стесняло меня, я

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
конфузился, точно был в мундире, и потому, собираясь к ней, всякий раз надевал свою новую триковую пару. И это ей не нравилось.

– А вы, сознайтесь, не вполне еще освоились с вашей новой ролью, – сказала она мне однажды. – Рабочий костюм стесняет вас, вам неловко в нем. Скажите, не оттого ли это, что в вас нет уверенности и что вы не удовлетворены? Самый род труда, который вы избрали, эта ваша малярия – неужели она удовлетворяет вас? – спросила она, смеясь. – Я знаю, окраска делает предметы красивее и прочнее, но ведь эти предметы принадлежат горожанам, богачам, и, в конце концов, составляют роскошь. К тому же вы сами не раз говорили, что каждый должен добывать себе хлеб собственными руками, между тем вы добываете деньги, а не хлеб. Почему бы не держаться буквального смысла ваших слов? Нужно добывать именно хлеб, то есть нужно пахать, сеять, косить, молотить или делать что-нибудь такое, что имеет непосредственное отношение к сельскому хозяйству, например, пасти коров, копать землю, рубить избы...

Она открыла хорошенький шкаф, стоявший около ее письменного стола, и сказала:

– Всё это я вам к тому говорю, что мне хочется посвятить вас в свою тайну. Voilà! Это моя сельскохозяйственная библиотека. Тут и поле, и огород, и сад, и скотный двор, и пасека. Я читаю с жадностью и уже изучила в теории всё до капельки. Моя мечта, моя сладкая грёза: как только наступит март, уеду в нашу Дубечню. Дивно там, изумительно! Не правда ли? В первый год я буду приглядываться к делу и привыкать, а на другой год уже сама стану работать по-настоящему, не щадя, как говорится, живота. Отец обещал подарить мне Дубечню, и я буду делать в ней всё, что захочу.

Раскрасневшись, волнуясь до слез и смеясь, она мечтала вслух о том, как она будет жить в Дубечне и какая это будет интересная жизнь. А я завидовал ей. Март был уже близко, дни становились всё больше и больше, и в яркие солнечные полдни капало с крыш и пахло весной; мне самому хотелось в деревню.

И когда она сказала, что переедет жить в Дубечню, мне живо представилось, как я останусь в городе один, и я почувствовал, что ревную ее к шкапу с книгами и к сельскому хозяйству. Я не знал и не любил сельского хозяйства и хотел было сказать ей, что сельское хозяйство есть рабское занятие, но вспомнил, что нечто подобное было уже не раз говорено моим отцом, и промолчал.

Наступил Великий пост. Приехал из Петербурга инженер Виктор Иваныч, о существовании которого я уже стал забывать. Приехал он неожиданно, не предупредив даже телеграммой. Когда я пришел, по обыкновению, вечером, он, умытый, подстриженный, помолодевший лет на десять, ходил по гостиной и что-то рассказывал; дочь его, стоя на коленях, вынимала из чемоданов коробки, флаконы, книги и подавала всё это лакею Павлу. Увидав инженера, я невольно сделал шаг назад, а он протянул ко мне обе руки и сказал, улыбаясь, показывая свои белые, крепкие, ямщицкие зубы:

– Вот и он, вот и он! Очень рад видеть вас, господин маляр! Маша всё рассказала, она тут спела вам целый панегирик. Вполне вас понимаю и одобряю! – продолжал он, беря меня под руку. – Быть порядочным рабочим куда умнее и честнее, чем изводить казенную бумагу и носить на лбу кокарду. Я сам работал в Бельгии, вот этими руками, потом ходил два года машинистом...

Он был в коротком пиджаке и по-домашнему в туфлях, ходил, как подагрик, слегка переваливаясь и потирая руки. Что-то напевая, он тихо мурлыкал и всё пожимался от удовольствия, что, наконец, вернулся домой и принял свой любимый душ.

– Споры нет, – говорил он мне за ужином, – споры нет, все вы милые, симпатичные люди, но почему-то, господа, как только вы беретесь за физический труд или начинаете спасать мужика, то всё это у вас в конце концов сводится к сектантству. Разве вы не сектант? Вот вы не пьете водки. Что же это, как не сектантство?

Чтобы доставить ему удовольствие, я выпил водки. Выпил и вина. Мы пробовали сыры, колбасы, паштеты, пикули и всевозможные закуски, которые привез с собою инженер, и вина, полученные в его отсутствие из-за границы. Вина были превосходны. Почему-то вина и сигары инженер получал из-за границы беспрошленно: икру и балыки кто-то присылал ему даром, за квартиру он не платил, так как

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
хозяин дома поставлял на линию керосин; и вообще на меня он и его дочь
производили такое впечатление, будто всё лучшее в мире было к их услугам и
получалось ими совершенно даром.

Я продолжал бывать у них, но уже не так охотно. Инженер стеснял меня, и в его присутствии я чувствовал себя связанным. Я не выносил его ясных, невинных глаз, рассуждения его томили меня, были мне противны; томило и воспоминание о том, что еще так недавно я был подчинен этому сытому, румяному человеку и что он был со мною немилосердно груб. Правда, он брал меня за талию, ласково хлопал по плечу, одобрял мою жизнь, но я чувствовал, что он по-прежнему презирает мое ничтожество и терпит меня только в угоду своей дочери; и я уже не мог смеяться и говорить, что хочу, и держался нелюдимом, и всё ждал, что, того и гляди, он обзовет меня Пантелеем, как своего лакея Павла. Как возмущалась моя провинциальная, мещанская гордость! Я, пролетарий, маляр, каждый день хожу к людям богатым, чуждым мне, на которых весь город смотрит, как на иностранцев, и каждый день пью у них дорогие вина и ем необыкновенное – с этим не хотела мириться моя совесть! Идя к ним, я угрюмо избегал встречных и глядел исподлобья, точно в самом деле был сектантом, а когда уходил от инженера домой, то стыдился своей сытости.

А главное, я боялся увлечься. Шел ли я по улице, работал ли, говорил ли с ребятами, я всё время думал только о том, как вечером пойду к Марии Викторовне, и воображал себе ее голос, смех, походку. Собираясь к ней, я всякий раз долго стоял у няньки перед кривым зеркалом, завязывая себе галстук, моя триковая пара казалась мне отвратительною, и я страдал и в то же время презирал себя за то, что я так мелочен. Когда она кричала мне из другой комнаты, что она не одета, и просила подождать, я слышал, как она одевалась; это волновало меня, я чувствовал, будто подо мною опускается пол. А когда я видел на улице, хотя бы издали, женскую фигуру, то непременно сравнивал; мне казалось тогда, что все наши женщины и девушки вульгарны, нелепо одеты, не умеют держать себя; и эти сравнения возбуждали во мне чувство гордости: Мария Викторовна лучше всех! А по ночам я видел ее и себя во сне.

Как-то за ужином мы вместе с инженером съели целого омара. Возвращаясь потом домой, я вспомнил, что инженер за ужином два раза сказал мне «любезнейший», и я рассудил, что в этом доме ласкают меня, как большого несчастного пса, отбившегося от своего хозяина, что мною забавляются, и, когда я надоем, меня прогонят, как пса. Мне стало стыдно и больно, больно до слез, точно меня оскорбили, и я, глядя на небо, дал клятву положить всему этому конец.

На другой день я не пошел к Должиковым. Поздно вечером, когда было совсем темно и лил дождь, я прошелся по Большой Дворянской, глядя на окна. У Ажогиных уже спали, и только в одном из крайних окон светился огонь; это у себя в комнате старуха Ажогина вышивала при трех свечах, воображая, что борется с предрассудками. У наших было темно, а в доме напротив, у Должиковых, окна светились, но ничего нельзя было разглядеть сквозь цветы и занавески. Я всё ходил по улице; холодный мартовский дождь поливал меня. Я слышал, как мой отец вернулся из клуба; он постучал в ворота, через минуту в окне показался огонь, и я увидел сестру, которая шла торопливо с лампой и на ходу одною рукой поправляла свои густые волосы. Потом отец ходил в гостиной из угла в угол и говорил о чем-то, потирая руки, а сестра сидела в кресле неподвижно, о чем-то думая, не слушая его.

Но вот они ушли, огонь погас... Я оглянулся на дом инженера – и тут уже было темно. В темноте, под дождем, я почувствовал себя безнадежно одиноким, брошенным на произвол судьбы, почувствовал, как в сравнении с этим моим одиночеством, в сравнении со страданием, настоящим и с тем, которое мне еще предстояло в жизни, мелки все мои дела, желания и всё то, что я до сих пор думал, говорил. Увы, дела и мысли живых существ далеко не так значительны, как их скорби! И не отдавая себе ясно отчета в том, что я делаю, я изо всей силы дернул за звонок у ворот Должикова, порвал его и побежал по улице, как мальчишка, испытывая страх и думая, что сейчас непременно выйдут и узнают меня. Когда я остановился в конце улицы, чтобы перевести дух, слышно было только, как шумел дождь да как где-то далеко по чугунной доске стучал сторож.

Я целую неделю не ходил к Должиковым. Триковая пара была продана. Малярной работы не было, я опять жил впроголодь, добывая себе по 10–20 копеек в день, где придется, тяжелою неприятною работой. Болтаясь по колена в холодной грязи, надсаживая грудь, я хотел заглушить воспоминания и точно мстил себе за все те

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru сыры и консервы, которыми меня угощали у инженера; но всё же, едва я ложился в постель, голодный и мокрый, как мое грешное воображение тотчас же начинало рисовать мне чудные, обольстительные картины, и я с изумлением сознавал себе, что я люблю, страстно люблю, и засыпал крепко и здорово, чувствуя, что от этой каторжной жизни мое тело становится только сильнее и моложе.

В один из вечеров некстати пошел снег и подуло с севера, точно опять наступала зима. Вернувшись с работы в этот вечер, я застал в своей комнате Марию Викторовну. Она сидела в шубке, держа обе руки в муфте.

– Отчего вы не бываете у меня? – спросила она, поднимая свои умные, ясные глаза, а я сильно смутился от радости и стоял перед ней навтыжку, как перед отцом, когда тот собирался бить меня; она смотрела мне в лицо, и по глазам ее было видно, что она понимает, почему я смущен.

– Отчего вы не бываете у меня? – повторила она. – Если вы не хотите бывать, то вот я сама пришла.

Она встала и близко подошла ко мне.

– Не покидайте меня, – сказала она, и глаза ее наполнились слезами. – Я одна, я совершенно одна!

Она заплакала и проговорила, закрывая лицо муфтой:

– Одна! Мне тяжело жить, очень тяжело, и на всем свете нет у меня никого, кроме вас. Не покидайте меня!

Ища платка, чтобы утереть слезы, она улыбнулась; мы молчали некоторое время, потом я обнял ее и поцеловал, при этом оцарапал себе щеку до крови булавкой, которою была приколата ее шапка.

И мы стали говорить так, как будто были близки друг другу уже давно-давно...

Х

Дня через два она послала меня в Дубечню, и я был несказанно рад этому. Когда я шел на вокзал и потом сидел в вагоне, то смеялся без причины, и на меня смотрели, как на пьяного. Шел снег и был мороз по утрам, но дороги уже потемнели, и над ними, каркая, носились грачи.

Сначала я предполагал устроить помещение для нас обоих, для меня и Маши, в боковом флигеле, против флигеля госпожи Чепраковой, но в нем, как оказалось, издавна жили голуби и утки, и очистить его было невозможно без того, чтобы не разрушить множества гнезд. Пришлось волей-неволей отправляться в неудобные комнаты большого дома с жалюзи. Мужики называли этот дом палатами; в нем было больше двадцати комнат, а мебели только одно фортепиано да детское креслице, лежавшее на чердаке, и если бы Маша привезла из города всю свою мебель, то и тогда все-таки нам не удалось бы устранить этого впечатления угрюмой пустоты и холода. Я выбрал три небольших комнаты с окнами в сад и с раннего утра до ночи убирал их, вставляя новые стекла, оклеивая обоями, заделывая в полу щели и дыры. Это был легкий, приятный труд. То и дело я бегал к реке взглянуть, не идет ли лед; всё мне чудилось, что прилетели скворцы. А ночью, думая о Маше, я с невыразимо сладким чувством, с захватывающею радостью прислушивался к тому, как шумели крысы и как над потолком гудел и стучал ветер; казалось, что на чердаке кашлял старый домовый.

Снег был глубокий; его много еще подвалило в конце марта, но он растаял быстро, как по волшебству, вешние воды прошли буйно, так что в начале апреля уже шумели скворцы и летали в саду желтые бабочки. Была чудесная погода. Я каждый день перед вечером ходил к городу встречать Машу, и что это было за наслаждение ступать босыми ногами по просыхающей, еще мягкой дороге! На полпути я садился и смотрел на город, не решаясь подойти к нему близко. Вид его смущал меня. Я всё думал: как отнесутся ко мне мои знакомые, узнав о моей любви? Что скажет отец? Особенно же смущала меня мысль, что жизнь моя осложнилась и что я совсем потерял способность управлять ею, и она, точно воздушный шар, уносила меня бог знает куда. Я уже не думал о том, как мне добыть себе пропитание, как жить, а думал – право, не помню о чем.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Маша приезжала в коляске; я садился к ней, и мы ехали вместе в Дубечню, веселые, свободные. Или, дождавшись захода солнца, я возвращался домой недовольный, скучный, недоумевающий, отчего не приехала Маша, а у ворот усадьбы или в саду меня встречало неожиданно милое привидение – она! Оказывалось, что она приехала по железной дороге и со станции пришла пешком. Какое это было торжество! В простеньком шерстяном платье, в косыночке, со скромным зонтиком, но затянутая, стройная, в дорогих заграничных ботинках – это была талантливая актриса, игравшая мещаночку. Мы осматривали наше хозяйство и решали, где будет чья комната, где у нас будут аллеи, огород, пасека. У нас уже были куры, утки и гуси, которых мы любили за то, что они были наши. У нас уже были приготовлены для посева овес, клевер, тимощка, греча и огородные семена, и мы всякий раз осматривали всё это и обсуждали подолгу, какой может быть урожай, и всё, что говорила мне Маша, казалось мне необыкновенно умным и прекрасным. Это было самое счастливое время моей жизни.

Вскоре после Фоминой недели мы венчались в нашей приходской церкви, в селе Куриловке, в трех верстах от Дубечни. Маша хотела, чтобы всё устроилось скромно; по ее желанию, шаферами у нас были крестьянские парни, пел один дьячок, и возвращались мы из церкви на небольшом тряском тарантасе, и она сама правила. Из городских гостей у нас была только моя сестра Клеопатра, которой дня за три до свадьбы Маша послала записку. Сестра была в белом платье и в перчатках. Во время венчания она тихо плакала от умиления и радости, выражение лица у нее было материнское, бесконечно доброе. Она опьянела от нашего счастья и улыбалась, будто вдыхала в себя сладкий чад, и, глядя на нее во время нашего венчания, я понял, что для нее на свете нет ничего выше любви, земной любви, и что она мечтает о ней тайно, робко, но постоянно и страстно. Она обнимала и целовала Машу и, не зная, как выразить свой восторг, говорила ей про меня:

– Он добрый! Он очень добрый!

Перед тем, как уехать от нас, она переделалась в свое обыкновенное платье и повела меня в сад, чтобы поговорить со мною наедине.

– Отец очень огорчен, что ты ничего не написал ему, – сказала она, – нужно было попросить у него благословения. Но, в сущности, он очень доволен. Он говорит, что эта женитьба поднимет тебя в глазах всего общества и что под влиянием Марии Викторовны ты станешь серьезнее относиться к жизни. Мы по вечерам теперь говорим только о тебе, и вчера он даже выразился так: «наш Мисаил». Это меня порадовало. По-видимому, он что-то задумал, и мне кажется, он хочет показать тебе пример великодушия и первый заговорит о примирении. Очень возможно, что на днях он приедет сюда к вам.

Она несколько раз торопливо перекрестила меня и сказала:

– Ну, бог с тобою, будь счастлив. Анята Благово очень умная девушка, она говорит про твою женитьбу, что это бог посылает тебе новое испытание. Что ж? В семейной жизни не одни радости, но и страдания. Без этого нельзя.

Провожая ее, я и Маша прошли пешком версты три; потом, возвращаясь, мы шли тихо и молча, точно отдыхали. Маша держала меня за руку, на душе было легко и уже не хотелось говорить о любви; после венчания мы стали друг другу еще ближе и родней, и нам казалось, что уже ничто не может разлучить нас.

– Твоя сестра – симпатичное существо, – сказала Маша, – но похоже, будто ее долго мучили. Должно быть, твой отец ужасный человек.

Я стал рассказывать ей, как воспитывали меня и сестру и как, в самом деле, было мучительно и бестолково наше детство. Узнав, что еще так недавно меня бил отец, она вздрогнула и прижалась ко мне.

– Не рассказывай больше, – проговорила она. – Это страшно.

Теперь уже она не расставалась со мною. Мы жили в большом доме, в трех комнатах, и по вечерам крепко запирали дверь, которая вела в пустую часть дома, точно там жил кто-то, кого мы не знали и боялись. Я вставал рано, с рассветом, и тотчас же принимался за какую-нибудь работу. Я починял телеги, проводил в саду дорожки, копал гряды, красил крышу на доме. Когда пришло время сеять овес, я пробовал двоить, скородить, сеять, и делал всё это добросовестно, не отставая от

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
работника; я утомлялся, от дождя и от резкого холодного ветра у меня подолгу горели лицо и ноги, по ночам снилась мне вспаханная земля. Но полевые работы не привлекали меня. Я не знал сельского хозяйства и не любил его; это, быть может, оттого, что предки мои не были земледельцами и в жилах моих текла чисто городская кровь. Природу я любил нежно, любил и поле, и луга, и огороды, но мужик, поднимающий сохою землю, понукающий свою жалкую лошадь, оборванный, мокрый, с вытянутой шеей, был для меня выражением грубой, дикой, некрасивой силы, и, глядя на его неуклюжие движения, я всякий раз невольно начинал думать о давно прошедшей, легендарной жизни, когда люди не знали еще употребления огня. Суровый бык, ходивший с крестьянским стадом, и лошади, когда они, стуча копытами, носились по деревне, наводили на меня страх, и всё мало-мальски крупное, сильное и сердитое, был ли то баран с рогами, гусак или цепная собака, представлялось мне выражением всё той же грубой, дикой силы. Это предубеждение особенно сильно говорило во мне в дурную погоду, когда над черным вспаханым полем нависали тяжелые облака. Главное же, когда я пахал или сеял, а двое-трое стояли и смотрели, как я это делаю, то у меня не было сознания неизбежности и обязательности этого труда, и мне казалось, что я забавляюсь. И я предпочитал делать что-нибудь во дворе, и ничто мне так не нравилось, как красить крышу.

Я ходил через сад и через луг на нашу мельницу. Ее арендовал Степан, куриловский мужик, красивый, смуглый, с густою черною бородой, на вид – силач. Мельничного дела он не любил и считал его скучным и невыгодным, а жил на мельнице только для того, чтобы не жить дома. Он был шорник, и около него всегда приятно пахло смолой и кожей. Разговаривать он не любил, был вял, неподвижен и всё напевал «у-лю-лю-лю», сидя на берегу или на пороге. К нему приходили иногда из Куриловки его жена и теща, обе белолицые, томные, кроткие; они низко кланялись ему и называли его «вы, Степан Петрович». А он, не ответив на их поклон ни движением, ни словом, садился в стороне на берегу и напевал тихо: «у-лю-лю-лю». Проходил в молчании час-другой. Теща и жена, пошептавшись, вставали и некоторое время глядели на него, ожидая, что он оглянется, потом низко кланялись и говорили сладкими, певучими голосами:

– Прощайте, Степан Петрович!

И уходили. После того, убирая оставленный ими узел с баранками или рубаху, Степан вздыхал и говорил, мигнув в их сторону:

– Женский пол!

Мельница в два постава работала днем и ночью. Я помогал Степану, это мне нравилось, и когда он уходил куда-нибудь, я охотно оставался вместо него.

XI

После теплой, ясной погоды наступила распутица; весь май шли дожди, было холодно. Шум мельничных колес и дождя располагал к лени и ко сну. Дрожал пол, пахло мукой, и это тоже нагоняло дремоту. Жена в коротком полушубке, в высоких, мужских калошах, показывалась раза два в день и говорила всегда одно и то же:

– И это называется летом! Хуже, чем в октябре!

Вместе мы пили чай, варили кашу или по целым часам сидели молча, ожидая, не утихнет ли дождь. Раз, когда Степан ушел куда-то на ярмарку, Маша пробыла на мельнице всю ночь. Когда мы встали, то нельзя было понять, который час, так как дождевые облака заволокли всё небо; только пели сонные петухи в дубечне и кричали дергачи на лугу; было еще очень, очень рано... Мы с женой спустились к плёсу и вытащили вершу, которую накануне при нас забросил Степан. В ней бился один большой окунь и, задирая вверх клешню, топорщился рак.

– Выпусти их, – сказала Маша. – Пусть и они будут счастливы.

Оттого, что мы встали очень рано и потом ничего не делали, этот день казался очень длинным, самым длинным в моей жизни. Перед вечером вернулся Степан, и я пошел домой, в усадьбу.

– Сегодня приезжал твой отец, – сказала мне Маша.

– Где же он? – спросил я.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Уехал. Я его не приняла.

Видя, что я стою и молчу, что мне жаль моего отца, она сказала:

– Надо быть последовательным. Я не приняла и велела передать ему, чтобы он уже больше не беспокоился и не приезжал к нам.

Через минуту я уже был за воротами и шел в город, чтобы объясниться с отцом. Было грязно, скользко, холодно. В первый раз после свадьбы мне стало вдруг грустно, и в мозгу моем, утомленном этим длинным серым днем, промелькнула мысль, что, быть может, я живу не так, как надо. Я утомился, мало-помалу мною овладели слабодушие, лень, не хотелось двигаться, соображать, и, пройдя немного, я махнул рукой и вернулся назад.

Среди двора стоял инженер в кожаном пальто с капюшоном и говорил громко:

– Где мебель? Была прекрасная мебель в стиле empire, были картины, были вазы, а теперь хоть шаром покати! Я покупал имение с мебелью, черт бы ее драл!

Около него стоял и мял в руках свою шапку генеральшин работник Моисей, парень лет 25-ти, худой, рябоватый, с маленькими наглыми глазами; одна щека у него была больше другой, точно он отлежал ее.

– Вы, ваше высокоблагородие, изволили покупать без мебели, – нерешительно проговорил он. – Я помню-с.

– Замолчать! – крикнул инженер, побагровел, затрясся, и эхо в саду громко повторило его крик.

XII

Когда я делал что-нибудь в саду или на дворе, то Моисей стоял возле и, заложив руки назад, лениво и нагло глядел на меня своими маленькими глазками. И это до такой степени раздражало меня, что я бросал работу и уходил.

От Степана мы узнали, что этот Моисей был любовником у генеральши. Я заметил, что когда к ней приходили за деньгами, то сначала обращались к Моисею, и раз я видел, как какой-то мужик, весь черный, должно быть, угольщик, кланялся ему в ноги; иногда, пошептавшись, он выдавал деньги сам, не докладывая барыне, из чего я заключил, что при случае он оперировал самостоятельно, за свой счет.

Он стрелял у нас в саду под окнами, таскал из нашего погреба съестное, брал, не спросив, лошадей; а мы возмущались, переставали верить, что дубечня наша, и Маша говорила, бледнея:

– Неужели мы должны жить с этими гадами еще полтора года?

Сын генеральши, Иван Чепраков, служил кондуктором на нашей дороге. За зиму он сильно похудел и ослабел, так что уже пьянел с одной рюмки и зябнул в тени. Кондукторское платье он носил с отвращением и стыдился его, но свое место считал выгодным, так как мог красть свечи и продавать их. Мое новое положение возбуждало в нем смешанное чувство удивления, зависти и смутной надежды, что и с ним может случиться что-нибудь подобное. Он провожал Машу восхищенными глазами, спрашивал, что я теперь ем за обедом, и на его тощем, некрасивом лице появлялось грустное и сладкое выражение, и он шевелил пальцами, точно осязал мое счастье.

– Послушай, маленькая польза, – говорил он суетливо, каждую минуту закуривая; там, где он стоял, было всегда насорено, так как на одну папиросу он тратил десятки спичек. – Послушай, жизнь у меня теперь подлейшая. Главное, всякий прапорщик может кричать: «ты кондуктор! ты!» Понаслушался я, брат, в вагонах всякой всячины и, знаешь, понял: скверная жизнь! Погубила меня мать! Мне в вагоне один доктор сказал: если родители развратные, то дети у них выходят пьяницы или преступники. Вот оно что!

Раз он пришел во двор, шатаясь. Глаза у него бессмысленно блуждали, дыхание было тяжелое; он смеялся, плакал и говорил что-то, как в горячечном бреде, и в его спутанной речи были понятны для меня только слова: «Моя мать! Где моя мать?», которые произносил он с плачем, как ребенок, потерявший в толпе свою мать. Я увел его к себе в сад и уложил там под деревом, и потом весь день и всю ночь я и

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Маша по очереди сидела возле него. Ему было нехорошо, а Маша с омерзением глядела в его бледное, мокрое лицо и говорила:

– Неужели эти гады проживут в нашем дворе еще полтора года? Это ужасно! Это ужасно!

А сколько огорчений причиняли нам крестьяне! Сколько тяжелых разочарований на первых же порах, в весенние месяцы, когда так хотелось быть счастливым! Моя жена строила школу. Я начертил план школы на шестьдесят мальчиков, и земская управа одобрила его, но посоветовала строить школу в Куриловке, в большом селе, которое было всего в трех верстах от нас; кстати же куриловская школа, в которой учились дети из четырех деревень, в том числе из нашей дубечни, была стара и тесна, и по гнилому полу уже ходили с опаской. В конце марта Машу, по ее желанию, назначили попечительницей куриловской школы, а в начале апреля мы три раза собирали сход и убеждали крестьян, что их школа тесна и стара и что необходимо строить новую. Приезжали член земской управы и инспектор народных училищ и тоже убеждали. После каждого схода нас окружали и просили на ведро водки; нам было жарко в толпе, мы скоро утомлялись и возвращались домой недовольные и немного сконфуженные. В конце концов мужики отвели под школу землю и обязались доставить из города на своих лошадях весь строительный материал. И как только управились с яровыми, в первое же воскресенье из Куриловки и Дубечни пошли подводы за кирпичом для фундамента. Выехали чуть свет на заре, а возвратились поздно вечером; мужики были пьяны и говорили, что замучились.

Как нарочно, дожди и холод продолжались весь май. Дорога испортилась, стало грязно. Подводы, возвращаясь из города, заезжали обыкновенно к нам во двор – и какой это был ужас! Вот в воротах показывается лошадь, расставив передние ноги, пузатая; она, прежде чем въехать во двор, кланяется; вползает на ропусках двенадцатиаршинное бревно, мокрое, осклизлое на вид; возле него, запахнувшись от дождя, не глядя под ноги, не обходя луж, шагает мужик с полой, заткнутой за пояс. Показывается другая подвода – с тесом, потом третья – с бревном, четвертая... и место перед домом мало-помалу запруживается лошадьми, бревнами, досками. Мужики и бабы с окутанными головами и с подтыканными платьями, озлобленно глядя на наши окна, шумят, требуют, чтобы к ним вышла барыня; слышны грубые ругательства. А в стороне стоит Моисей, и нам кажется, что он наслаждается нашим позором.

– Не станем больше возить! – кричат мужики. – Замучились! Пошла бы сама и возила!

Маша, бледная, оторопев, думая, что сейчас к ней ворвутся в дом, высылает на полведра; после этого шум стихает, и длинные бревна одно за другим ползут обратно со двора.

Когда я собирался на постройку, жена волновалась и говорила:

– Мужики злятся. Как бы они тебе не сделали чего-нибудь. Нет, погоди, и я с тобой поеду.

Мы уезжали в Куриловку вместе, и там плотники просили у нас на чай. Сруб уже был готов, пора уже было класть фундамент, но не приходили каменщики; происходила задержка, и плотники роптали. А когда, наконец, пришли каменщики, то оказалось, что нет песка: как-то упустили из виду, что он нужен. Пользуясь нашим безвыходным положением, мужики запросили по тридцати копеек за воз, хотя от постройки до реки, где брали песок, не было и четверти версты, а всех возов понадобилось более пятисот. Конца не было недоразумениям, брани и попрошайству, жена возмущалась, а подрядчик-каменщик, Тит Петров, семидесятилетний старик, брал ее за руку и говорил:

– Гляди ты сюда! Гляди ты сюда! Привези ты мне только песку, пригоню тебе сразу десять человек, и в два дня будет готово! Гляди ты сюда!

Но привезли песок, прошло и два, и четыре дня, и неделя, а на месте будущего фундамента всё еще зияла канава.

– Этак с ума сойдешь! – волновалась жена. – Что за народ! Что за народ!

Во время этих неурядиц к нам приезжал инженер Виктор Иваныч. Он привозил с собою

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
кульки с винами и закусками, долго ел и потом ложился спать на террасе и храпел, так что работники покачивали головами и говорили:

– Одначе!

Маша бывала не рада его приезду, не верила ему и в то же время советовалась с ним; когда он, выпавшись после обеда и вставши не в духе, дурно отзывался о нашем хозяйстве или выражал сожаление, что купил дубечню, которая принесла ему уже столько убытков, то на лице у бедной Маши выражалась тоска; она жаловалась ему, он зевал и говорил, что мужиков надо драть.

Нашу женитьбу и нашу жизнь он называл комедией, говорил, что это каприз, баловство.

– С нею уже бывало нечто подобное, – рассказывал он мне про Машу. – Она раз вообразила себя оперною певицей и ушла от меня; я искал ее два месяца и, любезнейший, на одни телеграммы истратил тысячу рублей.

Он уже не называл меня ни сектантом, ни господином маляром и не относился с одобрением к моей рабочей жизни, как раньше, а говорил:

– Вы – странный человек! Вы – ненормальный человек! Не смею предсказывать, но вы дурно кончите-с!

А Маша плохо спала по ночам и всё думала о чем-то, сидя у окна нашей спальни. Не было уже смеха за ужином, ни милых гримас. Я страдал, и когда шел дождь, то каждая капля его врезывалась в мое сердце, как дробь, и я готов был пасть перед Машей на колени и извиняться за погоду. Когда во дворе шумели мужики, то я тоже чувствовал себя виноватым. По целым часам я просиживал на одном месте, думая только о том, какой великолепный человек Маша, какой это чудесный человек. Я страстно любил ее, и меня восхищало всё, что она делала, всё, что говорила. У нее была склонность к тихим кабинетным занятиям, она любила читать подолгу, изучать что-нибудь; она, знавшая хозяйство только по книгам, удивляла всех нас своими познаниями, и советы, какие она давала, всегодились, и ни один из них не пропал в хозяйстве даром. И при всем том, сколько благородства, вкуса и благодушия, того самого благодушия, какое бывает только у прекрасно воспитанных людей!

Для этой женщины со здоровым, положительным умом беспорядочная обстановка с мелкими заботами и дрязгами, в которой мы теперь жили, была мучительна; я это видел и сам не мог спать по ночам, голова моя работала, и слезы подступали к горлу. Я метался, не зная, что делать.

Я скакал в город и привозил Маше книги, газеты, конфеты, цветы, я вместе со Степаном ловил рыбу, по целым часам бродя по шею в холодной воде под дождем, чтобы поймать налима и разнообразить наш стол; я униженно просил мужиков не шуметь, поил их водкой, подкупал, давал им разные обещания. И сколько я еще делал глупостей!

Дожди, наконец, перестали, земля высохла. Встанешь утром, часа в четыре, выйдешь в сад – роса блестит на цветах, шумят птицы и насекомые, на небе ни одного облачка; и сад, и луг, и река так прекрасны, но воспоминания о мужиках, о подводах, об инженере! Я и Маша вместе уезжали на беговых дрожках в поле, взглянуть на овес. Она правила, я сидел сзади; плечи у нее были приподняты и ветер играл ее волосами.

– Права держи! – кричала она встречным.

– Ты похожа на ямщика, – сказал я ей как-то.

– А может быть! Ведь мой дед, отец инженера, был ямщик. Ты не знал этого? – спросила она, обернувшись ко мне, и тотчас же представила, как кричат и как поют ямщики.

«И слава богу! – думал я, слушая ее. – Слава богу!»

И опять воспоминания о мужиках, о подводах, об инженере...

XIII

Приехал на велосипеде доктор Благово. Стала часто бывать сестра. Опять разговоры о физическом труде, о прогрессе, о таинственном иксе, ожидающем человечество в отдаленном будущем. Доктор не любил нашего хозяйства, потому что оно мешало нам спорить, и говорил, что пахать, косить, пасти телят недостойно свободного человека и что все эти грубые виды борьбы за существование люди со временем возложат на животных и на машины, а сами будут заниматься исключительно научными исследованиями. А сестра всё просила отпустить ее пораньше домой, и если оставалась до позднего вечера или ночевать, то волнениям не было конца.

– Боже мой, какой вы еще ребенок! – говорила с упреком Маша. – Это даже смешно, наконец.

– Да, смешно, – соглашалась сестра, – я сознаю, что это смешно; но что делать, если я не в силах побороть себя? Мне всё кажется, что я поступаю дурно.

Во время сенокоса у меня с непривычки болело всё тело; сидя вечером на террасе со своими и разговаривая, я вдруг засыпал, и надо мною громко смеялись. Меня будили и усаживали за стол ужинать, меня одолевала дремота, и я, как в забытьи, видел огни, лица, тарелки, слышал голоса и не понимал их. А вставши рано утром, тотчас же брался за косу или уходил на постройку и работал весь день.

Оставаясь в праздники дома, я замечал, что жена и сестра скрывают от меня что-то и даже как будто избегают меня. Жена была нежна со мною по-прежнему, но были у нее какие-то свои мысли, которых она не сообщала мне. Было несомненно, что раздражение ее против крестьян росло, жизнь для нее становилась всё тяжелее, а между тем она уже не жаловалась мне. С доктором теперь она говорила охотнее, чем со мною, и я не понимал, отчего это так.

В нашей губернии был обычай: во время сенокоса и уборки хлеба по вечерам на барский двор приходили рабочие и их угощали водкой, даже молодые девушки выпивали по стакану. Мы не держались этого; косари и бабы стояли у нас на дворе до позднего вечера, ожидая водки, и потом уходили с бранью. А Маша в это время сурово хмурилась и молчала или же говорила доктору с раздражением, вполголоса:

– Дикари! Печенег!

В деревне новичков встречают неприветливо, почти враждебно, как в школе. Так встретили и нас. В первое время на нас смотрели как на людей глупых и простоватых, которые купили себе имение только потому, что некуда девать денег. Над нами смеялись. В нашем лесу и даже в саду мужики пасли свой скот, угоняли к себе в деревню наших коров и лошадей и потом приходили требовать за потраву. Приходили целыми обществами к нам во двор и шумно заявляли, будто мы, когда косили, захватили край какой-нибудь не принадлежащей нам Бышеевки или Семенихи; а так как мы еще не знали точно границ нашей земли, то верили на слово и платили штраф; потом же оказывалось, что косили мы правильно. В нашем лесу драли липки. Один дубеченский мужик, кулак, торговавший водкой без патента, подкупал наших работников и вместе с ними обманывал нас самым предательским образом: новые колеса на телегах заменял старыми, брал наши пахотные хомуты и продавал их нам же и т. п. Но обиднее всего было то, что происходило в Куриловке на постройке; там бабы по ночам крали тес, кирпич, изразцы, железо; староста с понятиями делал у них обыск, сход штрафовал каждую на два рубля, и потом эти штрафные деньги пропивались всем миром.

Когда Маша узнавала об этом, то с негодованием говорила доктору или моей сестре:

– Какие животные! Это ужас! ужас!

И я слышал не раз, как она выражала сожаление, что затеяла строить школу.

– Поймите, – убеждал ее доктор, – поймите, что если вы строите эту школу и вообще делаете добро, то не для мужиков, а во имя культуры, во имя будущего. И чем эти мужики хуже, тем больше поводов строить школу. Поймите!

В голосе его, однако, слышалась неуверенность, и мне казалось, что он вместе с Машей ненавидел мужиков.

Маша часто уходила на мельницу и брала с собою сестру, и обе, смеясь, говорили,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
что они идут посмотреть на Степана, какой он красивый. Степан, как оказалось, был медлителен и неразговорчив только с мужчинами, в женском же обществе держал себя развязно и говорил без умолку. Раз, придя на реку купаться, я невольно подслушал разговор. Маша и Клеопатра, обе в белых платьях, сидели на берегу под ивой, в широкой тени, а Степан стоял возле, заложив руки назад, и говорил:

– Нешто мужики – люди? Не люди, а, извините, зверье, шарлатаны. Какая у мужика жизнь? Только есть да пить, харчи бы подешевле, да в трактире горло драть без ума; и ни тебе разговоров хороших, ни обращения, ни формальности, а так, невежа! И сам в грязи, и жена в грязи, и дети в грязи, в чем был, в том и лег, картошку из щей тащит прямо пальцами, квас пьет с тараканом – хоть бы подул!

– Бедность ведь! – вступилась сестра.

– Какая бедность! Оно точно, нужда, да ведь нужда нужде рознь, сударыня. Вот ежели человек в остроге сидит, или, скажем, слепой, или без ног, то это, действительно, не дай бог никому, а ежели он на воле, при своем уме, глаза и руки у него есть, сила есть, бог есть, то чего ему еще? Баловство, сударыня, невежество, а не бедность. Ежели вот вы, положим, хорошие господа, по образованию вашему, из милости пожелаете оказать ему способность, то он ваши деньги пропьет по своей подлости или, того хуже, сам откроет питейное заведение и на ваши деньги начнет народ грабить. Вы изволите говорить – бедность. А разве богатый мужик живет лучше? Тоже, извините, как свинья. Грубиян, горлан, дубина, идет поперек себя толще, морда пухлая, красная – так бы, кажется, размахнулся и ляпнул его, подлеца. Вот Ларион дубеченский тоже богатый, а, небось, лубки в вашем лесу дерет не хуже бедного; и сам ругатель, и дети ругатели, а как выпьет лишнее, чкнется носом в лужу и спит. Все они, сударыня, не стоящие. Поживешь с ними в деревне, так словно в аду. Навязла она у меня в зубах, деревня-то эта, и благодарю господа, царя небесного, и сыт я, и одет, отслужил в драгунах свой срок, отходил старостой три года, и вольный я казак теперь: где хочу, там и живу. В деревне жить не желаю, и никто не имеет права меня заставить. Говорят, жена. Ты, говорят, обязан в избе с женой жить. А почему такое? Я к ей не нанимался.

– Скажите, Степан, вы женились по любви? – спросила Маша.

– Какая у нас в деревне любовь? – ответил Степан и усмехнулся. – Собственно, сударыня, ежели вам угодно знать, я женат во второй раз. Я сам не куриловский, а из Залегоща, а в Куриловку меня потом в зятя взяли. Значит, родитель не пожелал делить нас промежду себе – нас всех пять братьев, я поклонился и был таков, пошел в чужую деревню, в зятя. А первая моя жена померла в молодых летах.

– Отчего?

– От глупости. Плачет, бывало, всё плачет и плачет без толку, да так и зачахла. Какие-то всё травки пила, чтобы покрасиветь, да, должно, повредила внутренность. А вторая моя жена, куриловская – что в ней? Деревенская баба, мужичка, и больше ничего. Когда ее за меня сватали, мне поманилось: думаю, молодая, белая из себя, чисто живут. Мать у ней словно бы хлыстовка и кофей пьет, а главное, значит, чисто живут. Стало быть, женился, а на другой день сели обедать, приказал я теще ложку подать, а она подает ложку и, гляжу, пальцем ее вытерла. Вот тебе на, думаю, хороша у вас чистота. Пожил с ними год и ушел. Мне, может, на городской бы жениться, – продолжал он, помолчав. – Говорят, жена мужу помощница. Для чего мне помощница, я и сам себе помогу, а ты лучше со мной поговори, да не так, чтобы всё те-те-те, а обстоятельно, чувствительно. Без хорошего разговора – что за жизнь!

Степан вдруг замолчал, и тотчас же послышалось его скучное, монотонное «у-лю-лю-лю». Это значило, что он увидел меня.

Маша бывала часто на мельнице и в беседах со Степаном, очевидно, находила удовольствие; Степан так искренно и убежденно бранил мужиков – и ее тянуло к нему. Когда она возвращалась с мельницы, то всякий раз мужик-дурачок, который стерег сад, кричал на нее:

– Девка Палашка! Здорово, девка Палашка! – И лаял на нее по-собачьи: – Гав! гав!

А она останавливалась и смотрела на него со вниманием, точно в лае этого дурачка

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru находила ответ на свои мысли, и, вероятно, он притягивал ее так же, как брань Степана. А дома ожидало ее какое-нибудь известие, вроде того, например, что деревенские гуси потолкли у нас на огороде капусту или что Ларион вожжи украл, и она говорила, пожав плечами, с усмешкой:

– Что же вы хотите от этих людей!

Она негодовала, на душе у нее собиралась накипь, а я, между тем, привыкал к мужикам и меня всё больше тянуло к ним. В большинстве это были нервные, раздраженные, оскорбленные люди; это были люди с подавленным воображением, невежественные, с бедным, тусклым кругозором, всё с одними и теми же мыслями о серой земле, о серых днях, о черном хлебе, люди, которые хитрили, но, как птицы, прятали за дерево только одну голову, – которые не умели считать. Они не шли к вам на сенокос за двадцать рублей, но шли за полведра водки, хотя за двадцать рублей могли бы купить четыре ведра. В самом деле, были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при всем том, однако, чувствовалось, что жизнь мужицкая, в общем, держится на каком-то крепком, здоровом стержне. Каким бы неуклюжим зверем ни казался мужик, идя за своею сохой, и как бы он ни дурманил себя водкой, всё же, приглядываясь к нему поближе, чувствуешь, что в нем есть то нужное и очень важное, чего нет, например, в Маше и в докторе, а именно, он верит, что главное на земле – правда, и что спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому больше всего на свете он любит справедливость. Я говорил жене, что она видит пятна на стекле, но не видит самого стекла; в ответ она молчала или же напевала, как Степан: «у-лю-лю-лю»... Когда эта добрая, умная женщина бледнела от негодования и с дрожью в голосе говорила с доктором о пьянстве и обманах, то меня приводила в недоумение и поражала ее забывчивость. Как могла она забыть, что ее отец, инженер, тоже пил, много пил, и что деньги, на которые была куплена дубечня, были приобретены путем целого ряда наглых, бесовестных обманов? Как могла она забыть?

XIV

И сестра тоже жила своею особою жизнью, которую тщательно скрывала от меня. Она часто шепталась с Машей. Когда я подходил к ней, она вся сжималась и взгляд ее становился виноватым, умоляющим; очевидно, в ее душе происходило что-то такое, чего она боялась или стыдилась. Чтобы как-нибудь не встретиться в саду или не остаться со мною вдвоем, она все время держалась около Маши, и мне приходилось говорить с нею редко, только за обедом.

Как-то вечером я тихо шел садом, возвращаясь с постройки. Уже начинало темнеть. Не замечая меня, не слыша моих шагов, сестра ходила около старой, широкой яблони, совершенно бесшумно, точно привидение. Она была в черном и ходила быстро, все по одной линии, взад и вперед, глядя в землю. Упало с дерева яблоко, она вздрогнула от шума, остановилась и прижала руки к вискам. В это самое время я подошел к ней.

В порыве нежной любви, которая вдруг прилила к моему сердцу, со слезами, вспоминая почему-то нашу мать, наше детство, я обнял ее за плечи и поцеловал.

– Что с тобою? – спросил я. – Ты страдаешь, я давно это вижу. Скажи, что с тобою?

– Мне страшно... – проговорила она, дрожа.

– Что же с тобой? – допытывался я. – Ради бога, будь откровенна!

– Я буду, буду откровенна, я скажу тебе всю правду. Скрывать от тебя – это так тяжело, так мучительно! Мисаил, я люблю... – продолжала она шепотом. – Я люблю, я люблю... Я счастлива, но почему мне так страшно!

Послышались шаги, показался между деревьями доктор Благово в шелковой рубашке, в высоких сапогах. Очевидно, здесь около яблони у них было назначено свидание. Увидев его, она бросилась к нему порывисто, с болезненным криком, точно его отнимали у нее:

– Владимир! Владимир!

Она прижималась к нему и с жадностью глядела ему в лицо, и только теперь я заметил, как похудела и побледнела она в последнее время. Особенно это было

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru заметно по ее кружевному воротничку, который я давно знал и который теперь свободнее, чем когда-либо, облегал ее шею, тонкую и длинную. Доктор смутился, но тотчас же оправился и сказал, приглаживая ее волосы:

– Ну, полно, полно... Зачем так нервничать? Видишь, я приехал.

Мы молчали, застенчиво поглядывая друг на друга. Потом мы шли втроем, и я слышал, как доктор говорил мне:

– Культурная жизнь у нас еще не начиналась. Старики утешают себя, что если теперь нет ничего, то было что-то в сороковых или шестидесятых годах; это – старики, мы же с вами молоды, наших мозгов еще не тронул *marasmus senilis*, [40] мы не можем утешать себя такими иллюзиями. Начало Руси было в 862 году, а начала культурной Руси, я так понимаю, еще не было.

Но я не вникал в эти соображения. Как-то было странно, не хотелось верить, что сестра влюблена, что она вот идет и держит за руку чужого и нежно смотрит на него. Моя сестра, это нервное, запуганное, забитое, не свободное существо, любит человека, который уже женат и имеет детей! Чего-то мне стало жаль, а чего именно – не знаю; присутствие доктора почему-то было уже неприятно, и я никак не мог понять, что может выйти из этой их любви.

XV

Я и Маша ехали в Куриловку на освящение школы.

– Осень, осень, осень... – тихо говорила Маша, глядя по сторонам. – Прошло лето. Птиц нет, и зелены одни только вербы.

Да, уже прошло лето. Стоят ясные, теплые дни, но по утрам свежо, пастухи выходят уже в тулупах, а в нашем саду на астрах роса не высыхает в течение всего дня. Всё слышатся жалобные звуки, и не разберешь, ставня ли это ноет на своих ржавых петлях или летят журавли – и становится хорошо на душе и так хочется жить!

– Прошло лето... – говорила Маша. – Теперь мы с тобою можем подвести итоги. Мы много работали, много думали, мы стали лучше от этого, – честь нам и слава, – мы преуспели в личном совершенстве; но эти наши успехи имели ли заметное влияние на окружающую жизнь, принесли ли пользу, хотя кому-нибудь? Нет. Невежество, физическая грязь, пьянство, поразительно высокая детская смертность – всё осталось, как и было, и оттого, что ты пахал и сеял, а я тратила деньги и читала книжки, никому не стало лучше. Очевидно, мы работали только для себя и широко мыслили только для себя.

Подобные рассуждения сбивали меня, и я не знал, что думать.

– Мы от начала до конца были искренни, – сказал я, – а кто искренен, тот и прав.

– Кто спорит? Мы были правы, но мы неправильно осуществляли то, в чем мы правы. Прежде всего, самые наши внешние приемы – разве они не ошибочны? Ты хочешь быть полезен людям, но уж одним тем, что ты покупаешь имение, ты с самого начала преграждаешь себе всякую возможность сделать для них что-нибудь полезное. Затем, если ты работаешь, одеваешься и ешь, как мужик, то ты своим авторитетом как бы узаконяешь эту их тяжелую, неуклюжую одежду, ужасные избы, эти их глупые бороды... С другой стороны, допустим, что ты работаешь долго, очень долго, всю жизнь, что в конце концов получаются кое-какие практические результаты, но что они, эти твои результаты, что они могут против таких стихийных сил, как гуртовое невежество, голод, холод, вырождение? Капля в море! Тут нужны другие способы борьбы, сильные, смелые, скорые! Если в самом деле хочешь быть полезен, то выходи из тесного круга обычной деятельности и старайся действовать сразу на массу! Нужна прежде всего шумная, энергическая проповедь. Почему искусство, например, музыка, так живуче, так популярно и так сильно на самом деле? А потому, что музыкант или певец действует сразу на тысячи. Милое, милое искусство! – продолжала она, мечтательно глядя на небо. – Искусство дает крылья и уносит далеко-далеко! Кому надоела грязь, мелкие грошовые интересы, кто возмущен, оскорблен и негодует, тот может найти покой и удовлетворение только в прекрасном.

Когда мы подъезжали к Куриловке, погода была ясная, радостная. Кое-где во дворах молотили, пахло ржаной соломой. За плетнями ярко краснела рябина, и деревья

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru кругом, куда ни взглянешь, были всё золотые или красные. На колокольне звонили, несли к школе образа, и было слышно, как пели: «Заступница усердная».[41] А какой прозрачный воздух, как высоко летали голуби!

Служили в классной молебн. Потом куриловские крестьяне поднесли Маше икону, а дубеченские – большой крендель и позолоченную солонку. И Маша разрыдалась.

– А ежели что было сказано лишнее или какие неудовольствия, то простите, – сказал один старик и поклонился ей и мне.

Когда мы ехали домой, Маша оглядывалась на школу; зеленая крыша, выкрашенная мною и теперь блестящая на солнце, долго была видна нам. И я чувствовал, что взгляды, которые бросала теперь Маша, были прощальные.

XVI

Вечером она собралась в город.

В последнее время она часто уезжала в город и там ночевала. В ее отсутствие я не мог работать, руки у меня опускались и слабели; наш большой двор казался скучным, отвратительным пустырем, сад шумел сердито, и без нее дом, деревья, лошади для меня уже не были «наши».

Я никуда не выходил из дому, а все сидел за ее столом, около ее шкапа с сельскохозяйственными книгами, этими бывшими фаворитами, теперь уже ненужными, смотревшими на меня так сконфуженно. По целым часам, пока било семь, восемь, девять, пока за окнами наступала осенняя ночь, черная, как сажа, я осматривал ее старую перчатку, или перо, которым она всегда писала, или ее маленькие ножницы; я ничего не делал и ясно сознавал, что если раньше делал что-нибудь, если пахал, косил, рубил, то потому только, что этого хотела она. И если бы она послала меня чистить глубокий колодец, где бы я стоял по пояс в воде, то я полез бы и в колодец, не разбирая, нужно это или нет. А теперь, когда ее не было возле, дубечня с ее развалинами, неубранством, с хлопающими ставнями, с ворами, ночными и дневными, представлялась мне уже хаосом, в котором всякая работа была бы бесполезна. Да и для чего мне было тут работать, для чего заботы и мысли о будущем, если я чувствовал, что из-под меня уходит почва, что роль моя здесь, в дубечне, уже сыграна, что меня, одним словом, ожидает та же участь, которая постигла книги по сельскому хозяйству? О, какая это была тоска ночью, в часы одиночества, когда я каждую минуту прислушивался с тревогой, точно ждал, что вот-вот кто-нибудь крикнет, что мне пора уходить. Мне не было жаль дубечни, мне было жаль своей любви, для которой, очевидно, тоже наступила уже своя осень. Какое это огромное счастье любить и быть любимым и какой ужас чувствовать, что начинаешь сваливаться с этой высокой башни!

Маша вернулась из города на другой день к вечеру. Она была недовольна чем-то, но скрывала это и только сказала, зачем это вставлены все зимние рамы – этак задохнуться можно. Я выставил две рамы. Нам есть не хотелось, но мы сели и поужинали.

– Пойди, вымой руки, – сказала жена. – От тебя пахнет замазкой.

Она привезла из города новые иллюстрированные журналы, и мы вместе рассматривали их после ужина. Попадались приложения с модными картинками и выкройками. Маша оглядывала их мельком и откладывала в сторону, чтобы потом рассмотреть особо, как следует; но одно платье с широкою, как колокол, гладкою юбкой и с большими рукавами заинтересовало ее, и она минуту смотрела на него серьезно и внимательно.

– Это недурно, – сказала она.

– Да, это платье тебе очень пойдет, – сказал я. – Очень!

И глядя с умилением на платье, любясь этим серым пятном только потому, что оно ей понравилось, я продолжал нежно:

– Чудное, прелестное платье! Прекрасная, великолепная Маша! Дорогая моя Маша!

И слезы закапали на картинку.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Великолепная Маша... – бормотал я. – Милая, дорогая Маша...

Она пошла и легла, а я еще с час сидел и рассматривал иллюстрации.

– Напрасно ты выставил рамы, – сказала она из спальни. – Боюсь, как бы не было холодно. Ишь ведь, как задувает!

Я прочел кое-что из «смеси» – о приготовлении дешевых чернил и о самом большом брильянте на свете. Мне опять попалась модная картинка с платьем, которое ей понравилось, и я вообразил себе ее на балу с веером, с голыми плечами, блестящую, роскошную, знающую толк и в музыке, и в живописи, и в литературе, и какую маленькою, короткою показалась мне моя роль!

Наша встреча, это наше супружество были лишь эпизодом, каких будет еще не мало в жизни этой живой, богато одаренной женщины. Всё лучшее в мире, как я уже сказал, было к ее услугам и получалось ею совершенно даром, и даже идеи и модное умственное движение служили ей для наслаждения, разнообразя ей жизнь, и я был лишь извозчиком, который довез ее от одного увлечения к другому. Теперь уж я не нужен ей, она выпорхнет, и я останусь один.

И как бы в ответ на мои мысли на дворе раздался отчаянный крик:

– Ка-ра-у-л!

Это был тонкий бабий голос, и, точно желая передразнить его, в трубе загудел ветер тоже тонким голосом. Прошло с полминуты, и опять послышалось сквозь шум ветра, но уже как будто с другого конца двора:

– Ка-ра-у-л!

– Мисаил, ты слышишь? – спросила тихо жена. – Ты слышишь?

Она вышла ко мне из спальни в одной сорочке, с распущенными волосами, и прислушалась, глядя на темное окно.

– Кого-то душат! – проговорила она. – Этого еще не доставало.

Я взял ружье и вышел. На дворе было очень темно, дул сильный ветер, так что трудно было стоять. Я прошелся к воротам, прислушался: шумят деревья, свистит ветер и в саду, должно быть, у мужика-дурачка лениво подвывает собака. За воротами тьма кромешная, на линии ни одного огонька. И около того флигеля, где в прошлом году была контора, вдруг раздался придушенный крик:

– Ка-ра-у-л!

– Кто там? – окликнул я.

Боролись два человека. Один выталкивал, а другой упирался, и оба тяжело дышали.

– Пусти! – говорил один, и я узнал Ивана Чепракова; он-то и кричал тонким бабьим голосом. – Пусти, проклятый, а то я тебе все руки искусаю!

В другом я узнал Моисея. Я рознял их и при этом не удержался и ударил Моисея по лицу два раза. Он упал, потом поднялся, и я ударил его еще раз.

– Они хотели меня убить, – бормотал он. – К мамашиному комоду подбирались... Их я желаю запереть во флигеле для безопасности-с.

А Чепраков был пьян, не узнавал меня и все глубоко вздыхал, как бы набирая воздух, чтобы опять крикнуть караул.

Я оставил их и вернулся в дом; жена лежала в постели, уже одетая. Я рассказал ей о том, что происходило на дворе, и не скрыл даже, что бил Моисея.

– Страшно жить в деревне, – проговорила она. – И какая это длинная ночь, бог с ней.

– Ка-ра-у-л! – послышалось опять, немного погодя.

– Я пойду уйму их, – сказал я.

– Нет, пусть они себе там перегрызут горла, – проговорила она с безразличным выражением.

Она глядела в потолок и прислушивалась, а я сидел возле, не смея заговорить с нею, с таким чувством, как будто я был виноват, что на дворе кричали «караул» и что ночь была такая длинная.

Мы молчали, и я с нетерпением ждал, когда в окнах забрезжит свет. А Маша все время глядела так, будто очнулась от забытья и теперь удивлялась, как это она, такая умная, воспитанная, такая опрятная, могла попасть в этот жалкий провинциальный пустырь, в шайку мелких, ничтожных людей, и как это она могла забыть до такой степени, что даже увлеклась одним из этих людей и больше полугода была его женой. Мне казалось, что для нее было уже всё равно, что я, что Моисей, что Чепраков; всё для нее слилось в этом пьяном, диком «караул» – и я, и наш брак, и наше хозяйство, и осенняя распутица; и когда она вздыхала или двигалась, чтобы лечь поудобнее, то я читал на ее лице: «О, поскорее бы утро!»

Утром она уехала.

Я прожил в Дубечне еще три дня, поджидая ее, потом сложил все наши вещи в одну комнату, запер и пошел в город. Когда я позвонился к инженеру, то был уже вечер, и на нашей Большой Дворянской горели фонари. Павел сказал мне, что никого нет дома: Виктор Иванович уехал в Петербург, а Мария Викторовна, должно быть, у Ажогиных на репетиции. Помню, с каким волнением я шел потом к Ажогиным, как стучало и замирало мое сердце, когда я поднимался по лестнице и долго стоял вверху на площадке, не смея войти в этот храм муз! В зале на столике, на рояле, на сцене горели свечи, везде по три, и первый спектакль был назначен на тринадцатое число, и теперь первая репетиция была в понедельник – тяжелый день. Борьба с предрассудками! Все любители сценического искусства были уже в сборе; старшая, средняя и младшая ходили по сцене, читая свои роли по тетрадкам. В стороне ото всех неподвижно стоял Редька, прислонившись виском к стене, и с обожанием смотрел на сцену, ожидая начала репетиции. Всё как было!

Я направился к хозяйке – надо было поздороваться, но вдруг все зашикали, замахали мне, чтобы я не стучал ногами. Стало тихо. Подняли крышку у рояля, села какая-то дама, щуря свои близорукие глаза на ноты, и к роялю подошла моя Маша, разодетая, красивая, но красивая как-то особенно, по-новому, совсем не похожая на ту Машу, которая весной приходила ко мне на мельницу; она запела:

Отчего я люблю тебя, светлая ночь?[42]

За всё время нашего знакомства это в первый раз я слышал, как она пела. У нее был хороший, сочный, сильный голос, и, пока она пела, мне казалось, что я ем спелую, сладкую, душистую дыню. Вот она кончила, ей аплодировали, и она улыбалась очень довольная, играя глазами, перелистывая ноты, поправляя на себе платье, точно птица, которая вырвалась, наконец, из клетки и на свободе оправляет свои крылья. Волосы у нее были зачесаны на уши, и на лице было нехорошее, задорное выражение, точно она хотела сделать всем нам вызов или крикнуть на нас, как на лошадей: «Эй, вы, милые!»

И, должно быть, в это время она была очень похожа на своего деда ямщика.

– И ты здесь? – спросила она, подавая мне руку. – Ты слышал, как я пела? Ну, как ты находишь? – и не дожидаясь моего ответа, она продолжала: – Очень кстати, что ты здесь. Сегодня ночью я уезжаю ненадолго в Петербург. Ты меня отпустишь?

В полночь я провожал ее на вокзал. Она нежно обняла меня, вероятно, в благодарность за то, что я не задавал ненужных вопросов, и обещала писать мне, а я долго сжимал ее руки и целовал их, едва сдерживая слезы, не говоря ей ни слова.

А когда она уехала, я стоял, смотрел на удалявшиеся огни, ласкал ее в своем воображении и тихо говорил:

– Милая моя Маша, великолепная Маша...

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Ночевал я в Макарихе у Карповны, а утром уже вместе с Редькой обивал мебель у одного богатого купца, выдававшего свою дочь за доктора.

XVII

В воскресенье после обеда приходила ко мне сестра и пила со мною чай.

– Теперь я очень много читаю, – говорила она, показывая мне книги, которые она, идя ко мне, взяла из городской библиотеки. – Спасибо твоей жене и Владимиру, они возбудили во мне самосознание. Они спасли меня, сделали то, что я теперь чувствую себя человеком. Прежде, бывало, я не спала по ночам от разных забот: «ах, за неделю у нас сошло много сахару! ах, как бы не пересолить огурцы!» И теперь я тоже не сплю, но у меня уже другие мысли. Я мучаюсь, что так глупо, малодушно прошла у меня половина жизни. Свое прошлое я презираю, стыжусь его, а на отца я смотрю теперь, как на своего врага. О, как я благодарна твоей жене! А Владимир? Это такой чудный человек! Они открыли мне глаза.

– Это нехорошо, что ты не спишь по ночам, – сказал я.

– Ты думаешь – я больна? Нисколько. Владимир выслушал меня и говорил, что я совершенно здорова. Но дело не в здоровье, оно не так важно... Ты мне скажи: я права?

Она нуждалась в нравственной поддержке – это было очевидно. Маша уехала, доктор Благово был в Петербурге, и в городе не оставалось никого, кроме меня, кто бы мог сказать ей, что она права. Она пристально вглядывалась мне в лицо, стараясь прочесть мои тайные мысли, и если я при ней задумывался и молчал, то она это принимала на свой счет и становилась печальна. Приходилось всё время быть настороже, и когда она спрашивала меня, права ли она, то я спешил ответить ей, что она права и что я глубоко ее уважаю.

– Ты знаешь? Мне у Ажогиных дали роль, – продолжала она. – Хочу играть на сцене. Хочу жить, одним словом, хочу пить из полной чаши. Таланта у меня нет никакого, и роль всего в десять строк, но всё же это неизмеримо выше и благороднее, чем разливать чай по пяти раз на день и подглядывать, не съела ли кухарка лишнего куска. А главное, пусть, наконец, отец увидит, что и я способна на протест.

После чаю она легла на мою постель и полежала некоторое время с закрытыми глазами, очень бледная.

– Какая слабость! – проговорила она, поднимаясь. – Владимир говорил, что все городские женщины и девушки малокровны от безделья. Какой умный человек Владимир! Он прав, бесконечно прав. Надо работать!

Через два дня она пришла к Ажогиным на репетицию, с тетрадкой. Она была в черном платье, с коралловою ниткой на шее, с брошью, похожую издали на слоеный пирожок, и в ушах были большие серьги, в которых блестело по брильянту. Когда я взглянул на нее, то мне стало неловко: меня поразила безвкусица. Что она некстати надела серьги и брильянты и была странно одета, заметили и другие; я видел на лицах улыбки и слышал, как кто-то проговорил, смеясь:

– Клеопатра Египетская.

Она старалась быть светскою, непринужденной, покойной и оттого казалась манерною и странной. Простота и миловидность покинули ее.

– Сейчас я объявила отцу, что ухожу на репетицию, – начала она, подходя ко мне, – и он крикнул, что лишает меня благословения, и даже едва не ударил меня. Представь, я не знаю своей роли, – сказала она, заглядывая в тетрадку. – Я непременно собьюсь. Итак, жребий брошен, – продолжала она в сильном волнении. – Жребий брошен...

Ей казалось, что все смотрят на нее и все изумлены тем важным шагом, на который она решилась, что все ждут от нее чего-то особенного, и убедить ее, что на таких маленьких и неинтересных людей, как я и она, никто не обращает внимания, было невозможно.

До третьего акта ей нечего было делать, и ее роль гостыи, провинциальной кумушки, заключалась лишь в том, что она должна была постоять у двери, как бы

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru подслушивая, и потом сказать короткий монолог. До своего выхода, по крайней мере часа полтора, пока на сцене ходили, читали, пили чай, спорили, она не отходила от меня и всё время бормотала свою роль и нервно мяла тетрадку; и, воображая, что все смотрят на нее и ждут ее выхода, она дрожащею рукой поправляла волосы и говорила мне:

– Я непременно собоюсь... Как тяжело у меня на душе, если б ты знал! У меня такой страх, будто меня поведут сейчас на смертную казнь.

Наконец, настала ее очередь.

– Клеопатра Алексеевна, – вам! – сказал режиссер.

Она вышла на середину сцены с выражением ужаса на лице, некрасивая, угловатая, и с полминуты простояла, как в столбняке, совершенно неподвижно, и только одни большие сережки качались под ушами.

– В первый раз можно по тетрадке, – сказал кто-то.

Мне было ясно, что она дрожит и от дрожи не может говорить и развернуть тетрадку, и что ей вовсе не до роли, и я уже хотел пойти к ней и сказать ей что-нибудь, как она вдруг опустилась на колени среди сцены и громко зарыдала.

Всё двигалось, всё шумело вокруг, один я стоял, прислонившись к кулисе, пораженный тем, что произошло, не понимая, не зная, что мне делать. Я видел, как ее подняли и увели. Я видел, как ко мне подошла Анята Благово; раньше я не видел ее в зале, и теперь она точно из земли выросла. Она была в шляпе, под вуалью, и, как всегда, имела такой вид, будто зашла только на минуту.

– Я говорила ей, чтобы она не играла, – сказала она сердито, отрывисто выговаривая каждое слово и краснея. – Это – безумие! Вы должны были удержать ее!

Быстро подошла Ажогина-мать в короткой кофточке с короткими рукавами, с табачным пеплом на груди, худая и плоская.

– Друг мой, это ужасно, – проговорила она, ломая руки и, по обыкновению, пристально всматриваясь мне в лицо. – Это ужасно! Ваша сестра в положении... она беременна! Уведите ее, прошу вас...

Она тяжело дышала от волнения. А в стороне стояли три дочери, такие же, как она, худые и плоские, и пугливо жались друг к другу. Они были встревожены, ошеломлены, точно в их доме только что поймали каторжника. Какой позор, как страшно! А ведь это почтенное семейство всю свою жизнь боролось с предрассудками; очевидно, оно полагало, что все предрассудки и заблуждения человечества только в трех свечах, в тринадцатом числе, в тяжелом дне – понедельник!

– Прошу вас... прошу... – повторяла госпожа Ажогина, складывая губы сердечком на слог «шу» и выговаривая его, как «шю». – Прошу, уведите ее домой.

XVIII

Немного погодя я и сестра шли по улице. Я прикрывал ее полый своего пальто; мы торопились, выбирая переулки, где не было фонарей, прячась от встречных, и это было похоже на бегство. Она уже не плакала, а глядела на меня сухими глазами. До Макарихи, куда я вел ее, было ходьбы всего минут двадцать, и, странное дело, за такое короткое время мы успели припомнить всю нашу жизнь, мы обо всем переговорили, обдумали наше положение, сообразили...

Мы решили, что нам уже нельзя больше оставаться в этом городе и что когда я добуду немного денег, то мы перееедем куда-нибудь в другое место. В одних домах уже спали, в других играли в карты; мы ненавидели эти дома, боялись их и говорили об изуверстве, сердечной грубости, ничтожестве этих почтенных семейств, этих любителей драматического искусства, которых мы так испугали, и я спрашивал, чем же эти глупые, жестокие, ленивые, нечестные люди лучше пьяных и суеверных куриловских мужиков или чем лучше они животных, которые тоже приходят в смятение, когда какая-нибудь случайность нарушает однообразие их жизни, ограниченной инстинктами. Что было бы теперь с сестрой, если бы она осталась жить дома? Какие нравственные мучения испытывала бы она, разговаривая с отцом,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
встречаясь каждый день со знакомыми? Я воображал себе это, и тут же мне приходили на память люди, всё знакомые люди, которых медленно сживали со света их близкие и родные, припомнились замученные собаки, сходявшие с ума, живые воробьи, ошипанные мальчишками догола и брошенные в воду, – и длинный, длинный ряд глухих медлительных страданий, которые я наблюдал в этом городе непрерывно с самого детства; и мне было непонятно, чем живут эти шестьдесят тысяч жителей, для чего они читают евангелие, для чего молятся, для чего читают книги и журналы. Какую пользу принесло им всё то, что до сих пор писалось и говорилось, если у них всё та же душевная темнота и то же отвращение к свободе, что было и сто, и триста лет назад? Подрядчик-плотник всю свою жизнь строит в городе дома и всё же до самой смерти вместо «галерея» говорит «галдарея», так и эти шестьдесят тысяч жителей поколениями читают и слышат о правде, о милосердии и свободе, и всё же до самой смерти лгут от утра до вечера, мучают друг друга, а свободы боятся и ненавидят ее, как врага.

– Итак, судьба моя решена, – сказала сестра, когда мы пришли домой. – После того, что случилось, я уже не могу возвратиться туда. Господи, как это хорошо! У меня стало легко на душе.

Она тотчас легла в постель. На ресницах у нее блестели слезы, но выражение было счастливое, спала она крепко и сладко, и видно было, что в самом деле у нее легко на душе и что она отдыхает. Давно-давно уже она не спала так!

И вот мы начали жить вместе. Она всё пела и говорила, что ей очень хорошо, и книги, которые мы брали в библиотеке, я уносил обратно не читанными, так как она уже не могла читать; ей хотелось только мечтать и говорить о будущем. Починяя мое белье или помогая Карповне около печки, она то напевала, то говорила о своем Владимире, об его уме, прекрасных манерах, доброте, об его необыкновенной учености, и я соглашался с нею, хотя уже не любил ее доктора. Ей хотелось работать, жить самостоятельно, на свой счет, и она говорила, что пойдет в учительницы или в фельдшерицы, как только позволит здоровье, и будет сама мыть полы, стирать белье. Она уже страстно любила своего маленького; его еще не было на свете, но она уже знала, какие у него глаза, какие руки и как он смеется. Она любила поговорить о воспитании, а так как лучшим человеком на свете был Владимир, то и все рассуждения ее о воспитании сводились к тому только, чтобы мальчик был так же очарователен, как его отец. Конца не было разговорам, и всё, что она говорила, возбуждало в ней живую радость. Иногда радовался и я, сам не зная чему.

Должно быть, она заразила меня своею мечтательностью. Я тоже ничего не читал и только мечтал; по вечерам, несмотря на утомление, я ходил по комнате из угла в угол, заложив руки в карманы, и говорил о Маше.

– Как ты думаешь, – спрашивал я сестру, – когда она вернется? Мне кажется, она вернется к Рождеству, не позже. Что ей там делать?

– Если она тебе не пишет, то, очевидно, вернется очень скоро.

– Это правда, – соглашался я, хотя отлично знал, что Маше уже незачем возвращаться в наш город.

Я сильно соскучился по ней и уже не мог не обманывать себя и старался, чтобы меня обманывали другие. Сестра ожидала своего доктора, а я – Машу, и оба мы непрерывно говорили, смеялись и не замечали, что мешаем спать Карповне, которая лежала у себя на печке и всё бормотала:

– Самовар-то гудел поутру, гуде-ел! Ох, не к добру, сердечные, не к добру.

У нас никто не бывал, кроме почтальона, приносившего сестре письма от доктора, да Прокофия, который иногда вечером заходил к нам и, молча поглядев на сестру, уходил и уж у себя в кухне говорил:

– Всякое звание должно свою науку помнить, а кто не желает этого понимать по своей гордости, тому юдоль.

Он любил слово «юдоль». Как-то – это было уже на святках, – когда я проходил базаром, он зазвал меня к себе в мясную лавку и, не подавая мне руки, заявил, что ему нужно поговорить со мною о каком-то очень важном деле. Он был красен от

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
мороза и от водки; возле него за прилавком стоял Николка с разбойничьим лицом,
держа в руке окровавленный нож.

– Я желаю выразить вам мои слова, – начал Прокофий. – Это событие не может существовать, почему что, сами понимаете, за такую юдоль люди не похвалят ни нас, ни вас. Мамаша, конечно, из жалости не может говорить неприятности, чтобы ваша сестрица перебралась на другую квартиру по причине своего положения, а я больше не желаю, потому что ихнего поведения не могу одобрить.

Я понял его и вышел из лавки. В тот же день я и сестра перебрались к Редьке. У нас не было денег на извозчика, и мы шли пешком; я нес на спине узел с нашими вещами, у сестры же ничего не было в руках, но она задыхалась, кашляла и всё спрашивала, скоро ли мы дойдем.

XIX

Наконец, пришло письмо от Маши.

«Милый, хороший М. А., – писала она, – добрый, кроткий „ангел вы наш“, как называет вас старый маляр, прощайте, я уезжаю с отцом в Америку на выставку. Через несколько дней я увижу океан – так далеко от Дубечни, страшно подумать! Это далеко и необъятно, как небо, и мне хочется туда, на волю, я торжествую, я безумствую, и вы видите, как нескладно мое письмо. Милый, добрый, дайте мне свободу, скорее порвите нить, которая еще держится, связывая меня и вас. То, что я встретила и узнала вас, было небесным лучом, озарившим мое существование; но то, что я стала вашей женой, было ошибкой, вы понимаете это, и меня теперь тяготит сознание ошибки, и я на коленях умоляю вас, мой великодушный друг, скорее-скорее до отъезда моего в океан, телеграфируйте, что вы согласны исправить нашу общую ошибку, снять этот единственный камень с моих крыльев, и мой отец, который примет на себя все хлопоты, обещает мне не слишком отягощать вас формальностями. Итак, вольная на все четыре стороны? Да?

Будьте счастливы, да благословит вас бог, простите меня, грешную.

Жива, здорова. Сорю деньгами, делаю много глупостей и каждую минуту благодарю бога, что у такой дурной женщины, как я, нет детей. Я пою и имею успех, но это не увлечение, нет, это – моя пристань, моя келия, куда я теперь ухожу на покой. У царя Давида было кольцо с надписью: „всё проходит“. [43] Когда грустно, то от этих слов становится весело, а когда весело, то становится грустно. И я завела себе такое кольцо с еврейскими буквами, и этот талисман удержит меня от увлечений. Всё проходит, пройдет и жизнь, значит, ничего не нужно. Или нужно одно лишь сознание свободы, потому что когда человек свободен, то ему ничего, ничего, ничего не нужно. Порвите же нитку. Вас и сестру крепко обнимаю. Простите и забудьте вашу М.»

Сестра лежала в одной комнате, Редька, который опять был болен и уже выздоравливал, – в другой. Как раз в то время, когда я получил это письмо, сестра тихо прошла к маляру, села возле и стала читать. Она каждый день читала ему Островского или Гоголя, и он слушал, глядя в одну точку, не смеясь, покачивая головой, и изредка бормотал про себя:

– Всё может быть! Всё может быть!

Если в пьесе изображалось что-нибудь некрасивое, безобразное, то он говорил как бы с злорадством, тыча в книгу пальцем:

– Вот она, лжа-то! Вот она что делает, лжа-то!

Пьесы привлекали его и содержанием, и моралью, и своею сложною искусною постройкой, и он удивлялся ему, никогда не называя его по фамилии:

– Как это он ловко всё пригнал к месту!

Теперь сестра тихо прочла только одну страницу и не могла больше; не хватало голоса. Редька взял ее за руку и, пошевелив высохшими губами, сказал едва слышно, сиплым голосом:

– Душа у праведного бела и гладкая, как мел, а у грешного, как пемза. Душа у праведного – олифа светлая, а у грешного – смола газовая. Трудиться надо,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
скорбеть надо, болезновать надо, – продолжал он, – а который человек не трудится и не скорбит, тому не будет царства небесного. Горе, горе сытым, горе сильным, горе богатым, горе заимодавцам! Не видать им царствия небесного. Тля ест траву, ржа – железо...

– А лжа – душу, – продолжила сестра и рассмеялась.

Я еще раз прочел письмо. В это время в кухню пришел солдат, приносивший нам раза два в неделю, неизвестно от кого, чай, французские булочки и рябчиков, от которых пахло духами. Работы у меня не было, приходилось сидеть дома по целым дням, и, вероятно, тот, кто присылал нам эти булочки, знал, что мы нуждаемся.

Я слышал, как сестра разговаривала с солдатом и весело смеялась. Потом она, лежа, ела булочку и говорила мне:

– Когда ты не захотел служить и ушел в маляры, я и Анята Благово с самого начала знали, что ты прав, но нам было страшно высказать это вслух. Скажи, какая это сила мешает сознаваться в том, что думаешь? Взять вот хотя бы Аняту Благово. Она тебя любит, обожает, она знает, что ты прав; она и меня любит, как сестру, и знает, что я права, и, небось, в душе завидует мне, но какая-то сила мешает ей прийти к нам, она избегает нас, боится.

Сестра сложила на груди руки и сказала с увлечением:

– Как она тебя любит, если б ты знал! В этой любви она признавалась только мне одной, и то потихоньку, в потемках. Бывало, в саду заведет в темную аллею и начнет шептать, как ты ей дорог. Увидишь, она никогда не пойдет замуж, потому что любит тебя. Тебе жаль ее?

– Да.

– Это она прислала булочки. Смешная, право, к чему скрываться? Я тоже была смешной и глупой, а вот ушла оттуда и уже никого не боюсь, думаю и говорю вслух, что хочу, – и стала счастливой. Когда жила дома, и понятия не имела о счастье, а теперь я не поменялась бы с королевой.

Пришел доктор Благово. Он получил докторскую степень и теперь жил в нашем городе, у отца, отдыхал и говорил, что скоро опять уедет в Петербург. Ему хотелось заняться прививками тифа и, кажется, холеры; хотелось поехать за границу, чтобы усовершенствоваться и потом занять кафедру. Он уже оставил военную службу и носил просторные шевитовые пиджаки, очень широкие брюки и превосходные галстуки. Сестра была в восторге от его булавок, запонок и от красного шелкового платочка, который он, вероятно, из кокетства держал в переднем кармане пиджака. Однажды, от нечего делать, мы с нею принялись считать на память все его костюмы и решили, что у него их, по крайней мере, штук десять. Было ясно, что он по-прежнему любит мою сестру, но он ни разу даже в шутку не сказал, что возьмет ее с собою в Петербург или за границу, и я не мог себе ясно представить, что будет с нею, если она останется жива, что будет с ее ребенком. А она только без конца мечтала и не думала серьезно о будущем, она говорила, что пусть он едет, куда хочет, и пусть даже бросит ее, лишь бы сам был счастлив, а с нее довольно и того, что было.

Обыкновенно, придя к нам, он выслушивал ее очень внимательно и требовал, чтобы она при нем пила молоко с каплями. И в этот раз было то же самое. Он выслушал ее и заставил выпить стакан молока, и после этого в наших комнатах запахло креозотом.

– Вот умница, – сказал он, принимая от нее стакан. – Тебе нельзя много говорить, а в последнее время ты болтаешь, как сорока. Пожалуйста, молчи.

Она засмеялась. Потом он вошел в комнату Редьки, где я сидел, и ласково похлопал меня по плечу.

– Ну что, старик? – спросил он, наклоняясь к больному.

– Ваше высокоблагородие... – проговорил Редька, тихо пошевелив губами, – ваше высокоблагородие, осмелюсь доложить... все под богом ходим, всем помирать надо... Дозвольте правду сказать... Ваше высокоблагородие, не будет вам царства небесного!

– Что же делать, – пошутил доктор, – надо быть кому-нибудь и в аду.

И вдруг что-то сделалось с моим сознанием; точно мне приснилось, будто зимой, ночью, я стою в бойне на дворе, а рядом со мною Прокофий, от которого пахнет перцовкой; я сделал над собой усилие и протер глаза, и тотчас же мне представилось, будто я иду к губернатору для объяснений. Ничего подобного не было со мной ни раньше, ни потом, и эти странные воспоминания, похожие на сон, я объясняю переутомлением нервов. Я переживал и бойню, и объяснение с губернатором и в то же время смутно сознавал, что этого нет на самом деле.

Когда я очнулся, то увидел, что я уже не дома, а на улице, и вместе с доктором стою около фонаря.

– Грустно, грустно, – говорил он, и слезы текли у него по щекам. – Она весела, постоянно смеется, надеется, а положение ее безнадежно, голубчик. Ваш Редька ненавидит меня и всё хочет дать понять, что я поступил с нею дурно. Он по-своему прав, но у меня тоже своя точка зрения, и я нисколько не раскаиваюсь в том, что произошло. Надо любить, мы все должны любить – не правда ли? – без любви не было бы жизни; кто боится и избегает любви, тот не свободен.

Мало-помалу он перешел на другие темы, заговорил о науке, о своей диссертации, которая понравилась в Петербурге; он говорил с увлечением и уже не помнил ни о моей сестре, ни о своем горе, ни обо мне. Жизнь увлекала его. У той – Америка и кольцо с надписью, думал я, а у этого – докторская степень и ученая карьера, и только я и сестра остались при старом.

Простившись с ним, я подошел к фонарю и еще раз прочел письмо. И я вспомнил, живо вспомнил, как весной, утром, она пришла ко мне на мельницу, легла и укрылась полушубочком – ей хотелось походить на простую бабу. А когда, в другой раз, – это было тоже утром, – мы доставали из воды вершу, то на нас с прибрежных ив сыпались крупные капли дождя, и мы смеялись...

В нашем доме на Большой Дворянской было темно. Я перелез через забор и, как делал это в прежнее время, прошел черным ходом в кухню, чтобы взять там лампочку. В кухне никого не было; около печи шипел самовар, поджидая моего отца. «Кто-то теперь, – подумал я, – разливает отцу чай?» Взявши лампочку, я пошел в хибарку и тут примостил себе постель из старых газет и лег. Костыли на стенах сурово глядели по-прежнему, и тени их мигали. Было холодно. Мне представилось, что сейчас должна прийти сестра и принести мне ужин, но тотчас же я вспомнил, что она больна и лежит в доме Редьки, и мне показалось странным, что я перелез через забор и лежу в нетопленной хибарке. Сознание мое путалось, и я видел всякий вздор.

Звонок. С детства знакомые звуки: сначала проволока шуршит по стене, потом в кухне раздается короткий, жалобный звон. Это из клуба вернулся отец. Я встал и отправился в кухню. Кухарка Аксинья, увидев меня, всплеснула руками и почему-то заплакала.

– Родной мой! – заговорила она тихо. – Дорогой! О, господи!

И от волнения стала мять в руках свой фартук. На окне стояли четвертные бутылки с ягодами и водкой. Я налил себе чайную чашку и с жадностью выпил, потому что мне сильно хотелось пить. Аксинья только недавно вымыла стол и скамьи, и в кухне был запах, какой бывает в светлых, уютных кухнях у опрятных кухарок. И этот запах, и крик сверчка когда-то в детстве манили нас, детей, сюда в кухню и располагали к сказкам, к игре в короли...

– А Клеопатра где? – спрашивала Аксинья тихо, торопясь, сдерживая дыхание. – А шапка твоя где, батюшка? А жена, сказывают, в Питер уехала?

Она служила еще при нашей матери и купала когда-то меня и Клеопатру в корыте, и теперь для нее мы всё еще были дети, которых нужно было наставлять. В какие-нибудь четверть часа она выложила передо мною все свои соображения, какие с рассудительностью старой слуги скапливала в тиши этой кухни всё время, пока мы не виделись. Она сказала, что доктора можно заставить жениться на Клеопатре, – стоит только припугнуть его, и если хорошо написать прошение, то архиерей расторгнет его первый брак; что хорошо бы потихоньку от жены Дубечню продать, а

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
деньги положить в банк на мое имя; что если бы я и сестра поклонились отцу в
ноги и попросили хорошенько, то, быть может, он простил бы нас; что надо бы
отслужить молебен царице небесной...

– Ну, иди, батюшка, поговори с ним, – сказала она, когда послышался кашель отца.
– Ступай, поговори, поклонись, голова не отвалится.

Я пошел. Отец уже сидел за столом и чертил план дачи с готическими окнами и с
толстой башней, похожей на пожарную каланчу – нечто необыкновенно упрямое и
бездарное. Я, войдя в кабинет, остановился так, что мне был виден этот чертеж. Я
не знал, зачем я пришел к отцу, но помню, когда я увидел его тощее лицо, красную
шею, его тень на стене, то мне захотелось броситься к нему на шею и, как учила
Аксинья, поклониться ему в ноги; но вид дачи с готическими окнами и с толстой
башней удержал меня.

– Добрый вечер, – сказал я.

Он взглянул на меня и тотчас же опустил глаза на свой чертеж.

– Что тебе нужно? – спросил он немного погодя.

– Я пришел вам сказать – сестра очень больна. Она скоро умрет, – добавил я
глухо.

– Что ж? – вздохнул отец, снимая очки и кладя их на стол. – Что посеешь, то и
пожнешь. Что посеешь, – повторил он, вставая из-за стола, – то и пожнешь. Я
прошу тебя вспомнить, как два года назад ты пришел ко мне, и вот на этом самом
месте я просил тебя, умолял оставить свои заблуждения, напоминал тебе о долге,
чести и о твоих обязанностях по отношению к предкам, традиции которых мы должны
свято хранить. Послушал ли ты меня? Ты пренебрег моими советами и с упорством
продолжал держаться своих ложных взглядов; мало того, в свои заблуждения ты
вовлек также сестру и заставил ее потерять нравственность и стыд. Теперь вам
обоим приходится нехорошо. Что ж? Что посеешь, то и пожнешь!

Он говорил это и ходил по кабинету. Вероятно, он думал, что я пришел к нему с
повинною, и, вероятно, он ждал, что я начну просить за себя и сестру. Мне было
холодно, я дрожал, как в лихорадке, и говорил с трудом, хриплым голосом.

– И я тоже прошу вспомнить, – сказал я, – на этом самом месте я умолял вас
понять меня, вздуматься, вместе решить, как и для чего нам жить, а вы в ответ
заговорили о предках, о бабушке, который писал стихи. Вам говорят теперь о том,
что ваша единственная дочь безнадежна, а вы опять о предках, о традициях... И
такое легкомыслие в старости, когда смерть не за горами, когда осталось жить
каких-нибудь пять, десять лет!

– Ты зачем пришел сюда? – строго спросил отец, очевидно оскорбленный тем, что я
попрекнул его легкомыслием.

– Не знаю. Я люблю вас, мне невыразимо жаль, что мы так далеки друг от друга, –
вот я и пришел. Я еще люблю вас, но сестра уже окончательно порвала с вами. Она
не прощает и уже никогда не простит. Ваше одно имя возбуждает в ней отвращение к
прошлому, к жизни.

– А кто виноват? – крикнул отец. – Ты же и виноват, негодяй!

– Да, пусть я виноват, – сказал я. – Сознаю, я виноват во многом, но зачем же
эта ваша жизнь, которую вы считаете обязательною и для нас, – зачем она так
скучна, так бездарна, зачем ни в одном из этих домов, которые вы строите вот уже
тридцать лет, нет людей, у которых я мог бы поучиться, как жить, чтобы не быть
виноватым? Во всем городе ни одного честного человека! Эти ваши дома – проклятые
гнезда, в которых сживают со света матерей, дочерей, мучают детей... Бедная моя
мать! – продолжал я в отчаянии. – Бедная сестра! Нужно одурять себя водкой,
картами, сплетнями, надо подличать, ханжить или десятки лет чертить и чертить,
чтобы не замечать всего ужаса, который прячется в этих домах. Город наш
существует уже сотни лет, и за всё время он не дал родине ни одного полезного
человека – ни одного! Вы душили в зародыше все мало-мальски живое и яркое! Город
лавочников, трактирщиков, канцеляристов, ханжей, ненужный, бесполезный город, о
котором не пожалела бы ни одна душа, если бы он вдруг провалился сквозь землю.

– Я не желаю слушать тебя, негодяй! – сказал отец и взял со стола линейку. – Ты пьян! Ты не смеешь являться в таком виде к отцу! Говорю тебе в последний раз, и передай это своей безнравственной сестре, что вы от меня ничего не получите. Непокорных детей я вырвал из своего сердца, и если они страдают от непокорности и упорства, то я не жалею их. Можешь уходить откуда пришел! Богу угодно было наказать меня вами, но я со смирением переношу это испытание и, как Иов, нахожу утешение в страданиях и постоянном труде. Ты не должен переступать моего порога, пока не исправишься. Я справедлив, всё, что я говорю, это полезно, и если ты хочешь себе добра, то ты должен всю свою жизнь помнить то, что я говорил тебе и говорю.

Я махнул рукой и вышел. Затем не помню, что было ночью и на другой день.

Говорят, что я ходил по улицам без шапки, шатаюсь, и громко пел, а за мною толпами ходили мальчишки и кричали:

– Маленькая польза! Маленькая польза!

XX

Если бы у меня была охота заказать себе кольцо, то я выбрал бы такую надпись: «ничто не проходит». Я верю, что ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг наш имеет значение для настоящей и будущей жизни.

То, что я пережил, не прошло даром. Мои большие несчастья, мое терпение тронули сердца обывателей, и теперь меня уже не зовут маленькой пользой, не смеются надо мною, и, когда я прохожу торговыми рядами, меня уже не обливают водой. К тому, что я стал рабочим, уже привыкли и не видят ничего странного в том, что я, дворянин, ношу ведра с краской и вставляю стекла; напротив, мне охотно дают заказы, и я считаюсь уже хорошим мастером и лучшим подрядчиком, после Редьки, который хотя и выздоровел и хотя по-прежнему красит без подмостков купола на колокольнях, но уже не в силах управляться с ребятами; вместо него я теперь бегаю по городу и ищу заказов, я нанимаю и рассчитываю ребят, я беру деньги взаймы под большие проценты. И теперь, ставши подрядчиком, я понимаю, как это из-за грошового заказа можно дня по три бегать по городу и искать кровельщиков. Со мною вежливы, говорят мне вы, и в домах, где я работаю, меня угощают чаем и присылают спросить, не хочу ли я обедать. Дети и девушки часто приходят и с любопытством и с грустью смотрят на меня.

Как-то я работал в губернаторском саду, красил там беседку под мрамор. Губернатор, гуляя, зашел в беседку и, от нечего делать, заговорил со мною, и я напомнил ему, как он когда-то приглашал меня к себе для объяснений. Он минуту вглядывался мне в лицо, потом сделал рот, как о, развел руками и сказал:

– Не помню!

Я постарел, стал молчалив, суров, строг, редко смеюсь, и говорят, что я стал похож на Редьку и, как он, нагоняю на ребят скуку своими бесполезными наставлениями.

Мария Викторовна, бывшая жена моя, живет теперь за границей, а ее отец, инженер, где-то в восточных губерниях строит дорогу и покупает там имения. Доктор Благово тоже за границей. Дубечня перешла опять к госпоже Чепраковой, которая купила ее, выторговав у инженера двадцать процентов уступки. Моисей ходит уже в шляпе котелком; он часто приезжает в город на беговых дрожках по каким-то делам и останавливается около банка. Говорят, что он уже купил себе имение с переводом долга и постоянно справляется в банке насчет Дубечни, которую тоже собирается купить. Бедный Иван Чепраков долго шатался по городу, ничего не делая и пьянствуя. Я попытался было пристроить его к нашему делу, и одно время он вместе с нами красил крыши и вставлял стекла, и даже вошел во вкус, и, как настоящий маляр, крал олифу, просил на чай, пьянствовал. Но скоро дело надоело ему, он заскучал и вернулся в Дубечню, и потом ребята признавались мне, что он подговаривал их как-нибудь ночью вместе с ним убить Моисея и ограбить генеральшу.

Отец сильно постарел, сгорбился и по вечерам гуляет около своего дома. Я у него не бываю.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Прокофий во время холеры лечил лавочников перцовкой и дегтем и брал за это деньги, и, как я узнал из нашей газеты, его наказывали розгами за то, что он, сидя в своей мясной лавке, дурно отзывался о докторах. Его приказчик Николка умер от холеры. Карповна еще жива и по-прежнему любит и боится своего Прокофия. Увидев меня, она всякий раз печально качает головой и говорит со вздохом:

– Пропала твоя головушка!

В будни я бываю занят с раннего утра до вечера. А по праздникам, в хорошую погоду, я беру на руки свою крошечную племянницу (сестра ожидала мальчика, но родилась у нее девочка) и иду, не спеша, на кладбище. Там я стою, или сижу, и подолгу смотрю на дорожную мне могилу и говорю девочке, что тут лежит ее мама.

Иногда у могилы я застаю Анюту Благово. Мы здороваемся и стоим молча или говорим о Клеопатре, об ее девочке, о том, как грустно жить на этом свете. Потом, выйдя из кладбища, мы идем молча, и она замедляет шаг – нарочно, чтобы подольше идти со мной рядом. Девочка, радостная, счастливая, жмурясь от яркого дневного света, смеясь, протягивает к ней ручки, и мы останавливаемся и вместе ласкаем эту милую девочку.

А когда входим в город, Анята Благово, волнуясь и краснея, прощается со мною и продолжает идти одна, солидная, суровая. И уже никто из встречных, глядя на нее, не мог бы подумать, что она только что шла рядом со мною и даже ласкала ребенка.

Мужики

I

Лакей при московской гостинице «Славянский Базар», Николай Чикильдеев, заболел. У него онемели ноги и изменилась походка, так что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина с горошком. Пришлось оставить место. Какие были деньги, свои и женины, он пролечил, кормиться было уже не на что, стало скучно без дела, и он решил, что, должно быть, надо ехать к себе домой, в деревню. Дома и хворать легче, и жить дешевле; и недаром говорится: дома стены помогают.

Приехал он в свое Жуково под вечер. В воспоминаниях детства родное гнездо представлялось ему светлым, уютным, удобным, теперь же, войдя в избу, он даже испугался: так было темно, тесно и нечисто. Приехавшие с ним жена Ольга и дочь Саша с недоумением поглядывали на большую неопрятную печь, занимавшую чуть ли не пол-избы, темную от копоти и мух. Сколько мух! Печь покосилась, бревна в стенах лежали криво, и казалось, что изба сию минуту развалится. В переднем углу, возле икон, были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги – это вместо картин. Бедность, бедность! Из взрослых никого не было дома, все жали. На печи сидела девочка лет восьми, белоголовая, немытая, равнодушная; она даже не взглянула на вошедших. Внизу терлась о рогац белая кошка.

– Кис, кис! – поманила ее Саша. – Кис!

– Она у нас не слышит, – сказала девочка. – Оглохла.

– Отчего?

– Так. Побили.

Николай и Ольга с первого взгляда поняли, какая тут жизнь, но ничего не сказали друг другу; молча свалили узлы и вышли на улицу молча. Их изба была третья с краю и казалась самой бедною, самую старую на вид; вторая – не лучше, зато у крайней – железная крыша и занавески на окнах. Эта изба, неогороженная, стояла особняком и в ней был трактир. Избы шли в один ряд, и вся деревушка, тихая и задумчивая, с глядевшими из дворов ивами, бузиной и рябиной, имела приятный вид.

За крестьянскими усадьбами начинался спуск к реке, крутой и обрывистый, так что в глине, там и сям, обнажились громадные камни. По скату, около этих камней и ям, вырытых гончарами, вились тропинки, целыми кучами были навалены черепки битой посуды, то бурые, то красные, а там внизу расстилался широкий, ровный, ярко-зеленый луг, уже скошенный, на котором теперь гуляло крестьянское стадо. Река была в версте от деревни, извилистая, с чудесными кудрявыми берегами, за нею опять широкий луг, стадо, длинные вереницы белых гусей, потом так же, как на этой стороне, крутой подъем на гору, а вверху, на горе, село с пятиглавою

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
церковью и немного поодаль господский дом.

– Хорошо у вас здесь! – сказала Ольга, крестясь на церковь. – Раздолье, господи!

Как раз в это время ударили ко всенощной (был канун воскресенья). Две маленькие девочки, которые внизу тащили ведро с водой, оглянулись на церковь, чтобы послушать звон.

– Об эту пору в «Славянском Базаре» обеды... – проговорил Николай мечтательно.

Сидя на краю обрыва, Николай и Ольга видели, как заходило солнце, как небо, золотое и багровое, отражалось в реке, в окнах храма и во всем воздухе, нежном, покойном, невыразимо-чистом, какого никогда не бывает в Москве. А когда солнце село, с бляньем и ревом прошло стадо, прилетели с той стороны гуси, – и все смолкло, тихий свет погас в воздухе и стала быстро надвигаться вечерняя темнота.

Между тем вернулись старики, отец и мать Николая, тощие, сгорбленные, беззубые, оба одного роста. Пришли и бабы – невестки, Марья и Фекла, работавшие за рекой у помещика. У Марьи, жены брата кирьяка, было шестеро детей, у Феклы, жены брата Дениса, ушедшего в солдаты, – двое; и когда Николай, войдя в избу, увидел все семейство, все эти большие и маленькие тела, которые шевелились на полатах, в люльках и во всех углах, и когда увидел, с какою жадностью старик и бабы ели черный хлеб, макая его в воду, то сообразил, что напрасно он сюда приехал, больной, без денег да еще с семьей, – напрасно!

– А где брат кирьяк? – спросил он, когда поздоровались.

– У купца в сторожах живет, – ответил отец, – в лесу. Мужик бы ничего, да заливаает шибко.

– Не добычик! – проговорила старуха слезливо. – Мужики наши горькие, не в дом несут, а из дому. И кирьяк пьет, и старик тоже, греха таить нечего, знает в трактир дорогу. Прогневалась царица небесная.

По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, сахар был огрызанный и серый, по хлебу и посуде сновали тараканы; было противно пить, и разговор был противный – все о нужде да о болезнях. Но не успели выпить и по чашке, как со двора донесся громкий, протяжный пьяный крик:

– Ма-арья!

– Похоже, кирьяк идет, – сказал старик, – легок на помине.

Все притихли. И немного погодя, опять тот же крик, грубый и протяжный, точно из-под земли:

– Ма-арья!

Марья, старшая невестка, побледнела, прижалась к печи, и как-то странно было видеть на лице у этой широкоплечей, сильной, некрасивой женщины выражение испуга. Ее дочь, та самая девочка, которая сидела на ночи и казалась равнодушною, вдруг громко заплакала.

– А ты чего, холера? – крикнула на нее Фекла, красивая баба, тоже сильная и широкая в плечах. – Небось, не убьет!

От старика Николай узнал, что Марья боялась жить в лесу с кирьяком и что он, когда бывал пьян, приходил всякий раз за ней и при этом шумел и бил ее без пощады.

– Ма-арья! – раздался крик у самой двери.

– Вступитесь Христа ради, родименькие, – залепетала Марья, дыша так, точно ее опускали в очень холодную воду, – вступитесь, родименькие...

Заплакали все дети, сколько их было в избе, и, глядя на них, Саша тоже заплакала. Послышался пьяный кашель, и в избу вошел высокий чернобородый мужик в зимней шапке и оттого, что при тусклом свете лампочки не было видно его лица, –

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
страшный. Это был Кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь.

– Экой срам-то, срам, – бормотал старик, полезая на печь, – при гостях-то! Грех какой!

А старуха сидела молча, сгорбившись, и о чем-то думала; фекла качала люльку... Видимо, сознавая себя страшным и довольный этим, Кирьяк схватил Марью за руку, потащил ее к двери и зарычал зверем, чтобы казаться еще страшнее, но в это время вдруг увидел гостей и остановился.

– А, приехали... – проговорил он, выпуская жену. – Родной братец с семейством...

Он помолился на образ, пошатываясь, широко раскрывая свои пьяные, красные глаза, и продолжал:

– Братец с семейством приехали в родительский дом... из Москвы, значит. Первопрестольный, значит, град Москва, мать городов... Извините...

Он опустил на скамью около самовара и стал пить чай, громко хлебая из блюдечка, при общем молчании... Выпил чашек десять, потом склонился на скамью и захрапел.

Стали ложиться спать. Николая, как больного, положили на печи со стариком; Саша легла на полу, а Ольга пошла с бабами в сарай.

– И-и, касатка, – говорила она, ложась на сене рядом с Марьей, – слезами горю не поможешь! Терпи и все тут. В писании сказано: еще кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему левую...[44] И-и, касатка!

Потом она вполголоса, нараспев, рассказывала про Москву, про свою жизнь, как она служила горничной в меблированных комнатах.

– А в Москве дома большие, каменные, – говорила она, – церковей много-много, сорок сороков, касатка, а в домах всё господа, да такие красивые, да такие приличные!

Марья сказала, что она никогда не бывала не только в Москве, но даже в своем уездном городе; она была неграмотна, не знала никаких молитв, не знала даже «Отче наш». Она и другая невестка, фекла, которая теперь сидела поодаль и слушала, – обе были крайне неразвиты и ничего не могли понять. Обе не любили своих мужей; Марья боялась Кирьяка, и когда он оставался с нею, то она тряслась от страха и возле него всякий раз угорала, так как от него сильно пахло водкой и табаком. А фекла, на вопрос, не скучно ли ей без мужа, ответила с досадой:

– А ну его!

Поговорили и затихли...

Было прохладно, и около сарая во все горло кричал петух, мешая спать. Когда синеватый, утренний свет уже пробивался во все щели, фекла потихоньку встала и вышла, и потом слышно было, как она побежала куда-то, стуча босыми ногами.

II

Ольга пошла в церковь и взяла с собою Марью. Когда они спускались по тропинке к лугу, обеим было весело. Ольге нравилось раздолье, а Марья чувствовала в невестке близкого, родного человека. Восходило солнце. Низко над лугом носился сонный ястреб, река была пасмурна, бродил туман кое-где, но по ту сторону на горе уже протянулась полоса света, церковь сияла, и в господском саду неистово кричали грачи.

– Старик ничего, – рассказывала Марья, – а бабка строгая, дерется все. Своего хлеба хватило до масленой, покупаем муку в трактире, – ну, она серчает; много, говорит, едите.

– И-и, касатка! Терпи и все тут. Сказано: приидите все труждающие и обремененные. [45]

Ольга говорила степенно, нараспев, и походка у нее была, как у богомолки, быстрая и суетливая. Она каждый день читала евангелие, читала вслух, по-дьячковски, и многого не понимала, но святые слова трогали ее до слез, и такие слова, как «аще» и «дондеже», [46] она произносила со сладким замиранием сердца. Она верила в бога, в божью мать, в угодников; верила, что нельзя обижать никого на свете – ни простых людей, ни немцев, ни цыган, ни евреев, и что горе даже тем, кто не жалеет животных: верила, что так написано в святых книгах, и потому, когда она произносила слова из писания, даже непонятные, то лицо у нее становилось жалостливым, умиленным и светлым.

– Ты откуда родом? – спросила Марья.

– Я владимирская. А только я взята в Москву уже давно, восьми годочков.

Подшли к реке. На той стороне у самой воды стояла какая-то женщина и раздевалась.

– Это наша фекла, – узнала Марья, – за реку на барский двор ходила. К приказчикам. Озорная и ругательная – страсть!

Фекла, чернобровая, с распущенными волосами, молодая еще и крепкая, как девушка, бросилась с берега и застучала по воде ногами, и во все стороны от нее пошли волны.

– Озорная – страсть! – повторила Марья.

Через реку были положены шаткие бревенчатые лавы, и как раз под ними, в чистой, прозрачной воде, ходили стаи широколобых голавлей. На зеленых кустах, которые смотрелись в воду, сверкала роса. Повеяло теплотой, стало отрадно. Какое прекрасное утро! И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься! Стоило теперь только оглянуться на деревню, как живо вспомнилось все вчерашнее – и очарование счастья, какое чудилось кругом, исчезло в одно мгновение.

Пришли в церковь. Марья остановилась у входа и не посмела идти дальше. И сестра не посмела, хотя к обедне благовестили только в девятом часу. Так и стояла все время.

Когда читали евангелие, народ вдруг задвигался, давая дорогу помещицкой семье; вошли две девушки в белых платьях, в широкополых шляпах, и с ними полный, розовый мальчик в матросском костюме. Их появление растрогало Ольгу; она с первого взгляда решила, что это – порядочные, образованные и красивые люди. Марья же глядела на них исподлобья, угрюмо, уныло, как будто это вошли не люди, а чудовища, которые могли бы раздавить ее, если бы она не посторонилась.

А когда дьякон возглашал что-нибудь басом, то ей всякий раз чудился крик: «Ма-арья!» – и она вздрагивала.

III

В деревне узнали о приезде гостей, и уже после обедни в избу набралось много народа. Пришли и Леоньевы, и Матвеевы, и Ильичовы узнать про своих родственников, служивших в Москве. Всех жуковских ребят, которые знали грамоте, отвозили в Москву и отдавали там только в официанты и коридорные (как из села, что по ту сторону, отдавали только в булочники), и так повелось давно, еще в крепостное право, когда какой-то Лука Иванов, жуковский крестьянин, теперь уже легендарный, служивший буфетчиком в одном из московских клубов, принимал к себе на службу только своих земляков, а эти, входя в силу, выписывали своих родственников и определяли их в трактиры и рестораны; и с того времени деревня Жуково иначе уже не называлась у окрестных жителей, как Хамская или Холуевка. Николай отвезли в Москву, когда ему было одиннадцать лет, и определял его на место Иван Макарыч, из семьи Матвеевых, служивший тогда капельдинером в саду «Эрмитаж». И теперь, обращаясь к Матвеевым, Николай говорил наставительно:

– Иван Макарыч – мой благодетель, и я обязан за него бога молить денно и ночью, так как я через него стал хорошим человеком.

– Батюшка ты мой, – проговорила слезливо высокая старуха, сестра Ивана Макарыча,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– и ничего про них, голубчика, не слышать.

– Зимой служил он у Омона, а в нынешний сезон, был слух, где-то за городом, в садах... Постарел! Прежде, случалось, летним делом, приносил домой рублей по десять в день, а теперь повсеместно дела стали тихие, мается старичок.

Старухи и бабы глядели на ноги Николая, обутые в валенки, и на его бледное лицо и говорили печально:

– Не добычик ты, Николай Осипыч, не добычик! Где уж!

И все ласкали Сашу. Ей уже минуло десять лет, но она была мала ростом, очень худа, и на вид ей можно было дать лет семь, не больше. Среди других девочек, нагоревших, дурно стриженных, одетых в длинные полинялые рубахи, она, беленькая, с большими, темными глазами, с красною ленточкой в волосах, казалась забавною, точно это был зверек, которого поймали в поле и принесли в избу.

– Она у меня и читать может! – похвалилась Ольга, нежно глядя на свою дочь. – Почитай, детка! – сказала она, доставая из узла евангелие. – Ты почитай, а православные послушают.

Евангелие было старое, тяжелое, в кожаном переплете, с захватанными краями, и от него запахло так, будто в избу вошли монахи. Саша подняла брови и начала громко, нараспев:

– «Отшедшим же им, [47] се ангел господень... во сне явился Иосифу, глаголя: „востав поими отроча и мать его...“»

– Отроча и мать его, – повторила Ольга и вся покраснелась от волнения.

– «И бежи во Египет... и буди тамо, дондеже реку ти...»

При слове «дондеже» Ольга не удержалась и заплакала. На нее глядя, всхлинула Марья, потом сестра Ивана Макарыча. Старик закашлялся и засуетился, чтобы дать внучке гостинца, но ничего не нашел и только махнул рукой. И когда чтение кончилось, соседи разошлись по домам, растроганные и очень довольные Ольгой и Сашей.

По случаю праздника семья оставалась весь день дома. Старуха, которую и муж, и невестки, и внуки, все одинаково называли бабкой, старалась все делать сама; сама топила печь и ставила самовар, сама даже ходила на полдень и потом роптала, что ее замучили работой. И все она беспокоилась, как бы кто не съел лишнего куска, как бы старик и невестки не сидели без работы. То слышалось ей, что гуси трактирщика идут задами на ее огород, и она выбегала из избы с длинною палкой и потом с полчаса пронзительно кричала около своей капусты, дряблой и тощей, как она сама; то ей казалось, что ворона подбирается к цыплятам, и она с бранью бросалась на ворону. Сердилась и ворчала она от утра до вечера и часто поднимала такой крик, что на улице останавливались прохожие.

Со своим стариком она обращалась не ласково, обзывала его то лежебокой, то холерой. Это был неосновательный, ненадежный мужик, и, быть может, если бы она не понукала его постоянно, то он не работал бы вовсе, а только сидел бы на печи да разговаривал. Он подолгу рассказывал сыну про каких-то своих врагов, жаловался на обиды, которые он будто бы терпел каждый день от соседей, и было скучно его слушать.

– Да, – рассказывал он, взявшись за бока. – Да... После Воздвижения [48] через неделю продал я сено по тридцать копеек за пуд, добровольно... Да... Хорошо... Только это, значит, везу я утром сено добровольно, никого не трогаю; в недобрый час, гляжу – выходит из трактира староста Антип Седельников. «Куда везешь, такой-сякой?» – и меня по уху.

А у Кирьяка мучительно болела голова с похмелья, и ему было стыдно перед братом.

– Водка-то что делает. Ах, ты, боже мой! – бормотал он, встряхивая свою больную головой. – Уж вы, братец и сестрица, простите Христа ради, сам не рад.

По случаю праздника купили в трактире селедку и варили похлебку из селедочной

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
головки. В полдень все сели пить чай и пили его долго, до пота, и, казалось, распухли от чая, и уже после этого стали есть похлебку, все из одного горшка. А селедку бабка спрятала.

Вечером гончар на обрыве жег горшки. Внизу на лугу девушки водили хоровод и пели. Играли на гармонике. И на заречной стороне тоже горела одна печь и пели девушки, и издали это пение казалось стройным и нежным. В трактире и около шумели мужики; они пели пьяными голосами, все врозь, и бранились так, что Ольга только вздрагивала и говорила:

– Ах, батюшки!..

Ее удивляло, что брань слышалась непрерывно и что громче и дольше всех бранились старики, которым пора уже умирать. А дети и девушки слушали эту брань и нисколько не смущались, и видно было, что они привыкли к ней с колыбели.

Миновала полночь, уже потухли печи здесь и на той стороне, а внизу на лугу и в трактире всё еще гуляли. Старик и Кирьяк, пьяные, взявшись за руки, толкая друг друга плечами, подошли к сараю, где лежали Ольга и Марья.

– Оставь, – убеждал старик, – оставь... Она баба смиренная... Грех...

– Ма-арья! – крикнул Кирьяк.

– Оставь... Грех... Она баба ничего.

Оба постояли с минуту около сарая и пошли.

– Лю-эблю я цветы полевые-и! [49] – запел вдруг старик высоким, пронзительным тенором. – Лю-эблю по лугам собирать!

Потом сплюнул, нехорошо выбранился и пошел в избу.

IV

Бабка поставила Сашу около своего огорода и приказала ей стеречь, чтобы не зашли гуси. Был жаркий августовский день. Гуси трактирщика могли пробраться к огороду задами, но они теперь были заняты делом, подбирали овес около трактира, мирно разговаривая, и только гусак поднимал высоко голову, как бы желая посмотреть, не идет ли старуха с палкой; другие гуси могли прийти снизу, но эти теперь паслись далеко за рекой, протянувшись по лугу длинной белой гирляндой. Саша постояла немного, соскучилась и, видя, что гуси не идут, отошла к обрыву.

Там она увидела старшую дочь Марьи, Мотьку, которая стояла неподвижно на громадном камне и глядела на церковь. Марья рожала тринадцать раз, но осталось у нее только шестеро и все – девочки, ни одного мальчика, и старшей было восемь лет. Мотька, босая, в длинной рубахе, стояла на припеке, солнце жгло ей прямо в темя, но она не замечала этого и точно окаменела. Саша стала с нею рядом и сказала, глядя на церковь:

– В церкви бог живет. У людей горят лампы да свечи, а у бога лампадки красненькие, зелененькие, синенькие, как глазочки. Ночью бог ходит по церкви, и с ним пресвятая богородица и Николай-угодничек – туп, туп, туп... А сторожу страшно, страшно! И-и, касатка, – добавила она, подражая своей матери. – А когда будет светопредставление, то все церкви унесутся на небо.

– С ко-ло-ко-ла-ми? – спросила Мотька басом, растягивая каждый слог.

– С колоколами. А когда светопредставление, добрые пойдут в рай, а сердитые будут гореть в огне вечно и неугасимо, касатка. Моей маме и тоже Марье бог скажет: вы никого не обижали и за это идите направо, в рай; а Кирьяку и бабке скажет: а вы идите налево, в огонь. И кто скромное ел, того тоже в огонь.

Она посмотрела вверх на небо, широко раскрыв глаза, и сказала:

– Гляди на небо, не мигай, – ангелов видать.

Мотька тоже стала смотреть на небо, и минута прошла в молчании.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Видишь? – спросила Саша.

– Не видать, – проговорила Мотька басом.

– А я вижу. Маленькие ангелочки летают по небу и крылышками – мельк, мельк, будто комарики.

Мотька подумала немного, глядя в землю, и спросила:

– Бабка будет гореть?

– Будет, касатка.

От камня до самого низа шел ровный, отлогий скат, покрытый мягкой зеленой травой, которую хотелось рукой потрогать или полежать на ней. Саша легла и скатилась вниз. Мотька с серьезным, строгим лицом, отдуваясь, тоже легла и скатилась, и при этом у нее рубаха задралась до плеч.

– Как мне стало смешно! – сказала Саша в восторге.

Они обе пошли вверх, чтобы скатиться еще раз, но в это время послышался знакомый визгливый голос. О, как это ужасно! Бабка, беззубая, костлявая, горбатая, с короткими седыми волосами, которые развевались по ветру, длинной палкой гнала от огорода гусей и кричала:

– Всю капусту потолкли, окаянные, чтоб вам переколеть, трижды анафемы, язвы, нет на вас погибели!

Она увидела девочек, бросила палку, подняла хворостину и, схвативши Сашу за шею пальцами, сухими и твердыми, как рогульки, стала ее сечь. Саша плакала от боли и страха, а в это время гусак, переваливаясь с ноги на ногу и вытянув шею, подошел к старухе и прошипел что-то, и когда он вернулся к своему стаду, то все гусыни одобрительно приветствовали его: го-го-го! Потом бабка принялась сечь Мотьку, и при этом у Мотьки опять задралась рубаха. Испытывая отчаяние, громко плача, Саша пошла к избе, чтобы пожаловаться; за нею шла Мотька, которая тоже плакала, но басом, не вытирая слез, и лицо ее было уже так мокро, как будто она обмакнула его в воду.

– Батюшки мои! – изумилась Ольга, когда обе они вошли в избу. – Царица небесная!

Саша начала рассказывать, и в это время с пронзительным криком и с бранью вошла бабка, рассердилась фекла, и в избе стало шумно.

– Ничего, ничего! – утешала Ольга, бледная, расстроенная, глядя Сашу по голове.

– Она – бабушка, на нее грех сердиться. Ничего, детка.

Николай, который был уже измучен этим постоянным криком, голодом, угаром, смрадом, который уже ненавидел и презирал бедность, которому было стыдно перед женой и дочерью за своих отца и мать, свесил с печи ноги и проговорил раздраженно, плачущим голосом, обращаясь к матери:

– Вы не можете ее бить! Вы не имеете никакого полного права ее бить!

– Ну, околеваешь там на печке, ледащий! – крикнула на него фекла со злобой. – Принесла вас сюда нелегкая, дармоедов.

И Саша, и Мотька, и все девочки, сколько их было, забились на печи в угол, за спиной Николая, и оттуда слушали все это молча, со страхом, и слышно было, как стучали их маленькие сердца. Когда в семье есть больной, который болеет уже давно и безнадежно, то бывают такие тяжкие минуты, когда все близкие робко, тайно, в глубине души желают его смерти; и только одни дети боятся смерти родного человека и при мысли о ней всегда испытывают ужас. И теперь девочки, притаив дыхание, с печальным выражением на лицах, смотрели на Николая и думали о том, что он скоро умрет, и им хотелось плакать и сказать ему что-нибудь ласковое, жалостное.

Он прижимался к Ольге, точно ища у нее защиты, и говорил ей тихо, дрожащим голосом:

– Оля, милая, не могу я больше тут. Силы моей нет. Ради бога, ради Христа небесного, напиши ты своей сестрице Клавдии Абрамовне, пусть продает и закладывает все, что есть у ней, пусть высылает денег, мы уедем отсюда. О, господи, – продолжал он с тоской, – хоть бы одним глазом на Москву взглянуть! Хоть бы она приснилась мне, матушка!

А когда наступил вечер и в избе потемнело, то стало так тоскливо, что трудно было выговорить слово. Сердитая бабка намочила ржаных корок в чашке и сосала их долго, целый час. Марья, подоив корову, принесла ведро с молоком и поставила на скамью; потом бабка переливала из ведра в кувшины, тоже долго, не спеша, видимо довольная, что теперь, в Успенев пост, [50] никто не станет есть молока и оно все останется цело. И только немножко, чуть-чуть, она отлила в блюдечко для ребенка феклы. Когда она и Марья понесли кувшины на погребницу, Мотька вдруг встrepенулась, сползла с печи и, подойдя к скамье, где стояла деревянная чашка с корками, плеснула в нее молока из блюдечка.

Бабка, вернувшись в избу, принялась опять за свои корки, а Саша и Мотька, сидя на печи, смотрели на нее, и им было приятно, что она оскоромилась и теперь уж наверное пойдет в ад. Они утешились и легли спать, и Саша, засыпая, воображала страшный суд: горела большая печь, вроде гончарной, и нечистый дух с рогами, как у коровы, весь черный, гнал бабку в огонь длинной палкой, как давеча она сама гнала гусей.

V

На Успенье, [51] в одиннадцатом часу вечера, девушки и парни, гулявшие внизу на лугу, вдруг подняли крик и визг и побежали по направлению к деревне; и те, которые сидели наверху, на краю обрыва, в первую минуту никак не могли понять, отчего это.

– Пожар! Пожар! – раздался внизу отчаянный крик. – Горим!

Те, которые сидели наверху, оглянулись, и им представилась страшная, необыкновенная картина. На одной из крайних изб, на соломенной крыше стоял огненный, в сажень вышиною, столб, который клубился и сыпал от себя во все стороны искры, точно фонтан бил. И тотчас же загорелась вся крыша ярким пламенем и послышался треск огня.

Свет луны померк, и уже вся деревня была охвачена красным, дрожащим светом; по земле ходили черные тени, пахло гарью; и те, которые бежали снизу, все запыхались, не могли говорить от дрожи, толкались, падали и, с непривычки к яркому свету, плохо видели и не узнавали друг друга. Было страшно. Особенно было страшно то, что над огнем, в дыму, летали голуби и в трактире, где еще не знали о пожаре, продолжали петь и играть на гармонике, как ни в чем не бывало.

– Дядя Семен горит! – крикнул кто-то громким, грубым голосом.

Марья металась около своей избы, плача, ломая руки, стуча зубами, хотя пожар был далеко, на другом краю; вышел Николай в валенках, повыбегали дети в рубашонках. Около избы десятского [52] забили в чугунную доску. Бем, бем, бем... понеслось по воздуху, и от этого частого, неугомонного звона щемило за сердце и становилось холодно. Старые бабы стояли с образами. Из дворов выгоняли на улицу овец, телят и коров, выносили сундуки, овчины, кадки. Вороной жеребец, которого не пускали в табун, так как он лягал и ранил лошадей, пущенный на волю, топоча, со ржаньем, пробежал по деревне раз и другой и вдруг остановился около телеги и стал бить ее задними ногами.

Зазвонили и на той стороне, в церкви.

Около горевшей избы было жарко и так светло, что на земле видна была отчетливо каждая травка. На одном из сундуков, которые успели вытащить, сидел Семен, рыжий мужик с большим носом, в картузе, надвинутом на голову глубоко, до ушей, в пиджаке; его жена лежала лицом вниз, в забытьи, и стонала. Какой-то старик лет восьмидесяти, низенький, с большою бородой, похожий на гнома, не здешний, но, очевидно, причастный к пожару, ходил возле, без шапки, с белым узелком в руках; в лысине его отсвечивал огонь. Староста Антип Седельников, смуглый и черноволосый, как цыган, подошел к избе с топором и вышиб окна, одно за другим – неизвестно для чего, потом стал рубить крыльцо.

– Бабы, воды! – кричал он. – Машину подава-ай! Поворачивайся!

Те самые мужики, которые только что гуляли в трактире, тащили на себе пожарную машину. Все они были пьяны, спотыкались и падали, и у всех было беспомощное выражение и слезы на глазах.

– Девки, воды! – кричал староста, тоже пьяный. – Поворачивайся, девки!

Бабы и девки бегали вниз, где был ключ, и таскали на гору полные ведра и ушаты и, вылив в машину, опять убегали. Таскали воду и Ольга, и Марья, и Саша, и Мотья. Качали воду бабы и мальчишки, кишка шипела, и староста, направляя ее то в дверь, то в окна, задерживал пальцем струю, отчего она шипела еще резче.

– Молодец, Антип! – слышались одобрительные голоса. – Старайся!

А Антип лез в сени, в огонь и кричал оттуда:

– Качай! Потрудитесь, православные, по случаю такого несчастного происшествия!

Мужики стояли толпой возле, ничего не делая, и смотрели на огонь. Никто не знал, за что приняться, никто ничего не умел, а кругом были стога хлеба, сено, сараи, кучи сухого хвороста. Стояли тут и Кирьяк, и старик Осип, его отец, оба навеселе. И, как бы желая оправдать свою праздность, старик говорил, обращаясь к бабе, лежащей на земле:

– Чего, кума, колотиться! Изба заштрафована – чего тебе!

Семен, обращаясь то к одному, то к другому, рассказывал, отчего загорелось:

– Этот самый старичок, с узелком-то, генерала Жукова дворовый... У нашего генерала, царство небесное, в поварах был. Приходит вечером: «пусти, говорит, ночевать»... Ну, выпили по стаканчику, известно... Баба заходилась около самовара – старичка чаем попить, да не в добрый час заставила самовар в сенях, огонь из трубы, значит, прямо в крышу, в солому, оно и того. Чуть сами не сгорели. И шапка у старика сгорела, грех такой.

А в чугунную доску били без устали и часто звонили в церкви за рекой. Ольга, вся в свету, задыхаясь, глядя с ужасом на красных овец и на розовых голубей, летавших в дыму, бегала то вниз, то вверх. Ей казалось, что этот звон острою колючкой вошел ей в душу, что пожар никогда не окончится, что потерялась Саша... А когда в избе с шумом рухнул потолок, то от мысли, что теперь сгорит непременно вся деревня, она ослабела и уже не могла таскать воду, а сидела на обрыве, поставив возле себя ведра; рядом и ниже сидели бабы и голосили, как по покойнике.

Но вот с той стороны, из господской усадьбы, приехали на двух подводах приказчики и работники и привезли с собою пожарную машину. Приехал верхом студент в белом кителе нараспашку, очень молодой. Застучали топорами, подставили к горевшему срубам лестницу и полезли по ней сразу пять человек, и впереди всех студент, который был красен и кричал резким, охрипшим голосом и таким тоном, как будто тушение пожаров было для него привычным делом. Разбирали избу по бревнам; растащили хлев, плетень и ближайший стог.

– Не давайте ломать! – раздались в толпе строгие голоса. – Не давай!

Кирьяк направился к избе с решительным видом, как бы желая помешать приезжим ломать, но один из рабочих повернул его назад и ударил по шее. Послышался смех, работник еще раз ударил, Кирьяк упал и на четвереньках пополз назад в толпу.

Пришли с той стороны две красивые девушки в шляпках – должно быть, сестры студента. Они стояли поодаль и смотрели на пожар. Растасканные бревна уже не горели, но сильно дымили; студент, работая кишкой, направлял струю то на эти бревна, то на мужиков, то на баб, таскавших воду.

– Жорж! – кричали ему девушки укоризненно и с тревогой. – Жорж!

Пожар кончился. И только когда стали расходиться, заметили, что уже рассвет, что

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
все бледны, немножко смуглы, – это всегда так кажется в ранние утра, когда на небе гаснут последние звезды. Расходясь, мужики смеялись и подшучивали над поваром генерала Жукова и над шапкой, которая сгорела; им уже хотелось разыграть пожар в шутку и как будто даже было жаль, что пожар так скоро кончился.

– Вы, барин, хорошо тушили, – сказала Ольга студенту. – Вас бы к нам, в Москву: там, почитай, каждый день пожар.

– А вы разве из Москвы? – спросила одна из барышень.

– Точно так. Мой муж служил в «Славянском Базаре»-с. А это моя дочь, – указала она на Сашу, которая озябла и жалась к ней. – Тоже московская-с.

Обе барышни сказали что-то по-французски студенту, и тот подал Саше двугривенный. Старик Осип видел это, и на лице у него вдруг засветилась надежда.

– Благодарить бога, ваше высокоблагородие, ветра не было, – сказал он, обращаясь к студенту, – а то бы погорели в одночасье. Ваше высокоблагородие, господа хорошие, – добавил он конфузливо, тоном ниже, – заря холодная, погреться бы... на полбутылочки с вашей милости.

Ему ничего не дали, и он, крикнув, поплелся домой. Ольга потом стояла на краю и смотрела, как обе повозки переезжали реку бродом, как по лугу шли господа; их на той стороне ожидал экипаж. А придя в избу, она рассказывала мужу с восхищением:

– Да такие хорошие! Да такие красивые! А барышни – как херувимчики.

– Чтоб их рóзорвало! – проговорила сонная фекла со злобой.

VI

Марья считала себя несчастною и говорила, что ей очень хочется умереть; фекле же, напротив, была по вкусу вся эта жизнь: и бедность, и нечистота, и неугомонная брань. Она ела, что давали, не разбирая; спала, где и на чем придется; помои выливали у самого крыльца: выплеснет с порога да еще пройдет босыми ногами по луже. И она с первого же дня возненавидела Ольгу и Николая именно за то, что им не нравилась эта жизнь.

– Погляжу, что вы тут будете есть, дворяне московские! – говорила она с злорадством. – Погляжу-у!

Однажды утром – это было уже в начале сентября – фекла принесла снизу два ведра воды, розовая от холода, здоровая, красивая; в это время Марья и Ольга сидели за столом и пили чай.

– Чай да сахар! – проговорила фекла насмешливо. – Барыни какие, – добавила она, ставя ведра, – моду себе взяли каждый день чай пить. Гляди-кось, не раздуло бы вас с чаю-то! – продолжала она, глядя с ненавистью на Ольгу. – Нагуляла в Москве пухлую морду, толстомяся!

Она замахнулась коромыслом и ударила Ольгу по плечу, так что обе невестки только всплеснули руками и проговорили:

– Ах, батюшки.

Потом фекла пошла на реку мыть белье и всю дорогу бранилась так громко, что было слышно в избе.

Прошел день. Наступил длинный осенний вечер. В избе мотали шелк; мотали все, кроме феклы: она ушла за реку. Шелк брали с ближней фабрики, и вся семья выработывала на нем немного – копеек двадцать в неделю.

– При господах лучше было, – говорил старик, мотая шелк. – И работаешь, и ешь, и спишь, все своим чередом. В обед щи тебе и каша, в ужин тоже щи и каша. Огурцов и капусты было вволю: ешь добровольно, сколько душа хочет. И строгости было больше. Всякий себя помнил.

Светила только одна лампочка, которая горела тускло и дымила. Когда кто-нибудь заслонял лампочку и большая тень падала на окно, то виден был яркий лунный свет.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Старик Осип рассказывал, не спеша, про то, как жили до воли, как в этих самых местах, где теперь живетесь так скучно и бедно, охотились с гончими, с борзыми, с псковичами, [53] и во время облав мужиков поили водкой, как в Москву ходили целые обозы с битой птицей для молодых господ, как злых наказывали розгами или ссылали в тверскую вотчину, а добрых награждали. И бабка тоже рассказала кое-что. Она все помнила, решительно все. Она рассказала про свою госпожу, добрую, богобоязненную женщину, у которой муж был кутила и развратник и у которой все дочери повыходили замуж бог знает как: одна вышла за пьяницу, другая – за мещанина, третью – увезли тайно (сама бабка, которая была тогда девушкой, помогала увозить), и все они скоро умерли с горя, как и их мать. И вспомнив об этом, бабка даже всплакнула.

Вдруг кто-то постучал в дверь, и все вздрогнули.

– Дядя Осип, пусти ночевать!

Вошел маленький лысый старичок, повар генерала Жукова, тот самый, у которого сгорела шапка. Он присел, послушал и тоже стал вспоминать и рассказывать разные истории. Николай, сидя на печи, свесив ноги, слушал и спрашивал все о кушаньях, какие готовили при господах. Говорили о битках, котлетах, разных супах, соусах, и повар, который тоже все хорошо помнил, называл кушанья, каких нет теперь; было, например, кушанье, которое приготавливалось из бычьих глаз и называлось «по утру проснувшись».

– А котлеты маршалъ тогда делали? – спросил Николай.

– Нет.

Николай укоризненно покачал головой и сказал:

– Эх вы, горе-повара!

Девочки, сидя и лежа на печи, глядели вниз, не мигая; казалось, что их было очень много – точно херувимы в облаках. Рассказы им нравились; они вздыхали, вздрагивали и бледнели то от восторга, то от страха, а бабку, которая рассказывала интереснее всех, они слушали не дыша, боясь пошевелиться.

Ложились спать молча; и старики, потревоженные рассказами, взволнованные, думали о том, как хороша молодость, после которой, какая бы она ни была, остается в воспоминаниях одно только живое, радостное, трогательное, и как страшна, холодна эта смерть, которая не за горами, – лучше о ней и не думать! Лампочка потухла. И потемки, и два окошка, резко освещенные луной, и тишина, и скрип колыбели напоминали почему-то только о том, что жизнь уже прошла, что не вернешь ее никак... Вздремнешь, забудешься, и вдруг кто-то трогает за плечо, дует в щеку – и сна нет, тело такое, точно отлежал его, и лезут в голову всё мысли о смерти; повернулся на другой бок – о смерти уже забыл, но в голове бродят давние, скучные, нудные мысли о нужде, о кормах, о том, что мука вздорожала, а немного погодя опять вспоминается, что жизнь уже прошла, не вернешь ее...

– О, господи! – вздохнул повар.

Кто-то тихо-тихо постучал в окошко. Должно быть, фекла вернулась. Ольга встала и, зевая, шепча молитву, отперла дверь, потом в сенях вынула засов. Но никто не входил, только с улицы повеяло холодом и стало вдруг светло от луны. В открытую дверь было видно и улицу, тихую, пустынную, и самую луну, которая плыла по небу.

– Кто тут? – окликнула Ольга.

– Я, – слышался ответ. – Это я.

Около двери, прижавшись к стене, стояла фекла, совершенно нагая. Она дрожала от холода, стучала зубами и при ярком свете луны казалась очень бледной, красивой и странной. Тени на ней и блеск луны на коже как-то резко бросались в глаза, и особенно отчетливо обозначались ее темные брови и молодая, крепкая грудь.

– На той стороне озорники раздели, пустили так... – проговорила она. – Домой без одежды шла... в чем мать родила. Принеси одеться.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Да ты в избу иди! – тихо сказала Ольга, тоже начиная дрожать.

– Старики бы не увидели.

В самом деле, бабка уже беспокоилась и ворчала, и старик спрашивал: «Кто там?» Ольга принесла свою рубаху и юбку, одела феклу, и потом обе тихо, стараясь не стучать дверями, вошли в избу.

– Это ты, гладкая? – сердито проворчала бабка, догадавшись, кто это. – У, чтоб тебя, полунощница... нет на тебя погибели!

– Ничего, ничего, – шептала Ольга, кутая феклу, – ничего, касатка.

Опять стало тихо. В избе всегда плохо спали; каждому мешало спать что-нибудь неотвязчивое, назойливое: старику – боль в спине, бабке – заботы и злость, Марья – страх, детям – чесотка и голод. И теперь тоже сон был тревожный: поворачивались с боку на бок, бредили, вставали напиться.

Фекла вдруг заревела громко, грубым голосом, но тотчас же сдержала себя и изредка всхлипывала, все тише и глуше, пока не смолкла. Временами с той стороны, из-за реки, доносился бой часов; но часы били как-то странно: пробили пять, потом три.

– О, господи! – вздыхал повар.

Глядя на окна, трудно было понять: все ли еще светит луна или это уже рассвет. Марья поднялась и вышла, и слышно было, как она на дворе доила корову и говорила: «Сто-ой!» Вышла и бабка. Было еще темно в избе, но уже стали видны все предметы.

Николай, который не спал всю ночь, слез с печи. Он достал из зеленого сундучка свой фрак, надел его и, подойдя к окну, погладил рукава, подержался за фалдочки – и улыбнулся. Потом осторожно снял фрак, спрятал в сундук и опять лег.

Марья вернулась и стала топить печь. Она, по-видимому, еще не совсем очнулась от сна и теперь просыпалась, на ходу. Ей, вероятно, приснилось что-нибудь или пришли на память вчерашние рассказы, так как она сладко потянулась перед печью и сказала:

– Нет, воля лучше!

VII

Приехал барин – так в деревне называли станового пристава. О том, когда и зачем он придет, было известно за неделю. В Жукове было только сорок дворов, но недоимки, казенной и земской, накопилось больше двух тысяч.

Становой остановился в трактире; он «выкушал» тут два стакана чаю и потом отправился пешком в избу старосты, около которой уже поджидала толпа недоимщиков. Староста Антип Седельников, несмотря на молодость, – ему было только 30 лет с небольшим, – был строг и всегда держал сторону начальства, хотя сам был беден и платил подати неисправно. Видимо, его забавляло, что он – староста, и нравилось сознание власти, которую он иначе не умел проявлять, как строгостью. На сходе его боялись и слушались; случалось, на улице или около трактира он вдруг налетал на пьяного, связывал ему руки назад и сажал в арестантскую; раз даже посадил в арестантскую бабку за то, что она, придя на сход вместо Осипа, стала браниться, и продержал ее там целые сутки. В городе он не жила и книг никогда не читал, но откуда-то набрался разных умных слов и любил употреблять их в разговоре, и за это его уважали, хотя и не всегда понимали.

Когда Осип со своею оброчною книжкой вошел в избу старосты, становой, худощавый старик с длинными седыми бакенами, в серой тужурке, сидел за столом в переднем углу и что-то записывал. В избе было чисто, все стены пестрели от картин, вырезанных из журналов, и на самом видном месте около икон висел портрет Баттенберга, бывшего болгарского князя. [54] Возле стола, скрестив руки, стоял Антип Седельников.

– За им, ваше высокоблагородие, 119 рублей, – сказал он, когда очередь дошла до

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Осипа. – Перед Святой[55] как дал рубль, так с того время ни копейки.

Пристав поднял глаза на Осипа и спросил:

– Почему же это, братец?

– Явите божескую милость, ваше высокоблагородие, – начал Осип, волнуясь, – дозвоьте сказать, летошний год люторецкий барин: «Осип, говорит, продай сено... Ты, говорит, продай». Отчего ж? Было у меня пудов сто для продажи, на лоску бабы накосили... Ну, сторговались... Все хорошо, добровольно...

Он жаловался на старосту и то и дело оборачивался к мужикам, как бы приглашая их в свидетели; лицо у него покраснело и вспотело, и глаза стали острые, злые.

– Я не понимаю, зачем ты это все говоришь, – сказал пристав. – Я спрашиваю тебе... я тебе спрашиваю, отчего ты не платишь недоимку? Вы все не платите, а я за вас отвечай?

– Мочи моей нету!

– Слова эти без последствия, ваше высокоблагородие, – сказал староста. – Действительно, Чикильдеевы недостаточного класса, но извольте спросить у прочих, причина вся – водка, и озорники очень. Без всякого понимания.

Пристав записал что-то и сказал Осипу покойно, ровным тоном, точно просил воды:

– Пошел вон.

Скоро он уехал; и когда он садился в свой дешевый тарантас и кашлял, то даже по выражению его длинной худой спины видно было, что он уже не помнил ни об Осипе, ни о старосте, ни о жуковских недоимках, а думал о чем-то своем собственном. Не успел он отъехать и одну версту, как Антип Седельников уже выносил из избы Чикильдеевых самовар, а за ним шла бабка и кричала визгливо, напрягая грудь:

– Не отдам! Не отдам я тебе, окаянный!

Он шел быстро, делая широкие шаги, а та гналась за ним, задыхаясь, едва не падая, горбатая, свирепая; платок у нее сполз на плечи, седые, с зеленоватым отливом волосы развевались по ветру. Она вдруг остановилась и, как настоящая бунтовщица, стала бить себя по груди кулаками и кричать еще громче, певучим голосом, и как бы рыдая:

– Православные, кто в бога верует! Батюшки, обидели! Родненькие, затеснили! Ой, ой, голубчики, вступитесь!

– Бабка, бабка, – сказал строго староста, – имей рассудок в своей голове!

Без самовара в избе Чикильдеевых стало совсем скучно. Было что-то унижительное в этом лишении, оскорбительное, точно у избы вдруг отняли ее честь. Лучше бы уж староста взял и унес стол, все скамьи, все горшки – не так бы казалось пусто. Бабка кричала, Марья плакала, и девочки, глядя на нее, тоже плакали. Старик, чувствуя себя виноватым, сидел в углу понуро и молчал. И Николай молчал. Бабка любила и жалела его, но теперь забыла жалость, набросилась на него вдруг с бранью, с попреками, тыча ему кулаками под самое лицо. Она кричала, что это он виноват во всем; в самом деле, почему он присылал так мало, когда сам же в письмах хвалился, что добывал в «Славянском Базаре» по 50 рублей в месяц? Зачем он сюда приехал, да еще с семьей? Если умрет, то на какие деньги его хоронить?.. И было жалко смотреть на Николая, Ольгу и Сашу.

Старик крикнул, взял шапку и пошел к старосте. Уже темнело. Антип Седельников паял что-то около печи, надувая щеки; было угарно. Дети его, тощие, неумытые, не лучше чикильдеевских, возились на полу; некрасивая, весноватая жена с большим животом мотала шелк. Это была несчастная, убогая семья, и только один Антип выглядел молодцом и красавцем. На скамье в ряд стояло пять самоваров. Старик помолился на Баттенберга и сказал:

– Антип, яви божескую милость, отдай самовар! Христа ради!

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– Принеси три рубля, тогда и получишь.

– Мочи моей нету!

Антип надувал щеки, огонь гудел и шипел, отсвечивая в самоварах. Старик помял шапку и сказал, подумав:

– Отдай!

Смуглый староста казался уже совсем черным и походил на колдуна; он обернулся к Осипу и проговорил сурово и быстро:

– От земского начальника все зависящее. В административном заседании двадцать шестого числа можешь заявить повод к своему неудовольствию словесно или на бумаге.

Осип ничего не понял, но удовлетворился этим и пошел домой.

Дней через десять опять приезжал становой, побыл с час и уехал. В те дни погода стояла ветреная, холодная; река давно уже замерзла, а снега все не было, и люди замучились без дороги. Как-то в праздник перед вечером соседи зашли к Осипу посидеть, потолковать. Говорили в темноте, так как работать было грех и огня не зажигали. Были кое-какие новости, довольно неприятные. Так, в двух-трех домах забрали за недоимку кур и отправили в волостное правление, и там они поколели, так как их никто не кормил; забрали овец и, пока везли их, связанных, перекладывая в каждой деревне на новые подводы, одна издохла. И теперь решали вопрос: кто виноват?

– Земство! – говорил Осип. – Кто ж!

– Известно, земство.

Земство обвиняли во всем – и в недоимках, и в притеснениях, и в неурожаях, хотя ни один не знал, что значит земство. И это пошло с тех пор, как богатые мужики, [56] имеющие свои фабрики, лавки и постоянные дворы, побывали в земских гласных, остались недовольны и потом в своих фабриках и трактирах стали бранить земство.

Поговорили о том, что бог не дает снега: возить дрова надо, а по кочкам ни ездить, ни ходить. Прежде, лет 15–20 назад и ранее, разговоры в Жукове были гораздо интереснее. Тогда у каждого старика был такой вид, как будто он хранил какую-то тайну, что-то знал и чего-то ждал; говорили о грамоте с золотой печатью, о разделах, о новых землях, о кладах, намекали на что-то; теперь же у жуковцев не было никаких тайн, вся их жизнь была как на ладони, у всех на виду, и могли они говорить только о нужде и кормах, о том, что нет снега...

Помолчали. И опять вспомнили про кур и овец, и стали решать, кто виноват.

– Земство! – проговорил уныло Осип. – Кто ж!

VIII

Приходская церковь была в шести верстах, в Косогорове, и в ней бывали только по нужде, когда нужно было крестить, венчаться или отпевать; молиться же ходили за реку. В праздники, в хорошую погоду, девушки наряжались и уходили толпой к обедне, и было весело смотреть, как они в своих красных, желтых и зеленых платьях шли через луг; в дурную же погоду все сидели дома. Говели в приходе. С тех, кто в Великом посту не успевал отговориться, батюшка на Святой, обходя с крестом избы, брал по 15 копеек.

Старик не верил в бога, потому что почти никогда не думал о нем; он признавал сверхъестественное, но думал, что это может касаться одних лишь баб, и когда говорили при нем о религии или чудесном и задавали ему какой-нибудь вопрос, то он говорил нехотя, почесываясь:

– А кто ж его знает!

Бабка верила, но как-то тускло; все перемешалось в ее памяти, и едва она начинала думать о грехах, о смерти, о спасении души, как нужда и заботы

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru перехватывали ее мысль, и она тотчас же забывала, о чем думала. Молитв она не помнила и обыкновенно по вечерам, когда спать, становилась перед образами и шептала:

– Казанской божьей матери, Смоленской божьей матери, Троеручицы божьей матери...[57]

Марья и Фекла крестились, говели каждый год, но ничего не понимали. Детей не учили молиться, ничего не говорили им о боге, не внушали никаких правил и только запрещали в пост есть скоромное. В прочих семьях было почти то же: мало кто верил, мало кто понимал. В то же время все любили священное писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала евангелие, ее уважали и все говорили ей и Саше «вы».

Ольга часто уходила на храмовые праздники и молебны в соседние села и в уездный город, в котором было два монастыря и двадцать семь церквей. Она была рассеянна и, пока ходила на богомолье, совершенно забывала про семью и только, когда возвращалась домой, делала вдруг радостное открытие, что у нее есть муж и дочь, и тогда говорила, улыбаясь и сияя:

– Бог милости прислал!

То, что происходило в деревне, казалось ей отвратительным и мучило ее. На Илью пили, на Успенье пили, на Воздвижение пили. На Покров[58] в Жукове был приходский праздник, и мужики по этому случаю пили три дня; пропили 50 рублей общественных денег и потом еще со всех дворов собирали на водку. В первый день у Чикильдеевых зарезали барана и ели его утром, в обед и вечером, ели помногу, и потом еще ночью дети вставали, чтобы поесть. Кирьяк все три дня был страшно пьян, пропили все, даже шапку и сапоги, и так бил Марью, что ее отливали водой. А потом всем было стыдно и тошно.

Впрочем, и в Жукове, в этой Холуевке, происходило раз настоящее религиозное торжество. Это было в августе, когда по всему уезду, из деревни в деревню, носили Живоносную. В тот день, когда ее ожидали в Жукове, было тихо и пасмурно. Девушки еще с утра отправились навстречу иконе в своих ярких нарядных платьях и принесли ее под вечер, с крестным ходом, с пением, и в это время за рекой трезвонили. Громадная толпа своих и чужих запрудила улицу; шум, пыль, давка... И старик, и бабка, и Кирьяк – все протягивали руки к иконе, жадно глядели на нее и говорили, плача:

– Заступница, матушка! Заступница!

Все как будто вдруг поняли, что между землей и небом не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжелой, невыносимой нужды, от страшной водки.

– Заступница, матушка! – рыдала Марья. – Матушка!

Но отслужили молебен, унесли икону, и все пошло по-старому, и опять слышались из трактира грубые, пьяные голоса.

Смерти боялись только богатые мужики, которые чем больше богатели, тем меньше верили в бога и в спасение души, и лишь из страха перед концом земным, на всякий случай, ставили свечи и служили молебны. Мужики же победнее не боялись смерти. Старику и бабке говорили прямо в глаза, что они зажились, что им умирать пора, и они ничего. Не стеснялись говорить в присутствии Николая Фекле, что когда Николай умрет, то ее мужу, Денису, выйдет льгота – вернут со службы домой. А Марья не только не боялась смерти, но даже жалела, что она так долго не приходит, и бывала рада, когда у нее умирали дети.

Смерти не боялись, зато ко всем болезням относились с преувеличенным страхом. Довольно было пустяка – расстройства желудка, легкого озноба, как бабка уже ложилась на печь, куталась и начинала стонать громко и непрерывно: «Умира-а-ю!» Старик спешил за священником, и бабку приобщали и соборовали. Очень часто говорили о простуде, о глистах, о желваках, которые ходят в животе и подкатывают к сердцу. Больше всего боялись простуды и потому даже летом одевались тепло и грелись на печи. Бабка любила лечиться и часто ездила в больницу, где говорила, что ей не 70, а 58 лет; она полагала, что если доктор узнает ее настоящие годы,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
то не станет ее лечить и скажет, что ей впору умирать, а не лечиться. В больницу обыкновенно уезжала она рано утром, забрав с собою двух-трех девочек, и возвращалась вечером, голодная и сердитая, – с каплями для себя и с мазями для девочек. Раз возила она и Николая, который потом недели две принимал капли и говорил, что ему стало легче.

Бабка знала всех докторов, фельдшеров и знахарей на тридцать верст кругом, и ни один ей не нравился. На Покров, когда священник обходил с крестом избы, дьячок сказал ей, что в городе около острога живет старичок, бывший военный фельдшер, который лечит очень хорошо, и посоветовал ей обратиться к нему. Бабка послушалась. Когда выпал первый снег, она съездила в город и привезла старичка, бородатого, длиннополого выкреста, у которого все лицо было покрыто синими жилками. Как раз в это время в избе работали поденщики: старик портной в страшных очках кроил из лохмотьев жилетку, и два молодых парня валяли из шерсти валенки; Кирьяк, которого уволили за пьянство и который жил теперь дома, сидел рядом с портным и починял хомут. И в избе было тесно, душно и смрадно. Выкрест осмотрел Николая и сказал, что необходимо поставить банки.

Он ставил банки, а старик портной, Кирьяк и девочки стояли и смотрели, и им казалось, что они видят, как из Николая выходит болезнь. И Николай тоже смотрел, как банки, присосавшись к груди, мало-помалу наполнялись темною кровью, и чувствовал, что из него в самом деле как будто что-то выходит, и улыбался от удовольствия.

– Оно хорошо, – говорил портной. – Дай бог, чтоб на пользу.

Выкрест поставил двенадцать банок и потом еще двенадцать, напился чаю и уехал. Николай стал дрожать; лицо у него осунулось и, как говорили бабы, сжалось в кулачок; пальцы посинели. Он кутался и в одеяло, и в тулуп, но становилось все холоднее. К вечеру он затосковал; просил, чтобы его положили на пол, просил, чтобы портной не курил, потом затих под тулупом и к утру умер.

IX

О, какая суровая, какая длинная зима!

Уже с Рождества не было своего хлеба и муку покупали. Кирьяк, живший теперь дома, шумел по вечерам, наводя ужас на всех, а по утрам мучился от головной боли и стыда, и на него было жалко смотреть. В хлеву день и ночь раздавалось мычанье голодной коровы, надрывавшее душу у бабки и Марьи. И, как нарочно, морозы все время стояли трескучие, навалило высокие сугробы; и зима затянулась: на Благовещение[59] задувала настоящая зимняя вьюга, а на Святой шел снег.

Но, как бы ни было, зима кончилась. В начале апреля стояли теплые дни и морозные ночи, зима не уступала, но один теплый денек пересилил наконец – и потекли ручьи, запели птицы. Весь луг и кусты около реки утонули в вешних водах, и между Жуковым и тою стороной все пространство сплошь было уже занято громадным заливом, на котором там и сям вспархивали стаями дикие утки. Весенний закат, пламенный, с пышными облаками, каждый вечер давал что-нибудь необыкновенное, новое, невероятное, именно то самое, чему не веришь потом, когда эти же краски и эти же облака видишь на картине.

Журавли летели быстро-быстро и кричали грустно, будто звали с собою. Стоя на краю обрыва, Ольга подолгу смотрела на разлив, на солнце, на светлую, точно помолодевшую церковь, и слезы текли у нее и дыхание захватывало оттого, что страстно хотелось уйти куда-нибудь, куда глаза глядят, хоть на край света. А уж было решено, что она пойдет опять в Москву, в горничные, и с нею отправится Кирьяк наниматься в дворники или куда-нибудь. Ах, скорее бы уйти!

Когда подсохло и стало тепло, собрались в путь. Ольга и Саша, с котомками на спинах, обе в лаптях, вышли чуть свет; вышла и Марья, чтобы проводить их. Кирьяк был нездоров, задержался дома еще на неделю. Ольга в последний раз помолилась на церковь, думая о своем муже, и не заплакала, только лицо у нее поморщилось и стало некрасивым, как у старухи. За зиму она похудела, подурнела, немного поседела, и уже вместо прежней миловидности и приятной улыбки на лице у нее было покорное, печальное выражение пережитой скорби, и было уже что-то тупое и неподвижное в ее взгляде, точно она не слышала. Ей было жаль расставаться с деревней и с мужиками. Она вспоминала о том, как несли Николая и около каждой избы заказывали панихиду и как все плакали, сочувствуя ее горю. В течение лета и

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
зимы бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов, жить с ними было страшно; они грубы, нечестны, грязны, нетрезвы, живут не согласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрчивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее. Те, которые богаче и сильнее их, помочь не могут, так как сами грубы, нечестны, нетрезвы и сами бранятся так же отвратительно; самый мелкий чиновник или приказчик обходится с мужиками как с бродягами, и даже старшинам и церковным старостам говорит «ты» и думает, что имеет на это право. Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только затем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать? Ольга вспомнила, какой жалкий, приниженный вид был у стариков, когда зимою водили Кирьяка наказывать розгами... И теперь ей было жаль всех этих людей, больно, и она, пока шла, все оглядывалась на избы.

Проводив версты три, Марья простилась, потом стала на колени и заголосила, припадая лицом к земле:

– Опять я одна осталась, бедная моя головушка, бедная-несчастливая...

И долго она так голосила, и долго еще Ольге и Саше видно было, как она, стоя на коленях, все кланялась кому-то в сторону, обхватив руками голову, и над ней летали грачи.

Солнце поднялось высоко, стало жарко. Жуково осталось далеко позади. Идти было в охотку, Ольга и Саша скоро забыли и про деревню, и про Марью, им было весело, и все развлекало их. То курган, то ряд телеграфных столбов, которые друг за другом идут неизвестно куда, исчезая на горизонте, и проволоки гудят таинственно; то виден вдаль хуторок, весь в зелени, потягивает от него влагой и коноплей, и кажется почему-то, что там живут счастливые люди; то лошадиный скелет, одиноко белеющий в поле. А жаворонки заливаются неугомонно, перекликаются перепела; и дергач кричит так, будто в самом деле кто-то дергает за старую железную скобу.

В полдень Ольга и Саша пришли в большое село. Тут на широкой улице встретился им повар генерала Жукова, старичок. Ему было жарко, и потная, красная лысина его сияла на солнце. Он и Ольга не узнали друг друга, потом оглянулись в одно время, узнали и, не сказав ни слова, пошли дальше каждый своею дорогой. Остановившись около избы, которая казалась побогаче и новее, перед открытыми окнами, Ольга поклонилась и сказала громко, тонким, певучим голосом:

– Православные христиане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителям вашим царство небесное, вечный покой.

– Православные христиане, – запела Саша, – подайте Христа ради, что милость ваша, царство небесное...

В родном углу

I

Донецкая дорога. Невеселая станция, одиноко белеющая в степи, тихая, со стенами, горячими от зноя, без одной тени и, похоже, без людей. Поезд уже ушел, покинув вас здесь, и шум его слышится чуть-чуть и замирает наконец... Около станции пустынно и нет других лошадей, кроме ваших. Вы садитесь в коляску – это так приятно после вагона – и катите по степной дороге, и перед вами мало-помалу открываются картины, каких нет под Москвой, громадные, бесконечные, очаровательные своим однообразием. Степь, степь – и больше ничего; вдаль старый курган или ветряк; везут на волах каменный уголь... Птицы, в одиночку, низко носятся над равниной, и мерные движения их крыльев нагоняют дремоту. Жарко. Прошел час-другой, а все степь, степь, и все курган вдаль. Ваш кучер рассказывает что-то, часто указывая кнутом в сторону, что-то длинное и ненужное, и душой овладевает спокойствие, о прошлом не хочется думать...

За Верой Ивановной Кардиной выехали на тройке. Кучер уложил вещи и стал поправлять сбрую.

– Все, как было, – сказала Вера, оглядываясь. – В последний раз я была здесь еще девочкой, лет десять назад. Помню, выезжал за мной тогда старик Борис. Что, он жив еще?

Кучер ничего не ответил и только сердито, по-хохлацки поглядел на нее и полез на козла.

Нужно было проехать от станции верст тридцать, и Вера тоже поддалась обаянию степи, забыла о прошлом и думала только о том, как здесь просторно, как свободно; ей, здоровой, умной, красивой, молодой – ей было только 23 года – недоставало до сих пор в жизни именно только этого простора и свободы.

Степь, степь... Лошади бегут, солнце все выше, и кажется, что тогда, в детстве, степь не бывала в июне такой богатой, такой пышной; травы в цвету – зеленые, желтые, лиловые, белые, и от них, и от нагретой земли идет аромат; и какие-то странные синие птицы по дороге... Вера давно уже отвыкла молиться, но теперь шепчет, преодолевая дремоту:

– Господи, дай, чтобы мне было здесь хорошо.

А на душе покойно, сладко, и, кажется, согласилась бы всю жизнь ехать так и смотреть на степь. Вдруг неожиданно глубокий овраг, поросший молодым дубом и ольхой; потянуло влагой – должно быть, ручей внизу. На этой стороне, у самого края оврага, вспорхнула с шумом стая куропаток. Вера вспомнила, что когда-то к этому оврагу ходили по вечерам гулять; значит, уже усадьба близко! И вот в самом деле виднеются вдали тополи, клюня; [60] в стороне черный дым: это жгут старую солому. Вот тетя Даша идет навстречу и машет платком; дедушка на террасе. Боже, какая радость!

– Милая! милая! – говорила тетя, вскрикивая, как в истерике. – Приехала наша настоящая хозяйка! Пойми, ведь ты наша хозяйка, наша королева! Тут все твое! Милая, красавица, я не тетка, а твоя послушная раба!

У Веры никого не было родных, кроме дедушки и тети; мать умерла уже давно, отец, инженер, умер три месяца назад в Казани, проездом из Сибири. Дедушка был с большой седой бородой, толстый, красный, с одышкой, и ходил, выпятив вперед живот и опираясь на палку. Тетя, дама лет сорока двух, одетая в модное платье с высокими рукавами, сильно стянутая в талии, очевидно, молодилась и еще хотела нравиться; ходила она мелкими шагами, и у нее при этом вздрагивала спина.

– Ты будешь нас любить? – говорила она, обнимая Веру. – Ты не гордая?

По желанию дедушки отслужили благодарственный молебен, потом долго обедали – и для Веры началась ее новая жизнь. Ей отвели лучшую комнату, снесли туда все ковры, какие только были в доме, поставили много цветов; и когда она вечером легла в свою уютную, широкую, очень мягкую постель и укрылась шелковым одеялом, от которого пахло старым лежалым платьем, то засмеялась от удовольствия. Тетя Даша пришла на минутку, чтобы пожелать ей спокойной ночи.

– Вот ты и приехала, слава богу, – сказала она, садясь на постель. – Как видишь, живем хорошо, лучше и не нужно. Только вот одно: дедушка твой плох! Беда, как плох! Задышется и уж забываться стал. А ведь – помнишь? – какое здоровье, какая сила! Неукротимый был человек... Прежде, бывало, чуть прислуга не угодит или что, как вскочит и – «двадцать пять горячих! Розог!» А теперь присмирел и не слышать его. И то сказать, не те времена теперь, душечка; бить нельзя. Оно, конечно, зачем бить, но и распускать тоже не следует.

– Тетя, а их теперь бьют? – спросила Вера.

– Приказчик, случается, бьет, а я нет. Бог с ними! И дедушка твой, по старой памяти, иной раз замахнет палкой, но бить не бьет.

Тетя Даша зевнула и перекрестила рот, потом правое ухо.

– Здесь не скучно жить? – спросила Вера.

– Как тебе сказать? Помещики теперь перевелись, не живут тут; но зато

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru понастроили кругом заводов, душечка, и тут этих инженеров, докторов, штейгеров[61] – сила! Конечно, спектакли, концерты, но больше все карты. И к нам ездят. Бывает у нас доктор Нецапов, из завода, такой красивый, интересный! В твою фотографию влюбился. Я уж и решила: ну, думаю, это Верочкина судьба. Молодой, красивый, со средствами – партия, одним словом. Ну, да ведь и ты у меня невеста хоть куда. Фамилии хорошей, имение наше заложено, но – что ж? – зато устроено, не запущено; моя тут есть часть, но все тебе останется; я твоя послушная раба. И покойный мой брат, папочка твой, пятнадцать тысяч оставил... Ну, однако, я вижу, у тебя глазки слипаются. Спи, деточка.

На другой день Вера долго гуляла около дома. Сад, старый, некрасивый, без дорожек, расположенный неудобно, по скату, был совершенно заброшен: должно быть, считался лишним в хозяйстве. Много ужей. Удоды летали под деревьями и кричали – «у-ту-тут!» таким тоном, как будто хотели о чем-то напомнить. Внизу была река, поросшая высоким камышом, а за рекой, в полуверсте от берега, – деревня. Из сада Вера пошла в поле; глядя в даль, думая о своей новой жизни в родном гнезде, она все хотела понять, что ждет ее. Этот простор, это красивое спокойствие степи говорили ей, что счастье близко и уже, пожалуй, есть; в сущности, тысячи людей сказали бы: какое счастье быть молодой, здоровой, образованной, жить в собственной усадьбе! И в то же время нескончаемая равнина, однообразная, без одной живой души, пугала ее, и минутами было ясно, что это спокойное зеленое чудовище поглотит ее жизнь, обратит в ничто. Она молода, изящна, любит жизнь; она кончила в институте, выучилась говорить на трех языках, много читала, путешествовала с отцом, – но неужели все это только для того, чтобы в конце концов поселиться в глухой степной усадьбе и изо дня в день, от нечего делать, ходить из сада в поле, из поля в сад и потом сидеть дома и слушать, как дышит дедушка? Но что же делать? Куда деваться? И никак она не могла дать себе ответа, и когда возвращалась домой, то думала, что едва ли здесь она будет счастлива и что ехать со станции сюда гораздо интереснее, чем жить здесь.

Приехал из завода доктор Нецапов. Он был врачом, но года три назад взял на заводе пай и стал одним из хозяев и теперь не считал медицину своим главным делом, хотя и занимался практикой. Наружно это был бледный, стройный брюнет в белом жилете; понять же, что у него в душе и в голове, было трудно. Здороваясь, он поцеловал у тети Даши руку и потом то и дело вскакивал, чтобы подать стул или уступить место, все время был очень серьезен и молчал, и если начинал говорить, то почему-то первую фразу его нельзя было расслышать и понять, хотя говорил он правильно и не тихо.

– Вы изволите играть на рояле? – спросил он у Веры и вдруг вскочил, так как она уронила платок.

Просидел он с полудня до 12-ти часов ночи, молча, и очень не понравился Вере; ей казалось, что белый жилет в деревне – это дурной тон, а изысканная вежливость, манеры и бледное, серьезное лицо с темными бровями были приторны; и ей казалось, что постоянно молчал он потому, вероятно, что был недалек. Тетя же, когда он уехал, сказала радостно:

– Ну, что? Не правда ли, прелесть?

III

Тетя Даша занималась хозяйством. Сильно затянутая, звеня браслетами на обеих руках, она ходила то в кухню, то в амбар, то на скотный, мелкими шагами, и спина у нее вздрагивала; и когда она говорила с приказчиком или с мужиками, то почему-то всякий раз надевала *pinse-pez*. Дедушка сидел все на одном месте и раскладывал пасьянс или дремал. За обедом и за ужином он ел ужасно много; ему подавали и сегодняшнее, и вчерашнее, и холодный пирог, оставшийся с воскресенья, и людскую солонину, и он все съедал с жадностью, и от каждого обеда у Веры оставалось такое впечатление, что когда потом она видела, как гнали овец или везли с мельницы муку, то думала: «Это дедушка съест». Большею частью он молчал, погруженный в еду или пасьянс; но случалось, за обедом, при взгляде на Веру, он умилялся и говорил нежно:

– Внучка моя единственная! Верочка!

И слезы блестели у него на глазах. Или вдруг лицо у него багровело, шея надувалась, он со злобой глядел на прислугу и спрашивал, стуча палкой:

– Почему хрену не подали?

Зимой он вел совершенно неподвижную жизнь, летом же иногда ездил в поле, чтобы взглянуть на овсы и на травы, и, вернувшись, говорил, что без него везде беспорядки, и замахивался палкой.

– Не в духе твой дедушка, – шептала тетя Даша. – Ну, да теперь ничего, а прежде не дай бог: «двадцать пять горячих! Розог!»

Тетя жаловалась, что все обленились, никто ничего не делает и что имение не приносит никакого дохода. В самом деле, никакого сельского хозяйства не было; пахали и сеяли немного, только по привычке, и, в сущности, ничего не делали, жили праздно. Между тем весь день ходили, считали, хлопотали; беготня в доме начиналась с пяти часов утра и постоянно слышалось «подай», «принеси», «сбегай», и прислуга обыкновенно к вечеру уже выбивалась из сил. У тети каждую неделю менялись кухарки и горничные; то она рассчитывала их за безнравственность, то они сами уходили, говоря, что замучились. Из своих деревенских никто не шел служить, и приходилось нанимать дальних. Из своих жила одна только девушка Алена и не уходила потому, что на ее жалованье кормилась дома вся семья – старухи и дети. Эта Алена, маленькая, бледная, глуповатая, весь день убирала комнаты, служила за столом, топила печи, шила, стирала, но все казалось, что она возится, стучит сапогами и только мешает в доме; из страха, как бы ее не рассчитали и не услали домой, она роняла и часто била посуду, и у нее вычитали из жалованья, а потом ее мать и бабушка приходили и кланялись тете Даше в ноги.

Раз в неделю, а иногда и чаще, приезжали гости. Тетя входила к Вере и говорила:

– Ты бы посидела с гостями, а то подумают, что ты гордая.

Вера шла к гостям и играла с ними подолгу в винт или играла на рояле, а гости танцевали; тетя, веселая, тяжело дыша от танцев, подходила к ней и шептала:

– Будь поласковой с Марьей Никифоровной.

6-го декабря, в Николин день, приехало сразу много гостей, человек тридцать; играли в винт до поздней ночи, и многие остались ночевать. С утра опять засели за карты, потом обедали, и когда после обеда Вера пошла к себе в комнату, чтобы отдохнуть от разговоров и от табачного дыма, то и там были гости, и она едва не заплакала с отчаяния. И когда вечером все они стали собираться домой, то от радости, что они наконец уезжают, она сказала:

– Вы бы еще посидели!

Гости утомляли ее и стесняли; и в то же время – это бывало почти каждый день – едва начинало темнеть, как ее уже тянуло из дому, и она уезжала в гости куда-нибудь на завод или к соседям-помещикам; и там игра в карты, танцы, фанты, ужины... Молодые люди, служащие на заводах и шахтах, иногда пели малороссийские песни, и очень недурно. Становилось грустно, когда они пели. Или сходились все в одну комнату и тут в сумерках говорили о шахтах, о кладах, зарытых когда-то в степи, о Саур-Могиле...[62] Во время разговора в позднее время, случалось, вдруг доносилось «ка-ра-у-ул!». Это пьяный шел или грабили кого-нибудь по соседству в шахтах. Или же в печах завывал ветер, хлопали ставни, потом, немного погодя, слышался тревожный звон в церкви; это начиналась метель.

На всех вечерах, пикниках и обедах неизменно самой интересной женщиной была тетя Даша и самым интересным мужчиной доктор Нещапov. На заводах и в усадьбах читали очень мало, играли только марши и польки, и молодежь всегда горячо спорила о том, чего не понимала, и это выходило грубо. Спорили горячо и громко, но, странно, нигде в другом месте Вера не встречала таких равнодушных и беззаботных людей, как здесь. Казалось, что у них нет ни родины, ни религии, ни общественных интересов. Когда говорили о литературе или решали какой-нибудь отвлеченный вопрос, то по лицу Нещапova видно было, что это его нисколько не интересует и что уже давно, очень давно он не читал ничего и читать не хочет. Он, серьезный, без выражения, точно дурно написанный портрет, постоянно в белом жилете, по-прежнему все молчал и был непонятен; но дамы и барышни находили его интересным и были в восторге от его манер и завидовали Вере, которая ему, по-видимому, очень нравилась. И Вера всякий раз уезжала из гостей с досадой и давала себе слово сидеть дома; но проходил день, наступал вечер, и она снова

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
спешила на завод, и так почти всю зиму.

Она выписывала книги и журналы и читала у себя в комнате. И по ночам читала, лежа в постели. Когда часы в коридоре били два или три и когда уже от чтения начинали болеть виски, она садилась в постели и думала. Что делать? Куда деваться? Проклятый, назойливый вопрос, на который давно уже готово много ответов и, в сущности, нет ни одного.

О, как это, должно быть, благородно, свято, картинно – служить народу, облегчать его муки, просвещать его. Но она, Вера, не знает народа. И как подойти к нему? Он чужд ей, неинтересен; она не выносит тяжелого запаха изб, кабацкой брани, невымытых детей, бабьих разговоров о болезнях. Идти по сугробам, зябнуть, потом сидеть в душной избе, учить детей, которых не любишь, – нет, лучше умереть! И учить мужичьих детей в то время, как тетя Даша получает доход с трактиров и штрафует мужиков, – какая это была бы комедия! Сколько разговоров про школы, сельские библиотеки, про всеобщее обучение, но ведь если бы все эти знакомые инженеры, заводчики, дамы не лицемерили, а в самом деле верили, что просвещение нужно, то они не платили бы учителям по 15 рублей в месяц, как теперь, и не морили бы их голодом. И школы, и разговоры о невежестве – это для того только, чтобы заглушать совесть, так как стыдно иметь пять или десять тысяч десятин земли и быть равнодушным к народу. Вот про доктора Нещапova говорят дамы, что он добрый, устроил при заводе школу. Да, школу построил из старого заводского камня, рублей за восемьсот, и «многая лета» пели ему на освящении школы, а вот, небось, пая своего не отдаст, и, небось, в голову ему не приходит, что мужики такие же люди, как он, и что их тоже нужно учить в университетах, а не только в этих жалких заводских школах.

И Вера чувствует злобу на себя и на всех. Она берется опять за книгу и хочет читать, но немного погодя опять садится и думает. Сделаться врачом? Но для этого нужно держать экзамен по латинскому языку, и к тому же еще у нее непобедимое отвращение к трупам и болезням. Хорошо бы стать механиком, судьей, командиром парохода, ученым, делать бы что-нибудь такое, на что уходили бы все силы, физические и душевные, и чтобы утомляться и потом крепко спать ночью; отдать бы свою жизнь чему-нибудь такому, чтобы быть интересным человеком, нравиться интересным людям, любить, иметь свою настоящую семью... Но что делать? С чего начать?

Как-то, в одно из воскресений в Великом посту, тетя зашла к ней рано утром, чтобы взять зонтик. Вера сидела в постели, охватив голову руками, и думала.

– Ты бы, душечка, поехала в церковь, – сказала тетя, – а то подумают, что ты неверующая.

Вера ничего не ответила.

– Я вижу, ты скучаешь, бедняжка, – сказала тетя, опускаясь на колени перед постелью; она обожала Веру. – Признайся: скучаешь?

– Очень.

– Красавица, королева моя, я твоя послушная раба, я желаю тебе только добра и счастья... Скажи, отчего ты не хочешь идти за Нещапova? Кого же тебе еще нужно, деточка? Извини, милая, перебирать так нельзя, мы не князя... Время уходит, тебе не 17 лет... И не понимаю! Он тебя любит, боготворит!

– Ах, господи, – сказала Вера с досадой, – но почему я знаю? Сам он молчит, никогда не говорит ни слова.

– Он стесняется, душечка... А вдруг ты ему откажешь!

И когда потом тетя вышла, Вера стояла среди своей комнаты, не зная, одеваться ей или опять лечь. Противная постель, глянешь в окно – там голые деревья, серый снег, противные галки, свиньи, которых съест дедушка...

«В самом деле, – подумала она, – замуж, что ли!»

III

Два дня тетя ходила с заплаканным, сильно напудренным лицом и за обедом все

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
вздыхала и посматривала на образ. И нельзя было понять, в чем ее горе. Но вот она решилась, вошла к Вере и сказала развязно:

– Это самое, деточка, надо проценты в банк вносить, а арендатор не платит. Позволь заплатить из пятнадцати тысяч, что тебе оставил папочка.

Потом целый день тетя в саду варила вишневое варенье. Алена, с красными от жара щеками, бегала то в сад, то в дом, то на погреб. Когда тетя варила варенье, с очень серьезным лицом, точно священнодействовала, и короткие рукава позволяли видеть ее маленькие, крепкие, деспотические руки, и когда не переставая бегала прислуга, хлопоча около этого варенья, которое будет есть не она, то всякий раз чувствовалось мучительство...

В саду пахло горячими вишнями. Уже зашло солнце, жаровню унесли, но все еще в воздухе держался этот приятный, сладковатый запах. Вера сидела на скамье и смотрела, как новый работник, молодой прохожий солдат, делал, по ее приказанию, дорожки. Он резал лопатой дерн и бросал его в тачку.

– Ты где был на службе? – спросила у него Вера.

– В Бердянске.

– А куда идешь теперь? Домой?

– Никак нет, – ответил работник. – У меня нет дома.

– Но ты где родился и вырос?

– В Орловской губернии. До службы я жил у матери, в доме вотчима; мать – хозяйка, ее уважали, и я при ней кормился. А на службе получил письмо: померла мать... Идти мне теперь домой как будто уж и неохота. Не родной отец, стало быть, и дом чужой.

– А твой родной отец умер?

– Не могу знать. Я незаконнорожденный.

В это время в окне показалась тетя и сказала:

– Иль не фо па парлэ о жанс...[63] Иди, любезный, в кухню, – обратилась она к солдату. – Там расскажешь.

А потом, как вчера и всегда, ужин, чтение, бессонная ночь и бесконечные мысли все об одном. В три часа восходило солнце. Алена уже возилась в коридоре, а Вера все еще не спала и старалась читать. Послышался скрип тачки: это новый работник пришел в сад... Вера села у открытого окна с книгой, дремала и смотрела, как солдат делал для нее дорожки, и это занимало ее. Дорожки ровные, как ремень, гладкие, и весело воображать, какие они будут, когда их посыпят желтым песком.

Видно было, как в начале шестого часа из дома вышла тетя в розовом капоте, в папильотках. Она постояла на крыльце, молча, минуты три, и потом сказала солдату:

– Возьми свой паспорт, уходи с богом. Я не могу у себя в доме держать незаконнорожденных.

В груди у Веры камнем повернулось тяжелое, злое чувство. Она негодовала, ненавидела тетю; тетя надоела ей до тоски, до отвращения... Но что делать? Оборвать ее на слове? Нагрубить ей? Но какая польза? Положим, бороться с ней, устранить ее, сделать безвредной, сделать так, чтобы дедушка не замахивался палкой, но – какая польза? Это все равно, что в степи, которой конца не видно, убить одну мышь или одну змею. Громадные пространства, длинные зимы, однообразие и скука жизни вселяют сознание беспомощности, положение кажется безнадежным, и ничего не хочется делать, – все бесполезно.

Вошла Алена и, низко поклонившись Вере, начала выносить кресла, чтобы выбить из них пыль.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
– Нашла время убирать, – сказала с досадой Вера. – Уйди отсюда!

Алена растерялась и от страха не могла понять, что хотят от нее, и стала быстро убирать на комод.

– Уйди отсюда, тебе говорят! – крикнула Вера, холодея; никогда раньше она не испытывала такого тяжелого чувства. – Уйди!

Алена издала какой-то стон, словно птичий, и уронила на ковер золотые часы.

– Вон отсюда! – крикнула Вера не своим голосом, вскакивая и дрожа всем телом. – Гоните ее вон, она меня замучила! – продолжала она, быстро идя за Аленой по коридору и топоча ногами. – Вон! Розог! Бейте ее!

И потом вдруг опомнилась и опрометью, как была, непричесанная, немытая, в халате и туфлях, бросилась вон из дому. Она добежала до знакомого оврага и спряталась там в терновнике, чтобы никого не видеть и ее бы не видели. Лежа тут на траве неподвижно, она не плакала, не ужасалась, а, глядя на небо, не мигая, рассуждала холодно и ясно, что случилось то, чего нельзя забыть и простить себе в течение всей жизни.

«Нет, довольно, довольно! – думала она. – Пора прибрать себя к рукам, а то конца не будет... Довольно!»

* * *

В полдень проезжал через овраг в усадьбу доктор Нецапов. Она видела его и быстро решила, что начнет новую жизнь, заставит себя начать, и это решение успокоило ее. И провожая глазами стройную фигуру доктора, она сказала, как бы желая смягчить суровость своего решения:

«Он славный... Проживем как-нибудь».

Она вернулась домой. Когда она одевалась, в комнату вошла тетя Даша и сказала:

– Алена тебя встревожила, душечка, я услала ее домой в деревню. Мать ее избилась всю и приходила сюда, плакала...

– Тетя, – быстро проговорила Вера, – я выхожу за доктора Нецапова. Только поговорите с ним сами... я не могу...

И опять ушла в поле. И идя, куда глаза глядят, она решила, что, выйдя замуж, она будет заниматься хозяйством, лечить, учить, будет делать все, что делают другие женщины ее круга; а это постоянное недовольство и собой, и людьми, этот ряд грубых ошибок, которые горой вырастают перед тобою, едва оглянешься на свое прошлое, она будет считать своею настоящею жизнью, которая суждена ей, и не будет ждать лучшей... Ведь лучшей и не бывает! Прекрасная природа, грезы, музыка говорят одно, а действительная жизнь другое. Очевидно, счастье и правда существуют где-то вне жизни... Надо не жить, надо слиться в одно с этой роскошной степью, безграничной и равнодушной, как вечность, с ее цветами, курганами и далью, и тогда будет хорошо...

Через месяц Вера жила уже на заводе.

Печенег

Жмухин, Иван Абрамыч, отставной казачий офицер, служивший когда-то на Кавказе, а теперь проживающий у себя на хуторе, бывший когда-то молодым, здоровым, сильным, а теперь старый, сухой и сутулый, с мохнатыми бровями и с седыми, зеленоватыми усами, – как-то в жаркий летний день возвращался из города к себе на хутор. В городе он говел и писал у нотариуса завещание (недели две назад с ним приключился легкий удар), и теперь в вагоне все время, пока он ехал, его не покидали грустные, серьезные мысли о близкой смерти, о суете сует, о бренности всего земного. На станции Провалье, – а такая есть на Донецкой дороге, – в его вагон вошел белокурый господин, средних лет, пухлый, с поношенным портфелем, и сел против. Разговорились.

– Да-с, – говорил Иван Абрамыч, задумчиво глядя в окно. – Жениться никогда не поздно. Я сам женился, когда мне было сорок восемь лет, говорили – поздно, а вышло не поздно и не рано, а так, лучше бы вовсе не жениться. Жена скоро

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru прискучает всякому, да не всякий правду скажет, потому что, знаете ли, несчастной семейной жизни стыдятся и скрывают ее. Иной около жены – «Маня, Маня», а если бы его воля, то он бы эту Маню в мешок да в воду. С женой скука, одна глупость. Да и с детьми не лучше, смею вас уверить. У меня их двое, подлецов. Учить их тут в степи негде, отдать в Новочеркасск в ученье – денег нет, и живут они тут, как волчата. Того и гляди, зарежут кого на дороге.

Белокурый господин слушал внимательно, отвечал на вопросы негромко и кратко и, по-видимому, был тихого, скромного нрава. Он назвался частным поверенным и сказал, что едет в деревню Дюевку по делу.

– Да ведь это в девяти верстах от меня, господи ты боже мой! – сказал Жмухин таким тоном, как будто с ним спорили. – Но позвольте, на станции вы теперь не найдете лошадей. По-моему, для вас самое лучшее, знаете ли, сейчас поехать ко мне, у меня переночуете, знаете ли, а утром и поедете на моих лошадях, с богом.

Частный поверенный подумал и согласился.

Когда приехали на станцию, солнце уже стояло низко над степью. Всю дорогу от станции до хутора молчали: говорить мешала тряская езда. Тарантас прыгал, визжал и, казалось, рыдал, точно его прыжки причинили ему сильную боль, и частный поверенный, которому было очень неудобно сидеть, с тоской посматривал вперед: не видать ли хутора. Проехали верст восемь, и вдаль показался невысокий дом и двор, обнесенный забором из темного плитняка; крыша на доме зеленая, штукатурка облупилась, а окна маленькие, узенькие, точно прищуренные глаза. Хутор стоял на припеке, и нигде кругом не было видно ни воды, ни деревьев. Назывался он у соседей-помещиков и у мужиков «Печенегов хутор». Много лег назад какой-то проезжий землемер, ночевавший на хуторе, проговорил всю ночь с Иваном Абрамычем, остался недоволен и утром, уезжая, сказал ему сурово: «Вы, сударь мой, печенег!» Отсюда и пошло «Печенегов хутор», и это прозвище еще более укрепилось, когда дети Жмухина подросли и стали совершать набеги на соседние сады и бахчи. А самого Ивана Абрамыча звали «знаете ли», так как он говорил обыкновенно очень много и часто употреблял это «знаете ли».

Во дворе около сарая стояли сыновья Жмухина: один лет 19-ти, другой – подросток, оба босые, без шапок; и как раз в то время, когда тарантас въезжал во двор, младший высоко подбросил курицу, которая закудахтала и полетела, описывая в воздухе дугу; старший выстрелил из ружья, и курица, убитая, ударилась о землю.

– Это мои учатся стрелять влёт, – сказал Жмухин.

В сенях приехавших встретила женщина, маленькая, худенькая, с бледным лицом, еще молодая и красивая; по платью ее можно было принять за прислугу.

– А это, позвольте представить, – сказал Жмухин, – мать моих сукиных сынов. Ну, Любовь Осиповна, – обратился он к ней, – поворачивайся, мать, угощай гостя. Ужинать давай! Живо!

Дом состоял из двух половин; в одной была «зала» и рядом с ней спальня старика Жмухина – комнаты душные, с низкими потолками и со множеством мух и ос, а в другой была кухня, в которой стряпали, стирали, кормили работников; здесь же под скамьями сидели на яйцах гусыни и индейки, и здесь же находились постели Любви Осиповны и ее обоих сыновей. Мебель в зале была некрашенная, срубленная, очевидно, плотником; на стенах висели ружья, ягдташи, нагайки, и вся эта старая дрянь давно уже заржавела и казалась серой от пыли. Ни одной картины, в углу темная доска, которая когда-то была иконой.

Молодая баба, хохлушка, накрыла на стол и подала ветчину, потом борщ. Гость отказался от водки и стал есть только хлеб и огурцы.

– А ветчинки что ж? – спросил Жмухин.

– Благодарю, не ем, – ответил гость. – Я вообще не ем мяса.

– Почему так?

– Я вегетарианец. Убивать животных – это противно моим убеждениям.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Жмухин подумал минуту и потом сказал медленно, со вздохом:

– Да... Так... В городе я тоже видел одного, который не ест мяса. Это теперь такая вера пошла. Что ж? Это хорошо. Не все же резать и стрелять, знаете ли, надо когда-нибудь и угомониться, дать покой и тварям. Грех убивать, грех, – что и говорить. Иной раз подстрелишь зайца, ранишь его в ногу, а он кричит, словно ребенок. Значит, больно!

– Конечно, больно. Животные так же страдают, как и люди.

– Это верно, – согласился Жмухин. – Я все это понимаю очень хорошо, – продолжал он, думая, – только вот, признаться, одного не могу понять: если, положим, знаете ли, все люди перестанут есть мясо, то куда денутся тогда домашние животные, например, куры и гуси?

– Куры и гуси будут жить на воле, как дикие.

– Теперь понимаю. В самом деле, живут вороны и галки и обходятся же без нас. Да... И куры, и гуси, и зайчики, и овечки, все будут жить на воле, радоваться, знаете ли, и бога прославлять, и не будут они нас бояться. Настанет мир и тишина. Только вот, знаете ли, одного не могу понять, – продолжал Жмухин, взглянув на ветчину. – Со свиньями как быть? Куда их?

– И они так же, как все, то есть и они на воле.

– Так. Да. Но позвольте, ведь если их не резать, то они размножатся, знаете ли, тогда прощайся с лугами и с огородами. Ведь свинья, ежели пустить ее на волю и не присмотреть за ней, все вам попортит в один день. Свинья и есть свинья, и недаром ее свиньей прозвали...

Пужинали. Жмухин встал из-за стола и долго ходил по комнате и все говорил, говорил... Он любил поговорить о чем-нибудь важном и серьезном и любил подумать; да и хотелось на старости лет остановиться на чем-нибудь, успокоиться, чтобы не так страшно было умирать. Хотелось кротости, душевной тишины и уверенности в себе, как у этого гостя, который вот наелся огурцов и хлеба и думает, что от этого стал совершеннее; сидит он на сундуке, здоровый, пухлый, молчит и терпеливо скучает, и в сумерках, когда взглянешь на него из сеней, похож на большой бульжник, который не сдвинешь с места. Имеет человек в жизни зацепку – и хорошо ему.

Жмухин через сени вышел на крыльцо, и потом слышно было, как он вздыхал и в раздумье говорил самому себе: «Да... так». Уже темнело, и на небе показывались там и сям звезды. В комнатах еще не зажигали огня. Кто-то бесшумно, как тень, вошел в залу и остановился около двери. Это была Любовь Осиповна, жена Жмухина.

– Вы из города? – спросила она робко, не глядя на гостя.

– Да, я живу в городе.

– Может, вы по ученой части, господин, поучите нас, будьте такие добрые. Нам надо бы прошение подать.

– Куда? – спросил гость.

– У нас два сына, господин хороший, и давно пора отдавать их в ученье, а у нас никто не бывает и не с кем посоветоваться. А сама я ничего не знаю. Потому, если не учить, то их возьмут на службу простыми казаками. Не хорошо, господин! Неграмотные, хуже мужиков, и сами же Иван Абрамыч брезгают, не пускают их в комнаты. А разве они виноваты? Хоть бы младшенького отдать в ученье, право, а то так жалко! – сказала она протяжно, и голос у нее дрогнул; и казалось невероятным, что у такой маленькой и молодой женщины есть уже взрослые дети. – Ах, так жалко!

– Ничего ты, мать, не понимаешь, и не твое это дело, – сказал Жмухин, показываясь в дверях. – Не приставай к гостю со своими разговорами дикими. Уходи, мать!

Любовь Осиповна вышла и в сенях повторила еще раз тонким голоском:

– Ах, так жалко!

Гостю постлали в зале на диване и, чтобы ему не было темно, зажгли лампадку. Жмухин лег у себя в спальне. И, лежа, он думал о своей душе, о старости, о недавнем ударе, который так напугал и живо напомнил о смерти. Он любил пофилософствовать, оставаясь с самим собой, в тишине, и тогда ему казалось, что он очень серьезный, глубокий человек и что на этом свете его занимают одни только важные вопросы. И теперь он все думал, и ему хотелось остановиться на какой-нибудь одной мысли, непохожей на другие, значительной, которая была бы руководством в жизни, и хотелось придумать для себя какие-нибудь правила, чтобы и жизнь свою сделать такою же серьезной и глубокой, как он сам. Вот хорошо бы и ему, старику, совсем отказаться от мяса, от разных излишеств. Время, когда люди не будут убивать друг друга и животных, рано или поздно настанет, иначе и быть не может, и он воображал себе это время и ясно представлял самого себя, живущего в мире со всеми животными, и вдруг опять вспомнил про свиней, и у него в голове все перепуталось.

– История, господи помилуй, – пробормотал он, тяжело вздыхая. – Вы спите? – спросил он.

– Нет.

Жмухин встал с постели и остановился в дверях на пороге, в одной сорочке, показывая гостю свои ноги, жилистые и сухие, как палки.

– Вот теперь, знаете ли, – начал он, – пошли разные телеграфы, телефоны и разные там чудеса, одним словом, но люди не стали лучше. Говорят, что в наше время, лет 30–40 назад, люди были грубые, жестокие; но теперь разве не то же самое? Действительно, в мое время жили без церемоний. Помню, на Кавказе, когда мы целых четыре месяца стояли на одной речке без всякого дела, – я тогда еще урядником был, – произошла история, вроде как бы роман. Как раз на берегу той речки, знаете ли, где стояла наша сотня, был похоронен один князек, которого мы же убили незадолго. И по ночам, знаете ли, ходила вдова-княгиня на могилку и плакала. Уж она голосит-голосит, уж она стонет-стонет, и такую на нас тоску нагоняла, что не спим да и все. Одну ночь не спим, другую не спим; ну, надоело. И, рассуждая по здравому смыслу, нельзя же в самом деле не спать черт знает из-за чего, извините за выражение. Взяли мы эту княгиню, высекли ее – и перестала ходить. Вот вам. Теперь, конечно, уж не та категория людей, и не секут, и живут чище, и наук стало больше, но, знаете ли, душа все та же, никакой перемены. Вот, извольте ли видеть, живет здесь у нас помещик один. У него шахты, знаете ли. Работают у него беспаспортные, разные бродяги, которым деваться некуда. По субботам надо расчет давать рабочим, а платить-то не хочется, знаете ли, денег жалко. Вот он и нашел себе такого приказчика, тоже из бродяг, хотя и в шляпе ходит. «Ты, говорит, им ничего не плати, ни копейки; они тебя будут бить и пускай, говорит, бьют, а ты терпи, я за это каждую субботу буду тебе по десяти рублей платить». Вот вечером в субботу, порядком, как водится, рабочие приходят за расчетом; приказчик им: «Нету!» Ну, слово за слово, начинается брань, потасовка... Бьют, бьют его, и руками и ногами, – знаете ли, народ озверелый с голоду-то, – бьют до бесчувствия, а потом и уходят кто куда. Хозяин велит отлить приказчика водой, потом ему десять рублей в зубы, а тот и берет, да еще рад, потому, в сущности, не то, что за десять, он и за трешницу согласится хоть в петлю. Да... А в понедельник приходит новая партия рабочих; приходит, деваться некуда... В субботу опять та же история...

Гость повернулся на другой бок, лицом к спинке дивана, и пробормотал что-то.

– А вот другой пример, – продолжал Жмухин. – Как-то была тут сибирская язва, знаете ли; скотина дохла, я вам скажу, как мухи, и ветеринары тут ездили, и строго было приказано, чтобы палый скот зарывать подальше, глубоко в землю, заливать известкой и прочее, знаете ли, на основании науки. Издохла и у меня лошадь. Я со всякими предосторожностями зарыл ее и одной известки вылил на нее пудов десять. И что ж вы думаете? Мои молодцы, знаете ли, сыночки мои милые, ночью вырыли лошадь, содрали с нее шкуру и продали за три рубля. Вот вам. Значит, люди не стали лучше, и, значит, как волка ни корми, а он все в лес смотрит. Вот вам. Подумать-то есть о чем! А? Как вы полагаете?

На одной стороне в окнах, в щелях ставен, вспыхивала молния. Было душно перед

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
грозой, кусались комары, и Жмухин, лежа у себя и размышляя, охал, стонал и говорил самому себе: «Да... так» – и уснуть было невозможно. Где-то очень-очень далеко ворчал гром.

– Вы спите?

– Нет, – ответил гость.

Жмухин встал и через залу и сени, стуча своими пятками, прошел в кухню – воды напиться.

– Хуже всего на свете, знаете ли, глупость, – говорил он, немного погодя, возвращаясь с ковшом. – Моя Любовь Осиповна стоит на коленках и богу молится. Молится каждую ночь, знаете ли, и поклоны бухает, первое, чтоб детей в ученье отдать; боится, что дети пойдут на службу простыми казаками и их будут там поперек спины шашками лупить. Но чтобы учить, надо деньги, а где их взять? Хоть лбом пол прошиби, а коли нет, так и нет. Второе, молится, потому что, знаете ли, всякая женщина думает, что несчастнее ее нет на свете. Я человек откровенный и скрывать от вас ничего не желаю. Она из бедного семейства, поповна, колокольного звания, [64] так сказать; женился я на ней, когда ей было 17 лет, и ее выдали за меня больше из-за того, что было есть нечего, нужда, злыдни, а у меня все-таки, видите, земля, хозяйство, ну, как-никак, все-таки офицер; лестно ей было за меня идти, знаете ли. В первый день, как поженились, она плакала и потом все двадцать лет плакала – глаза на мокром месте. И все она сидит и думает, думает. А о чем думает, спрашивается? О чем женщина может думать? Ни о чем. Я женщину, признаться, не считаю за человека.

Частный поверенный поднялся порывисто и сел.

– Извините, мне что-то душно стало, – сказал он. – Я выйду.

Жмухин, продолжая говорить о женщинах, в сенях вынул засов, и оба вышли наружу. Как раз над двором плыла по небу полная луна, и при лунном свете дом и сараи казались белее, чем днем; и по траве между черными тенями протянулись яркие полосы света, тоже белые. Направо далеко видна степь, над нею тихо горят звезды – и все таинственно, бесконечно далеко, точно смотришь в глубокую пропасть; а налево над степью навалились одна на другую тяжелые гроззовые тучи, черные, как сажа; края их освещены луной, и кажется, что там горы с белым снегом на вершинах, темные леса, море; вспыхивает молния, доносится тихий гром, и кажется, что в горах идет сражение...

Около самой усадьбы маленькая ночная сова кричит монотонно: «сплю! сплю!»

– Который теперь час? – спросил гость.

– Второй в начале.

– Как еще далеко до рассвета, однако!

Вернулись в дом и опять легли. Надо было спать, и обыкновенно перед дождем так славно спится, но старику захотелось важных, серьезных мыслей; хотелось ему не просто думать, а размышлять. И он размышлял о том, что хорошо бы, в виду близкой смерти, ради души, прекратить эту праздность, которая так незаметно и бесследно поглощает дни за днями, годы за годами; придумать бы для себя какой-нибудь подвиг, например, пойти бы пешком куда-нибудь далеко-далеко, отказаться бы от мяса, как этот молодой человек. И он опять воображал себе то время, когда не будут убивать животных, воображал ясно, отчетливо, точно сам переживал это время; но вдруг в голове опять все перепуталось и все стало неясно.

Гроза прошла мимо, но тучи захватили краем, дождь шел и тихо стучал по крыше. Жмухин встал и, охая от старости, потягиваясь, посмотрел в залу. Заметив, что гость не спит, он сказал:

– У нас на Кавказе, знаете ли, один полковник тоже был вегетарианцем. Не ел мяса, никогда не охотился и не позволял своим людям рыбу ловить. Конечно, я понимаю. Всякое животное должно жить на свободе, пользоваться жизнью; только не понимаю, как может свинья ходить, где ей угодно, без присмотра...

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Гость поднялся и сел. Его бледное, помятое лицо выражало досаду и усталость; видно было, что он замучился и только кротость и деликатность души мешали ему высказать на словах свою досаду.

– Уже рассвет, – сказал он кротко. – Велите, пожалуйста, дать мне лошадь.

– Что так? Погодите, дождь пройдет.

– Нет, прошу вас, – проговорил гость умоляюще, с испугом. – Мне необходимо сейчас же.

И он стал торопливо одеваться.

Когда подали лошадь, уже восходило солнце. Дождь только что перестал, облака быстро бежали, голубых просветов становилось все больше и больше на небе. Внизу в лужицах робко отсвечивали первые лучи. Частный поверенный проходил со своим портфелем через сени, чтобы сесть в тарантас, и в это время жена Жмухина, бледная и, казалось, бледнее, чем вчера, заплаканная, смотрела на него внимательно, не мигая, с наивным выражением, как у девочки, и было видно по ее скорбному лицу, что она завидует его свободе, – ах, с каким бы наслаждением она сама уехала отсюда! – и что ей нужно сказать ему что-то, должно быть, спросить совета насчет детей. И какая жалкая! Это не жена, не хозяйка, даже не прислуга, а скорее приживалка, бедная, никому не нужная родственница, ничтожество.. Ее муж, суется, не переставая разговаривать и все забегая вперед, провожал гостя, а она пугливо и виновато жалась к стене и все ждала удобной минуты, чтобы заговорить.

– Милости просим в другой раз! – повторял старик безумолку. – Чем богаты, тем и рады, знаете ли!

Гость сел в тарантас торопливо, видимо, с большим удовольствием и точно боясь, что вот-вот его задержат. Тарантас по-вчерашнему запрыгал, завизжал, застучало неистово ведро, привязанное к задку. Частный поверенный оглянулся на Жмухина с каким-то особенным выражением; было похоже, что ему, как когда-то землемеру, захотелось обозвать его печенегом или как-нибудь иначе, но кротость пересилила, он удержался и ничего не сказал. Но в воротах вдруг не вытерпел, приподнялся и крикнул громко и сердито:

– Вы мне надоели!

И скрылся за воротами.

Около сарая стояли сыновья Жмухина: старший держал ружье, у младшего был в руках серый петушок с ярким красивым гребнем. Младший изо всей силы подбросил петушка, тот взлетел выше дома и перевернулся в воздухе, как голубь; старший выстрелил, и петушок упал, как камень.

Старик, смущенный, не зная, как и чем объяснить этот странный, неожиданный окрик гостя, не спеша, пошел в дом. И сидя тут за столом, он размышлял долго о теперешнем направлении умов, о всеобщей безнравственности, о телеграфе, о телефоне, о велосипедах, о том, как все это не нужно, успокоился мало-помалу, потом закурил, не спеша, выпил пять стаканов чаю и лег спать.

На подводе
В половине девятого утра выехали из города.

Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело, но в канавах и в лесу лежал еще снег. Зима, злая, темная, длинная, была еще так недавно, весна пришла вдруг, но для Марьи Васильевны, которая сидела теперь в телеге, не представляли ничего нового и интересного ни тепло, ни томные, согретые дыханием весны прозрачные леса, ни черные стаи, летавшие в поле над громадными лужами, похожими на озера, ни это небо, чудное, бездонное, куда, кажется, ушел бы с такою радостью. Вот уж тринадцать лет, как она учительницей, и не сочтешь, сколько раз за все эти годы она ездила в город за жалованьем; и была ли весна, как теперь, или осенний вечер с дождем, или зима, – для нее было все равно, и всегда неизменно хотелось одного: поскорее бы доехать.

У нее было такое чувство, как будто она жила в этих краях уже давно-давно, лет сто, и казалось ей, что на всем пути от города до своей школы она знала каждый

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
камень, каждое дерево. Тут было ее прошлое, ее настоящее; и другого будущего она не могла представить себе, как только школа, дорога в город и обратно, и опять школа, и опять дорога...

О том прошлом, какое было до ее поступления в учительницы, она уже отвыкла вспоминать – и почти все забыла. Когда-то были у нее отец и мать; жили в Москве около Красных ворот, в большой квартире, но от всей этой жизни осталось в памяти что-то смутное и расплывчатое, точно сон. Отец умер, когда ей было десять лет, потом скоро умерла мать... Был брат офицер, сначала переписывались, потом брат перестал отвечать на письма, отвык. От прежних вещей сохранилась только фотография матери, но от сырости в школе она потускнела, и теперь ничего не видно, кроме волос и бровей.

Когда отъехали версты три, старик Семен, который правил лошадей, обернулся и сказал:

– А в городе чиновника одного забрали. Отправили. Будто, идет слух, в Москве с немцами городского голову Алексеева убивал.

– Кто это тебе сказал?

– В трактире Ивана Ионова в газетах читали.

И опять замолчали надолго. Марья Васильевна думала о своей школе, о том, что скоро экзамен и она представит четырех мальчиков и одну девочку. И как раз, пока она думала об экзаменах, ее обогнал помещик Ханов, в коляске четверкой, тот самый, который в прошлом году экзаменовал у нее школу. Поравнявшись, он узнал ее и поклонился.

– Здравствуйте! – сказал он. – Домой изволите ехать?

Этот Ханов, мужчина лет сорока, с поношенным лицом и с вялым выражением, уже начинал заметно стареть, но все еще был красив и нравился женщинам. Он жил в своей большой усадьбе, один, нигде не служил, и про него говорили, что дома он ничего не делал, а только ходил из угла в угол и посвистывал или играл в шахматы со своим старым лакеем. Говорили про него также, что он много пил. В самом деле, в прошлом году на экзамене даже от бумаг, которые он привез с собой, пахло духами и вином. Тогда на нем все было новенькое, и Марья Васильевна он очень нравился, и, сидя рядом с ним, она все конфузилась. Она привыкла видеть у себя экзаменаторов холодных, рассудительных, а этот не помнил ни одной молитвы и не знал, о чем спрашивать, и был чрезвычайно вежлив и деликатен, и ставил одни пятерки.

– А я к Баквисту еду, – продолжал он, обращаясь к Марье Васильевне, – но, говорят, его нет дома?

С шоссе свернули на проселочную дорогу: Ханов впереди, Семен за ним. Четверка ехала по дороге, шагом, с напряжением вытаскивая из грязи тяжелый экипаж. Семен лавировал, объезжая дорогу, то по бугру, то по лугу, часто прыгивая с телеги и помогая лошади. Марья Васильевна думала все о школе, о том, какая будет задача на экзамене – трудная или легкая. И ей было досадно на земскую управу, в которой она вчера никого не застала. Какие беспорядки! Вот уже два года, как она просит, чтобы уволили сторожа, который ничего не делает, грубит ей и бьет учеников, но ее никто не слушает. Председателя трудно заставить в управе, а если застанешь, то он говорит со слезами на глазах, что ему некогда; инспектор бывает в школе раз в три года и ничего не смыслит в деле, так как раньше служил по акцизу и место инспектора получил по протекции; училищный совет собирается очень редко и неизвестно, где собирается; попечитель – малограмотный мужик, хозяин кожевенного заведения, неумен, груб и в большой дружбе со сторожем, – и бог знает, к кому обращаться с жалобами и за справками...

«Он в самом деле красив», – подумала она, взглянув на Ханова.

А дорога все хуже и хуже... Въехали в лес. Тут уж сворачивать негде, колеи глубокие, и в них льется и журчит вода. И колючие ветви бьют по лицу.

– Какова дорога? – спросил Ханов и засмеялся.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Учительница смотрела на него и не понимала: зачем этот чудак живет здесь? Что могут дать ему в этой глуши, в грязи, в скуке его деньги, интересная наружность, тонкая воспитанность? Он не получает никаких преимуществ от жизни и вот так же, как Семен, едет шагом, по отвратительной дороге, и терпит такие же неудобства. Зачем жить здесь, если есть возможность жить в Петербурге, за границей? И казалось бы, что стоит ему, богатому человеку, из этой дурной дороги сделать хорошую, чтобы не мучиться так и не видеть этого отчаяния, какое написано на лицах у кучера и Семена; но он только смеется, и, по-видимому, для него все равно и лучшей жизни ему не нужно. Он добр, мягок, наивен, не понимает этой грубой жизни, не знает ее так же, как на экзамене не знал молитв. Жертвует он в школы одни только глобусы и искренно считает себя полезным человеком и видным деятелем по народному образованию. А кому нужны тут его глобусы!

– Держись, Васильевна! – сказал Семен.

Телега сильно накренилась – сейчас упадет; на ноги Марьи Васильевны навалилось что-то тяжелое – это ее покупки. Крутой подъем на гору, по глине; тут в извилистых канавах текут с шумом ручьи, вода точно изгрызла дорогу – и уж как тут ехать! Лошади храпят. Ханов вылез из коляски и идет по краю дороги в своем длинном пальто. Ему жарко.

– Какова дорога? – сказал он опять и засмеялся. – Этак экипаж сломать недолго.

– А кто ж вам велит в такую погоду ездить! – проговорил Семен сурово. – И сидели бы дома.

– Дома, дед, скучно. Я не люблю дома сидеть.

Около старого Семена он казался стройным, бодрым, но в походке его было что-то такое, едва заметное, что выдавало в нем существо уже отравленное, слабое, близкое к гибели. И точно в лесу вдруг запахло вином. Марье Васильевне стало страшно и стало жаль этого человека, погибающего неизвестно для чего и почему, и ей пришло на мысль, что если бы она была его женой или сестрой, то всю свою жизнь, кажется, отдала бы за то, чтобы спасти его от гибели. Быть женой? Жизнь устроена так, что вот он живет у себя в большой усадьбе один, она живет в глухой деревне одна, но почему-то даже мысль о том, что он и она могли бы быть близки и равны, кажется невозможной, нелепой. В сущности вся жизнь устроена и человеческие отношения осложнились до такой степени непонятно, что, как подумаешь, делается жутко и замирает сердце.

«И непонятно, – думала она, – зачем красоту, эту приветливость, грустные, милые глаза бог дает слабым, несчастным, бесполезным людям, зачем они так нравятся».

– Здесь нам поворачивать вправо, – сказал Ханов, садясь в коляску. – Прощайте! Всего хорошего!

И опять она думала о своих учениках, об экзамене, о стороже, об училищном совете; и когда ветер доносил справа шум удалявшейся коляски, то эти мысли мешались с другими. Хотелось думать о красивых глазах, о любви, о том счастье, какого никогда не будет...

Быть женой? Утром холодно, топить печи некому, сторож ушел куда-то; ученики поприходили чуть свет, нанесли снегу и грязи, шумят; все так неудобно, неуютно. Квартира из одной комнатки, тут же и кухня. После занятий каждый день болит голова, после обеда жжет под сердцем. Нужно собирать с учеников деньги на дрова, на сторожа и отдавать их попечителю, и потом умолять его, этого сытого, наглого мужика, чтобы он, ради бога, прислал дров. А ночью снятся экзамены, мужики, сугробы. И от такой жизни она постарела, огрубела, стала некрасивой, угловатой, неловкой, точно ее налили свинцом, и всего она боится, и в присутствии члена управы или попечителя школы она встает, не осмеливается сесть, и когда говорит про кого-нибудь из них, то выражается почтительно: «они». И никому она не нравится, и жизнь проходит скучно, без ласки, без дружеского участия, без интересных знакомых. В ее положении какой бы это был ужас, если бы она влюбилась!

– Держись, Васильевна!

Опять крутой подъем на гору...

В учительницы она пошла из нужды, не чувствуя никакого призвания; и никогда она не думала о призвании, о пользе просвещения, и всегда ей казалось, что самое главное в ее деле не ученики и не просвещение, а экзамены. И когда тут думать о призвании, о пользе просвещения? Учителя, небогатые врачи, фельдшера при громадном труде не имеют даже утешения думать, что они служат идее, народу, так как все время голова бывает набита мыслями о куске хлеба, о дровах, плохих дорогах, болезнях. Жизнь трудная, неинтересная, и выносили ее подолгу только молчаливые ломовые кони, вроде этой Марьи Васильевны; те же живые, нервные, впечатлительные, которые говорили о своем призвании, об идейном служении, скоро утомлялись и бросали дело.

Семен выбирал, как бы проехать посуше и поближе, где лугом, где задами; но там, гляди, мужики не пускают, там попова земля, нет проезда, там Иван Ионов купил у барина участок и окопал его канавой. То и дело поворачивали назад.

Приехали в Нижнее Городище. Около трактира, на унавоженной земле, под которой был еще снег, стояли подводы: везли большие бутылки с купоросным маслом. В трактире было много народа, всё извозчики, и пахло тут водкой, табаком и овчиной. Шел громкий разговор, хлопали дверью на блоке. За стеной в лавочке, не умолкая ни на минуту, играли на гармонике. Марья Васильевна сидела и пила чай, а за соседним столом мужики, распаренные чаем и трактирной духотой, пили водку и пиво.

– Слышь, Кузьма! – раздавались беспорядочно голоса. – Чего там! Господи благослови! Иван Дементыч, я это тебе могу! Сват, гляди!

Мужик маленького роста, с черной бородкой, рябой, уже давно пьяный, вдруг удивился чему-то и нехорошо выбранился.

– Чего ругаешься там? Ты! – отозвался сердито Семен, сидевший далеко в стороне. – Нешто не видишь: барышня!

– Барышня... – передразнил кто-то в другом углу.

– Ворона свинячая!

– Мы ничего... – сконфузился маленький мужик. – Извините. Мы, стало быть, за свои деньги, а барышня за свои... Здравствуй!

– Здравствуй, – ответила учительница.

– И чувствительно вас благодарим.

Марья Васильевна пила чай с удовольствием и сама становилась красной, как мужики, и думала опять о дровах, о стороже...

– Сват, погоди! – доносилось с соседнего стола. – Учительша из Вязовья... знаем! Барышня хорошая.

– Порядочная!

Дверь на блоке все хлопала, одни входили, другие выходили. Марья Васильевна сидела и думала все про то же, а гармоника за стеной все играла и играла. Солнечные пятна были на полу, потом перешли на прилавок, на стену и совсем исчезли; значит, солнце уже склонилось за полдень. Мужики за соседним столом стали собираться в путь. Маленький мужик, слегка пошатываясь, подошел к Марье Васильевне и подал ей руку; глядя на него, и другие тоже подали руку на прощанье и вышли один за другим, и дверь на блоке провизжала и хлопнула девять раз.

– Васильевна, собирайся! – окликнул Семен.

Поехали. И опять все шагом.

– Недавнушко школу строили тут, в ихнем Нижнем Городище, – сказал Семен, оборачиваясь. – Греха-то что было!

– А что?

– Будто председатель себе в карман тысячу, и попечитель тоже тысячу, и учитель пятьсот.

– Вся-то школа стоит тысячу. Нехорошо на людей клеветать, дед. Это все вздор.

– Я не знаю... Что народ, то и я.

Но было ясно, что Семен не верил учительнице. Ей крестьяне не верили; они всегда так думали, что она получает слишком большое жалованье – двадцать один рубль в месяц (было бы довольно и пяти), и что из тех денег, которые она собирала с учеников на дрова и на сторожа, большую часть она оставляла себе. Попечитель думал так же, как все мужики, и сам кое-что наживал с дров и за свое попечительство получал с мужиков жалованье, тайно от начальства.

Лес, слава богу, кончился, и теперь до самого Вязовья будет ровное поле. И осталось уже немного: переехать реку, потом железнодорожную линию, а там и Вязовье.

– Куда же ты едешь? – спросила Марья Васильевна у Семена. – Поезжай правой дорогой, на мост.

– Чего? И тут проедем. Глыбина, не очень чтоб.

– Смотри, как бы нам лошадь не утопить.

– Чего?

– Вот и Ханов поехал на мост, – сказала Марья Васильевна, увидев далеко вправо четверку. – Это, кажется, он едет?

– О-он. Должно, не застал Баквиста. Экой дураком, господи помилуй, туда поехал, и зачем, тут на цельных три версты ближе.

Подъехали к реке. Летом это была мелкая речушка, которую легко переходили вброд и которая обыкновенно пересыхала к августу, теперь же, после половодья, это была река сажень в шесть ширины, быстрая, мутная, холодная; на берегу и у самой воды видны были свежие колеи – значит, здесь проезжали.

– Вперед! – крикнул Семен сердито и с тревогой, сильно дергая за вожжи и взмахивая локтями, как птица крыльями. – Вперед!

Лошадь вошла в воду по брюхо и остановилась, но тотчас же опять пошла, напрягая силы, и Марья Васильевна почувствовала в ногах резкий холод.

– Вперед! – закричала и она, поднимаясь. – Вперед!

Выехали на берег.

– И что оно такое, это самое, господи, – бормотал Семен, поправляя сбрую. – Чистое наказание с эстим земством...

Калоши и башмаки были полны воды, низ платья и шубки и один рукав были мокры, и текло с них; сахар и мука оказались подмоченными – и это было обиднее всего, и с отчаяния Марья Васильевна только всплескивала руками и говорила:

– Ах, Семен, Семен!.. Какой же ты, право!..

На железнодорожном переезде был опущен шлагбаум: со станции шел курьерский поезд. Марья Васильевна стояла у переезда и ждала, когда он пройдет, и дрожала всем телом от холода. Было уже видно Вязовье – и школу с зеленой крышей, и церковь, у которой горели кресты, отражая вечернее солнце; и окна на станции тоже горели, и из локомотива шел розовый дым... И ей казалось, что все дрожит от холода.

Вот он – поезд; окна отливали ярким светом, как кресты на церкви, больно было смотреть. На площадке одного из вагонов первого класса стояла дама, и Марья Васильевна взглянула на нее мельком: мать! Какое сходство! У матери были такие

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
же пышные волосы, такой же точно лоб, наклон головы. И она живо, с поразительной ясностью, в первый раз за все эти тринадцать лет, представила себе мать, отца, брата, квартиру в Москве, аквариум с рыбками и все до последней мелочи, услышала вдруг игру на рояле, голос отца, почувствовала себя, как тогда, молодой, красивой, нарядной, в светлой, теплой комнате, в кругу родных; чувство радости и счастья вдруг охватило ее, от восторга она сжала себе виски ладонями и окликнула нежно, с мольбой:

– Мама!

И заплакала, неизвестно отчего. В это время как раз подъезжал на четверке Ханов, и она, видя его, вообразила счастье, какого никогда не было, и улыбалась, кивала ему головой, как равная и близкая, и казалось ей, что и на небе, и всюду в окнах, и на деревьях светится ее счастье, ее торжество. Да, никогда не умирали ее отец и мать, никогда она не была учительницей, то был длинный, тяжелый, странный сон, а теперь она проснулась...

– Васильевна, садись!

И вдруг все исчезло. Шлагбаум медленно поднимался. Марья Васильевна, дрожа, коченя от холода, села в телегу. Четверка переехала линию, за ней Семен. Сторож на переезде снял шапку.

– А вот и Вязовье. Приехали.

Неоконченное

Шульц

Это было невеселое октябрьское утро, когда с неба сыпался крупный снег, но все-таки зимы еще не было, так как о мостовую громко стучали колеса и снег, падавший на длинное, как халат, пальто, скоро таял и превращался в мелкие капельки. Костя Шульц, ученик первого класса, был невесел. Виновата была в этом отчасти погода, отчасти «Мартышка и очки»; он не успел выучить наизусть этой басни и воображал теперь, как в классе подойдет к нему учитель русского языка, высокий, полный господин в очках и, ставши так близко, что до мельчайших точек видны будут и пуговицы на его жилетке, и цепочка с сердоликом, скажет тенором: «Чего-с? Не выучили-с?» Отчасти была виновата в этом и няня. Перед уходом в гимназию он нагрубил няне и, чтобы досадить ей, не взял с собою котлеты на завтрак и теперь жалел об этом, так как ему уже хотелось кушать.

Вот уж в конце улицы показалась гимназия... У часового мастера на окне без двадцати девять. У Кости неприятно сжалось сердце. Господи боже мой, какая перемена! В августе, когда мама водила его на приемный экзамен, и в первые дни, когда начиналось учение, как он рвался в гимназию, как мечтал, как скучал в праздники, а теперь, в октябре, все это уже тяжело, сурово, холодно! Впереди через три дома идет в гимназию учитель математики Сергей Семеныч, в цилиндре и в высоких кожаных калошах, солидных на вид и которые, как кажется, строго и неумолимо скребут по тротуару. Сколько мог взять сапожник за эти калоши, и думал ли он, когда шил их, что они будут так хорошо выражать характер человека, который их теперь носит?

[Мужики]

X

Сестра Ольги, Клавдия Абрамовна, жила в одном из переулков близ Патриарших прудов, в деревянном двухэтажном доме. В нижнем этаже была прачечная, а весь верхний снимала пожилая девица из дворянок, тихая и скромная, которая уж от себя сдавала комнаты жильцам и кормилась этим. В темной прихожей, как войдешь, были две двери, направо и налево: за одной в маленькой комнатке помещалась Клавдия Абрамовна с Сашей, за другою – метранпаж из типографии. Потом была гостиная, с диваном, креслами, с лампой и абажуром, с картинами на стенах – все как следует, но пахло тут бельем и паром, который проникал из прачечной, и весь день из-под пола слышалось пение. Из гостиной, общей для всех жильцов, был ход, в три квартиры; тут жила сама хозяйка, затем старик лакей Иван Макарыч Матвейчев, уроженец Жукова, тот самый, который когда-то определял Николая на место; на его белой, захватанной двери висел на кольцах большой сарайный замок; за третьей дверью жила молодая, худощавая, остроглазая женщина, с толстыми губами, имевшая троих детей, которые постоянно плакали. По праздникам ее навещал иеромонах, ходила она от утра до вечера в одной юбке, непричесанная, неумытая, но когда поджидала своего иеромонаха, то наряжалась в шелковое платье и завивалась.

В комнатке у Клавдии Абрамовны, как говорится, негде было повернуться. Тут стояли кровать, комод, один стул, и больше ничего – и все-таки было тесно. Но несмотря на это, комнатка содержалась опрятно, и Клавдия Абрамовна называла ее будуаром. Ей самой ее обстановка чрезвычайно нравилась и особенно то, что было на комод: зеркало, пудра, флаконы, губная помада, коробочки, белила и вся роскошь, которую она считала необходимою принадлежностью своей профессии и на которую тратила почти весь свой заработок; тут же были и фотографии в рамочках, на которых она сама представлялась в разных видах. Она была снята со своим мужем почталоном, с которым прожила только год и потом ушла от него, так как не чувствовала призвания к семейной жизни; была снята, как снимаются вообще женщины такого сорта, и с челкой на лбу, и завитою, как барашек, и в солдатском мундире с шашкою наголо, и в виде пажа верхом на стуле, причем ее бедра, обтянутые в трико, лежали на стуле плоско, как две толстые вареные колбасы. Были тут и портреты мужчин – их она называла своими гостями и не всех знала по имени; попал сюда и наш знакомый Кирьяк в качестве родственника: он снялся во весь рост, в черной паре, которую достал где-то на время.

Прежде Клавдия Абрамовна хаживала и на маскарады, и к Филиппову, [65] и целые вечера проводила на Тверском бульваре; с годами же мало-помалу стала домоседкой и теперь, когда ей было уже 42 года, принимала гостей очень редко, и то были немногие, оставшиеся с прежнего времени и ходившие к ней по старой памяти, которые – увы! – тоже состарились и навещали ее всё реже, потому что становилось их с каждым годом всё меньше. Из новых бывал у нее только один очень юный, без усов; этот входил в прихожую тихо, угрюмо, как заговорщик, подняв воротник своего гимназического пальто и стараясь, чтобы его не увидели из гостиной, и потом, уходя, оставлял на комод рубль.

Клавдия Абрамовна по целым дням сидела дома, ничего не делая; иногда, впрочем, в хорошую погоду, она прогуливалась по Малой Бронной и по Тверской, гордо подняв голову, чувствуя себя важной, солидной дамой, и только когда заходила в аптекарский магазин спросить шепотом, нет ли мази от морщин или от красноты рук, то казалось, что ей стыдно. По вечерам она сидела у себя в комнатке, не зажигая огня, и поджидала, не придет ли кто; и часу в одиннадцатом – это случалось теперь редко, раз или два в неделю, – слышалось, как кто-то тихо ходил по лестнице то вверх то вниз и потом шуршал за дверью, ища звонка. Дверь отворялась, слышалось бормотанье, и в прихожую нерешительно входил гость, обыкновенно лысый, полный, старый, некрасивый, и Клавдия Абрамовна спешила ввести его в свою комнатку. Хорошего гостя она обожала. Для нее не было существа выше и достойнее; принять хорошего гостя, деликатно обойтись с ним, уважить его, угодить было потребностью ее души, ее долгом, счастьем, ее гордостью; отказать гостю или обойтись с ним неприветливо она была не в состоянии, даже когда говела.

Ольга, вернувшись из деревни, поместила у нее Сашу на время, рассчитывая, что девочка, пока мала, если и увидит что дурное, то не поймет. Но вот Саше минуло тринадцать лет, уже наступила по-настоящему пора, чтобы подыскать для нее другое помещение, но она и ее тетка привязались друг к другу и уже трудно было разлучить их; да и куда было взять Сашу, так как сама Ольга ютилась в коридоре меблированных комнат и спала на стульях. День проводила Саша у матери, или на улице, или внизу в прачечной, ночевала у тетки на полу, между кроватью и комодом, а если приходил гость, то ложилась в прихожей.

Она любила по вечерам ходить в то место, где служил Иван Макарыч, и смотреть из кухни на танцы. Всегда там играла музыка, было светло и шумно, около повара и судомоек вкусно пахло кушаньями, и дедушка Иван Макарыч давал ей то чаю, то мороженого и совал ей разные кусочки, которые приносил обратно в кухню, на тарелках и блюдах... Как-то осенью, поздно вечером, вернувшись домой от Ивана Макарыча, она принесла в бумажном свертке куриную ногу, кусочек осетрины, кусочек торта... Тетка была уже в постели...

– Милая тетя, – сказала Саша печально, – я принесла вам покушать.

Зажгли огонь. Клавдия Абрамовна стала есть, сидя в постели. А Саша глядела на ее папильотки, придававшие ей страшный вид, на поблекшие, уже старые плечи, глядела долго и печально, как на больную; и вдруг слезы потекли у нее по щекам.

– Милая тетя, – проговорила она дрогнувшим голосом, – милая тетя, утром в

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
прачечной девушки говорили, что в старости вы будете побираться на улице и помрете в больнице. Это неправда, тетя, неправда, – продолжала Саша, уже плача навзрыд, – я вас не брошу, буду вас кормить... и не пушу в больницу...

У Клавдии Абрамовны задрожал подбородок и на глазах блеснули слезы, но тотчас же она сдержала себя и сказала, поглядев строго на Сашу:

– Неприлично слушать прачек.

XI

В меблированных комнатах «Лиссабон» жильцы затихли мало-помалу; запахло гарью притушенных ламп, и длинный коридорный уже растянулся на стульях. Ольга сняла белый чепец с лентами и фартук, накрылась платком и пошла к своим на Патриаршие пруды. Служа в «Лиссабоне», она бывала занята каждый день от утра до позднего вечера и могла ходить к своим редко и только ночью; служба отнимала у нее все время, не оставляя ей ни одной свободной минуты, так что даже с тех пор, как вернулись из деревни, она ни разу не была в церкви.

Она торопилась, чтобы показать Саше письмо, полученное из деревни от Марьи. В письме были только поклоны да жалобы на нужду, на горе, на то, что старики еще живы и даром едят хлеб, но почему-то в этих кривых строках, в которых каждая буква была похожа на калеку, Ольге чудилась особая, скрытая прелесть, и кроме поклонов и жалоб, она читала еще о том, что в деревне теперь теплые ясные дни, что по вечерам бывает тихо, благоухает воздух и слышно, как в церкви на той стороне бьют часы; представлялось ей деревенское кладбище, где лежит ее муж; от зеленых могил веет спокойствием, позавидуешь усопшим – и такой там простор, такое приволье! И странное дело: когда жили в деревне, то сильно хотелось в Москву, теперь же, наоборот, тянуло в деревню.

Ольга разбудила Сашу и, волнуясь, боясь, как бы шепот и свет не обеспокоили кого-нибудь, прочла ей письмо два раза. Потом обе они спустились по темной смрадной лестнице и вышли из дому. В открытые настежь окна видно было, как в прачечной гладили; и за воротами стояли две прачки с папиросками. Ольга и Саша быстро шли по улице и говорили о том, что хорошо бы скопить два рубля и послать их в деревню: один рублик Марье, а за другой отслужить панихиду на могилке Николая.

– Ах, натерпелась я давеча страху! – рассказывала Ольга, всплескивая руками. – Только что сели обедать, касатка, вдруг откуда ни возьмись, Кирьяк – пьяный-распьяный! «Давай, говорит, Ольга, денег!» И кричит, и ногами топчет – давай и все тут. А где я возьму? Жалованья не получаю, сама живу подаяньем, что дадут хорошие господа, тем и богата... Слушать не хочет – давай! Жильцы из номеров глядят, хозяин пришел – чистое наказание, срам! Выпросила у студентов тридцать копеек, дала ему. Ушел... И целый день потом хожу и шепчу: «Смягчи, господи, его сердце!» Так и шепчу.

На улицах было тихо; изредка проезжали ночные извозчики, да где-то далеко, должно быть, в увеселительном саду еще играла музыка и глухо трещали ракеты.

Примечания

Условные сокращения

Архивохранилища

ГБЛ – Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Отдел рукописей (Москва).

ГЛМ – Государственный литературный музей (Москва).

ГМТ – Государственный музей Л. Н. Толстого (Москва).

ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Рукописный отдел (Ленинград).

ЦГАЛИ – Центральный Государственный архив литературы и искусства СССР (Москва).

ЦГИАЛ – Центральный Государственный исторический архив (Ленинград).

Печатные источники

В ссылках на настоящее издание указываются серия (Сочинения или Письма), том

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru (римскими цифрами) и страницы (арабскими).

Антон Чехов и его сюжеты – М. П. Чехов. Антон Чехов и его сюжеты. М., 1923.

Вокруг Чехова – М. П. Чехов. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. Изд. 4-е. М., «Московский рабочий», 1964.

Записки ГБЛ – Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Записки Отдела рукописей.

Летопись – Н. И. Гитович. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. М., Гослитиздат, 1955.

ЛН – «Литературное наследство», т. 68. Чехов. М., изд-во АН СССР, 1960.

Письма Ал. Чехова – Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова. Подготовка текста писем к печати, вступит. статья и коммент. И. С. Ежова. М., Соцэкгиз, 1939. (Всес. б-ка им. В. И. Ленина).

ПССП – А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, тт. I–XX. М., Гослитиздат, 1944–1951.

Чехов – Антон Чехов. Рассказы. Изд. А. Ф. Маркса. СПб., 1901 «Сочинения, том III»; Рассказы. СПб., 1901 «Сочинения, том VIII»; Рассказы. СПб., 1901 «Сочинения, том IX».

Чехов в воспоминаниях – Чехов в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1960.

Чехов и его среда – Чехов и его среда. Сб. под ред. Н. Ф. Бельчикова. Л., Academia, 1930.

Чехов, изд. Атений – А. П. Чехов. Затерянные произведения. Неизданные письма. Воспоминания. Библиография. Под ред. М. Д. Беляева и А. С. Долинина. Труды Пушкинского дома при Российской Академии наук. Л., «Атений», 1925.

Чехов, Лит. архив – А. П. Чехов. Сборник документов и материалов. Подготовили к печати П. С. Попов и И. В. Федоров. Под общей редакцией А. Б. Дермана. М., Гослитиздат, 1947 (Литературный архив, т. 1).

Чеховский сб. – Чеховский сборник. Новонайденные статьи и письма. Воспоминания. Критика. Библиография. М., изд. Об-ва А. П. Чехова и его эпохи, 1929.

В ссылках на Записные книжки Чехова указываются номер книжки (римскими цифрами) и страницы (арабскими). Например: Зап. кн. I, стр. 87.

1

Рассказы и повести, вошедшие в девятый том, написаны в 1894 («Три года») и 1895–1897 годах. Все они были включены Чеховым в собрание сочинений, изданное А. Ф. Марксом, и печатаются по текстам этого издания.

Из рукописных материалов к рассказам и повестям конца 1894–1897 гг. сохранились:

1) Записные книжки. Больше половины Записной книжки I (1891–1904) заполнено заметками к произведениям, входящим в настоящий том (кроме рассказов «Белолобый» и «Супруга»). В Записной книжке II (1891–1896) есть заметки к «Дому с мезонином» и «Моей жизни», в Записной книжке III (1897–1904) – к рассказу «В родном углу» и повести «Мужики». Среди записей, сделанных Чеховым на отдельных листах, некоторые относятся к рассказу «Белолобый», а также к повестям «Три года» и «Мужики» (ЦГАЛИ). Несколько заметок к раннему замыслу повести «Три года» сделано на обороте письма В. И. Бибикова к Чехову 1 февраля 1891 г. (ГБЛ). Полностью все эти записи помещаются в томе XVII Сочинений.

2) Беловая рукопись рассказа «Ариадна» с авторской правкой, 1895 г. (ЦГАЛИ).

3) Черновая рукопись продолжения повести «Мужики» – X и XI главы (ЦГАЛИ).

4) Правка Чехова на печатном оттиске VI–XI глав повести «Моя жизнь» из

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
«Ежемесячных литературных приложений к „Ниве“», 1896, № 11 (ЦГАЛИ).

Кроме того, сохранились вырезки из газеты «Русские ведомости» с пометами Чехова – на тексте рассказов «Печенег» (ГБЛ) и «На подводе» (ЦГАЛИ). В ЦГИАЛ, в делах Главного управления цензуры, обнаружена 193-я страница журнала «Русская мысль» (1897, № 4), вырезанная по требованию цензуры из уже готовой к выходу в свет книжки с повестью «Мужики» и замененная другой (см. стр. 283 наст. тома).

2

Большинство произведений, вошедших в девятый том, создавалось в Мелихове («Три года», «Супруга», «Белолобый», «Ариадна», «Убийство», «Анна на шее», «Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Мужики»). Рассказы «В родном углу», «Печенег» и «На подводе» написаны в Ницце, где Чехов по настоянию врачей прожил восемь месяцев после обострения легочной болезни в марте 1897 г.

Как и в прежние годы, литературная работа перемежалась интенсивной общественной деятельностью (участие в земских делах, строительство школ, лечение крестьян, участие во всероссийской переписи 1897 г. и т. д.).

В 1894–1897 гг. Чехов продолжал печататься в журнале «Русская мысль» и газете «Русские ведомости» (о сближении его с редакциями этих изданий см. в томе VIII Сочинений, стр. 416–418). В «Русской мысли» опубликованы повести «Три года» и «Мужики», сравнительно большие рассказы – «Ариадна», «Убийство», «Дом с мезонином». В «Русские ведомости» Чехов посылал рассказы меньшего объема: «Анна на шее», «В родном углу», «Печенег», «На подводе». Из этих двух изданий Чехов более симпатизировал «Русской мысли». 1 ноября 1896 г. он даже писал В. М. Лаврову, что в «Русской мысли» «хотел бы быть публицистом».

Сотрудничество Чехова в «Ниве» ограничилось публикацией повести «Моя жизнь» в «Ежемесячных литературных приложениях» к журналу. Единичными оказались также выступления Чехова в журнале «Детское чтение» (с рассказом «Белолобый») и в сборнике «Почин», изданном Обществом любителей российской словесности («Супруга»).

В архиве Чехова сохранилось большое количество писем 1895–1897 гг., полученных им от различных редакций с просьбами о сотрудничестве. Каждый новый редактор (Д. И. Тихомиров в «Детском чтении» или А. А. Тихонов (А. Луговой) в «Ниве») или организатор нового издания (инициаторы сб. «Почин» А. Н. Веселовский и Н. И. Стороженко; А. И. Введенский, принявший заведование литературным отделом в газете «Мировые отголоски»; П. И. Кичеев, приступивший к изданию газеты «Новости сезона», и др.), едва начав работу, торопился получить согласие Чехова – дать «рассказ», «рассказец», хоть «что-нибудь». Журнал «Северный вестник», в котором Чехов последний раз печатался в 1892 г., вновь пытался возобновить «знакомство» с ним, и в 1895 г. Н. Минский (Н. М. Виленкин) просил прислать «какой-нибудь рассказ», а в 1896 г. Л. Я. Гуревич – «готовую небольшую вещицу». М. Ф. Волкенштейн передавал приглашение печататься в «Новом слове» (1895 г. – Чехов, Лит. архив, стр. 71), Н. И. Позняков – в альманахе Общества вспомоществования нуждающимся ученицам Васильевской женской гимназии в Петербурге; О. К. Куманина, вдова издателя «Артиста», обращалась с просьбой участвовать во всех ее изданиях; «Торгово-промышленная газета» также надеялась получить от Чехова «готовое произведение» (письмо 1897 г. за подписью М. М. Федорова) и т. д. (ГБЛ).

Получив чеховскую рукопись, редакции моментально публиковали ее – если только это не было каникулярное время, когда произведение Чехова могло остаться не замеченным широкой публикой. «Белолобый», не поспевший к весенним номерам, был отложен до осени – к возвращению учащихся и учителей в город. «Русские ведомости» печатали рассказы только в воскресных номерах. Из произведений, вошедших в настоящий том, ни одно не было напечатано летом.

Отдельными изданиями вышли повести «Мужики» (СПб., 1897) и «Моя жизнь» (в одной книжке с «Мужиками», СПб., изд. А. С. Суворина, изд. 1–7, 1897–1899) и книга «Остров Сахалин» (М., изд. «Русской мысли», 1895). После большого перерыва Чехов вновь обратился к драматургии: осенью 1895 г. написана «Чайка», а через год был готов к печати сборник «Пьесы» (СПб., 1897), где вместе с переработанными прежними произведениями был напечатан впервые «Дядя Ваня».

В 1895–1897 гг. были переизданы сборники, впервые увидевшие свет ранее: «Пестрые рассказы», СПб., 6–9 изд., 1895–1897; «В сумерках», СПб., 8–10 изд., 1895–1897;

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru «Хмурые люди», СПб., 6–7 изд., 1896–1897; «Рассказы», СПб., 9–11 изд., 1895–1897; «Палата № 6», СПб., 4–5 изд., 1895–1897. Переиздавались произведения, вышедшие в свет раньше отдельной книжкой: повесть «Дуэль» – СПб., 5–6 изд., 1895–1897; рассказ «Каштанка» – СПб., 4–5 изд., 1895–1897.

В названные годы вышли в свет и издания, в которых были перепечатаны произведения Чехова, написанные прежде. Для литературного сборника «Призыв» («В пользу престарелых и лишенных способности к труду артистов и их семейств». М., 1897) Чехов сам переделал два старых рассказа: «На кладбище» (1884) и «Зимние слезы» (1887, изменив заглавие на «Рассказ госпожи NN»). Рассказы «Володя» (1887), «В суде» (1886), «Припадок» (1889), «Тоска» (1886), «Устрицы» (1884) перепечатаны в сб. «Проблески. Сборник произведений русских авторов (М. Анютина, М. Бергин, П. Добротворского, Г. Каргрем, Д. Мамина-Сибиряка, В. Немировича-Данченко, К. Станюковича, В. Стерн, Н. Тимковского, Г. Успенского, А. Чехова, И. Ясинского)». Издание «Посредника», XLVI. Для интеллигентных читателей. М., 1895. Рассказ «Ванька» (1886) – в сборнике «Несчастные» (М., 1895).

Судя по записным книжкам, в эти годы сложились замыслы произведений, к работе над которыми Чехов вплотную приступил позже («Душечка», «Крыжовник», «Дама с собачкой», «Новая дача», «У знакомых» и др.). В записных книжках этих лет есть уже заметки, использованные впоследствии в пьесе «Вишневый сад».

О творческой активности этих лет свидетельствует постоянная готовность Чехова заменить посланную рукопись, в случае необходимости, другой. Он обещает это А. А. Тихонову (А. Луговому) – из опасения, что «Моя жизнь» окажется не подходящей для «Нивы»; В. А. Гольцеву – в связи с желанием задержать печатание «Ариадны»; В. М. Соболевскому – боясь, что рассказ «В родном углу» для газеты может показаться длинным или в надежде подольше поработать над корректурой рассказа «На подводе».

Остались неосуществленными замыслы:

1. Книга о земских школах Серпуховского уезда. О ней Чехов писал А. С. Суворину 14 декабря 1896 г.: «Я готовлю материал для книги, вроде „Сахалина“, в которой изображу все 60 земских школ нашего уезда, взявши исключительно их бытовую хозяйственную сторону. Это земцам на потребу». Когда Н. М. Ежов, работая московским фельетонистом «Нового времени», испытывал затруднения в выборе тем, Чехов ему обещал дать сведения о земских школах. Это видно из письма Ежова 17 июня 1897 г.: «Мы говорили с Вами насчет сельских школ (земских); Вы обещали дать мне матерьял для фельетона, – каким бы образом нам потолковать еще раз?» (ГБЛ; Чехов, Лит. архив, стр. 100). «О земских школах и вообще о земстве поговорим. Могу дать Вам, буде пожелаете, много материала», – подтвердил Чехов свое обещание в ответном письме 21 июня 1897 г. Собираясь в июле приехать за материалом в Мелихово, Ежов обещал: «...нужные Вам брошюры сохранию в целости» (6 июля 1897 г. – ГБЛ). Фельетоны Ежова в «Новом времени» за июль – декабрь 1897 г. тему земских школ не затрагивают.

2. Продолжение повести «Мужики» (о событиях, которые должны были произойти после возвращения Ольги и Саши в Москву, – см. стр. 344–348 и 510 наст. тома).

3. В письме к Суворину 20 июня 1896 г. Чехов предлагал переделать вместе с ним «на русские нравы» пьесу Лауры Маргольм «Карла Бюринг».

26 июня Чехов писал Суворину: «А пьесу я напишу, уж это Вы не беспокоитесь. Пьесы будут, была бы порядочная труппа». Чехов тогда, только что кончив работу над «Чайкой», собирался вернуться к старым пьесам в связи с их переизданием (в сборнике 1897 г.) и, видимо, предполагал писать новые; в частности, он мог иметь в виду и свою работу над «Дядей Ваней». После провала «Чайки» в Александрийском театре 17 октября 1896 г. настроение его круто изменилось: «Никогда я не буду ни писать пьес, ни ставить» (Суворину, 18 октября 1896 г.).

Т. Л. Щепкина-Куперник вспоминает чеховские «сюжеты», рассказанные ей: «Как-то Антон Павлович затеял писать со мной вдвоем одноактную пьесу и написал мне для нее длинный первый монолог. Пьеса должна была называться „День писательницы“. Монолог тоже заключал множество всяких шуток по моему адресу и начинался так: „Я – писательница. Вы не верите? Посмотрите на эти руки: это руки честной труженицы: вот даже чернильное пятнышко“. (У меня всегда бывало чернильное пятно

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru на среднем пальце...) <...> запомнила еще, как писательница мечтает уехать в деревню: „Чтобы был снег... тишина-тишина... вдаль собаки лают и кто-то на гармошке играет, а ля какой-нибудь Чехов“ <...>.

Помню, как-то раз шли мы в усадьбу после дождя, который мы долго переждали в какой-то пустой риге, и Чехов, держа мокрый зонтик, сказал:

– Вот бы надо написать такой водевиль: переждут двое дождь в пустой риге; шутят, смеются, сушат зонты, объясняются в любви; потом дождь проходит, солнце, и вдруг он умирает от разрыва сердца.

– Бог с вами! – изумилась я. – Какой же это будет „водевиль“?...

– А зато жизненно. Разве так не бывает? Вот шутим, смеемся, и вдруг – хлоп, конец!...» (Чехов, изд. Атеней, стр. 240–241; «Чехов в воспоминаниях современников». М., 1952, стр. 280).

В середине 90-х гг. Чехов вернулся к мысли о романе. Об этом свидетельствует история создания двух самых крупных произведений 1894–1896 гг. – повестей «Три года» и «Моя жизнь». Но в процессе работы границы обоих задуманных «романов» постепенно суживались. Уменьшалось число действующих лиц, сокращалось количество эпизодов, сжимались описания и т. д. (см. примечания к повести «Три года»). Осуществлению первоначальных широких замыслов отчасти мешало и то, что Чехов брал обязательства, которые требовали безотлагательной, срочной работы. С января 1895 г. до весны 1896 г., когда была начата «Моя жизнь», Чехов написал и опубликовал 6 рассказов: «Супруга», «Белолобый», «Анна на шее», «Убийство», «Ариадна», «Дом с мезонином». Рассказ «Супруга», обещанный в сб. «Почин», когда он трудился над «Рассказом старшего садовника» и повестью «Три года», опоздал против намеченного срока на три месяца, хотя объем его был невелик (четыре страницы). Рукопись «Моей жизни» пришлось посылать в два приема – так что конец повести Чехов писал, не имея в руках начала. И как «роман из московской жизни» («Три года») постепенно превратился в повесть (а в печати появился с подзаголовком «Рассказ»), так и «роман для „Нивы“» («Моя жизнь») был опубликован в этом журнале как повесть (в отдельном издании значилось: «Рассказы: 1. „Мужики“». 2. „Моя жизнь“» и в подзаголовке «Моей жизни» – «Рассказ провинциала»).

Болезнь, обострившаяся весной 1897 г., когда шла корректура «Мужиков», изменила темп литературной деятельности Чехова. Занятый лечением, он – насколько известно из его писем – летом этого года ничего не писал.

Осенью 1897 г., уже после трех недель жизни на юге Франции, Чехов стал тяготиться отдыхом: «Праздность опротивела. Да и деньги тают, как безе» (письмо к М. П. Чеховой, 25 сентября 1897 г.). Первое известие о намерении возобновить прерванный литературный труд – в письме к М. П. Чеховой 9 октября 1897 г.: «...сажусь писать рассказ»; первое указание относительно начала работы – в письме Г. М. Чехову 11 октября: «Стал работать понемножку и, быть может, привыкну к чужому письменному столу». В эти же дни Чехов писал Я. Л. Барскову: «...я теперь в таком настроении, что могу работать и, по всей вероятности, это настроение не мимолетное. Мне хочется писать» (12 октября 1897 г.). А через пять дней послал Соболевскому первый «плод» своей «праздной музыки» – рассказ «В родном углу». Через неделю – второй рассказ, «Печенег», почти через месяц – 20 ноября – третий рассказ, «На подводе».

Ко времени создания этих произведений, написанных за границей, но посвященных чисто русской тематике (к декабрю 1897 г. была, кроме того, завершена в основном работа над рассказом «У знакомых»), относится признание Чехова, характеризующее особенность его творческого процесса: «Я умею писать только по воспоминаниям и никогда не писал непосредственно с натуры. Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично» (письмо Ф. Д. Батюшкову 15(27) декабря 1897 г.).

У Чехова было постоянное чувство, что он пишет мало. Имели значение и материальные соображения. Начиная 1895 год большими творческими планами, Чехов пояснял: «И деньги нужны адски» (Суворину, 19 января 1895 г.). Кончил он год с этим же чувством. Собираясь пожить в Петербурге, он писал Суворину: «...но если не буду работать, то уеду из Петербурга через 2–3 дня. Не работать мне нельзя. Денег у меня так мало, а работаю я так медленно, что прогуляй я 2–3 недели (я

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru прогулял их уже 5), мое финансовое равновесие пойдет к черту и я залезу в долги. Я зарабатываю черт знает как мало» (29 декабря 1895 г.). Эти строки, в сопоставлении с предложением Суворина о внеочередном авансе, последовавшем после отказа Чехова поехать в Петербург из-за плачевного состояния «финансов», свидетельствуют о серьезных материальных затруднениях, которые испытывал Чехов, находясь в зависимости от издательства Суворина. Не из простого любопытства, конечно, Чехов спрашивал А. А. Тихонова, в качестве редактора «Нивы» близко соприкасавшегося со всеми предпринимательскими делами А. Ф. Маркса: «Правда ли, что Маркс купил на вечные времена сочинения Фета? Если правда (и если не секрет), то за сколько? Полонский издан недурно» (29 марта 1896 г.). В январе 1899 г. Чехов заключил договор с Марксом об издании своих сочинений.

3

Обдумывая сюжеты 1894–1897 гг., Чехов обращался к таганрогским впечатлениям («Моя жизнь», «Печенег», «В родном углу», отчасти «Убийство»). лето 1891 г., проведенное в Богимове, всплыло в памяти во время работы над «Домом с мезонином». Изображение европейских курортов в «Ариадне» восходит к заграничным впечатлениям 1891 и 1894 гг.

Но основной пласт жизненных впечатлений в произведениях этих лет относится к мелиховскому времени (Чехов поселился в Мелихове с марта 1892 г.). Общение с мелиховскими крестьянами углубило знание крестьянского быта, что отразилось особенно в «Доме с мезонином», «Моей жизни», «Мужиках», «На подводе».

В воспоминаниях родных и знакомых Чехова приводятся сведения о лицах и фактах, которые послужили материалом для многих произведений. Но при обращении к свидетельствам мемуаристов следует критически воспринимать их стремление отождествлять чеховских героев с определенными прототипами. Там, где бывал Чехов, после его смерти жители также охотно выискивали своих, «местных» прототипов. «В Сумах вам могут указать на героев Чехова <...>. Назовут Сою, профессора Серебрякова, Вафлю, Мисюшь», – писал в 1911 г. А. Епифанский (А. А. Тетерев), посетивший чеховские места на Украине («Солнце России», 1911, июль, № 35/75, стр. 3). Чем большей популярностью пользовался герой, тем большее количество «прототипов» к нему находили современники. Образы Мисюшь и ее сестры Лиды насчитывают наибольшее количество реальных «соответствий». Существование нескольких «прототипов» для одного литературного героя – наилучший показатель того, как условно само понятие прототипа; особенно это касается творчества Чехова.

Литературные источники, с которыми так или иначе соотносятся суждения чеховских героев, почти всегда злободневны. Споры о влиянии цивилизации и прогресса на нравственность, дебаты по поводу женской эмансипации, обсуждение проблемы, должно ли искусство отвечать общественным запросам – всем этим жила русская интеллигенция конца века. Воззрения некоторых чеховских героев перекликаются со взглядами писателей и философов, чьи произведения живо обсуждались в печати 1880-х – 1890-х гг. Это О. Конт, Г. Спенсер и А. Шопенгауэр, Лев Толстой и Август Стриндберг и др.

С оживлением общественно-политической жизни России в середине 1890-х гг. усилилось внимание Чехова к одной из самых насущных проблем времени – к судьбе пореформенного крестьянства. Сказался и опыт жизни в Мелихове, в постоянной близости к нуждам русской деревни: в 1896–1897 гг. Чехов написал подряд три произведения, посвященные – в разной степени – положению крестьянства: «Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Мужики». Повесть «Мужики» имела всероссийский резонанс. «Успех этот напоминает нам те времена, когда появлялся новый роман Тургенева или Достоевского», – писал анонимный автор в «Северном вестнике» (1897, № 6, стр. 335). Современники (например, И. А. Бунин) считали, что настоящая слава к Чехову пришла только с «Мужиками». Критики признавали, что Чехов стал теперь самой крупной после Л. Толстого фигурой русской литературы. Благодаря «мужицкой» теме имя Чехова было поставлено рядом с именами крупнейших европейских художников – Бальзака, Золя, Гауптмана. Разгоревшаяся полемика между народниками и легальными марксистами вокруг «Мужиков» была фактом не только литературной, но и общественно-политической жизни России: в спорах обсуждались не столько художественные достоинства повести, сколько вопросы, связанные с историческим развитием русской деревни.

Об определенном идейном переломе в настроении Чехова в эти годы свидетельствовало и появление в рассуждениях его героев, начиная с повести «Три

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru года», того мотива лучшего будущего, который особенно усилился в его последних произведениях. Работая над этой повестью, Чехов много размышлял на общественные темы, особенно – о долге каждого человека перед будущим. В соседстве с заметками к повести есть, например, такие: «Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной; надо работать, имея в виду только будущее» (Зап. кн. I, стр. 23); «Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья; если же оно проистекает не отсюда, а из теоретических или иных соображений, то оно не то» (стр. 3).

4

К середине 90-х гг. Чехов становится одним из самых популярных писателей России. Его произведениями восхищаются крупные деятели культуры (Л. Толстой, И. Е. Репин, А. И. Сумбатов (Южин), Вл. И. Немирович-Данченко). К этим годам относится первое сведение об изучении творчества Чехова студентами. «Недавно после лекции, – писал Чехову А. Н. Веселовский, читавший курс литературы в Московском университете и Лазаревском институте, – подходит ко мне студент и просит прочесть большую работу его о... Чехове. Я еще не получил ее, но спешу упомянуть о ней как о характерном признаке времени» (17 декабря 1897 г. – ГБЛ).

Об интересе иностранных читателей к творчеству Чехова этих лет ему писали в разное время – из Чехии Болеслав Прусик, Елизавета Биля и Эльза Голлер (она печатала в Праге свои переводы на немецкий язык), из Германии – Луиза Флак, из Франции – Дени Рош и Клэр Дюкрё (с Дюкрё Чехов познакомился в Ницце в октябре 1897 г.). Книгу своих переводов, вышедшую в Париже, в которой был напечатан рассказ «Враги», прислала Чехову переводчица Ю. М. Загуляева (Les conteurs russes modernes. Recueil de nouvelles. Trad. de M^{lle} Julie Zagouliatzeff. Paris, 1895). В 1897 г. Чехов получил два перевода «Дуэли» – на чешский язык (от Б. Прусика из Праги) и на немецкий язык (от К. Хольма из Мюнхена) – см. Чехов и его среда, стр. 308 и 310. Французский славист Жюль Легра в книге «Au pays russe» («В русской стране»), вышедшей в Париже в 1895 г., рассказал о своем впечатлении от встречи с Чеховым в Мелихове в 1892 г. и дал первую во Франции характеристику Чехова-новеллиста. Редакция берлинской газеты «Neue Deutsche Rundschau» писала о своем желании дать в газете очерк литературной деятельности Чехова (1895). В чешском журнале «Květy» в 1897 г. была напечатана статья о Чехове переводчика Б. Прусика (см. ЛН, стр. 212). В Германии вышла новая книга рассказов Чехова: «Russische Liebelei». München und Leipzig, 1897 (рассказы «Ариадна», «Попрыгунья», «Припадок». «Володя большой и Володя маленький» в переводе Луизы Флак). Пристально следили за творчеством Чехова шведские переводчики: они выпустили книгу рассказов и повестей «Musjikerna med flera berättelser» (Sthlm, 1897, – «„Мужики“ и другие рассказы») и вели интенсивные переговоры с Чеховым относительно перевода «Моей жизни» (см. ЛН, стр. 213–215 и стр. 507 наст. тома). За разрешением сделать несколько переводов на польский язык для варшавских и краковских журналов обратился к Чехову Л. Забавский (1896 г.), на немецкий язык – А. К. Грефе (1895 г.) и Г. Вольфгейм (1897 г.) (ГБЛ). Болгарское общество «Славянская беседа» просило Чехова прислать несколько строк для издания книги автографов наиболее известных славянских писателей (1895 г.). Мировая слава Чехова росла.

Цикл критических высказываний о Чехове в 1895–1897 гг. открыла статья П. Н. Краснова «Осенние беллетристы. II. Ан. П. Чехов» («Труд», 1895, № 1). Она охватывает весь творческий путь Чехова до 1894 г. включительно (без повести «Три года», начавшей печататься лишь в январе 1895 г.) и делит его на три периода: начало 1880-х гг. (юмористический), вторая половина 1880-х гг. (отражение настроений «вялости, нервности и тоски» в сборниках «В сумерках», «Хмурые люди», «Рассказы» и пьесе «Иванов») и первая половина 1890-х гг. (отражение «смутных настроений» эпохи и «чуть начинающих» общественных движений – особенно в «Жене», «Палате № 6» и др.). В целом Краснов считал, что произведения Чехова дают ключ к пониманию общественных настроений, преимущественно – «недугов» современного общества. Защищая пристрастие Чехова к малым формам, Краснов писал о том, что в рассказах Чехова жизнь понимается как сцепление случайных событий: «...характерно для жизни нашего времени, что все эти отдельные случаи не имеют общей связи и существуют каждый как бы сами по себе. И все такие элементарные впечатления, произведенные на нас общею жизнью, нашим участием в ней, мы найдем весьма полно и всесторонне изображенными в рассказах Чехова» (стр. 204). В статье была замечена главная особенность чеховского психологизма – понимание внутреннего движения души и даже самой сущности характеров по внешним чертам – жестам, выражению лица, глаз (стр. 202). Высоко оценив Чехова-новеллиста, Краснов ставил рядом с ним только Мопассана, причем считал, что «в смысле идеи,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
понимания жизни г. Чехов неизмеримо выше Мопассана» (стр. 204–205).

В статьях о Чехове давно уже не было споров о том, насколько он талантлив: художественный талант его был бесспорен для всех. К этому вопросу критики обращались теперь как правило лишь для того, чтобы противопоставить выдающееся мастерство Чехова его идейной «ущербности». Нападки на «унылое» мирозерцание Чехова, начавшиеся еще во второй половине 1880-х гг., продолжались. На одинаковой оценке «индифферентизма», якобы проповедуемого Чеховым в «Доме с мезонином», сходились критики-народники («Новое слово») и либералы («Русские ведомости»). К ним примыкали и легальные марксисты, упрекавшие Чехова в неумении создать «цельную картину» жизни (А. И. Богданович о «Моей жизни»). Реакционные критики (например, К. П. Медведский в статье «Жертва безвременья» – «Русский вестник», 1896, № 7, 8), наоборот, были недовольны тем, что Чехов не пристал к «большому», «независимому» искусству.

Дебаты по поводу идейного содержания произведений Чехова развернулись после выхода «Дома с мезонином» и «Моей жизни» и – с особой силой – после «Мужиков».

Все рецензенты «Дома с мезонином» почувствовали актуальность вопросов, поднятых героями этого рассказа: в середине 1890-х гг. (десятилетия, начавшегося грозными бедствиями – голодом и холерой) еще устойчиво держалась теория «малых дел». В «Моей жизни» социальная проблематика была уже не предметом рассуждений и споров между героями, а частью самого сюжета: повесть была посвящена судьбе дворянина, не выдержавшего лицемерия и несправедливости общества, в котором он жил, и, после тщетных усилий исправить дело личной помощью крестьянам, превратившегося в отщепенца.

В печати обсуждался характер «отщепенства» Полознева, которое большею частью отождествлялось с «доктриной» Л. Толстого. Сложность отношения Чехова к толстовской философии осталась непонятой, и повесть была расценена как «толстовская». Изображение крестьянства в главах, где описывалась жизнь героев в деревне, было вскоре заслонено в глазах критиков картиной русской деревни, развернутой широко в «Мужиках».

Острая полемика между народниками и легальными марксистами по поводу мрачной картины деревенской жизни в «Мужиках» принадлежит к самым напряженным эпизодам литературно-общественной борьбы в дореволюционной России. Отрицательное отношение либеральных народников к повести не ограничилось критическими высказываниями о ней. Союз взаимопомощи русских писателей, в котором они играли большую роль, затормозил избрание Чехова: заявление о приеме в Союз Чехов подал 2 мая 1897 г., а принят был только 31 октября. Узнав, что из-за «вредной тенденции» «Мужиков» его чуть было не забаллотировали, Чехов не вступил в Союз взаимопомощи (подробнее об этом см. в томе VI Писем). Разрыв Чехова с либерально-народническим направлением в критике все более углублялся.

Остальные произведения, в которых социальная проблематика не выражалась столь явно, оценивались критикой узко, лишь на основании чисто фабульных отношений между героями. Так, из оценок «Ариадны» выпал вопрос о положении женщины в современном обществе, широко обсуждавшийся и в публицистических, и в художественных произведениях конца века. Никто из критиков не заметил в этом рассказе отклика на антифеминистические взгляды известных писателей и философов. Критика прошла мимо нового для Чехова интереса – к общественным причинам психологических явлений (внимание к родословной героев – «Три года», «Убийство»).

Вне внимания критиков остались источники социально-философских споров – о роли нравственности в социальном прогрессе, о перспективах уничтожения неравенства и т. д. («Три года», «Моя жизнь», отчасти «Дом с мезонином»). «Ариадна» и «Дом с мезонином» вызвали даже упрек в отсутствии серьезного содержания. «Не видно, чтобы жизнь тревожила и волновала его...», – писал по поводу этих рассказов о Чехове П. Скриба (Е. А. Соловьев) в «Новостях и биржевой газете» (1896, № 127, 9 мая).

Большое место в критике заняло обсуждение вопроса о том, насколько Чехов справлялся с большой повествовательной формой. О недостатках крупных произведений Чехова бегло писал Краснов, возводя их к особенностям эпохи, в которой отсутствуют героические натурны, а «большинство людей на одно лицо» (стр. 203). После выхода повестей – «Три года» и «Моя жизнь» – неспособность Чехова

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru объединить отдельные эпизоды в общую картину жизни пытались доказать рецензенты самых различных направлений – «Русского вестника» (1896, № 2, – П. А. Ачкасов), «Мира божьего» (1897, № 12, – А. Б. «А. И. Богданович») и др.

Критики, преимущественно либеральные, сетовали на «безоценочность» изображения жизни в произведениях Чехова. Повод к этому дала фабульная незавершенность повести «Три года» (отзывы А. М. Скабичевского, М. Полтавского (М. И. Дубинского), W – рецензента «Русского обозрения»). Неприятие именно той особенности поэтики чеховской повести, которая составляла ее новизну, свидетельствовало о том, что рецензенты исходили из традиционных представлений о большой художественной форме, которым противоречила повесть. Высказывания этого характера были подытожены в книге К. Ф. Головина (Орловского) «Русский роман и русское общество» (СПб., 1897, глава «Современное затишье»). По его мнению, «отрывочность» концепций, характерная для Чехова-новеллиста, сохранилась и в его крупных вещах. Параграф о Чехове Головин завершил словами: «Перед г. Чеховым много еще времени впереди. Может быть, он когда-нибудь еще и напишет настоящее крупное произведение – не по объему только. Но пока он этого не сделал. И критика вправе к нему относиться строже, чем к другим, потому что кому дано много, с того много и спросится» (стр. 462).

Доброжелательный тон даже этой суровой оценки вызвал возражение у П. Скрибы, который в рецензии на повесть «Мужики» настойчиво писал: «Одна из первых вещей – „Степь“ и последняя, „Мужики“, г. Чехова – лучшее доказательство неспособности г. Чехова возвыситься до художественного синтеза» («Новости и биржевая газета», 1897, № 118, 1 мая).

Обращение Чехова к большой форме особенно резко было оценено реакционной критикой. Заслуга «либералов», привлекавших Чехова к сотрудничеству в толстых журналах (где печатались все его повести, кроме «Дуэли»), расценивалась реакционными критиками как зло, причиненное таланту Чехова. Один из повторяющихся мотивов в откликах реакционной печати – сожаление о том, что Чехов поддался давлению «либералов» и, бросив маленькие рассказы, стал писать большие произведения.

Таким образом, рассказы – как и прежде – оставались мерилom для оценки Чехова-художника: одни (преимущественно либерально настроенные критики), не видя идейной ценности в рассказах, старались отвлечь от них Чехова к более крупным повествовательным жанрам, другие (в основном реакционные критики), встречая враждебно прогрессивное содержание крупных произведений Чехова и не понимая их художественной новизны, укоряли его за «измену» своему природному дару.

Между тем, Чехов не бросал писать рассказы и в эти годы. «Супруга», «Белолобый», «Печенег» и др. по объему почти не превосходят рассказов 1880-х гг. Тем не менее когда Чехов обращался в рассказах к прежним новеллистическим концовкам, критика это осуждала – см. отзывы Ю. Николаева (Ю. Н. Говорухи-Отрока) о «Супруге» и «Анне на шее».

От внимания критики, явно растерявшейся в оценке повествовательных принципов Чехова в больших и малых жанрах, ускользала их общая важная особенность – связь между сохранившимся прежним пристрастием писателя к короткому рассказу и своеобразием формы его крупной повести (тяготеющей не к растянутому рассказу, как думало большинство критиков, а к компактному роману). Именно эта связь в высшей степени характеризует искусство Чехова-прозаика середины 90-х гг. Не случайно он так настойчиво возвращался в эти годы к размышлениям о краткости как определенном эстетическом понятии. В советах молодым – независимо от того, шла ли речь о работе над рассказом или романом – звучал, как и прежде, призыв к лаконичности как необходимому элементу художественного совершенствования произведения (см., например, письма к Л. А. Авилевой 15 февраля 1895 г. и 3 ноября 1897 г., Е. М. Шавровой 17 мая 1895 г. и 20 ноября 1896 г. и др.).

Было, однако, среди критиков и несколько защитников крупной повествовательной формы Чехова. Так, Я. В. Абрамов в статье «Наша жизнь в произведениях Чехова» («Книжки Недели», 1898, № 6) высказал уверенность, что Чехов «способен к широкой концепции», о чем свидетельствуют, по его мнению, повести «Моя жизнь» и «Мужики», хотя они и являются лишь подготовительной ступенью к «синтетическому» труду.

Опираясь на эти две повести, Д. Н. Овсяннико-Куликовский («Журнал для всех»,
Страница 183

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru 1899, № 2) также отстаивал право художника на свой особый – экспериментаторский метод, позволяющий отбирать из хаоса явлений наиболее характерные. Такая позиция была ближе к пониманию своеобразия художественного мышления Чехова, чем утвердившееся до этого в критике мнение (с наибольшей резкостью выраженное в статьях Н. К. Михайловского начала 1890-х гг.), что Чехов бесстрастно изображает все, что ему попадает на глаза. Впоследствии точку зрения Михайловского еще более основательно оспорил М. Горький в статье о повести «В овраге» («Нижегородский листок», 1900, № 29, 30 января). Отрицание бесстрастной «всеядности» Чехова-художника, лишь объективно противостоявшее в работах Абрамова и Овсяннико-Куликовского утверждениям народнической критики, привело Горького к более радикальным выводам и публичному признанию у Чехова «высшей точки зрения», освещающей многообразные явления жизни.

* * *

Тексты и варианты к ним подготовили: Т. И. Орнатская (1894–1896) и А. Л. Гришунин (1897). Примечания написали: Э. А. Полоцкая (вступительная статья, 1894–1896) и А. Л. Гришунин (1897). Отрывок «Шульц» подготовлен к печати и прокомментирован Э. А. Полоцкой.

Три года

Впервые – «Русская мысль», 1895, № 1, стр. 1–53 (главы I–IX); № 2, стр. 115–156 (главы X–XVIII). Подзаголовок: Рассказ. Подпись: Антон Чехов.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту. Чехов, т. VIII, стр. 216–322.

Первая фраза повести: «Было еще темно, но кое-где в домах уже засветились огни и в конце улицы из-за казармы стала подниматься бледная луна» вызвала еще при жизни Чехова замечание о неточности (анонимная рецензия в «Литературном обозрении»), 1895, № 13, 26 марта). В наше время Г. В. Иванов в статье «Заметки филолога. Узаконенная „описка“ Чехова. (О первой фразе повести Чехова „Три года“)» («Вестник ЛГУ», 1965, № 20, серия истории, языка и литературы. Выпуск 4, стр. 145–146) также предлагал считать слово «темно» опiskeй – вместо «светло»; ср.: С. А. Рейсер. Палеография и текстология нового времени. М., 1970, стр. 170. Возможно однако, что это не описка. Контекст первой главы, начиная с этой фразы, не позволяет внести изменение в авторский текст. О темноте в этой главе говорится и позже: «темные, неподвижные деревья», «темные фигуры», «темно в гостиной» (луна ярко светит лишь в конце главы). Не исключено, что в этой фразе Чехов хотел противопоставить темноту летнего вечера уже появляющимся редким источникам света – огням в окнах и бледной, только восходящей луне.

1

Самые ранние из сохранившихся записей к повести сделаны на автографе письма В. И. Бибикова к Чехову 1 февраля 1891 г. (ГБЛ; см. т. XVII Сочинений). Здесь упоминаются персонажи первоначального замысла: тет<ушка>, Жд., Ив., мать, «девы», которые «дурчат тетушку», офицер, лиза, Я. (будущий Ярцев). Зафиксирована также мысль, характерная для будущего центрального героя повести – Лаптева: «Чтобы решать вопросы о богатстве, смерти и пр., нужно сначала ставить эти вопросы правильно, а для этого нужна продолжительная умственная и душевная работа». Среди записей есть фраза, вошедшая в окончательный текст: «Москва – город, которому придется много страдать». «Три года» – произведение, к которому в записной книжке сделано наибольшее количество заметок (около 200). Заметки, использованные в повести, расположены на стр. 5–7, 11, 12, 17–40 записной книжки I и среди записей на отдельных листах. Они могли быть сделаны приблизительно в период с марта 1891 г. по декабрь 1894 г. Одновременно Чехов обдумывал и другие сюжеты. Среди заметок к повести «Три года» имеются записи к произведениям: «Страх», «Остров Сахалин», «Соседи», «Жена», «По делам службы», «Ариадна», «Чайка», «Белолобый».

Прежде чем возникли образы Лаптева, размышляющего о богатстве и смерти, и Ярцева, думающего об исторической судьбе Москвы, Чехов сделал ряд записей, заметно отличающихся от окончательно сложившегося сюжета повести. В записной книжке, которую он начал вести, уезжая за границу в марте 1891 г. (Записная книжка I, 1891–1904 – ГБЛ; см. т. XVII Сочинений), уже в самом начале также упоминаются персонажи, отсутствующие в повести: Иван, Софья, Ивашин, О. И., брат О. И., Алеша, мать Алеши.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru От этого неосуществленного замысла среди бумаг Чехова сохранились записи, к которым он хотел вернуться в 1897 г. В письме из Ниццы 17 декабря 1897 г. он просил сестру найти у него в столе и прислать ему «вырезки писчей бумаги с кусочками начатой, но оставленной повести»: «...действующие лица, помнится, называются Алеша, Маша, мать; есть описание комнаты, в которую со всего дома снесена симпатичная мебель». Имеются в виду следующие отрывки: 1) «... лучом благодати твоей просвети мою душу...» и т. д. (Гос. Литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова в Мелихове; в ПССП опубликовано под заглавием [Отрывки из повести] – т. XII, стр. 326). За этими последними словами молитвы, которую читает Ольга Ивановна, следует абзац, посвященный ей: «Она читала молитву, написанную на листке почтовой бумаги и сочиненную одним стариком...». Второй абзац отрывка посвящен Алеше («Алеше не хотелось спать...» и т. д.). Здесь говорится также о матери Алеши и его сестре, которые приехали из театра и привезли с собой Ивашина. 2) «К старым отживающим креслам, стульям и кушеткам Ольга Ивановна отосилась...» и т. д. (ЦГАЛИ; в ПССП опубликовано в разделе: [Записи на отдельных листах], л. 5 – т. XII, стр. 301). В этом отрывке о комнате Ольги Ивановны говорится, что она была «чем-то вроде богадельни для мебели». 3) «кто, что тетушка страдает и не морщится, производило на него впечатление фокуса» и т. д. (ЦГАЛИ; [Записи на отдельных листах], л. 8 – ПССП, т. XII, стр. 302). Здесь упоминается Алеша, с его мыслями о женитбе, и О. И., о которой говорится, что она «была в постоянном движении; такие женщины», как пчелы, разносят оплодотворяющую цветочную пыль...»

В бумагах, имеющих отношение к первоначальному замыслу, есть еще имена: Иванов (со слугой Петром), Надя Вишневская, Вишневские (Виш., В.). Из этих имен в окончательный текст вошло лишь имя главного героя (Алеша) и его слуги (Петр). Начиная со стр. 18 Записной книжки I и на л. 12 [Записей на отдельных листах] герои называются только как в повести: Костя, Киш, Я. (или Ярцев), Ф. (или Федор), Л. (или Лаптев) и др.

фабульные связи между этими героями располагаются приблизительно так: Ольга Ивановна – вдова, имеющая детей (она читает молитву, сочиненную товарищем ее покойного мужа, и в молитве говорится «обо всем, что нужно: и о счастье, и о детях...»). У нее, как уже отмечалось, есть брат. Алеша, возможно, ее сын. Ивашин – друг Алеши. Он богат, выезжает в шубе и фраке делать светские визиты, влюблен в Надю Вишневскую. Можно предположить, что Надя – сестра Алеши: вместе с матерью и сестрой Алеши Ивашин возвращается после театра к ним домой, и Алеша радуется, что сможет с ним долго разговаривать. У Ивашина есть еще друг – Я.; с ним Ивашин делится впечатлениями о визите к Наде Вишневской.

Осенью 1891 г. Чехов оставил в стороне историю Ольги Ивановны, Алеши и Ивашина (отсюда его слова об «оставленной повести») и лишь некоторые мотивы ее использовал в повести «Три года». Слова: «Ах, какой у меня сюжет для повести! <...> Листов на пять» (письмо к А. С. Суворину 16 октября 1891 г.) могли относиться именно к этому, еще не расчлененному, богатому разными фабульными ответвлениями замыслу (см. обоснование: «В творческой лаборатории Чехова». М., 1974, стр. 14).

Почти через год Чехов сообщал Суворину же: «Пишу вещь, в которой сотня действующих лиц, лето, осень – и всё это у меня обрывается, путается, забывается...» (8 декабря 1892 г.). Очевидно, к этому времени Чехов уже начал писать повесть, но писал отрывками и едва ли написал много.

Каково соотношение между героями «оставленной повести» в повести «Три года»?

От Алеши и Ивашина к Алексею Лаптеву перешли рассуждения о любви и браке, о богатстве и смерти, а также связь с «инсипидкой», [66] т. е. будущей Рассудиной (в первой записи она названа вдовой доктора – см. Зап. кн. I, стр. 9; в повести это жена педагога, ушедшая от мужа); к переживаниям Ивашина восходит то ощущение неполноценности, которое испытывает Лаптев, встречая любимую девушку. От Иванова в повести осталось лишь имя его слуги: Петр. К Ярцеву отнесена – в измененном виде – мысль Ивашина: «Какое наслаждение уважать людей! Мне [нет де] «ла», когда я вижу книги, нет дела до того, как авторы любили...» и т. д. (запись на обороте письма Бибикова).

Некоторые черты Ольги Ивановны, в частности, ее наивно-поэтическое восприятие церковных обрядов, использованы в образе Юлии Белавиной. Трудясь в конце 1891 г. над рассказом «Попрыгунья» (к нему в записных книжках нет ни одной записи),

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Чехов назвал героиню тоже Ольгой Ивановной – значит, уже тогда он оставил работу над повестью в начатом направлении.

Среди последних заметок к повести есть две, связанные с ее содержанием, но не использованные непосредственно в тексте: 1) «Спальня. Лунный свет бьет в окно, так что видны даже пуговицы на сорочке» (стр. 41). В журнальном тексте о лунном свете говорилось сходным образом: «Луна светила так ярко, что можно было разглядеть на земле каждую соломинку...» – ср. стр. 15, строки 28–29. 2) «Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой» (стр. 41). В печатном тексте XVII главы появились иные слова – см. стр. 90, строки 17–22.

Всего осталось не использовано около 50 записей, которые, очевидно, были предназначены для повести. Некоторые Чехов обвел чернилами (большинство их было сделано карандашом), большую часть зачеркнул, переписал в Записную книжку IV (ГБЛ; см. т. XVII Сочинений) – как заготовки на будущее.

Слова Чехова: «все мы народ и всё то лучшее, что мы делаем, есть дело народное» (Зап. кн. I. стр. 7) находятся в логической связи с предыдущей записью – словами Ярцева для X главы о неравенстве людей в обществе: «Вследствие разницы климатов, умов, энергий, вкусов, возрастов, зрений равенство среди людей никогда невозможно. Неравенство поэтому следует считать непреложным законом природы. Но мы можем сделать неравенство незаметным...» и т. д. (Зап. кн. I, стр. 6; ср. со стр. 56 наст. тома).

Среди неиспользованных записей некоторые имеют сюжетное значение: самая главная из них – образ «спирита», который любил читать чужие письма и которого Костя называл «пустой бутылкой» (стр. 28, 29, 33). От спирита в повести осталась только мысль Лаптева о мешанине понятий у суеверных людей в главе IX журнальной публикации (см. варианты, стр. 377). Этот образ, со всеми внешними и внутренними особенностями, перешел в рассказ «Ариадна».

Мотив возможного поворота в отношениях между героями в финале был задуман иначе. «Она боялась, что влюбилась в Ярцева, и крестилась под одеялом» – так было в Зап. кн. I (стр. 35); в тексте «Русской мысли» этих слов нет, зато вместо них звучит предположение Лаптева в конце повести: «что, если Ярцев полюбит его жену?»

В процессе писания повести Чехов отказался от ряда намеченных мотивов, сосредоточив внимание на основном психологическом конфликте и переживаниях Лаптева. Характер изменений, внесенных Чеховым в первоначальный замысел, связан с постепенным сужением рамок задуманного романа. Подробнее см.: Полоцкая Э. А. «Три года». От романа к повести. – В кн.: В творческой лаборатории Чехова. М., 1974.

2

Еще собирая материал к повести, Чехов думал отдать ее в «Ниву». В начале января 1894 г. И. Н. Потапенко предложил А. Ф. Марксу для «Нивы» «роман» Чехова (письмо неизвестно). Маркс отвечал Потапенко 12 января 1894 г., ссылаясь на издательские правила: «...чтобы роман А. П. Чехова мог быть помещен в „Ниве“ в 1895 г., я должен получить всю рукопись не позже начала сентября сего года. Между тем А. П. Чехов предполагает окончить роман только в декабре, и я мог бы поместить его в „Ниве“ только через два года – в 1896 г. – срок, согласитесь, слишком долгий» (ГБЛ). 10 января 1894 г. Чехов писал Суворину: «Осенью засяду писать роман тысяч на пять...» «У меня скопилось много сюжетов для повестей и рассказов», – признавался он в те же дни М. О. Меньшикову, добавляя, что приступить к ним сможет только после июня (15 января 1894 г.). Весной и летом были написаны: «Студент», «Учитель словесности» (вторая глава), «В усадьбе». И лишь 29 сентября уже из Милана Чехов сообщал сестре: «Если увидишь Гольцева, то передай ему, что для „Русской мысли“ я пишу роман из московской жизни <...> Но пусть Гольцев и Лавров не ждут раньше декабря, ибо роман большой, листов в 6–8»; 6 октября из Ниццы – самому В. А. Гольцеву: «...пишу для „Русской мысли“ повесть из московской жизни. Повесть не маленькая, да и не особенно большая. Работаю кропотливо и потому едва ли кончу раньше декабря»; 2 ноября уже из Мелихова – Суворину («Пишу длинную повесть») и 8 ноября И. И. Ясинскому («Пишу повесть для „Русской мысли“...»).

В конце ноября Чехов передал в редакцию, возможно, устно через Марию Павловну, что успеет кончить повесть к январской книжке журнала. Во всяком случае 28

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru ноября он писал Н. М. Ежову, уже зная, что повесть пойдет в январском номере. 5 декабря Чехов подтвердил свое обещание в письме к В. М. Лаврову, на что тот ответил 7 декабря: «Место для твоей повести в январской книжке найдется, только нам желательно было бы заранее знать ее название...» (ГБЛ). Чехов послал Лаврову заглавие повести: «Три года (Сцены из семейной жизни)» (11–13 декабря), добавив: «Если слово „сцены“ не нравится, то просто оставь „из семейной жизни“ или просто „рассказ“».

Рукопись была послана, очевидно, в те же дни, вслед за письмом. Непосредственное писание повести, таким образом, заняло около трех месяцев – от конца сентября до середины декабря 1894 г. 5 января 1895 г. Чехов сообщил Н. В. Арабажину: «...в конце года я успел написать небольшую повесть...»

Оканчивая повесть, Чехов, как обычно, выражал свою неудовлетворенность результатами: «Тороплюсь, выходит скучновато и вяло» (Ежову, 28 ноября 1891 г.); «Замысел был один, а вышло что-то другое, довольно вялое и не шелковое, как я хотел, а батистовое» (Е. М. Шавровой, 11 декабря).

18 декабря Чехов приехал в Москву читать корректуру.

Выход первой книжки «Русской мысли» был задержан цензурой из-за редакционного «Внутреннего обозрения» и статьи Гольцева «1894 год в политическом отношении». Разрешен был выпуск журнала лишь 13 января 1895 г. (ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 6, ед. хр. 361). Сообщая 19 января 1895 г. Суворину о задержке журнала, Чехов писал, что из его рассказа «цензура выкинула строки, относящиеся к религии».

Ввиду отсутствия цензурного экземпляра установить исключенные строки о религии невозможно. Но материал записных книжек в сопоставлении с опубликованным текстом позволяет сделать предположение, что это могли быть, в частности, следующие места: 1) «Я теперь бы устроил ночлежный дом, но боюсь, что он попадет и руки ханжей, которые будут заставлять ночлежников петь акафисты и станут собирать с них на икону» (Зап. кн. I. стр. 27). В журнале вторая часть фразы читается иначе, с ослабленным антиклерикальным пафосом (гл. I – см. варианты, стр. 352). 2) «Для такой торговли, как ваша, нужны приказчики обезличенные, обездоленные, а веру вы воспитываете в детях, заставляя ходить в церковь и кланяться в ноги» (стр. 25). В журнале подобных слов нет, но Суворин почувствовал в гл. V раздражение молодых купцов против религии (см. ниже).

Из мотивов, намеченных в записной книжке и развернутых в тексте повести, к религии имеют отношение также: разговор о бессмертии между Ярцевым и Лаптевым в XIV гл. (Зап. кн. I, стр. 34), скептическое замечание Кочевого о библейском описании потопа в IX гл. (Зап. кн. I, стр. 24).

При подготовке повести для собрания сочинений Чехов снял подзаголовки и существенно переработал текст.

В окончательной редакции гораздо меньше говорится о переживаниях влюбленного Лаптева из-за холодности Юлии и о духовной неполноценности героя. Кульминация его духовного конфликта (инвектива об именитом роде в гл. XV) первоначально была выдержана в более резких тонах (см. стр. 391–392). При переработке этого эпизода оказался несколько смягченным образ старика Лаптева. В журнальном тексте Лаптев прямо называл отца купцом-самодуром. Деталь: «Отец старостой в церкви потому, что там можно начальствовать над певчими...», да еще в сочетании со словами о затравленной матери (см. стр. 80–81 и стр. 392 наст. тома) невольно приобретала биографическое звучание. Зная от самого Чехова обстоятельства его детства, Суворин почувствовал некоторое сходство в образе старика Лаптева с отцом Чехова и написал ему об этом. Чехов возражал: «Старик купец <...> не похож на моего отца, так как отец мой до конца дней своих останется тем же, чем был всю жизнь, – человеком среднего калибра, слабого полета» (21 января 1895 г.). Но все же исключил упоминание «отца» в этой филиппике и тем самым придал ей общественный характер.

Психологические мотивировки, подробности быта, разговоры об искусстве, прогрессе и социальном неравенстве – все это занимает в окончательном тексте повести значительно меньше места. В четырех случаях Чехов отбросил концы глав (I, IV, XII и XV), иногда с довольно обширным текстом (например, полстраницы с описанием прихода Панаурова к Лаптевым в конце XV главы). Замена в конце повести слов: «Лаптев <...> спрашивал себя: что, если Ярцев полюбит его жену?» – размышлением

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
героя о жизни вообще (см. стр. 91 наст. тома) внесла в финал
обобщенно-философский смысл.

Многочисленные исправления текста (в том числе и чисто стилистические) не изменили ни основной идеи, ни хронологических границ событий, ни хода действия в повести. На этом последнем этапе работы над произведением автор продолжал «курс», взятый им при осуществлении первоначального замысла – от «романа» к повести. Правка его сделала повесть композиционно более стройной и художественно совершенной.

3

В повести отразились события культурной жизни Москвы и Петербурга тех лет, когда оформлялся замысел произведения.

Начиная с 1883 г., Антон Рубинштейн неоднократно дирижировал девятой симфонией Бетховена в симфоническом собрании Русского Музыкального общества. Концерты А. Рубинштейна проходили большей частью в Петербурге и изредка в Москве – см.: Игорь Глебов (Б. В. Асафьев). Антон Григорьевич Рубинштейн в его музыкальной деятельности и отзывах современников. М., 1929, стр. 139–170. В повести (глава VII) идет речь об исполнении «в симфоническом» девятой симфонии под управлением Рубинштейна; имя композитора не названо, но сказано, что Рассудина, вернувшись вместе с Лаптевым после концерта к себе домой, «стала бранить певцов, которые пели в девятой симфонии» – это мог быть только хор, исполняющий оду Шиллера «К радости» в финале бетховенской симфонии.

В повести упоминается «Орлеанская дева» с М. Н. Ермоловой в главной роли (глава IX) – эта трагедия Шиллера шла в Малом театре с 1884 г.

16 марта 1891 г. Чехов сообщал из Петербурга сестре, что на передвижной выставке «производит фурор» картина Левитана. Это была XIX передвижная выставка (состоялась в Петербурге и в Москве весной 1891 г. – см.: А. А. Федоров-Давыдов. Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творчество. М., 1966, стр. 369). Картина, о которой упоминал Чехов, – это «Тихая обитель», первая большая работа, принесшая успех Левитану.

Спустя несколько лет Чехов сделал заметку о посещении семьей Лаптевых картинной выставки, во время которого Юлия «перед одним пейзажем расчувствовалась» (Зап. кн. I, стр. 30). В опубликованном тексте этот пейзаж, по главным приметам, схож с «Тихой обителью» (см. стр. 65–66 наст. тома).

Мнение Плещеева об излишней жизнерадостности картины (о нем Чехов писал в письме к сестре), как считает А. А. Федоров-Давыдов, было передано Чеховым Левитану, и тот, возможно, учел его во втором варианте картины («Вечерний звон», 1892), усилив «чувство тишины и покоя вечерней благостной природы» (там же, стр. 370). Картина, которой любит чеховская героиня, тоже отличается чувством тишины и покоя (см. стр. 66, строки 3–11 наст. тома). В описании этого впечатления Чехов сформулировал то своеобразие зрительского восприятия, которое было вызвано к жизни «пейзажем настроений», утвержденным в русском искусстве Левитаном.

Но в «Тихой обители» на том берегу реки – виды церквей, а в картине, изображенной в повести Чехова, эти самые характерные детали дальнего плана заменены полем, костром и т. д. И лес у Чехова – только справа, а у Левитана – во всю ширину дальнего плана. Как обычно, Чехов исключает из «прототипа» какую-то яркую особенность (церкви) и, не повторяя остальных, старается избежать копирования действительного явления – в данном случае явления искусства. Ср. мнение В. Прыткова («Чехов и Левитан». М., 1948, стр. 9) о том, что черты «Тихой обители» у Чехова объединены с чертами другой картины Левитана – «Вечерние тени» (1893), на которой, как и у Чехова, изображено «поле, потом справа кусочек леса...»

В начале 90-х гг. заявили о своем существовании русские декаденты. В 1894 г. вышли два первых выпуска «Русских символистов», вызвавшие скандальный шум в печати. «Говорили о декадентах...» – сказано в IX главе повести.

С мая по октябрь 1893 г. в Чикаго состоялась Всемирная выставка. Чехов собирался поехать на выставку (см. письма к Суворину 18 октября 1892 г. и И. Е. Репину 23 января 1893 г.), но поездка не состоялась. В записной книжке появилась заметка о Кочевом: «Костя ездил в Америку на выставку» (Зап. кн. I, стр. 24; вошло в XVII

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru главу, где события происходят в начале июня, т. е. июня 1893 г., когда действовала выставка).

В ноябре 1894 г. Чехов в качестве присяжного заседателя участвовал в заседаниях окружного суда (см. письма от 22 и 27 ноября – к Шавровой и Суворину). В Записной книжке I (стр. 29) появилась заметка о речи Кочевого, в качестве адвоката защищавшего вора – ср. соответствующий эпизод в XV главе повести, стр. 66–67. Лежит ли в основе выступления Кочевого какое-либо действительное судебное дело – установить не удалось. Но в речах известного судебного оратора Ф. Н. Плевако (Чехов хорошо знал его в год репортерства в Московском окружном суде – в 1884 г.) есть одна общая с речью Кочевого черта: ловко сооруженная из общих рассуждений мотивировка защиты, в результате которой обвиняемый в глазах слушателей оказывается чуть ли не жертвой. В корреспонденциях о деле Скопинского банка (см. «Дело Рыкова и комп.» в т. XVI Сочинений) Чехов иронически писал об ораторском искусстве Плевако. В ловкости Кочевого, добившегося оправдательного приговора, нельзя не почувствовать также отголосков той юридической изворотливости, которая была осмеяна еще Ф. М. Достоевским («Дневник писателя». 1876 г., февраль, гл. II; «Братья Карамазовы», часть IV, кн. 12, главы XI в XII).

В повести отразились идейные споры в кругах русской интеллигенции, обострившиеся в конце века, – о социальном прогрессе и перспективах уничтожения неравенства между классами, о соотношении между искусством и запросами времени. В частности, вопрос о тенденциозности художественной литературы, волновавший европейскую эстетическую мысль 1880–1890-х гг., был широко освещен в русской печати тех лет.

Издержки слишком прямолинейного понимания тенденциозности в искусстве, как известно, сказались в восприятии творчества самого Чехова критикой, особенно поздненароднической (Н. К. Михайловский, А. М. Скабичевский и др.). Когда Чехов работал над будущей повестью, в феврале 1894 г. в Москве на заседании Общества любителей российской словесности и Общества любителей художеств Гольцев прочел лекцию, вызвавшую в печати шумные споры, на тему: какое искусство выше: «чистое» или идейное? (см. «Новости и биржевая газета», 1894, № 49, 19 февраля и № 56, 26 февраля) – именно так ставится вопрос в полемике, разгоревшейся между героями в X главе.

Как автор произведений, затрагивавших наиболее актуальные вопросы современности, Чехов неоднократно высказывал отрицательное отношение к нарочитой тенденциозности и назидательности в искусстве. Подчеркивая, что он не отрицает необходимости постановки вопросов в искусстве и что художник не может творить «непреднамеренно, без умысла», Чехов писал 27 октября 1888 г. Суворину: «В разговорах с пишущей братией я всегда настаиваю на том, что не дело художника решать узко специальные вопросы. <...> Для специальных вопросов существуют у нас специалисты; их дело судить об общине, о судьбах капитала, о вреде пьянства, о сапогах, о женских болезнях... Художник же должен судить о том, что он понимает...» Ср. спор Баштанова с Травниковым в рассказе «Письмо» (см. т. VII Сочинений): Травников недоволен произведениями искусства, потому что они ему не дают ответа на волновавший его «специальный вопрос о боге и цели жизни»; Баштанов же защищает право искусства учить мыслить, не отвечая на специальные вопросы.

Говоря впоследствии про обязанность писателя иметь общественную цель (в зависимости от его «калибра» – ближайшую или отдаленную – см. письмо к Суворину 25 ноября 1892 г), Чехов не любил произведений с узкоутилитарной тенденцией. После одного из разговоров на эти темы с «пишущей братией» и товарищами по медицине Чехов, по словам В. Н. Ладыженского, говорил: «Я же ничего сегодня и не отрицал в нашем литературном споре <...> только не надо нарочно сочинять стихи про дурного городского! Больше ничего» (В. Ладыженский. Из воспоминаний об А. П. Чехове. – В сб.: Памяти А. П. Чехова. М., 1906, стр. 146). Слова о городском, кстати, напоминают об узости литературной позиции Кочевого, который даже в своих романах изображал несимпатичных героев в несимпатичной ему должности (см. варианты, стр. 376, строки 26–28).

В описании языка романов Кочевого отразилась также нелюбовь Чехова к шаблонно-эффектному стилю. Так, он советовал Т. Л. Щепкиной-Куперник избегать «шаблонных форм, вроде: „причудливые очертания гор...“ и т. п.» (Т. Л. Щепкина-Куперник. В юные годы. Мои встречи с Чеховым и его современниками. – Чехов, изд. Атены, стр. 217). Ср. стр. 52, строки 4–7.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
В содержании статьи Федора Лаптева «Русская душа» (см. стр. 80 наст. тома) есть отзвуки идей славянофильского и почвеннического толка. Мысль об исключительности русской души особенно характерна для поздних славянофилов. Назовем труд Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (1869 г., в 1895 г. вышел пятым изданием) и сборник статей К. Н. Леонтьева «Восток, Россия и славянство» (1885–1886). Оба автора гибель Европы считали неизбежной и писали об историческом призвании России, опираясь на православие, как на спасительное свойство русского духа. Федор Лаптев, «современник» Данилевского и Леонтьева, защищает религию с этих же позиций. Ср. также в «Бесах» Достоевского слова Шатова о народе–«богоносце», призванном спасти мир (часть II, глава первая).

В споре Ярцева с Кочевым по поводу уничтожения неравенства Чехов использовал пример из области естественных наук (см. стр. 56, строки 39–40). В этом споре отразилось родство теории социального прогресса с естественными науками: к примерам из животного мира особенно часто обращались для аргументации своих взглядов на «постепенность» исторического прогресса позитивисты. Г. Спенсер, как известно, уподоблял человеческое общество живому организму. Труды Спенсера, в том числе его «Опыты» со статьей «Прогресс, его значение и причина», были широко известны в России к этому времени (о знакомстве Чехова с некоторыми работами Спенсера см. в т. I Писем, стр. 346). Л. Бюхнер также применял к истории человечества законы животного царства; в связи с 70-летием Бюхнера, исполнившимся в марте 1894 г., в России появилось много журнальных статей, с которыми мог быть знаком и Чехов.

Пример с дрессировкой кошки, мыши, кобчика и воробья Чехов приводил в письме к Суворину 3 ноября 1888 г. (см. т. III Писем). Возможно, Чехову о подобных случаях рассказал В. Л. Дуров в 1887 г. (см.: В. Л. Дуров. Мои звери. М., 1927, стр. 59). Среди представлений Дурова было одно, под названием «Нет больше врагов», во время которого кот и крысы ели из одной чашки. «Смотрите, как кот целуется с крысой! – обращался Дуров к публике. – Я таких непримиримых врагов, как кошка с крысой, примирил, а люди до сих пор помириться не могут» (там же, стр. 86–87).

Из литературных впечатлений, имеющих отношение к повести, следует отметить «Перевал» П. Д. Боборыкина («Вестник Европы», 1894, №№ 1–6), получивший широкие отклики в печати. Роман посвящен истории процветания миллионера-купца, внука горшечника – Захара Кумачева. В своем «подражании „Перевалу“» (как писал Чехов в шутку сестре 29 сентября 1894 г.) он изобразил иную, нисходящую линию развития той же среды (противопоставление чеховской повести «Перевалу» см.: З. Паперный. А. П. Чехов. Очерк творчества. М., 1960, стр. 249–250; С. И. Чупринин. Чехов и Боборыкин. – В кн.: Чехов и его время. М., 1977, стр. 148–152). Перефразируя слова Чехова о романе Г. Сенкевича (см. письмо Суворину 13 апреля 1895 г.), можно сказать, что роман Боборыкина успокаивал буржуазию «на мысли, что можно и капитал наживать и невинность соблюдать, быть зверем и в то же время счастливым». В противоречии между «быть зверем» (эксплуататором) и «быть счастливым» и заключалась душевная драма главного героя чеховской повести. Впрочем, не следует преувеличивать значения полемики с «Перевалом» в замысле повести «Три года». Отклонение от судьбы преуспевающего богача было намечено уже в записях о Лаптеве, относящихся, по всей вероятности, к 1892 г. (Зап. кн. I, стр. 21 – первоначальный вариант обличения «именитого купеческого рода»). Другие записи близкого содержания (стр. 24 и стр. 25) сделаны позже – возможно, уже после прочтения романа Боборыкина. Надо полагать, что «антибоборыкинское» начало (отчасти замеченное и критиками – см. ниже отзыв А. М. Скабичевского) укрепилось на последней стадии работы над повестью.

Социально-психологические истоки образа «нетипического купца» (характерные черты: недовольство своим «делом», угрызения совести, тщетные попытки успокоить ее филантропией) восходят к особенностям развития русского и европейского капитализма конца века. В середине 1890-х гг. русские социологи обратили внимание на признаки «отщепенства» в среде крупных капиталистов. В годы созревания замысла чеховской повести эти признаки были замечены, например, в семействе Ротшильдов (см.: Е. Соловьев. Ротшильды, их жизнь и капиталистическая деятельность. СПб., 1894). «Мужики и купцы страшно быстро вырождаются. Прочтите-ка мою повесть „Три года“», – так запомнил Бунин слова Чехова (И. А. Бунин. Собр. соч. в 9 томах, т. 9. М., 1967, стр. 222).

О среде, к которой принадлежал Лаптев, впоследствии писал М. Горький: «...для того, чтобы написать „Фому Гордеева“, я должен был видеть не один десяток

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru купеческих сыновей, не удовлетворенных жизнью и работой своих отцов; они смутно чувствовали, что в этой однотонной, „томительно бедной жизни“ – мало смысла» (М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24, М., 1953, стр. 495).

Исследователи и мемуаристы замечали биографическое происхождение ряда деталей и мотивов в повести. Так, Ю. Соболев в книге «Чехов. Статьи. Материалы. Библиография» (М., 1930, стр. 204–205) связывал рассказ Лаптева о своем детстве (см. стр. 39 наст. тома) с воспоминаниями Ал. П. Чехова (А. С-ой. А. П. Чехов-лавочник. – «Вестник Европы», 1908, № 11) и со словами самого писателя о молодом человеке, выдавливавшем из себя по каплям раба (письмо Суворину от 7 января 1889 г.). П. С. Попов в статье «Творческий генезис повести А. П. Чехова „Три года“» (Чеховский сб., стр. 288–289) в связи с описанием тяжелых условий работы мальчиков в амбаре Лаптевых (глава V) также обращался к воспоминаниям Ал. П. Чехова.

По другим воспоминаниям – М. П. Чехова –, амбар Лаптевых и быт их приказчиков восходят к «гавриловскому» периоду в жизни чеховской семьи (Вокруг Чехова, стр. 79 и 84; ср. его же: Антон Чехов и его сюжеты, стр. 24); как заметил Попов (Чеховский сб., стр. 291), амбар Лаптева действительно «был в рядах, а жил он на Пятницкой, – и дело Гаврилова находилось в Теплых рядах, а проживал он в Замоскворечье». С гавриловским окружением связаны некоторые особенности языка приказчиков Лаптевых («кроме», «плантаторы»). В семье Чеховых эти слова употреблялись часто, что видно из переписки Чехова с братом Александром (см. Письма, т. I, стр. 43, и т. II, стр. 32).

Из бабкинского лексикона Чеховых и Киселевых в первопечатный текст повести вошло определение гувернантки детей Панаурова, как особы «умной, интеллигентной, отзывчивой», по словам Киша (варианты, стр. 378 – ср.: Зап. кн. I, стр. 24). См. комментарий Е. Н. Коншиной к записным книжкам – в кн.: Из архива А. П. Чехова. М., 1960, стр. 128.

В образе Рассудиной родные и знакомые Чехова заметили черты О. П. Кундасовой – подруги Марии Павловны по курсам Герье. Героиня повести, тоже окончившая эти курсы, жила уроками музыки (Кундасова давала уроки английского языка). М. П. Чехов в Рассудиной увидел лишь внешние черты Кундасовой (Вокруг Чехова, стр. 87). М. П. Чехова («Из далекого прошлого». М., 1960, стр. 66–67), однако, писала о внутреннем сходстве Рассудиной со своей подругой: прямота натуры, демонстративное нежелание казаться женственной, жизненная неустроенность. Кундасова, нуждаясь в деньгах, не хотела одалживаться у друзей (см. письма Чехова Суворину от 10 января и 18 апреля 1895 г.) – сходным образом реагирует и Рассудина на предложение Лаптева дать ей взаймы. «Роман» героини с Ярцевым современники уподобляли увлечению Кундасовой астрономом Ф. А. Бредихиным, в ее требованиях к Лаптеву помочь исключенным студентам узнавали фразы, с которыми Кундасова обращалась к будущему общественному деятелю М. Г. Комиссарову (В. А. Маклаков. Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954, стр. 174). «Тип Кундасовой» был отмечен в дни общения Чехова с ней в 1891 г. И. Л. Леонтьевым (Щегловым) (ЛН, стр. 482). Хотя сам Чехов отрицал сходство своей героини с Кундасовой в письме к Суворину от 21 января 1895 г., более ранние письма (ему же от 6 августа 1891 г.) подтверждают жизненную основу этого характера. Но основа эта была, конечно, шире.

Тип пианистки, живущей частными уроками, мог быть подсказан Чехову также его знакомством с А. А. Похлебиной, автором брошюры «Новые способы для приобретения фортепианной техники» (1894). В ее 17-ти письмах к Чехову (почти все они написаны в 1892–93 годах, т. е. как раз в годы, когда Чехов вынашивал замысел повести) чувствуется женщина с явно уязвленным самолюбием, несколько угловатого и жесткого характера, не стесняющаяся при случае упрекнуть своего корреспондента в недостаточном внимании «к делу» и т. д.

18 октября 1891 г. Чехов обратился к П. И. Чайковскому с просьбой найти для виолончелиста М. Р. Семашко подходящее место работы – и среди предварительных записей к повести, относящихся к концу 1891 или к началу 1892 г., появилась фраза: «У изв<естного> музыканта я просил места для одного молодого ч<елове>ка...» (Зап. кн. I, стр. 11). В повести об этом говорит за обедом Лаптев (глава X).

Иногда глубоко личный характер можно обнаружить в деталях, как будто далеких от событий жизни писателя. Такова мысль Лаптева о ночлежном доме для рабочих (I глава). В России существовало общество ночлежных домов в Петербурге; очерк Ал.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
П. Чехова о петербургских ночлежных домах, опубликованный в «Новом времени» (1891, № 5533, 26 июля), понравился Чехову (см. письма Суворину и Ал. П. Чехову 6 августа 1891 г.); он мечтал о ночлежном доме и для Москвы, о чем писал 5 декабря 1894 г. Суворину. В записной книжке появилась заметка о намерении Лаптева устроить ночлежный дом (стр. 27), использованная затем в повести.

4

Первым откликнулся на повесть «Три года» Суворин, которому Чехов намеревался послать ее еще в корректуре. Судя по письму Чехова 21 января 1895 г., Суворин заметил сходство между образом Рассудиной и О. П. Кундасовой, между стариком Лаптевым и отцом Чехова и счел неуместным раздражение молодых купцов в амбаре Лаптевых против религии. Чехов возражал против каждого из этих замечаний.

Главы, напечатанные в январе, похвалил В. П. Буренин, правда, несколько двусмысленно, что видно из письма Ал. П. Чехова брату 22 января 1895 г.: «Буренин в восторге от твоей повести в „Русской мысли“ (по крайней мере на словах), но находит, что она у тебя чересчур отделана» (Письма Ал. Чехова, стр. 308).

После выхода второй книжки «Русской мысли» Чехову писал С. И. Шаховской: «Читал на днях „Три года“, зачем критик вздор брешет в „Русских ведомостях“ – прекрасная – живая вещь» (6 марта 1895 г. – ГБЛ; о рецензии «Русских ведомостей»; см. ниже). 3 апреля 1895 г. Чехову высказал свое мнение Н. А. Лейкин: «Хорошо. Но по-моему, Вы не кончили рассказа. Это только первая часть повествования. Продолжайте» (ГБЛ). А. И. Эртель воспринял повесть как типичное явление литературы «безвременья». Он писал В. А. Гольцеву 15 марта 1895 г., что повесть не имеет «нравственной нити», и противопоставил ее в этом отношении произведениям Л. Толстого: «...какая это безнадежно плохая вещь, несмотря на искры большого ума и таланта, – и, мало того, что плохая, но говорящая о какой-то внутренней, душевной импотенции автора» (Записки ГБЛ, вып. VIII, М., 1941, стр. 94). Ощущение мрачной усталости и даже чего-то «большого, надорванного, мучительного» (см. письмо Эртеля В. В. Огаркову 8 марта 1895 г. – там же, стр. 93) могло явиться лишь вследствие отождествления духовного итога, к которому пришел главный герой, с настроением самого автора – типичная и для критики того времени ошибка.

В сумме вопросов, затронутых в рецензиях на журнальную публикацию повести, выделяются два: как Чехов справился с формой большой повести и насколько жизненны изображенные им типы.

Еще не прочитав всей повести и ужаснувшись ее объему, Буренин («Критические очерки». – «Новое время», 1895, № 6794, 27 января) писал о несостоятельности попытки Чехова овладеть большой формой. Он признавал, что изображение купеческой среды в повести представляет определенный интерес, но в целом считал повесть лишь этюдом, а не завершенной картиной. «Растяннутость» повести он противопоставлял сжатости маленьких рассказов Чехова и выражал сожаление, что Чехов поддался советам либеральной критики и стал писать большие произведения.

Первая половина повести дала повод также анонимному рецензенту «Книжек Недели» (1895, № 3) поторопиться с выводом о том, что и это произведение «не обещает выйти той крупной вещью, которой так долго ждут от Чехова» (стр. 256). Анонимный автор «Литературного обозрения» (1895, № 7, 12 февраля и № 13, 26 марта) считал повесть растянутой, но признавал удачной ее «бытовую сторону» и психологическое содержание. М. Южный (М. Г. Зельманов) писал в «Гражданине» (1895, № 60, 2 марта) о мозаике или калейдоскопе случайных сцен, положений и лиц. Автор «Летописи современной беллетристики» в «Русском обозрении» (1895, № 5, за подписью W), повторив этот тезис, возмущался финалом, который обрывает повествование там, где оно «вступает в новый, наиболее интересный фазис» (стр. 449).

Близок был к такому пониманию финала и А. М. Скабичевский («Литературная хроника». – «Новости и биржевая газета», 1895, № 106, 20 апреля). Ему не нравилось, что автор сначала рассказывает день за днем первые три года после женитьбы Лаптева, а потом внезапно прерывает свой рассказ «на загадочном восклицании героя: „поживем – увидим“, и читатель остается в недоумении; ему представляется самому угадать, что должно последовать далее». Как неудачу оценивал финал и М. Полтавский (М. И. Дубинский) в «Литературных заметках» («Биржевые ведомости», 1895, № 68, 10 марта). Мнение о неспособности Чехова к

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru большим вещам и впоследствии подкреплялось ссылками на «Три года» (П. А. Ачкасов <П. А. Матвеев>). Письма о литературе. Письмо второе. Русская литература в 1895 году. – «Русский вестник», 1896, № 2, стр. 239–240).

Однако, при всем непонимании жанрового своеобразия повести, рецензенты, начиная с Буренина, отмечали типичность жизни, о которой идет в ней речь.

Скабичевский назвал центрального героя повести «Гамлетом Замоскворечья». Признав значительность изображения «нравов современного московского первогильдейного купечества», он противопоставлял в этом отношении Чехова П. Д. Боборыкину и Вас. И. Немировичу-Данченко. Статью свою он закончил словами: «Лаптев – это живой, осязаемый, на каждом шагу встречающийся в нашей жизни тип, это прямое наследие темного царства, логическое его последствие. Он так и напрашивается на обобщение в самом широком виде, и нетрудно было бы доказать, что в каждом из нас рядом с обломовщиной сидит лаптевщина, все мы в том или другом отношении Лаптевы». Понимание социальной природы чеховского героя, при абсолютном неприятии формы повести, показательны вообще для Скабичевского, с его либерально-народнической методологией и упором на чисто социологический анализ художественных явлений.

Близок к Скабичевскому по вниманию к социальной драме Лаптева был Р. И. Сементковский, автор обзоров «Что нового в литературе?» в «Ежемесячных литературных приложениях к „Ниве“» (1895, № 6, о повести «Три года» – на стлб. 355–358). Считая повесть Чехова симптоматичной для беллетристики, «близкой к жизни», он также ссылался на творчество Боборыкина (роман «Китай-город»).

Суждения о нехарактерности переживаний Лаптева были редкими. Таким, например, было мнение М. К-ского (М. А. Куплетского) в «Журнальной хронике» «Сына отечества» (1895, № 87, 30 марта) и Д. М. (неизвестного автора) в «Журнальных новостях» («Русские ведомости», 1895, № 57, 27 февраля). Безоговорочно отрицательный отзыв о повести дал W – неизвестный рецензент красноярской газеты «Енисей» (1895, № 40, 2 апреля). В частности, он писал о растянутости повести, считая ее перегруженной описаниями. Общий тон критических отзывов 1895 года передан в стихотворном фельетоне LoLo (Л. Г. Мунштейна), сожалевшего о том времени, когда Чехов создавал небольшие рассказы: «Ваш лик и холоден и строг... // Как изменили Вас три года» («Новости дня», 1895, № 4221, 13 марта).

О бесцеремонности рецензентов, обсуждавших «недостатки» повести «Три года» (как и рассказа Толстого «Хозяин и работник», напечатанного в мартовской книжке «Северного вестника»), писал В. Я. Брюсов в письме к П. П. Перцову 1 апреля 1895 г.: «Учиться надо всем этим критикам, именно из тех самых произведений, которые они разбирают! Когда появляется новое произведение такого заведомо значительного таланта, то первый вопрос, который должен задать себе критик, это не „Где ошибка автора“, а „В чем недостаток моего понимания, если мне это не нравится“. Мы ведь только критикуем, а не читаем, ищем ошибок, а не прекрасного» («Письма В. Я. Брюсова к П. П. Перцову. (К истории раннего символизма)». М., 1927, стр. 18–19).

Из поздних отзывов о повести характерно суждение Волжского (А. С. Глинки) в его книге «Очерки о Чехове» (СПб., 1903). Считая изображение власти действительности над людьми сильной стороной чеховского таланта, он писал, что жизнь в произведениях Чехова разбивает «вдребезги» попытки людей преодолеть стихийное течение обыденщины и, к примеру, обращает любовь и брак «в пошлость, жестокость и скуку» – как в повестях «Три года» и «Моя жизнь», как в рассказе «Ариадна» (стр. 62–63).

В ответ на просьбу чешской переводчицы Е. Билы указать его новейшее сочинение (в письме 9/21 апреля 1895 г. – ГБЛ; см.: А. И. Игнатьева. Переписка А. П. Чехова с его чешскими переводчиками. – «Институт славяноведения АН СССР. Краткие сообщения», вып. 22, 1957, стр. 57) Чехов назвал, в частности, повесть «Три года» (22 апреля 1895 г.).

Супруга
Впервые – сборник Общества любителей российской словесности на 1895 год «Почин». М., 1895, стр. 279–285. Подзаголовок: (Рассказ). Подпись: Антон Чехов.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. VIII, стр. 358–366.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Рассказ написан специально для первого сборника Общества любителей российской словесности «Почин». От имени председателя общества Н. И. Стороженко 1 октября 1894 г. к Чехову обратился с письмом временный секретарь общества В. И. Шенрок. Он просил Чехова прислать рукопись какого-либо не напечатанного еще произведения не позже 1 ноября (ГБЛ). Стороженко повторил эту просьбу, когда Чехов был в Москве (в середине октября 1894 г. См. его письмо без даты, помеченное рукой Чехова: «94, X» – ГБЛ). Чехов, занятый повестью «Три года», не успел послать рассказ к сроку. «Мы можем ждать до 15–20 января, больше не можем, ибо сборник должен выйти до поста», – торопил Чехова Стороженко во втором письме (без даты: «Москва, вторник...» – ГБЛ). Чехов взял рукопись рассказа с собой в Москву, куда уехал из Мелихова во второй половине января 1895 г., но и там не окончил работу над рассказом. Лишь 3 февраля из Петербурга он послал рассказ в Москву на имя Стороженко с просьбой: «Пришлите корректуру. Может быть, изменю заглавие». Так как рукопись не сохранилась, трудно сказать, появилось ли заглавие «Супруга» в корректуре или уже существовало в рукописи. Сборник «Почин» появился в печати между 9–15 марта 1895 г. Задуманный как ежегодник, сборник «Почин» вышел и в 1896 г. Шенрок просил Чехова принять в нем участие, Чехов обещал повесть, но не успел (см. письма Шенрока с 27 октября 1895 г. по 16 февраля 1896 г. – ГБЛ).

Помещая рассказ «Супруга» в VIII томе издания А. Ф. Маркса, Чехов писал Л. Е. Розинеру 18 октября 1901 г.: «Рассказ „Супруга“ <...> одного тона с „Ариадной“». «Супругой» завершался VIII том, «Ариадной» начинался IX том. Включая рассказ в это издание, Чехов снял подзаголовок и сделал лишь несколько стилистических исправлений.

Сюжет рассказа, по утверждению М. П. Чехова, восходит к жизни Ал. Ал. Саблина, управляющего ярославской казенной палатой (Вокруг Чехова, стр. 275; Антон Чехов и его сюжеты, стр. 124).

С. Т. Семенов, свидетель обсуждений рассказов Чехова в Ясной Поляне, вспоминал, в частности: «За ним (Чеховым) следили, читали, разбирали. Л. Н., разговаривая о Чехове, всегда восхищался его изобразительностью. Он называл его писательский инструмент музыкальным. Он говорил, что Чехов – чуть ли не единственный писатель, которого можно перечитывать, а это не всегда возможно даже для Диккенса, например. Помню, как Л. Н. восхищался небольшим рассказом А. П. „Супруга“, напечатанным в сборнике Общества любителей российской словесности „Почин“» (С. Т. Семенов. О встречах с А. П. Чеховым. – «Путь», 1913, № 2, стр. 37; Чехов в воспоминаниях, стр. 368). В числе лучших рассказов Чехова, отмеченных Л. Толстым, была названа «Супруга» (см. т. III Сочинений, стр. 537). В «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого под датой 18 июля 1905 г. есть другой отзыв Л. Толстого о рассказе, связанный не с его художественной формой, а с содержанием: «Безобразный нравственно. Бывает так, но художник не должен описывать. Читает телеграмму к ней, узнает об измене. Ужасная сцена; она просит 25 рублей» (машинопись – ГМТ).

27 апреля 1895 года Вл. И. Немирович-Данченко писал Чехову: «Ваш рассказ, напечатанный в „Почине“, имеет успех. Я читал уже три хвалебных рецензии. Сегодня Говоруха посвящает ему фельетон» (ГБЛ; «Ежегодник Московского Художественного театра», 1944, т. I, м., 1946, стр. 100). К этому времени появился ряд сообщений о выходе сборника «Почин» с упоминанием рассказа Чехова и несколько рецензий на сборник, которые, очевидно, имеет в виду Немирович-Данченко. В одной из них – анонимной заметке в «Новостях дня» (1895, № 4233, 25 марта) говорилось о «Супруге»: «Это – лишь легкий набросок, эскиз, не лишенный, однако, жизненной правды и рисующий пошлую и алчную женщину и изломанного жизнью и вечною ревностью, подозрительностью, жестокими обидами мужскому и мужнему самолюбию супруга». Отмечая в рассказе небывалую для Чехова резкость манеры, рецензент писал: «...особенно нажата педаль в финале, и он приобретает через то характер слегка карикатурный».

Вероятно, тот же рецензент поместил заметку о сборнике в «Литературном обозрении» (1895, № 16, 16 апреля, стр. 419 – без подписи), где повторены слова о пошлой и алчной женщине и изломанном жизнью ее супруге.

Ю. Николаев (Ю. Н. Говоруха-Отрок) («Московские ведомости», 1895, № 114, 27 апреля), отметив в рассказе «современную окраску» старой темы – об измене жены мужу, – сближал его с произведениями П. Д. Боборыкина («С убийцей») и И. Н. Потапенко («Клавдия Михайловна») и противопоставлял их «прежней литературе», изображавшей иной тип женщины – добродетельной и религиозной. Причиной странной

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru развязки фабулы он считал распространенный в среде интеллигенции неверный взгляд на «свободу любви». Внешне упрек рецензента был обращен как будто не к автору, а к жизни: добродетельные типы исчезли из жизни, стали порочными взгляды на любовь – все это ушло из литературы. Но самый тезис, характеризующий Чехова в ряду с Боборыкинским и Потапенко: «что видят, то и описывают» – заключал в себе скрытое обвинение Чехова в натурализме.

В «Ежемесячных литературных приложениях к „Ниве“» (1895, № 12, стлб. 800) «Супруга» была названа «далеко не лучшим произведением Чехова».

При жизни Чехова рассказ был переведен на немецкий и сербскохорватский языки.

Белолобый

Впервые – «Детское чтение», 1895, № 11 (ценз. разр. 18 октября). стр. 1531–1539. Подзаголовок: (Рассказ). Подпись: Антон Чехов. Рисунки В. И. Андреева.

Перепечатано в сборнике «Сказки жизни и природы русских писателей. Собрал для детей М. Васильев». М., изд. М. В. Ключина, 1899 (ценз. разр. 29 ноября 1898 г.). Без разрешения Чехова в том же году Ключин издал рассказ отдельной брошюрой (серия «Добрые души», № 36).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. III, стр. 135–141.

Замысел сюжета о волчихе, поймавшей вместо овцы собаку, возник по крайней мере за год до публикации рассказа. Среди записей, относящихся ко второй половине повести «Три года» (главы X–XV), над которыми Чехов работал осенью 1894 г., есть такая: «Волчиха, нервная, заботливая, чадолюбивая, утащила в зимовье Белолобого, приняв его за ягненка. Она знала раньше, что там ярка, а у ярки дети. Когда тащила Белолобого, вдруг кто-то свистнул, она встревожилась и выпустила его изо рта, а он за ней... Пришли на место. Он стал сосать ее вместе в волчатами. – [Через] к следующей зиме он мало изменился, только похудел, и ноги у него стали длинней, да белое пятно на лбу приняло совершенно трехугольную форму. У волчихи было слабое здоровье» (ЦГАЛИ; см. т. XVII Сочинений).

Ал. П. Чехов вспоминал: «У брата во дворе <в Мелихове> жили три черные дворовые собаки <...> и между ними среднего роста пес – Белолобый. Последнего брат обессмертил в своем коротеньком рассказе: „Белолобый“» (Ал. Чехов. В Мелихове. (Страничка из жизни Ант. П. Чехова). – «Нива», 1911, № 26, 25 июня, стр. 478).

Осенью 1894 г. к Чехову обратился с просьбой о сотрудничестве в журнале «Детское чтение» новый редактор этого журнала Д. И. Тихомиров. Как видно из его письма 22 октября (ГБЛ), Чехов говорил ему о том, что писать специально для детей трудно. Тихомиров все-таки надеялся, что это «вполне осуществимое» дело: «Вы так любите детей, что найдете, что им сказать», – писал он и просил присылать в журнал два-три рассказа в год.

В апреле 1895 г. Чехов послал обещанный рассказ. «От всей души благодарю Вас за присланный прекрасный рассказец», – писал Тихомиров 17 апреля, но отложил публикацию рассказа, так как приближались летние каникулы, когда «дети заняты многим другим». Посылая осенью корректуру, Тихомиров признавался: «Ваш рассказ я берег для ноября – к подписке, он самый сильный козырь» (письмо 25 сентября).

«Белолобый» – первый и единственный рассказ, который был специально написан для детей и напечатан в детском журнале.

Появлению рассказа в собрании сочинений 1899–1902 гг. предшествовала публикация его в изданиях М. В. Ключина в Москве. Перепечатка рассказа в сборнике, составленном М. Васильевым, была сделана с разрешения Чехова. Ключин обратился за разрешением к Чехову 25 ноября 1898 г. (ГБЛ). Чехов ответил 29 ноября: «Рассказ „Белолобый“ я могу отдать только за вознаграждение, так как, отдавая его в сборник, я должен буду изъять его из своего сборника, который уже печатается». Что это за сборник, неизвестно. Об издании этого рассказа в начале 1899 г. хлопотал брат Чехова Иван Павлович. Об этом есть сведения в письмах И. П. Чехова 17 января 1899 г. («За печатание „Белолобого“ еще я не принимался») и 6 февраля 1899 г. («С „Белолобым“ хлопоты приостановил, я хотел его печатать у Кушнерева») – ЦГАЛИ.

Еще во время печатания сборника М. Васильева Клюкин задумал издание рассказа отдельной брошюрой. В письме Чехову от 3 декабря 1898 г. он писал о намерении издать рассказы «еще отдельно в 3–5 к. (конечно, с Вашего согласия)». Несмотря на то, что разрешения Чехова не последовало, Клюкин отпечатал рассказ отдельной книжкой и уже 12 января 1899 г. послал ее Чехову в Ялту вместе со сборником М. Васильева, заключая сопроводительное письмо фразой: «Спасибо за разрешение».

Свое неудовольствие Клюкиным Чехов выражал неоднократно. «Скажи Клюкину, что я разрешил ему поместить „Белолобого“ в сборнике, но не разрешал выпускать его брошюрами» (И. П. Чехову, 18 января 1899 г.; ср. письмо к П. А. Сергеенко, 20 января 1899 г.). Как видно из письма Клюкина к Чехову от 1 марта 1899 г., издавая рассказ брошюрой, он воспользовался деликатным отказом Чехова как разрешением.

По условиям договора с Марксом Чехов должен был заплатить за отдельное издание «Белолобого» неустойку. И. А. Белоусов сохранил в памяти некоторые обстоятельства публикации «Белолобого» и слова Чехова о Клюкине: «Этот издатель – небольшой хищник, так, хорек. Я писал об этом Марксу, он мне ответил, что в этом я не виноват...» («Антон Павлович Чехов и его семья. Из воспоминаний»). – ЦГАЛИ. Ср. письмо Чехова Белоусову 25 февраля 1899 г.).

Когда печаталось собрание сочинений, текст рассказа «Белолобый» оказался среди юмористических произведений 1880-х гг., предназначенных для второго тома. Чехову пришлось несколько раз напоминать о месте этого рассказа хотя бы среди других произведений этого тома – перед рассказом «Анюта» (см. письма Чехова к Марксу от 25 сентября 1899 г. и к Ю. О. Грюнбергу от 28 сентября и 21 октября 1899 г.). В конце концов рассказ был перенесен в III том. В этом издании Чехов снял подзаголовок и заменил одно слово.

Рассказы «Белолобый» и «Каштанка» Чехов послал 21 января 1900 г. Г. И. Россолимо для образцовой детской библиотеки в Педагогическом обществе Московского университета (письмо Россолимо от 16 января с просьбой – в ГБЛ).

Белоусову принадлежит заметка об отдельном издании рассказа («Курьер», 1899, № 53, 22 февраля, подпись: И. Б.). В заметке сказано: «Наш чуткий художник А. П. Чехов очень мало писал для детей; это чуть ли не единственный рассказ, помещенный года два или три тому назад на страницах „Детского чтения“. Сюжет рассказа „Белолобый“ прост, незамысловат, но разработка его „чеховская“. Очень отраднo, что рассказ является в дешевом издании...» 25 февраля 1899 г. Чехов писал Белоусову: «...если заметка о „Белолобом“ („Курьер“, № 53) принадлежит Вам, то позвольте поблагодарить».

В. А. Гольцев сочувственно упомянул рассказ в статье «Дети и природа в рассказах А. П. Чехова» («Детское чтение», 1904, № 2, стр. 248–249).

При жизни Чехова рассказ был переведен на немецкий язык.

Ариадна

Впервые – «Русская мысль», 1895, № 12, стр. 1–26. Подзаголовок: (Рассказ). Подпись: Антон Чехов.

Сохранился беловой автограф рассказа на 45 страницах, пронумерованных для типографского набора (ЦГАЛИ).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. IX, стр. 5–35, с исправлением по беловому автографу опечатки, допущенной в «Русской мысли»:

Стр. 119, строка 26: скучно – вместо: скупо.

1

Первая запись Чехова к «Ариадне» расположена среди заметок к повести «Три года» и следует за словами Рассудиной о Юлии, обращенными к Лаптеву: «Я вас любила за ум, за душу, а ведь она – за деньги!» (Зап. кн. I, стр. 26). В ней звучит та же тема – о ненастоящей, эгоистической любви:

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
«Артист» (т. е. рассказ, предназначенный для журнала „Артист“). Но зачем вы одни?
Как он мог оставить вас одну? (Она беременна).

– Он поехал в Россию за деньгами» (там же).

В текст рассказа (обещанного сначала журналу «Артист») ответ Ариадны на вопрос Шамохина, где находится Лубков, вошел, а ее беременность осталась лишь в воображении героя (см. стр. 123 наст. тома).

Большинство других записей к «Ариадне» (Зап. кн. I, стр. 26–29, 32, 33, 35, 36, 40, 45, 50) использовано в рассказе. Три из них, касающиеся брата Ариадны – «спирита» (на стр. 28, 29 и 33), предназначались сначала для повести «Три года» (см. стр. 454 наст. тома) как, очевидно, и запись на стр. 40.

Остались неиспользованными: а) слова Шамохина о женской свободе, проповедуемой буржуазными писателями («Не верьте вы буржуазным писателям...» и т. д. – стр. 26); б) две детали, характеризующие Ариадну: ее умение, при желании, заболеть астмой (стр. 35) и превосходное знание иностранных языков (стр. 50).

Из записной книжки видно, что заготовки к «Ариадне» начались раньше, чем к рассказу «Убийство». Последняя запись к «Ариадне» (Зап. кн. I, стр. 50) сделана во время интенсивного собирания материалов к «Убийству». Это могло быть в марте 1895 г., когда Чехов, очевидно, начал уже писать «Ариадну».

С раздумьями Чехова над центральным образом рассказа могла быть связана запись, сделанная им на обороте письма Д. И. Тихомирова 11 октября 1895 г. (ГБЛ), когда рассказ давно был отослан в редакцию: «Я хочу, чтобы вы подарили мне борзую собачку... говорила она уже, переходя на тот кокетливый, рассеянный тон, который, как ей казалось, нравился больше всего мужчинам. – Слышите? А? А то вы будете противный... Я так хочу собачку!» (ГБЛ). Психологически и стилистически эти слова соответствуют характеру женщины, уверенной в неотразимости своего кокетства.

Из писем издателя «Артиста» Ф. А. Куманина к Чехову от 29 октября и 18 ноября 1894 г. (ГБЛ) видно, что между ними произошло какое-то недоразумение из-за аванса, который Чехов взял за рассказ. Но журнал «Артист», содержащийся в значительной степени на личные средства издателя, вскоре потерпел финансовый крах и прекратил существование (последний – 46-й номер вышел в феврале 1895 г.). В. М. Лавров писал Чехову в недатированном письме (около 10 марта, судя по ответу Чехова 11 марта 1895): «„Артист“ передал нам своих подписчиков, а также и часть авансов, в том числе и твой 620 р. 25 коп.» (ГБЛ). В связи с этим Лавров и В. А. Гольцев просили Чехова передать «Русской мысли» рассказ, обещанный «Артисту» (письмо Лаврова с припиской Гольцева от 13 марта – ГБЛ).

К этому времени Чехов уже закончил «Ариадну» (см. в письме к Лаврову 11 марта: «Неужели „Артист“ лопнул? А между тем я написал для него рассказ!!») и, согласившись на перевод долга в «Русскую мысль», должен был торопиться с передачей рассказа в этот журнал.

Посылая 9 апреля рассказ, Чехов, однако, просил Лаврова: «Думаю, что он не годится для „Русской мысли“. Прочти, пожалуйста, и попроси Виктора Александровича прочесть. Если согласитесь со мной, то возвратите мне рассказ, если не согласитесь, то печатайте его не ранее, как будет напечатан рассказ, который вскорости я пришлю» («Убийство»). Лавров отвечал 12 апреля, что рассказ будет напечатан «с удовольствием» (ГБЛ). Впоследствии он вспоминал, что Чехов, «ввиду строгости к себе», просил не печатать «Ариадны»: «Мы прочли рассказ и, конечно, не согласились с мнением автора» (Вукол Лавров. У безвременной могилы. – «Русские ведомости», 1904, № 202, 22 июля).

Таким образом, «Ариадна», написанная более чем на полгода раньше чем «Убийство» (см. примечания к этому рассказу), по желанию Чехова была напечатана позже.

Исправляя рассказ для набора, Чехов сделал в тексте несколько изменений и снял дважды повторяющуюся мысль о смешном положении, в котором оказывается влюбленный (см. варианты, стр. 397 и 399). Продолжая в корректуре сокращать текст, он сделал и несколько добавлений. Наиболее существенные внесены были в рассуждения Шамохина о воспитании женщин (см. стр. 131, строки 24–26 и 31–40).

Готовя рассказ для собрания сочинений, Чехов не изменил ни характеры героев, ни

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru композицию. Первые несколько страниц оставлены и в текстуальном отношении почти без изменений. Тем не менее окончательный текст рассказа существенно отличается от журнального. Он освобожден, в частности, от ряда психологических подробностей, касающихся переживаний Шамохина из-за появления Лубкова, его неприязни к заграничным курортам. Но самые важные сокращения имеют идейный характер: они касаются суждений Шамохина о женщинах. Так, сняты слова Шамохина о типичности характера Ариадны и о превосходстве мужчин перед женщинами вообще, о его желании в иные минуты гибели всему «прекрасному полу» (см. варианты, стр. 402, строки 25–40).

В целом антифеминистическое настроение Шамохина в окончательном тексте носит иной оттенок – более философский, с уклоном в социальные объяснения (одно из немногих добавлений в конце рассказа – о превосходстве деревенских женщин перед городскими). Смягчив выпады героя против женщин вообще, Чехов отдалил его взгляды от позиции убежденных противников женской эмансипации.

2

Имя героини и самый общий психологический рисунок ее образа восходят к гимназическим впечатлениям Чехова. Ариадной (Рурочкой) звали дочь таганрогского инспектора Григория Череча, вышедшую замуж за учителя латинского языка В. Д. Старова (у героини Чехова то же отчество: Ариадна Григорьевна). Она была красавицей, любила балы, наряды и общество мужчин, поклонявшихся ее красоте, что заставляло страдать Старова. Чехов, по воспоминаниям А. Дросси («Детство, отрочество и юность А. П. Чехова...» – «Приазовский край», 1914, № 170, 1 июля), был к ней неравнодушен и знал о семейной драме В. Д. Старова. Во время пребывания в Таганроге в 1887 г. Чехов виделся со Старовым (см. Письма, т. II, стр. 384 и ЛН, стр. 286). Название чеховского рассказа впервые связал с именем Ариадны Череч Ю. В. Соболев в своей кн. «Чехов. Статьи. Материалы. Библиография» (М., 1930, стр. 166).

Но Ю. Соболев считал Ариадну Череч прототипом другой чеховской героини – Маши Шелестовой («Учитель словесности»), опираясь на совпадение сюжетной ситуации в жизни и в рассказе: столкновение симпатичного учителя с женой-мещанкой. Однако в творческом сознании Чехова образ и сюжетная ситуация, которые в жизни были слиты, пошли по разным путям: в «Ариадне» отразились черты характера таганрогской красавицы, в «Учителе словесности» – начальные события ее замужней жизни. Подробнее о таганрогских источниках рассказа «Ариадна» см.: В. Д. Седегов. К вопросу о таганрогских прототипах в произведениях Чехова. – В кн.: Литературный музей А. П. Чехова. Сб. статей и материалов, вып. V, Ростов н/Д., 1969, стр. 77–79; О. А. Петрова. Классическая гимназия в творческой биографии А. П. Чехова. Дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук. Иркутск, 1969, стр. 96–99; ср. ее статью: Зарождение в творчестве А. П. Чехова сквозных тем и образов, связанных с русской классической гимназией. – «Труды Иркутского гос. ун-та», т. XLVIII. Серия литературоведения и критики. Иркутск, 1971, стр. 256–258. В этих работах делается разное предположение по поводу таганрогского происхождения образа князя Мактуева: Седегов называет графа Кочубея, покровительствовавшего Ариадне Череч, Петрова – князя Максудова, посетившего таганрогскую гимназию.

Хронологически следующий пласт жизненных впечатлений, своеобразно преломившихся в рассказе, относится к 1891–1895 гг. Это, в частности, воспоминания от поездки за границу весной 1891 г. (Чехов был тогда, как и герои рассказа, в Венеции, Болонье, Флоренции, Риме, Неаполе, Париже) и осенью 1894 г. (был в Аббации – главном месте действия рассказа, Венеции, Париже). В марте и осенью 1894 г. Чехов посетил Ялту и – по дороге за границу – ездил на пароходе Севастополь – Одесса (герои рассказа, возвращаясь из-за границы, едут на пароходе: Одесса – Севастополь).

Т. Л. Щепкина-Куперник вспоминала слова Чехова: «...я слышал, когда из Ялты на пароходе ехал: дама говорила мужу: „Jean, твою птичку укачало!“». «Надо было слышать его капризно-детский тон, которым он передразнил эту даму!» – добавляла мемуаристка (Т. Л. Щепкина-Куперник. В юные годы. Мои встречи с Чеховым и его современниками. – Чехов, изд. Атений, стр. 241).

В событиях, изображенных в рассказе, есть совпадения с теми, которые пришлось пережить в 1893–1895 гг. Л. С. Мизиновой. Героиня рассказа, не удовлетворенная слишком скромным влюбленным, упрекает его в рассудительности и нежелании отдаться «порыву». Она вступает в связь с опытным знатоком женщин, общим

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru знакомым ее и Шамохина – Лубковым и в отсутствие Шамохина (который с горя уехал спешно на Кавказ) едет с ним за границу.

Как известно, Мизинова увлеклась И. Н. Потапенко и в марте 1894 г. вслед за ним уехала за границу (это произошло в отсутствие Чехова, который был в Ялте). Потапенко имел семью и славился, по воспоминаниям современников, тем, что был любим женщинами и «умел их любить» (Вл. И. Немирович-Данченко. Чехов. – Чехов в воспоминаниях, стр. 435); он был общительным, веселым человеком и «жил расточительно», по свидетельству того же мемуариста. Но довольно скоро Мизинова писала Чехову, что Потапенко ей «коварно изменил» и «бежал в Россию» (14 июля 1894 г. – ГБЛ). Из ее письма от 21 сентября (3 октября) Чехов понял, что она беременна, и, вероятно, тогда сделал запись к «Ариадне» – о беременности героини и отъезде ее возлюбленного в Россию. Ариадна из-за границы пишет Шамохину; она, по ее словам, «глубоко, бесконечно несчастна»; первые письма ее подписаны так: «брошенная Вами Ариадна», «забытая Вами» и т. д. Ср. в письмах Мизиновой Чехову еще из России – «...не забывайте ту, которую Вы бросили» (30 декабря 1892 г.) и особенно из-за границы – «Не забывайте отвергнутую Вами, но... Л. Мизинову» (15 марта 1894 г.); «...я очень, очень несчастна» (7 октября 1894 г.) (ГБЛ).

Ариадна в своих письмах упрекает Шамохина, что он «не протянул ей руку помощи», и просит приехать «спасти ее». Ср. в письмах Мизиновой – еще из Москвы: «Ах, спасите меня и приезжайте!» (8 октября 1892 г.).

Даже почерк Ариадны, по описанию Шамохина, крупный и нервный, с помарками и кляксами, напоминает размашистый и небрежный почерк Мизиновой.

Больше чем через год после возвращения в Россию Мизинова подписала одно из писем к Чехову так: «Отвергнутая Вами два раза [Ар.] <зачеркнуто Мизиновой> т. е. Л. Мизинова» (1 ноября 1896 г.). «Ар.» – первые две буквы имени Ариадна. Сознательность «описки» – очевидная иначе не было бы связки «т. е.».

Все это отчасти объясняет и то, почему Чехов не форсировал печатание уже посланного в редакцию рассказа. Прося Гольцева, близкого знакомого и Потапенко и Мизиновой, прочитать рассказ и решить, годится ли он для «Русской мысли», Чехов, возможно, хотел проверить, насколько рассказ мог напомнить обстоятельства их жизни. После «Попрыгуньи» Чехов стал осторожнее и старался не давать повода для прямых ассоциаций с действительными событиями. В рассказе отражены лишь начальные события из «романа» Мизиновой и Потапенко.

Когда появился номер «Русской мысли» с «Ариадной», в кругу московских знакомых Чехова стали находить в героине сходство не с Мизиновой, а с актрисой Л. Б. Яворской. По этому поводу Н. М. Ежов писал Чехову, что он «посмеялся над такими заключениями чересчур догадливых читателей» (28 декабря 1895 г. – ГБЛ). Однако впоследствии Ежов воспользовался этими слухами в своих тенденциозных мемуарах: назвал «Ариадну» (как и «Попрыгунью») пасквилем и усмотрел в этом рассказе «мелочность и злобную мстительность» («Антон Павлович Чехов. Опыт характеристики». – «Исторический вестник», 1909, № 8, стр. 507); ср. его же намек на недостойную цель автора «Ариадны» в статье «Алексей Сергеевич Суворин» (там же, 1915, № 2, стр. 451).

Протестуя против подобных утверждений «литературных Тартюфов», А. С. Лазарев (Грузинский), однако, не видел никакого сходства между чеховской героиней и Яворской – на основании того, что Яворская была актрисой, Ариадна же – нет («Антон Чехов и литературная Москва 80-х и 90-х годов». (Глава из неизданной книги). – ЦГАЛИ; Чехов в воспоминаниях, ст. 178).

На самом деле это сходство есть. С Яворской, «восходящей звездой» театра Корша, по воспоминаниям Щепкиной-Куперник, у Чехова были сложные отношения (см.: Леонид Гроссман. Роман Нины Заречной. – В кн.: «Прометей». М., 1967, т. 2).

Яворская была женщиной иного эмоционального склада, чем Мизинова. Как свидетельствуют современники, в актерском облике Яворской отразились черты ее характера – отсутствие искренности и непосредственного чувства, замененного чувственной страстью, недостаток вообще духовного элемента, постоянная забота о внешнем успехе (см. например: Ю. М. Юрьев. Записки. Том 2. Л. – М., 1963, стр. 96; С. С. Мамонтов. Две встречи с Чеховым. – «Русское слово», 1909, № 150, 2 июля).

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Все это характеризует Яворскую как тип человека, психологически близкого к Ариадне: та же главная цель жизни – «нравиться, иметь успех, быть обаятельной!», та же жажда власти над людьми.

Об источниках рассказа см. также: В. Д. Седегов (назв. статья); Э. А. Полоцкая. Источники рассказа Чехова «Ариадна» (жизненные впечатления). – Изв. АН СССР, Оля, 1972, т. XXXI, вып. I, стр. 55–64; Г. П. Бердников. Чехов. М., 1974, стр. 346–355 (на стр. 348 этой книги указан еще один эпизод, с которым могла быть связана работа Чехова над образом Ариадны – несостоявшаяся женитьба М. П. Чехова на графине Кларе Ивановне Мамуне).

Во взглядах Шамохина на женщин, особенно в первопечатном тексте, отразились споры, поднятые русской и европейской печатью конца века в связи с движением за женское равноправие. Некоторые его рассуждения воспроизводят широко распространенные антифеминистические взгляды. Назовем издания, которые могли послужить источниками для этой части рассказа: Л. Толстой. Крейцеров соната (литографированные издания 1889–1890 гг.); Артур Шопенгауэр. Афоризмы и максимы. Мысли. Перевод Ф. В. Черниговца, изд. 4, т. I, СПб., изд. А. С. Суворина, 1892 (эта книга сохранилась в библиотеке Чехова – Чехов и его среда, стр. 396); Август Стриндберг. Предисловие к кн.: Женитьбы. 1891; М. Меньшиков. Думы о счастье. – «Книжки Недели», 1894, №№ 3 и 4; Макс Нордау. В поисках за истиной. (Парадоксы). 2 изд., СПб., 1891. См. также на стр. 479 о книге К. А. Скальковского.

Шамохин протестует против «грязной, животной любви» (см. варианты, стр. 398, строки 16–26) – «животную» любовь, любовь без нравственных обязательств, отрицают и герой, и автор «Крейцеровой сонаты» (Литографированное изд., б. м., 1890, стр. 26, 69 и др.). Суждения Шамохина о порочном воспитании женщин (см. стр. 131 наст. тома) перекликаются с мыслью Позднышева, возмущающегося тем, что цель воспитания женщины в том, «чтобы уметь привлекать к себе мужчин...», т. е. чтобы выработать в них потребность самки «привлекать к себе как можно больше самцов...» (стр. 79 и 82). Подобно Шамохину, Позднышев говорит: «Посмотрите, что тормозит повсюду движение человечества вперед? Женщина» (стр. 77) – ср. стр. 130 наст. тома.

«Всякие какие бы то ни было женские воспитания имеют в виду только пленение мужчин. Одни пленяют музыкой и локонами, а другие ученостью и гражданской доблестью. Цель-то одна и не может быть не одна, потому что другой нет, цель прельстить мужчину, чтобы овладеть им» – с этими словами Позднышева (стр. 80) перекликаются слова Шамохина (см. варианты, стр. 403).

Шамохин возмущается лживостью Ариадны, ее умением очаровывать слушателей (см. стр. 127–128) – ср. слова Позднышева: «Иногда, слушая, как она при мне говорила с другими, я говорил себе: какова! и все лжет. И я удивлялся, как собеседник ее не видел, что она лжет» (стр. 111). Сходным образом рассуждают Шамохин (см. варианты, стр. 404, строки 5–7) и Позднышев (стр. 40) о деталях женского туалета.

(О близости между рассуждениями Шамохина и Позднышева см. также: В. Я. Линков. К проблеме идейного обобщения в прозе А. П. Чехова. – «Филологические науки», 1969, № 6, стр. 57.)

Но даже и в первопечатном тексте взгляды Шамохина на решение «женского вопроса» существенно отличаются от взглядов толстовского героя. Он все-таки готов стоять за подлинное равенство между мужчиной и женщиной – начиная с детства, т. е. с совместного воспитания девочек и мальчиков. Ничего общего нет также в положительной программе автора «Послесловия», ратующего за абсолютное физическое целомудрие в отношениях мужчины и женщины, и повествователя «Ариадны», который относится сочувственно к равноправию между полами. Время создания этого рассказа совпадает с размышлениями Чехова о толстовской философии. Любопытно, что, протестуя против предлагаемых Толстым рецептов для обновления человечества, Чехов называл «целомудрие и воздержание от мяса» (письмо к Суворину от 27 марта 1894 г.), т. е. как раз то, к чему призывал Толстой в «Крейцеровой сонате».

В книге Шопенгауэра есть специальная глава «О женщинах» (стр. 307–326), смысл которой во многом совпадает с шамохинской критикой женщин. Но, как в случае с «Крейцеровой сонатой», суждения чеховского героя близки к суждениям немецкого философа лишь в критической части. Положительное решение женского вопроса, по

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru Шопенгауэру, – это сделать европейских женщин хозяйками дома и девушек воспитывать соответственно, чтобы они стремились к «домовитости» (стр. 322).

У Августа Стриндберга, которого Чехов как раз в период работы над «Ариадной» упомянул в XI главе книги «Остров Сахалин» как женоненавистника, есть мысли, близкие шамохинским, например, о необходимости общего воспитания мальчиков и девочек и о преимуществах деревенской женщины перед городской. «Мужик и его жена получили одинаковое образование, – пишет Стриндберг. – Труд они поделили сообразно естественным условиям и относятся к нему с одинаковым уважением. Крестьянка не завидует мужу, так как не может считать почетнее его работу <...> В культурной среде оба пола развращены, вследствие чего брачная жизнь осложнилась».

Отрывок из предисловия Стриндберга к его книге «Женитьбы», где высказаны эти мысли, Чехов мог прочитать в статье переводчика В. Фирсова («Книжки Недели», 1894, № 3, стр. 168–169). Об отношении Чехова к Стриндбергу в связи с «Ариадной» см. также статью Д. Шарыпкина «Чехов о Стриндберге» («Русская литература», 1966, № 3, стр. 162–166).

Любопытно, что мысль о преимуществах деревенской женщины перед городской и о духовной близости жены и мужа в крестьянской семье – вследствие общего участия в одном и том же труде – была высказана в статье М. Меньшикова «Думы о счастье», начало которой печаталось в том же номере «Книжек Недели», что и статья В. Фирсова. Чехов был постоянным читателем «Недели» в эти годы и, зная о статье Меньшикова, интересовался выходом ее в свет отдельной книгой (см. письма Чехова к Меньшикову от 14 января 1896 г. и от 16 апреля 1897 г.). Книга вышла в 1898 г.; сохранилась в библиотеке Чехова (Чехов и его среда, стр. 359).

С тезисом: в крестьянской семье нет неравенства – Чехов был знаком еще в студенческие годы, когда задумал исследование о «половом авторитете». Излагая своеобразный проспект этого исследования в письме к Ал. П. Чехову от 17 или 18 апреля 1883 г., он ссылался на мысль австрийского писателя Л. Захер-Мазоха о том, что мужской авторитет среди крестьянства не так очевиден, как среди высшего и среднего сословий. Чехов мог тогда иметь в виду пьесу Л. Захер-Мазоха «Unsere Sklaven», в русском переводе: «Рабы и владыки». Сценический фельетон в 4-х действиях. Сочинение Сахер-Масоха (автора романа «Идеалы времени»). Пер. с нем. М. В. Карнеева. СПб., 1876. Сходные взгляды высказаны также в новелле «Сказка о счастье (Das Märchen vom Glück)», см.: Захер-Мазох. Сочинения, т. 2, пер. с нем. С. Н., СПб., 1888. Героиня пьесы «Unsere Sklaven», баронесса Левенберг, проповедующая эмансипацию женщин с помощью образования и труда, ссылается на опыт деревни: «Разве вы станете отрицать, что в низших слоях общества одинаковая работа обоих полов создала и равные отношения?» (стр. 22). Один из героев новеллы говорит о недостаточной прочности брака, основанного на чувственной любви, в так называемых образованных сословиях – в противоположность «простым» слоям, где жена работает наравне с мужем и где поэтому браки счастливы (стр. 365–366).

Макс Нордау также повторял модный антифеминистический тезис: «Женщина почти всегда враждебно относится к прогрессу и служит самой надежной опорой реакции в любой форме и на любом поприще» (стр. 33). Но имя Нордау в рассказе упоминается в другой связи (см. стр. 108 наст. тома). Здесь имеется в виду, в частности, книга М. Нордау «Вырождение» (Entartung) (перевод с немецкого под ред. и с предисловием Р. И. Сементковского, СПб., 1894), в которой он объяснял общественные явления биологическими причинами. Вырождение и истерия, по его мнению, – это болезнь конца века, вызванная физическим утомлением людей. В том же письме к Суворину, в котором Чехов отвергал толстовскую проповедь целомудрия и воздержания от мяса, он говорил и о своем отвращении к рассуждениям «таких свиствунов, как Макс Нордау».

3

Е. М. Шаврова писала, что имя героини станет нарицательным, «так оно жизненно и правдиво обозначает женщину – настоящую женщину, „la vraie femme aux hommes“» (письмо без даты, помечено чеховым: 95.XII – ГБЛ). Как бы в подтверждение этих слов Чехову жаловалась на свою судьбу одна читательница: «В разгроме моей семейной жизни не обошлось вот без такой госпожи Ариадны...» (письмо Л. Злобиной от 28 января 1896 г. – ГБЛ). Т. Л. Толстая писала 30 марта 1899 г.: «Меня всегда удивляет, когда мужчины-писатели так хорошо знают женскую душу <...> А в „Душечке“ я так узнаю себя, что даже стыдно. Но все-таки не так стыдно, как было стыдно

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
узнать себя в „Ариадне“» (ГБЛ; ЛН, стр. 872).

Молодой В. Э. Мейерхольд назвал рассказ вещь «идейной и чудно написанной» (в письме к О. М. Мунт, очевидно относящемся к началу 1896 г. – цит. по кн.: Н. Д. Волков. Мейерхольд. Т. I. М., Academia, 1929, стр. 58). В списке, составленном И. А. Буниним и озаглавленном «Лучшие, по моему мнению, произведения Чехова», значится: «Ариадна (хороша женщина)» (И. А. Бунин. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9, М., 1967, стр. 248).

Появление рассказа в «Русской мысли» вызвало враждебные отклики реакционных критиков. Даже возражая друг другу в частностях, рецензенты сходились на том, что «Ариадна» – шаг назад в развитии таланта Чехова.

Ю. Николаев (Ю. Н. Говоруха-Отрок) («Литературные заметки. Нечто о современной беллетристике и критике». – «Московские ведомости», 1895, № 357, 28 декабря) писал, что в «Ариадне» Чехов подражает Боборыкину. Боборыкинское в «Ариадне», по его мнению, – черты «пикантного анекдота» и игнорирование внутреннего смысла событий, резко отличающие рассказ от сходной с ним по теме повести Тургенева «Вешние воды». Как пример этого «игнорирования» рецензент приводил собственное непонимание мотивов, по которым герой женился на Ариадне.

П. А. Ачкасову (П. А. Матвееву) такая оценка рассказа показалась свидетельством незаслуженного к нему внимания («Письма о литературе. Русская литература в 1895 году. Письмо второе». – «Русский вестник», 1896, № 2). Приписав самому Чехову «филиппику» Шамохина против интеллигентных женщин, он посчитал рассказ художественно слабым.

Рассуждения Ачкасова о женском вопросе вызвали возражения В. П. Буренина, дважды выступившего с отзывом об «Ариадне». В первой заметке («Из записной книжки критика». – «Новое время», 1896, № 7233, 19 апреля) он настаивал на «нетипичности» образа Ариадны, начиная с ее имени, будто бы почерпнутого из произведений «дам-писательниц». Во второй заметке («Критические очерки». – «Новое время», 1897, № 7587, 11 апреля) он писал о блуждании Чехова «по окольным, чуждым его таланту дорогам» в «Ариадне» и «Чайке» и о «декадентском пошибе» героев этих произведений.

Автору «Летописи современной беллетристики» в «Русском обозрении» (1896, № 3, подпись: Г.) не понравилось отношение Чехова к героям: Шамохин казался критику достойным большего осуждения, а его чувство к Ариадне – неоправданным.

Рассказ подвергся грубой критике со стороны П. Скрибы (Е. А. Соловьева) в «Литературной хронике» «Новостей и биржевой газеты» (1896, № 52, 22 февраля). Причислив «Ариадну» и «Три года» к декадентским произведениям «вроде „О мои бледные ноги“», [67] Скриба писал более подробно об «Ариадне» в связи с выходом «Дома с мезонином» (там же, 1896, № 127, 9 мая) в «Мужиков» (там же, 1897, № 118, 1 мая). Признаваясь, что прежде был «горячим поклонником» Чехова, он выражал недоумение перед такими бледными рассказами, не имеющими «никакого содержания», как «Ариадна» и «Дом с мезонином» (№ 127, 9 мая). Недосказанность и «недоконченность» чеховских произведений Скриба связывал только с неспособностью художника давать оценки изображаемому явлению.

«Ариадне» была посвящена также очередная стихотворная «Страничка из письма» Lo1o – Л. Г. Мунштейна («Новости дня», 1895, № 4505, 23 декабря). Это был едва ли не единственный печатный отклик на журнальную публикацию «Ариадны», в котором признавались какие-то литературные достоинства рассказа. Считая «Ариадну» лучше «Убийства» (см. примечания к «Убийству»), Lo1o писал, что в ней «много чудных, смелых мест», и отметил правдивость типа Ариадны – «хитрой, лживой, очаровательной змеи». Но при этом выразил свое недовольство «протокольной» Чехова (якобы не гнушающегося «грязных деталей») и «неискренней ноткой» в словах повествователя о женщинах в конце рассказа.

По выходе собрания сочинений Чехова «Ариадна» была оценена выше (см. отзыв Волжского в примечаниях к повести «Три года»).

В архиве Чехова сохранились письма переводчиков, заинтересовавшихся рассказом. 26 февраля 1896 г. П. О. Укке писал Чехову из Ярославля о своем намерении перевести «Ариадну» на немецкий язык для какого-нибудь прибалтийского журнала или газеты. На немецком языке «Ариадна» вышла в Германии – в переводе Луизы

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Флакс, в кн.: Russische Liebeleie. München und Leipzig. 1897 (Л. Флакс просила у Чехова разрешения издать эту книгу в письме от 4/15 апреля 1896 г. – ГБЛ). Книга хранится в библиотеке Чехова в Ялте.

По просьбе Елизаветы Билю Чехов послал ей свой рассказ для перевода на чешский язык (см.: А. И. Игнатъева. Переписка А. П. Чехова с его чешскими переводчиками. – «Институт славяноведения АН СССР. Краткие сообщения», вып. 22, 1957, стр. 57).

При жизни Чехова «Ариадна» была переведена на немецкий, сербскохорватский, чешский и шведский языки.

Убийство

Впервые – «Русская мысль». 1895, № 11, стр. 1–27.

Подзаголовок: (Рассказ). Подпись: Антон Чехов.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. VIII, стр. 323–357.

1

Первая запись, имеющая отношение к рассказу «Убийство», внесена в записную книжку сразу же за последней заметкой к повести «Три года»: «А-а-а... стонало море (Татарский прол <ив>)» (Зап. кн. I, стр. 41). Она использована в седьмой главе рассказа.

17 марта 1895 г. Чехов писал В. М. Лаврову о «маленькой повестушке, которую обещал». Обещание это, очевидно, он дал при личной встрече с Лавровым и В. А. Гольцевым в Москве в декабре 1894 г., когда шла корректура повести «Три года» и могла зайти речь о следующем произведении для «Русской мысли».

Если принять во внимание свидетельство М. П. Чехова о двух деталях, введенных с его слов в рассказ (фраза Матвея о городском голове и его надпись на книге – Антон Чехов и его сюжеты, стр. 124–125), то возникновение замысла «Убийства» можно датировать приблизительно годом раньше этого обещания. М. П. Чехов рассказал брату о городском голове, вернувшись из Углича, куда он ездил в октябре 1893 г. и в январе 1894 г. (С. М. Чехов. О семье Чеховых. М. П. Чехов в Ярославле. Ярославль, 1970, стр. 32 и 34).

Записям, сделанным со слов М. П. Чехова (Зап. кн. I, стр. 45 и 46), предшествует несколько страниц, заполненных в основном текстом, относящимся к «Убийству». Значит, М. П. Чехов дал материал тогда, когда предварительная работа над рассказом была уже начата. Последняя запись к «Убийству» (там же, стр. 62) внесена осенью 1895 г.

В записной книжке отражены детали сюжета и, в частности, основного события – убийства, некоторые черты характеров героев, часть рассуждений о религии, в том числе итоговое, к которому Яков Терехов пришел на Сахалине: «главное – возноситься к богу, а как возноситься – не все ли равно?» (стр. 50).

4 апреля 1895 г. Лавров напомнил Чехову про обещание прислать «маленькую повестушку». 9 апреля, отправляя «Ариадну», Чехов собирался прислать ее «вскорости».

Рассказ отправлен был, однако, только осенью. 25 сентября Лавров все еще возмущался: «Что это на тебя напала такая неписиха? Еще весной ты обещался нам прислать рассказ, а теперь вот уже и журавли улетели на зимние квартиры, а ты все безмолвствуешь» (ГБЛ). Возможно, Чехов закончил работу над рассказом «Убийство» до того, как отправил рукопись «Анны на шее» в «Русские ведомости» (15 октября). Во всяком случае, к 21 октября он уже знал определенно, что рассказ «Убийство» будет напечатан в ноябрьской книжке «Русской мысли» (письмо А. С. Суворину, датированное этим днем).

Во время подготовки книги «Рассказы: 1. Мужики. 2. Моя жизнь» (СПб., 1897) у Чехова явилась мысль о расширении ее состава: «...не прибавить ли еще рассказов из мужицкой жизни? У меня найдется кое-что, например, „Убийство“, где изображены раскольники или нечто вроде», – писал он Суворину 2 мая 1897 г. Однако эта мысль не была осуществлена.

Готовя текст рассказа для собрания сочинений, Чехов исключил несколько мест, сделал одно композиционное и ряд стилистических изменений. В журнальном тексте события пятой и шестой глав разделяло несколько часов, во время которых Сергей Никанорыч имел возможность обдумать предложение Якова Иваныча – одолжить ему тысячу рублей в обмен за молчание об убийстве. В тексте собрания сочинений начало шестой главы, с описанием возвращения Сергея Никанорыча за деньгами, перенесено, в измененном виде, в конец пятой главы. Колебания буфетчика стали недолгими: мотив «совести» исчез.

В журнальном тексте значительно больше говорилось об озлоблении Якова Иваныча и его сестры против Матвея. Опустив ряд слов («раздражен», «ненавидел»), исключив упоминание о том, что Аглая обыкновенно бранилась «до хрипоты, до изнеможения», Чехов придал сцене убийства более неожиданный, стихийный характер. Случившееся в еще большей степени, чем в первоначальном тексте, стало производить впечатление несчастья, а не преступления.

В речь Матвея введено несколько изменений, подчеркивающих его необразованность: например, леригия – вместо прежнего: религия и т. д.; в записи, которую он сделал на прочитанной книге: признательность – вместо признательности, книги – вместо книги. Эти изменения сделаны в соответствии с отраженными и в первоначальном тексте особенностями речи Матвея («труженник», «самую лудшею», «гравиллий»).

2

«Несомненно, что самая тема для рассказа „Убийство“ привезена Антоном Павловичем из Сахалина», – писал М. П. Чехов (Антон Чехов и его сюжеты, стр. 125). Ср. воспоминания Марии Павловны Чеховой «Поездка А. П. Чехова на Сахалин» («Красная панорама», 1929, № 28, 13 июля, стр. 10). При появлении рассказа рецензенты также отмечали его сахалинское происхождение.

О каторжных, сосланных за убийство, Чехов писал в главе VIII книги «Остров Сахалин». Особое внимание он обратил на преступника по фамилии Терехов. Кроме фамилии у этого человека с Яковом Иванычем есть и еще сходство – в возрасте (настоящему Терехову было 60–65 лет, Якову Иванычу – приблизительно 55 лет) и внешности. Но больше ничего общего у Якова Иваныча с его однофамильцем из Сахалина, зверски убивавшим арестантов, «какие побогаче», – нет. В «Именном списке ссыльнокаторжных Александровского округа, состоящих к 1 января 1890 г.», упоминаются Михаил и Федор Тереховы (Центральный гос. архив РСФСР Дальнего Востока. Томск, ф. 1133, оп. 1, ед. хр. 429, л. 28 – сообщ. М. Л. Семановой). В деле «Об утверждении и приведении в исполнение приговоров окружного суда и полицейского управления» за 1890 г. есть запись о наказании Федора Терехова «за однодневную отлучку, продолжавшуюся с 1-го по 2-ое марта с. г., и сопротивление законной власти при исполнении служебных обязанностей». Федор Терехов был наказан двадцатью ударами плетей (чеховский герой – сорока ударами) (там же, ед. хр. 328, л. 202). Наказание плетями за попытки бежать с каторги Чехов наблюдал в Дуэ (см. XXI главу «Острова Сахалина»).

В главе VII рассказа «Убийство» – много других соответствий реальным фактам, которые попали в поле зрения Чехова и были освещены им в книге «Остров Сахалин». Это – описание погоды и берега Татарского пролива у Дуэ (ср. «Остров Сахалин», главы I и VIII); характеристика Воеводской тюрьмы (ср. главу VIII); изображение труда каторжников, в том числе разгрузки и погрузки пароходов (ср. главы I, III и VIII); упоминание заболеваний ностальгией (ср. главу XXII) и т. д. Прозвища Веник и Яшка, присвоенные Якову Иванычу на Сахалине, судьба Дашутки, отданной какому-то поселенцу в сожительницы, лакейская должность Сергея Никанорыча – все это характеризует действительные нравы сахалинской каторги, которые Чехов наблюдал лично.

С сахалинскими впечатлениями связано все изображение «досахалинской» судьбы героев – на фоне мрачных картин провинциальной жизни, где рождается страшный грех братоубийства. Самый характер убийства, происшедшего во время семейного скандала, напоминает те «бытовые» преступления, которые привели на каторгу многих из тех, кого видел Чехов. Сахалинский отпечаток лежит и на религиозной теме рассказа, в частности – на том, как разрешается религиозный конфликт в душе Якова Терехова в финале. В XIX главе книги «Остров Сахалин» Чехов с сочувствием приводит слова епископа Гурия, посетившего корсаковскую церковь: «Если не во всех у них <ссыльных> имеются вера и раскаяние, то, во всяком случае, у многих...»

Своим фактическим содержанием религиозные описания восходят к детским годам Чехова. Об этом не без основания говорил И. А. Бунин (см. т. VIII Сочинений, стр. 507). Священник С. Н. Щукин, знавший Чехова в конце 1890-х гг., также отмечал особый интерес Чехова к церковному быту (С. Щукин. Из воспоминаний об А. П. Чехове. – «Русская мысль», 1911, № 10, стр. 49). Как вспоминал брат Чехова Иван Павлович, в Таганроге Митрофана Егоровича Чехова называли за его религиозное рвение Богомолывым («Шиповник», кн. 23, СПб., 1914, стр. 150 – в записи Л. А. Сулержичского) – так же в рассказе называли братьев Тереховых.

Подробнее реальные источники рассказа освещены: Э. А. Полоцкая. После Сахалина. – В кн.: Чехов и его время. М., 1977. О связи рассказа с кругом досахалинских размышлений Чехова см.: Л. М. Долотова. Мотив и произведение. («Рассказ старшего садовника», «Убийство»). – В кн.: В творческой лаборатории Чехова. М., 1974.

Тема сектантства (о котором Чехов мог знать также в ранние годы своей жизни) занимала большое место в художественной литературе последней четверти XIX века. Старобрядческий быт описывал, например, Н. С. Лесков. «...отец читает матери вслух „Запечатленного ангела...“», – писал Чехов между 21 и 24 августа 1883 г. Н. А. Лейкину. Роман «Соборяне» (1872), в котором с особой силой отразилось бунтарство Лескова против официальной церкви, Чехов получил в дар от него (Чехов и его среда, стр. 257). В романе А. И. Эртеля «Смена» (печатался в «Русской мысли» в 1891 г., отд. изд. 1894 г.) изображен тип свободного толкователя церковных книг, имевшего, как и чеховский Матвей Терехов, почти гипнотическое влияние на невежественных крестьян.

Одна из причин отхода братьев Тереховых от официальной церкви – ханжество церковных служителей, безбедно живущих на счет прихожан. О равнодушии духовенства к нуждам народа Чехов, по воспоминаниям С. Н. Щукина, говорил: «Жаль, что у нас нет сатиры на духовенство. Салтыков не любил духовенства, но сатиры на него не дал. А жаль. Мы кричим, – говорил он опять, – что у нас вера крепка, что народ более религиозен, чем в других странах. Но где помогающая, деятельная сила церкви? В деревнях пьянство, невежество, сифилис <...> сыновья священников иногда учат деревню разврату» («Русская мысль», 1911, № 10, стр. 50–51). С типом церковников, близких к тем, которые возмущают религиозное чувство братьев Тереховых, Чехов сталкивался и во время путешествия на Сахалин (см. строки о священниках на Амуре в 1 главе книги «Остров Сахалин»).

3

Появление рассказа приветствовал Эртель: он противопоставил «Убийство» полосе «скучных вещей вроде „Три года“», которая «очевидно, прошла для него <Чехова>, и он вновь – сильный, искренний, глубокий талант, с ой-ой каким царем в голове!...» (письмо к Гольцеву 17 декабря 1895 г. – Записки ГБЛ, вып. VIII, М., 1941, стр. 94). М. О. Меньшиков писал Чехову 20 августа 1896 г. об отношении к рассказу Т. Л. Толстой: «Татьяна „очень Вас любит, но чувствует какую-то грусть за Вас, думает, что у Вас очень большой талант, но безжизненное материалистическое мирозерцание“ и пр. Рассказом „Убийство“, который мне так понравился, Татьяна возмущена» (там же, стр. 48).

В печати возник спор об отношении Чехова к народу и интеллигенции. У А. М. Скабичевского («Новости и биржевая газета», 1895, № 330, 30 ноября – отдел «Литературная хроника») сцена убийства вызвала размышления о социальных контрастах России – о дикости народа, соседствующей с цивилизацией и культурой. Свой отзыв он заключил словами: «Сколько еще нужно труда, чтобы пробить эту дикую чашу невежества и сделать хоть сколько-нибудь похожими на людей этих обросших дубовую корою чудовищ!»

Ю. Николаев (Ю. Н. Говоруха-Отрок) выступил с двумя статьями о рассказе. В первой («Московские ведомости», 1895, № 323, 23 ноября – отдел «Литературные заметки») он утверждал, что Чехов справился с новой для него темой – изображением народа с религиозной стороны, – и отметил как художественное достижение тон «жесточкой правдивости», с особой силой сказавшийся в изображении ссоры братьев и убийства Матвея. Во второй статье (там же, № 337, 7 декабря) Николаев, имея в виду отзыв Скабичевского, язвительно заметил, что в петербургской газете хвалят рассказ не за художественное достоинство, а за тенденцию, которую навязывают Чехову, – за критику им невежества народа. Заканчивалась рецензия словами: «И, если такой вовсе не исключительный <...> человек из народа, как Яков, нашел в себе столько душевной силы, чтобы нести

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
тяжкий крест свой, – как велик должен быть этот народ, среди которого он жил и воспитался, духом которого он проникся...»

Большинство рецензентов отметило психологическую убедительность переживаний героев: А. Скопинский (А. А. Шевелев) («Русское слово», 1895, № 320, 25 ноября); анонимный рецензент «Книжек Недели» (1895, № 12); И. Залетный (И. А. Гофшоттер) («Русская беседа», 1895, № 12). Рецензент «Книжек Недели» остался, правда, не удовлетворен финалом: «Как и все рассказы г. Чехова, „Убийство“ закончено несколько вяло и неопределенно, но психологический процесс, выпуклость характеров и бытовая правда рассказа замечательны, как всегда» (стр. 196).

Картина убийства с подробностями наивных попыток скрыть преступление дала основание рецензенту «Русской беседы» сравнить этот рассказ по силе изображения с «Властью тьмы» Л. Толстого. Однако Залетный не понял своеобразия психологизма Чехова и недостаточной разработанностью душевных процессов объяснял «холодную объективность описаний», которую счел основным недостатком рассказа (стр. 187–189).

Оценку «Убийства» на фоне других произведений текущей литературы дал Р. И. Сементковский в статье «Что нового в литературе? Критические очерки» («Ежемесячные литературные приложения к „Ниве“», 1896, № 1). Сопоставляя рассказ то с повестью Д. Мамина-Сибиряка «Без особенных прав» (чеховская вещь по таланту выше), то с очерком А. Серафимовича «Под землю» (Серафимович пишет о бедах небольшого числа людей, а Чехов – всего русского народа), Сементковский находил в нем наибольшее сходство с романами Г. Сенкевича «Без догмата», «Семья Поланецких», «Камо грядеши?»: у Чехова и Сенкевича вера стоит на первом месте. «Но у г. Сенкевича, – писал далее Сементковский, – вера является новой забавой для людей, оторванных от жизни <...>, а в рассказе г. Чехова вера является насущным хлебом, якорем спасения для людей, окутанных мраком невежества, лишенных всякой возможности запастись где-нибудь лучом света и тем не менее чувствующих, что они люди, что и им доступны потребности духа» (стлб. 173). Убийство брата приводит Якова к той простой истине, что сущность веры заключается «не в обряде, а в тех чувствах, с которыми молящийся обращается к богу» (там же). Эту «истину» Сементковский ставит выше христианского «догмата» польского писателя.

Отрицательно отозвался о рассказе П. А. Ачкасов (П. А. Матвеев) («Письма о литературе. Русская литература в 1895 г. Письмо второе». – «Русский вестник», 1896, № 2). «Опыт экскурсии в область народной психологии уголовного характера» (стр. 240), по его мнению, Чехову не удался. Своеобразие чеховской манеры изображения душевных потрясений, особенно в сцене убийства, вызвало у Ачкасова уверенность, что внутренний мир героев чужд автору. В отличие от подавляющего большинства рецензентов он считал этот эпизод фальшиво написанным (стр. 242).

В двух отрицательных отзывах (М. Полтавский «М. И. Дубинский». Литературные заметки. – «Биржевые ведомости», 1895, № 344, 15 декабря; анонимный автор отдела «Журнальное обозрение. Беллетристика» – «Литературное обозрение», 1895, № 49, 3 декабря) выражалось недовольство тем, как Чехов справился с психологической задачей – изображением переживаний преступника и особенно его возрождения на каторге. «Как же это так: все не знал, не знал истинного бога, а тут вдруг познал и захотел даже вразумлять других? Окончание является совсем туманным и не развитым, а между тем здесь-то и лежит гвоздь рассказа», – писал рецензент «Литературного обозрения» (стр. 1361). М. Полтавский считал, что по сравнению с Толстым и Достоевским в такой метаморфозе героя Чехов ничего не дал нового и что вообще он не оправдал пока возлагаемых на него надежд.

«Невольным грехом» Чехова назвал грех «Убийства» LoLo (Л. Г. Мунштейн) и призывал его вернуться к прежнему «бодрому смеху» (стихотворная «Страничка из письма». – «Новости дня», 1895, № 4475, 23 ноября).

1 ноября 1901 г. Чехову писал профессор русского языка в Париже Поль Буайе (Paul Boyer): «Французский перевод Вашего прекрасного рассказа „Убийство“ (и перевод отличнейший) скоро появится в печати отдельным изданием (он был уже напечатан последним летом в газете „Le Temps“), и вместе с этим еще кое-что из Ваших других повестей или рассказов („Студент“, между прочим). Если я не ошибаюсь, „Убийство“, которое появилось в „Русской мысли“, никогда не было издано в России отдельно, вероятно, вследствие цензурных обстоятельств. Как бы то ни было, было бы не без интереса получить кое-какие подлинные подробности об участии этого

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru своего рода chef d'oeuvre'a «шедевра». (А быть может, Вы сами не очень любите этого своего дитя; но я откровенно высказываю свое мнение). И составитель предисловия к французскому переводу охотно бы воспользовался Вашими указаниями об этом. Итак, не сочтете ли Вы возможным сообщить мне все то, что относится к истории текста Вашего „Убийства“? Этим Вы бы крайне обязали меня лично и всех Ваших французских читателей-почитателей» (ГБЛ).

Перевод рассказов «Убийство» и «Студент», опубликованный в «Le Temps» (а потом и в журнале «Revue Blanche»), принадлежал ученице Поля Буайе – Клэр Дюкрё (Claire Discreux). 6 апреля 1902 г. Поль Буайе сообщал Чехову, что издатели «Revue Blanche» уже печатают книгу с его четырьмя рассказами в ее «образцовом переводе»: «Убийство», «Мужики», «Студент», «На подводе». «Выбраны были эти сочинения потому, – писал Буайе, – что они показались большинству наших ценителей Вашего таланта как нельзя лучше выразившие главные особенности Вашего творчества...» Он просил Чехова написать издателям «Revue Blanche», что согласен на это издание (в письме к издателям «Revue Blanche» Чехов признавал «строгое изящество и исключительную точность» переводов Клэр Дюкрё – см. т. X Писем). Книга («Un meurtre») вышла с предисловием известного французского критика Андре Бонье (см. ЛН, стр. 706).

Клэр Дюкрё послала Чехову комплект газеты «Le Temps» с переводом рассказа «Убийство» и в письме от 14 апреля 1904 г. писала о своем намерении выпустить рассказ отдельной книжкой. О желании перевести рассказ «Убийство» и другие произведения Чехова на французский язык сообщала ему также графиня Канкринна (23 июля 1901 г. – ГБЛ).

При жизни Чехова рассказ «Убийство» был переведен на сербскохорватский, французский и чешский языки.

Анна на шее
Впервые – «Русские ведомости», 1895, № 292, 22 октября. Подзаголовок: (Рассказ).
Подпись: Антон Чехов.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. IX, стр. 36–51.

Первая запись Чехова, относящаяся к «Анне на шее», внесена в записную книжку после заметок к рассказу «Убийство», среди которых две были сделаны по свежим впечатлениям М. П. Чехова, ездившего в октябре 1893 г. и в январе 1894 г. в Углич (см. примечания к рассказу «Убийство»). В этой записи отражена фабула рассказа, сложившаяся, очевидно, сразу же – от начала до конца: «Бедная девушка, гимназистка, имеющая 5 братьев-мальчиков, выходит за богатого чиновника, который попрекает ее каждым куском хлеба, требует послушания, благодарности (осчастливил), издевается над ее родней. „Каждый человек должен иметь свои обязанности“. Она все терпит, боится противоречить, чтобы не впасть в прежнюю бедность. Приглашение на бал от начальника. На балу она производит фурор. Важный человек влюбляется в нее, делает любовницей [она обеспечена и теперь]. Когда она увидела, что начальство у нее заискивает, что мужу она нужна, то уже говорит дома мужу с презрением: – Подите вы прочь, болван!» (Зап. кн. I, стр. 47).

В рассказе Аня уже давно не гимназистка (ее воспоминания о директоре гимназии сопровождаются словами: «когда-то в детстве») и братьев у нее не пятеро, а двое. Следующая запись, на стр. 54, содержит почти дословную формулировку развязки со словами героини: «Подите прочь, болван!»

Название рассказа и каламбур его сиятельства о трех Аннах связаны с правилами ношения орденов. Всего существовало 4 ордена святой Анны. Орден Анны второй степени, который получил Модест Алексеич, носился в виде креста на шее (см.: А. Лобачевский. Памятная книжка о ношении орденов, медалей и других знаков отличия. СПб., 1886).

15 октября 1895 г. Чехов послал рассказ редактору «Русских ведомостей» В. М. Соболевскому. «Мне хотелось бы прочесть его в корректуре, – писал он. – Пошлите моей сестре корректуру, которую я прочту в четверг вечером, а в пятницу утром пошлю обратно». Соболевский послал Чехову два экземпляра корректуры – один 18 октября, в среду, и другой 19-го, в четверг, как просил Чехов, через Марию Павловну. При этом он писал: «Пожалуйста, верните не позже субботы, так как в

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru воскресенья я непременно хочу напечатать рассказ. Если не будут получены обратно просмотренные Вами гранки, я помешу без этого просмотра, так как читая рукопись, не нашел в ней ничего такого, что могло бы потребовать со стороны автора существенных изменений. Вещь превосходная!» (ГБЛ). Очевидно, Чехов послал корректуру, как обещал, в пятницу утром, т. е. 20 октября.

При подготовке рассказа для издания А. Ф. Маркса Чехов снял подзаголовок, разделил текст на две главы и внес много исправлений и дополнений. Героиня в окончательном тексте – более активная натура. Среди деталей, характеризующих ее, введены новые – уменьше «мыть в бензине перчатки, брать напрокат *bijoux*», «приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно» и т. д. Резче намечен переход от безысходного отчаяния героини к эгоистической радости. Отчуждение Ани от семьи, ради которой она, казалось, вышла замуж, происходит раньше, на балу; здесь добавлены строки о том, что ей было стыдно своего отца (см. стр. 171).

В окончательном тексте повествование еще более, чем в газетной публикации, выдержано «в духе» героини. Введено описание дворянского собрания с точки зрения героини (снующие лакеи, запах светильного газа и т. д.). Об успехе Ани у мужчин повествователь говорит теперь так, как будто это ее мысли: «это было ясно, да иначе и быть не могло». Увеличено число восклицательных фраз, передающих отношение героини к происходящему (типа: «Ах, как хорошо!») – в газетном тексте была только одна такая фраза: «Какой стыд!» В повествовании сильнее чувствуются и лексические, и интонационные особенности речи героини.

Более резкие очертания приняли также характеры Модеста Алексеича и «его сиятельства». Вставлены детали, придающие этим образам сатирический характер. О Модесте Алексеиче: громкое храпение во сне; «жирные, дрожащие как желе щеки»; повторение его слов о том, что «выше всего на свете он ставит религию и нравственность» (в газетном тексте это было сказано лишь один раз); обыкновение делать ревизию в комоды у Ани – «все ли вещи целы». О его сиятельстве: манера слащаво улыбаться и жевать губами, «что делал он всегда, когда видел хорошеньких женщин» (введено в текст дважды).

С рецензией на газетную публикацию рассказа выступил Ю. Николаев (Ю. Н. Говоруха-Отрок) («Бедная невеста». По поводу рассказа А. П. Чехова «Анна на шее». – «Московские ведомости», 1895, № 295, 26 октября). Поставив эпиграфом к рецензии слова Островского: «Бедная: за красоту берет», Ю. Николаев свою оценку чеховского рассказа выводил из противопоставления Чехова писателям-классикам – Гоголю и особенно Островскому. Трагическая трактовка темы бедной невесты у Островского (его героиня – «девушка, способная к сознательному самопожертвованию»), по мнению рецензента, сменилась у Чехова комической, отказом от «глубокого и возвышенного романтизма». Очевидно, имея в виду концовку рассказа, он упрекал Чехова за использование приемов, характерных для его «небольших анекдотических рассказов».

Рассказы «Анна на шее» и «Дом с мезонином» дали повод Ю. Череве (Ю. П. Дягилеву) выступить с концепцией: Чехов и Достоевский – апологеты мещанского счастья («О пошлости». – «Новый путь», 1904, апрель).

Дом с мезонином

Впервые – «Русская мысль», 1896, № 4, стр. 1–17. Подпись: Антон Чехов.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. IX, стр. 52–73.

1

Сохранилось четыре предварительных записи к «Дому с мезонином».

Первая заметка к рассказу в записной книжке имеет характер общей сентенции («Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть...» и т. д. – Зап. кн. I, стр. 42). Такого же характера – запись на стр. 65: «Сотни верст пустынной, однообразной выгоревшей степи не могут нагнать такой скуки, как один человек». В рассказе обе записи использованы для характеристики Белокурова (I и II главы). Третья запись относится к самому рассказчику (II глава): «Если бы я мог вырвать из груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым» (стр. 65). Последняя заметка сделана в Записной книжке II (стр. 35): «Мисюсь – Я так уважаю

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru и люблю сестру, что не хотела бы ее оскорбить и обидеть». Она может быть датирована условно второй половиной февраля 1895 г. Так как эти строки относятся к финальной главе рассказа (прощальная записка Мисюси), можно полагать, что к весне 1895 г. сюжет рассказа уже сложился.

В ответ на просьбу Д. В. Гарина-Виндинга прислать что-нибудь для сборника «Призыв» (в письме 23 октября 1895 г. – ГБЛ) Чехов писал 14 ноября, что пришлет рассказ к декабрю. Об этом рассказе он писал также 26 ноября Е. М. Шавровой: «Теперь пишу маленький рассказ: „Моя невеста“. У меня когда-то была невеста... Мую невесту звали так: „Мисюсь“. Я ее очень любил. Об этом я пишу».

Составление сборника «Призыв», издававшегося «в пользу престарелых и лишенных способности к труду артистов и их семейств», отодвинулось на год (вышел в 1897 г.). Чехов послал туда не новый, а два старых рассказа, переработанных заново – «Рассказ госпожи NN» и «На кладбище». Новый же рассказ Чехов решил отдать в «Русскую мысль». Работа к декабрю закончена не была; вероятно, изменился и расширился сам замысел, усиливалось звучание общественной темы в рассказе; в письмах Чехов стал называть его повестью.

В середине декабря Чехов был в Москве. Как вспоминал И. А. Бунин в более позднем разговоре с Чеховым, он заходил тогда к Чехову в номер Большой Московской гостиницы и, не застав его, увидел на столе рукопись «Бабьего царства». Если это произошло в декабре 1895 г., то Бунин мог видеть рукопись не «Бабьего царства», а «Дома с мезонином» (ЛН, стр. 663 и 680).

29 декабря Чехов сообщал А. С. Суворину: «Я пишу небольшую повесть и никак не могу ее кончить: мешают гости». Работа была завершена, по-видимому, лишь в феврале 1896 г. 29 января 1896 г. А. И. Эртель справлялся у В. А. Гольцева: «Отчего не появился „Дом“ А. П. Чехова? Это бы, наверное, украсило январскую книжку гораздо более претенциозной и ненатуральной болтовни „маститого“ Григоровича...» (Записки ГБЛ, вып. VIII, М., 1941, стр. 94 – датировано ошибочно 5 ноября 1895 г.). Очевидно, рассказ был обещан для первого номера «Русской мысли»; упоминаемое Эртелем произведение Д. В. Григоровича – повесть «Пикник», печатавшаяся в №№ 1 и 2 журнала.

В марте 1896 г. Чехов прочел корректуру, что видно из его письма к Гольцеву 17 марта: «Маша говорит мне, что одна фраза в моем рассказе кажется тебе не политической и ты хотел бы, чтобы я вычеркнул ее. Что ж? Пусть мне еще раз пришлют корректуру, и я, может быть, заменю ее какой-либо другой равноценной». Но присылать корректуру было поздно, о чем писал Гольцев Чехову 24 марта (ГБЛ). Какую фразу Гольцев считал «не политической», неизвестно. В конце марта четвертая книжка «Русской мысли» вышла в свет.

При подготовке рассказа для издания А. Ф. Маркса было сделано лишь несколько исправлений и снята одна фраза из реплики художника в споре с Лидой Волчаниновой (см. варианты).

2

Есть много свидетельств о реальных местах и людях, давших Чехову материал для его рассказа. В пейзаже и описании квартиры, где поселился художник, есть совпадения с природой и интерьером дома в Богимове, в котором жил Чехов летом 1891 г. О «заброшенной поэтической усадьбе» Е. Д. Былима-Колосовского Чехов писал Суворину 18 мая: «Что за прелесть, если бы Вы знали! Комнаты громадные, как в благородном собрании, парк дивный с такими аллеями, каких я никогда не видел, река, пруд, церковь для моих стариков и все, все удобства. Цветет сирень, яблони, одним словом – табак!» Ср. письмо к нему же от 20 мая, где упоминается комната с колоннами. Ассоциацию с домом, где живет рассказчик, вызывают и детали, сохранившиеся в памяти мемуариста – М. П. Чехова: «А. П. занимал в Богимове большую гостиную – громадную комнату с колоннами и с таким невероятных размеров диваном, что на нем можно было усадить рядком человек двенадцать. На этом диване он спал. Когда ночью пронеслась гроза, то от ярких молний вспыхивали все громадные окна, так что становилось даже жутко» (Чеховский сб., стр. 127). Вспоминал М. П. Чехов и о громадном вековом парке с липовыми аллеями (Антон Чехов и его сюжеты, стр. 83).

Из окон второго этажа дачи Былима-Колосовского была хорошо видна усадьба Даньково. Об этом писал М. П. Чехов в других мемуарах – «Об А. П. Чехове» («Журнал для всех», 1905, № 7, стр. 420); он считал, что в рассказе – в усадьбе

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Волчаниновых – изображены дом и усадьба в Данькове, с большой еловой аллеей
вокруг дома (ср. его же – Антон Чехов и его сюжеты, стр. 84).

А. А. Хотяинцева, посетившая Богимово через несколько лет после Чеховых, застала
гостиную с большим диваном в доме Былима–Колосовского и видела аллею из елок
вокруг сада в соседнем имении (ЛН, стр. 610).

Д. И. Малинин, специально изучавший чеховские места в Богимове и его
окрестностях, в обстановке усадьбы Волчаниновых также заметил сходство с
Даньковым, а о доме Волчаниновых ему напоминали дома Спешиловки, другой соседней
с Богимовом усадьбы. Даже форму произведения – «рассказ художника» – Малинин
связал с пребыванием в Богимове художника А. А. Киселева, тоже пейзажиста (Д. И.
Малинин. А. П. Чехов в Богимове б. Тарусского уезда. Калуга, 1931, стр. 24–27).

Автор литературных экскурсий по Калужскому округу, куда входило Богимово, пишет,
что домов с мезонинами в этих местах было много (С. И. Самойлович. По
Ферзиковскому району Калужского округа. Спутник. Калуга, 1930, стр. 14).

Белый дом с террасой и мезонином мог запомниться Чехову и после посещения имения
А. Н. Турчаниновой «Горка» (Тверская губ.) летом 1895 г. (см.: С. Пророкова.
Левитан. М., 1960, стр. 175). Оттуда же, по мнению С. Пророковой, площадка для
лаун-тенниса, аптечка и некоторые сюжетные мотивы рассказа: взаимоотношения
Левитана (жившего в «Горке») с сестрами Турчаниновыми; прозвище младшей сестры
Люлю (Ани), наподобие прозвища Мисюсь; тяжелое настроение художника, который
хотел бы «вырвать из своей груди сердце». Даже фамилию сестер Волчаниновых С.
Пророкова возводит по созвучию к фамилии Турчаниновых, для чего уже нет никаких
оснований хотя бы потому, что Чехов эту фамилию использовал прежде в
неопубликованном рассказе «Письмо» (см. т. VII Сочинений, стр. 722).

Л. П. Гроссман также сблизил сюжет рассказа со сложными отношениями, возникшими
у Левитана с А. Н. Турчаниновой и ее старшей дочерью, а место действия в
рассказе – с их имением в Тверской губернии (в рассказе идет речь о Т-ской
губернии). См.: Леонид Гроссман. Роман Нины Заречной. – В кн.: «Прометей», т. 2.
М., 1967, стр. 255. Но Т-ская губерния могла быть и Тульской, куда входили и
Алексинский, и Тарусский уезды (Богимово находилось в Тарусском уезде, а пейзаж
в рассказе слишком напоминает Богимово и его окрестности).

По поводу «прототипов» сестер Волчаниновых есть также много свидетельств, часто
противоречащих друг другу. М. П. Чехов вспоминал, что в соседней с Богимовом
усадьбе жили две сестры, одна из которых была учительницей и твердила с
учениками: «Вороне где-то бог послал кусочек сыру», а другая, младшая – «Мисюсь»
– была поэтической особой и интересовалась искусством и поэзией. Чехов вместе с
Былимом–Колосовским постучался будто бы ночью к ним в окно и крикнул:
«Здравствуйте, Мисюсь!» (см. Малинин, указ. соч., стр. 24–25). Калужский
старожил С. Н. Преображенский считал, что это были сестры Ртищевы – Татьяна и
Елизавета (письмо к Е. Э. Лейтнеккеру, заведующему музеем имени Чехова в Москве,
от 14 сентября 1928 г. – ЦГАЛИ), но по другим сведениям сестры Ртищевы тогда
были совсем детьми (см. Малинин, указ. соч., стр. 26).

Назывались и другие лица, черты которых отразились в образах сестер
Волчаниновых: племянница хозяйки Спешиловки Раковской – девушка по фамилии
Тимофеевская, «особа с институтским образованием», – прототип «одной из
Волчаниновых» (по предположению В. К. Китаевского, бывавшего в Богимове у
Чеховых – см. Малинин, указ. соч., стр. 26–27); сестры Крюковы, Мария и Пелагея
– дочери хозяев Данькова, о чем писал С. Н. Преображенский Е. Э. Лейтнеккеру,
выражая, впрочем, недоверие к этой версии; М. П. Чехов также отрицал связь между
обитателями Данькова и сестрами Волчаниновыми («Журнал для всех», 1905, № 7,
стр. 420).

В. К. Китаевский вспоминал споры Марии Павловны Чеховой с Былимом–Колосовским,
которого она упрекала в праздности, что нашло, по его мнению, отзвук в полемике
Лиды Волчаниновой с художником (см. Малинин, указ. соч., стр. 27). Сам
Былим–Колосовский послужил, по воспоминаниям родных Чехова, прототипом для
образа Белокурова. «Этот самый Былим–Колосовский жил со своей супругой Анемаисой
(не помню, как по отчеству), которая описана в том же рассказе под именем Любовь
Ивановны, и любил длинно, растягивая, поговорить о болезни века – пессимизме.
Это был милый, но очень скучный человек» (Антон Чехов и его сюжеты, стр. 82–83).

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Во время посещения усадьбы Лавровых в Малеевке Чехов беседовал с дочерью В. М. Лаврова и спорил с ней о положении крестьян в России. «Свои воззрения по этому поводу А. П. Чехов вложил в горячие речи пейзажиста в „Доме с мезонином“», – вспоминал М. В. Лавров сын В. М. Лаврова (М. Л. А. П. Чехов в 90-х годах. По личным воспоминаниям. – «Туркестанские ведомости», 1910, № 47, 26 февраля). Семейство Лавровых закрепило локально события в «Доме с мезонином» за своим именем. Внучка В. М. Лаврова – А. В. Дорошевская свидетельствовала со слов матери: «...образ Лидии Волчаниновой некоторыми своими чертами характера был навеян образом мамы Лидии Вуколовны. Антоном Павловичем было оставлено имя Лидия и название усадьбы – „Шелковка“. Это название „Шелковка“, отнесенное к поместью деда, употреблялось в то время еще чаще, чем „Малеевка“» (из книги отзывов в Доме творчества Литфонда СССР им. А. С. Серафимовича. Запись 21 февраля 1961 г. Сообщено Н. А. Роскиной). Позднее в статье «Мисюсь, где ты?» А. В. Дорошевская еще более настойчиво писала о своей матери Лидии Вуколовне и тетке Анастасии Вуколовне (которую, по ее словам, в детстве звали Мисюсь) как о прототипах сестер Волчаниновых («Литературная газета», 1973, № 48, 28 ноября). О многочисленных «прототипах» сестер Волчаниновых см. также: М. П. Громов. Нашлась ли наконец Мисюсь? Несколько замечаний о прототипах в творческой биографии А. П. Чехова. – «Литературная газета», 1974, № 38, 18 сентября.

В рассказе широко отразились не только богимовские, но и мелиховские впечатления Чехова. «Шелковские мужики» упоминаются в дневнике Чехова в связи с освящением школы в Талеже, рядом с дубеченскими и другими мужиками Серпуховского уезда (запись 4 августа 1896 г. – см. т. XVII Сочинений).

Главный предмет спора между художником и Лидой Волчаниновой – положение народа и отношение интеллигенции к народу. Вопрос этот, и прежде стоявший в центре внимания прогрессивных сил, приобрел особую остроту в связи с голодом 1891–92 гг. и холерой, усилившими нищету русской деревни. Участие Чехова в помощи голодающим и в борьбе с холерой, постройка школ для деревенских детей, многолетнее бесплатное лечение крестьян, хлопоты по благоустройству Мелихова и его окрестностей – все это сблизило Чехова с крестьянами.

факты бедственного положения крестьян, на которые ссылается Лида Волчанинова, имеют скорее мелиховское, чем богимовское происхождение. Личный опыт Чехова-земца (он был избран гласным в Серпуховское уездное земское собрание) сказался в рассказе на оценке земской деятельности (признание ее практической полезности, с одной стороны, и понимание ее неизбежной ограниченности, с другой). Литератор В. Н. Ладыженский, принимавший в качестве земского деятеля большое участие в устройстве народных школ, вспоминал, что рассказ создавался почти на его глазах, «после долгих споров и разговоров на тему о народном образовании и об отношении интеллигенции к широким демократическим массам» («Памяти А. П. Чехова». – «Современный мир», 1914, № 6, стр. 114). Во время одной из бесед своих с Чеховым Ладыженский услышал от него такие слова: «Все это хорошо, и дай тебе бог всякого успеха, но по-настоящему нужны не школки с полуголодным учителем и не аптечки, а народные университеты». «И когда я прочитал почти те же слова, сказанные от имени художника в прелестном рассказе „Дом с мезонином“, – писал он, – я не удивился, а только обрадовался...» (там же; ср. его же воспоминания – «Мир божий», 1905, № 4, стр. 192).

Скептическое отношение Чехова к эффективности «малых дел» в деревне, при личном активном участии в этих делах, отмечено в названных выше воспоминаниях М. В. Лаврова. Он приводил слова Чехова о том, что «голодный крестьянин не захочет учиться» и что его надо сперва «накормить», а потом научить.

В споре с художником Лида Волчанинова выдвигает аргументы, к которым обращался любой земский врач или учитель, нашедший свое призвание в помощи деревенской бедноте.

Установить источники взглядов художника значительно труднее.

Современные исследователи Чехова соотносят суждения писателя с некоторыми высказываниями Л. Толстого. Ф. И. Евнин в статье «Чехов и Толстой» (в кн. «Творчество Л. Н. Толстого. Сб. статей». М., 1959, стр. 439–442) обращается с этой целью к трактату Толстого «Так что же нам делать?» (1886). В. Б. Катаев в статье «К спорам о „Доме с мезонином“» (в сб. «Вопросы истории и теории литературы», вып. IV, Челябинск, 1968, стр. 127–128) указывает на другую статью Л. Толстого – «О голоде» (1891). В России она появилась в «Книжках Недели»

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru (1892, № 1), под заглавием «Помощь голодным», в урезанном цензурой и сокращенном самим автором виде, но мысль о том, что нельзя помогать народу, «не изменяя условия своей жизни», в этой публикации есть (на стр. 27). «...средство помощи теперешним голодающим состоит в разрушении перегородки, отделяющей нас от народа», – говорил Л. Толстой и призывал людей, понимающих это, изменить свою жизнь коренным образом (там же). Эта идея действительно соответствует мысли чеховского художника, требующего от либералов радикальных перемен. Любопытно, что, высмеивая хлопоты либералов вокруг больниц, школ, аптек и т. д., художник не упоминает столовых, о которых много писал Толстой в «Книжках Недели».

За год до этого Чехов читал в рукописи другую статью Толстого, специально посвященную устройству даровых столовых для голодающих, – «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая» («Помощь голодающим. Научно-литературный сборник». М., 1892). И не только прочитал, но восторженно отозвался о ней (письмо к Суворину от 11 декабря 1891 г.), а во время поездки в Нижегородскую губернию в январе 1892 г. сам участвовал в организации таких столовых.

В негативных взглядах художника на земскую деятельность сказались, таким образом, некоторые идеи Толстого – автора статей о голоде.

3

Сохранились отзывы о рассказе в письмах литераторов, читателей, родных и знакомых Чехова.

Самый ранний отклик на журнальную публикацию «Дома с мезонином» Чехов получил от литератора А. А. Андреевой, автора работ о Тургеневе и других писателях. Андреева сообщала: «На днях прочла в „Русской мысли“ Ваш последний рассказ. Там столько тонкой поэтической прелести, такие тургеневские черты, что мне очень захотелось выразить автору признательность за доставленное им наслаждение» (24 апреля 1896 г. – ГБЛ; Чехов, Лит. архив, стр. 30). Е. М. Шаврова, как только узнала о замысле «Моей невесты», с интересом ожидала появления рассказа. Прочитав рассказ, она писала 6 мая 1896 г.: «Ваша невеста Мисюсь – прелесть, и я так и вижу ее перед глазами. Что за милый, грациозный рассказ и какой Вы счастливый человек!» (ГБЛ). «Какая прелесть Ваш „Дом с мезонином“!» – восклицал И. И. Горбунов-Посадов в письме к Чехову (октябрь 1896 г. – ГБЛ).

О читательском интересе к рассказу свидетельствует письмо к Чехову его двоюродного брата Г. М. Чехова из Таганрога: «Сейчас я прочитал твой очень интересный рассказ „Дом с мезонином“. Он произвел на меня сильное впечатление. В клубе он читается с большим интересом, я ждал очереди две недели, захаживая каждый день в клубную библиотеку, чтобы застать свободную книжку „Русской мысли“ за апрель».

Очень яркими красками написано нынешнее положение народа: грамотность и труд его в твоём рассказе» (2 июня 1896 г. – ГБЛ).

На адрес «Русской мысли» пришло письмо из Брянска, подписанное читательницей М. О., от 30 апреля 1896 г., в котором она делилась своим впечатлением от рассказа: «Чем он на меня так подействовал, я и сама не знаю, ведь у Вас есть много других не менее замечательных рассказов. Почему же ни одно из Ваших произведений не возбуждало во мне такого неудержимого желания заговорить с Вами?» (ГБЛ). Восторженное письмо с эпиграфом: «Где ты, Мисюсь, откликнись. Чехов», прислала Чехову воронежская читательница Э. Ю. Ченская (датировано Чеховым: «96, XI»). Из Казани писала читательница А. Зелинская: «...спасибо за „Дом с мезонином“. Спасибо за образ Лиды. Она совсем живая, и таких много теперь. Работают они хорошо, но как удивительно верно изобразили Вы их своеобразную сухость и педантичность. Вы большой художник, и дай бог вам и дальше служить Вашим дарованием нашей бедной родине» (ГБЛ).

Очевидно, черты сухости и педантичности Лиды, отмеченные в этом письме, вызвали недовольство со стороны участниц земского движения. А. А. Андреева заметила в своем письме: «Говорят, что многие читательницы обижены за Лидию Вашим будто бы непризнанием их труда для народа. Но думаю, что большинство поймет вернее и оценит как плодотворную праздность художника, так и полезную деятельность учительницы».

В архиве Чехова сохранилось также письмо московского издателя и переводчика П. П. Кончаловского от 30 мая 1896 г. (ГБЛ) с предложением издать рассказ: «В ряду

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru изданных при моем участии некоторых известных произведений литературы – Свифт, Дефо, Боккаччо, Лермонтов, Руссо, Лесажа и др. – Ваше последнее произведение, мне кажется, заняло бы свое место, до такой степени оно пленило меня своей новизной, красотой и правдой. Я говорю о Вашем „Доме с мезонином“. Мне хочется издать его с двумя–тремя прекрасными рисунками, присоединив к нему „В облачный день“ Короленко. Это составило бы небольшой изящный томик». Издание не было осуществлено.

О чтении рассказа Л. Толстым в апреле 1896 г. см.: Т. Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания. М., 1976, стр. 226.

Публикация рассказа вызвала в критике обсуждение главным образом одного вопроса – жизненной позиции рассказчика-художника («бездеятельной») в сравнении с активной деятельностью Лиды Волчаниновой. Почти все писавшие о рассказе резко осуждали художника за равнодушие к общественно-полезной работе Лиды Волчаниновой. Р. И. Сементковский в очередном обзоре «Что нового в литературе?» («Ежемесячные литературные приложения к „Ниве“», 1896, № 6) был недоволен тем, что способностью к успешной деятельности Чехов наделил человека несимпатичного и черствого (стлб. 387).

М. Полтавский (М. И. Дубинский) в рецензии на повесть («Биржевые ведомости», 1896, № 113, 25 апреля) отмечал, что столкновение художника с учительницей земской школы Чехов изобразил поверхностно – только как две голые идеи (с одной стороны, идея «борьбы с деревенской тьмой и народными язвами» и «служения ближнему», а с другой – «беспечный квиетизм, бегущий от труда, как от заразы», и лишенный «гражданского пыла»), не воплотив их в реальные формы. Считая, что соответственно Чехов выражал две идеи искусства – «чистого искусства» и «искусства для жизни», рецензент приписывал ему стремление примирить обе идеи. И-т (псевдоним И. Н. Игнатова) в обзоре журнальных новостей («Русские ведомости», 1896, № 117, 29 апреля) причислил главного героя к категории «хмурых людей», причем считал, что его хмурость, в отличие от подобного состояния героев «Припадка», «Скудной истории», повести «Три года» и других произведений, не обусловлена никакими конкретными причинами: по его мнению, она вызвана лишь равнодушием и скукой. Нежелание художника работать, как Лида Волчанинова, рецензент объяснял застоєм в его творчестве. Приписав, таким образом, художнику творческое бессилие, о котором в рассказе ничего не говорится, рецензент и его чувство к Мисюль расценивал как проявление пониженного состояния духа.

То же противопоставление «праздношатающегося» художника деятельной Лиде Волчаниновой, с сожалением о том, что Чехов не выразил своих симпатий «ни к той, ни к другой стороне», находим в обзоре содержания «Русской мысли» за апрель – июль 1896 г. («Восточное обозрение», Иркутск, 1896, № 105, 6 сентября), автором которого был К. О. Н. (псевдоним Ф. Я. Кона).

С наиболее развернутым осуждением центрального героя выступил А. М. Скабичевский в статье «Больные герои больной литературы. Литература в жизни и жизнь в литературе. Критические письма. Письмо 7-е» («Новое слово», 1897, кн. 4, январь). Признавая достоинства стиля Чехова, оставшегося, по его мнению, верным тургеневской школе, Скабичевский выражал недовольство чеховскими героями. Опираясь на последние два произведения, «Дом с мезонином» и «Мою жизнь», он писал об излюбленном чеховском типе человека – будто бы нравственно больного, надломленного, психопатического, одержимого разными душевными недугами. А художник к тому же еще, по его мнению, проповедует праздность и поэтому не нужен обществу. Конец рассказа привел Скабичевского к умозаключению, выдающему полное непонимание того нового, что принесла с собой в литературу чеховская художественная система, с ее «косвенной» связью между фабулой и идейным смыслом произведения. Он недоумевал, почему герой не последовал за предметом своей страсти: «Ведь Пензенская губерния не за океаном, а там, вдали от Лиды, он беспрепятственно мог бы сочетаться с Женей узами брака <...> Согласитесь сами, что в лице героя перед нами с головы до ног чистопробный психопат и к тому же эротоман» (стр. 161). Чеховский герой никак не укладывался в схему социологических типов, которую Скабичевский прилагал к литературным явлениям.

Внешне менее резким был отзыв о главном герое рассказа М. К-ского (М. А. Куплетского) («Сын отечества», 1896, № 117, 2 мая). В части «Журнальной хроники», посвященной «Дому с мезонином», он даже готов был одобрить рассуждения художника. Однако эта готовность была вызвана тем, что Куплетский приписывал взглядам художника сугубо антилиберальный, узкополитический характер. Поэтому

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru ему не нравилась широта суждений художника, «почему-то старающегося довести свои, в основе правильные, мысли в их развитии до крайних пределов». В отличие от других рецензентов он отмечал резонерство в образе старшей сестры, которую считал «хорошо обрисованной», и намеченные отчасти «симпатичные стороны ее матери и младшей сестры».

Были критики, которые заметили в рассказе лишь несколько «хорошеньких штрихов», в целом же отнесли его к неглубоким созданиям писателя (И. И. Ясинский под псевдонимом Рыцарь Зеркал – «Петербургская газета», 1896, № 125, 8 мая; К. Ф. Головин «Орловский». Русский роман и русское общество. СПб., 1897, стр. 456–457). Отзыв П. Скрибы (Е. А. Соловьева) см. в примечаниях к рассказу «Ариадна».

Несколько выделялся своим доброжелательным тоном отзыв Старого писателя (псевдоним неизвестного автора) в «Одесских новостях» (1896, № 3668, 22 июня). Он приветствовал новую полосу в творчестве Чехова, ознаменованную более глубоким восприятием жизни. Но признав рассказ «со стороны внешней талантливости» очень недурным, Старый писатель присоединился к общему осуждению идейных акцентов в нем (развенчание Лиды Волчаниновой и сочувственное изображение художника).

Б. Прусик писал Чехову 9 августа 1896 г., что баронесса Е. Била перевела «Дом с мезонином» для чешского журнала «Злата Прага» (ГБЛ; ЛН, стр. 751).

При жизни Чехова «Дом с мезонином» был переведен на болгарский, венгерский, немецкий, сербскохорватский и чешский языки.

Моя жизнь

Впервые – «Ежемесячные литературные приложения к „Ниве“», 1896, № 10, стлб. 224–260 (ценз. разр. 8 октября 1896 г.), № 11, стлб. 481–524 (ценз. разр. 6 ноября 1896 г.) и № 12, стлб. 705–742 (ценз. разр. 10 декабря 1896 г.). Подзаголовок: Повесть Антона Чехова. В № 10 помещены главы I–V, в № 11 – VI–XI, в № 12 – XII–XVII.

Включено (с изменениями) в книгу Чехова: «Рассказы: 1. „Мужики“. 2. „Моя жизнь“», изд. А. С. Суворина, СПб., 1897, и повторено в ее последующих изданиях (изд. 2–7, 1898–1899; с изд. 4, 1898, книга стала называться «Мужики и Моя жизнь»).

В ЦГАЛИ хранится оттиск VI–XI глав журнальной публикации с вклеенными авторскими вставками и правкой на полях.

Сохранилась копия гранки «пятого столбца» журнальной публикации – отрывок из XVI главы повести (ИРЛИ, 7282 XLII б. 16).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. IX, стр. 166–275.

В собрании сочинений Чехова в двенадцати томах (т. 8, М., 1962, стр. 194) внесено изменение в текст слов Полознева (стр. 278 наст. тома): «Город лавочников, трактирщиков, канцеляристов, попов...» Источником для изменения послужило письмо Чехова к А. А. Тихонову (А. Луговому) от 21 октября 1896 г., из которого видно, что он изменил первоначальное: «попов» на «ханжей» из цензурных соображений (об этом см. ниже). Однако, восстанавливая в отдельном издании повести изъятия, сделанные цензурой, и – в их числе – эту фразу Полознева, Чехов не восстановил слова «попов». Поэтому в настоящем издании слова Полознева печатаются без изменения.

1

В записных книжках Чехова есть несколько заметок, использованных в «Моей жизни». Они сделаны в основном в 1895 г., когда собирался материал для рассказов «Ариадна» и «Убийство» (до апреля – потому что 9 апреля рукопись «Ариадны» была уже отослана в редакцию «Русской мысли»). Записан афоризм Редьки (Зап. кн. I, стр. 65): «Тля ест растения, ржа металлы, а лжа душу» (ср. в повести стр. 215, 216). Источник афоризма – пословица: «Ржа ест железо, а печаль сердце» (И. Снегирев. Русские народные пословицы и притчи. М., 1848; экземпляр этой книги из личной библиотеки Чехова хранится в Доме-музее А. П. Чехова в Ялте – см. Чехов и его среда, стр. 382).

Возможно, что одна из заметок, использованных впоследствии в рассказе «Новая дача», предназначалась для «Моей жизни»: «Пока строился мост, инженер нанял усадьбу и жил с семьей, как на даче. Он и жена помогали крестьянам, а они воровали, производили потравы.. Он явился на сход и сказал...» и т. д. (Зап. кн. I, стр. 52). В этой заметке, сделанной в те же месяцы, что и записи к «Моей жизни» (но задолго до остальных заметок к «Новой даче»), названы ситуации, совпадающие с обстоятельствами жизни нового владельца Дубечни – инженера Должикова: он тоже строит мосты и покупает усадьбу (как и в «Новой даче» – не нанимает, а покупает); крестьяне, для которых дочь инженера строила школу, тоже обманывали ее и воровали. Сюжет «Новой дачи», очевидно, отделился от первоначального замысла «Моей жизни».

К старику Редьке, больному «какою-то изнурительною болезнью» (о нем каждую осень и весну говорили, что он «отходит», но каждый раз он вставал на ноги со словами: «А я опять не помер!» – см. стр. 201 наст. тома), Чехов отнес сходный мотив из неопубликованного произведения, относящегося к концу 1880 – началу 1890-х гг. (см. в томе VII Сочинений «Письмо», стр. 516).

Приглашение участвовать в «Ниве» Чехов получил в июле 1895 г. от А. А. Тихонова (А. Лугового), ставшего в то время редактором журнала. Чехов ответил согласием (письмо 14 июля 1895 г.) и собирался начать писать повесть в феврале 1896 г. (это видно из письма Лугового от 25 марта 1896 г. – ГБЛ), но поджидал сюжета «посимпатичнее, покрасочнее, чтобы не наскучило читателю „Нивы“», и обещал уведомить Лугового, как только «работа перевалит через 2–3 листа» (письмо к Луговому, 29 марта 1896 г.).

Первое определенное указание на то, что работа над повестью начата, – в письме к И. Н. Потапенко от 8 апреля 1896 г.: «Пишу роман для „Нивы“». 27 апреля Чехов сообщил даже предварительное заглавие: «Называться он будет, кажется, „Моя женитьба“ – наверное еще не могу сказать, – сюжет из жизни провинциальной интеллигенции». 16 июня Чехов послал Луговому «первую треть» – очевидно, девять глав. Эту рукопись Чехов считал не совсем законченной и просил по ознакомлению вернуть: «Придется исправлять во многом, ибо это еще не повесть, а лишь грубо сколоченный сруб, который я буду штукатурить и красить, когда окончу здание».

11 июля Чехов сообщал А. С. Суворину: «...повесть, которую я все еще пишу для „Нивы“, близится к концу. Переписывать буду не дома, где-нибудь в гостях». Беловая рукопись создавалась, вероятно, на даче у Суворина в Максатихе, где Чехов был в 20-х числах июля, – но работа не была кончена.

Самое раннее известие об окончании повести – в письме к Ал. П. Чехову от 29 июля. О готовности послать остальную часть Чехов писал Луговому 2 августа. Рукопись была отправлена в редакцию 10 августа. «Повесть большая, утомительная, надоела адски», – признавался на следующий день Чехов М. О. Меньшикову.

Корректуру Чехов получил на юге (см. письма к Луговому от 31 августа по пути в Новороссийск и 13 сентября из Феодосии), где прочитал первые четыре листа; остальные части корректуры выслал из Мелихова 24 сентября и 21 октября.

В корректуре были сделаны сокращения в первых двух листах октябрьской книжки журнала (это видно из письма Лугового от 19 сентября). Чехов надеялся «пошлифовать» в корректуре также последнюю главу, которая, по его словам, получилась «как будто куца». «Финал я всегда делаю в корректуре», – добавлял Чехов (письмо к Луговому, 10 августа). Но в корректуре, ввиду серьезных цензурных затруднений (см. ниже), видимо, было не до шлифовки. (Сведений об исправлениях, внесенных Чеховым в корректуру финальной главы, нет.)

Получив первый пакет с рукописью, Луговой, однако, писал, что несмотря на «щекотливую» тему, особых затруднений в отношениях с цензурой не будет (21 июня – ГБЛ). При этом он ссылался на свой опыт в общении с цензорами, которые, как правило, легче пропускали «резкие» места в произведениях, написанных в объективной манере. По его предложению Чехов снял слова: «гримасничала, передразнивая губернатора», очевидно, о Маше Должиковой в конце VIII главы (в № 11 журнала). Но в связи с ростом рабочих стачек после коронации Николая II и назначением нового цензора могли ожидать большие строгости, о чем Луговой сообщал в том же письме. Поэтому он предлагал распределить текст повести в журнале так, чтобы в первую (октябрьскую) книжку вошли первые пять глав,

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru наиболее благополучные в цензурном отношении, и тем самым усыпить бдительность цензора. Действительно, в этих главах цензура не зачеркнула ничего (они были представлены в цензуру между 8 и 12 сентября вместе с остальным материалом октябрьской книжки журнала). Но, предвидя осложнения с публикацией продолжения повести (особенно в VI главе, где идет речь о социальном прогрессе), Луговой просил Чехова самого «чуть-чуть» смягчить в корректуре некоторые подробности (например, «то, что отец бьет сына и что сын генеральши дерется с ее любовником» – письмо от 14 сентября, ГБЛ). Луговой советовал Чехову быть особо внимательным при правке последней главы.

Вся повесть в гранках вновь поступила в цензуру, откуда была возвращена 8 октября. Копию цензурных исключений Луговой тотчас послал Чехову (не сохранилась). В ответ Чехов дал указания, устраняющие шероховатости, которые возникли из-за вмешательства цензуры (письмо к Луговому, 10 октября) и просил заменить слово «попы» в предпоследней главе (в журнале – XVI) словом «ханжи» (письмо 21 октября), надеясь тем спасти обличительные слова Полознева: «Город лавочников, трактирщиков...» и т. д. В той же главе цензор требовал изменений в словах Редьки. Луговой писал 31 октября: «Почему „в богатстве лжа“ не цензурно, а в „счастье лжа“ – цензурно, этого я не понимаю. Не можете ли спросить Редьку, – в чем тут разница?». Эту фразу удалось сохранить. С некоторыми исключениями Луговой сразу же согласился, «чтоб восстановить хоть что-нибудь из пятого столбца», где правка цензора искажала текст. Но расчет не оправдался. Луговой 31 октября прислал Чехову копию «пятого столбца» с правкой цензора (ИРЛИ). Из этого отрывка (последнее свидание Полознева с отцом) цензор исключил слова Полознева о сестре: «Она не прощает и уже никогда не простит» и предложил замены, которые не только исключили мотив ожесточения дочери против отца, но и ввели в текст мелодраматический оттенок: намеки няньки на смерть зазвучали как прямое предсказание, подтверждаемое героем (см. варианты, стр. 423).

В этом же «столбце» красным карандашом цензора были оборваны слова Полознева, обращенные к отцу: «...зачем же ваша жизнь так скучна...» (см. варианты, стр. 423, строка 30). Копию гранок «пятого столбца» Чехов вернул 7 ноября Луговому, который отвечал 25 ноября: «Сверстали окончание повести в том виде, как было отмечено синим карандашом на присланной Вами вырезке, т. е. „уступленную“ цензурой „няньку“ вычеркнули» (ГБЛ).

С чувством горечи встретил Чехов публикацию повести. В письмах к Луговому и В. А. Гольцеву (7 ноября), Суворину (8 ноября), Т. Л. Толстой (9 ноября) он выражал недовольство вмешательством цензуры. Особенное возмущение вызвала у него расправа над последней главой («Это ужас, ужас! Конец повести обратился в пустыню», – писал он Суворину).

При отправке повести в цензуру возник вопрос о ее названии. Чехов послал в редакцию «Нивы» незаглавленную рукопись, так как чувствовал неточность первоначального названия «Моя женитьба». Но отправлять в цензуру рукопись без заглавия было нельзя. Он послал Луговому телеграмму с новым названием: «Моя жизнь» (телеграмма не сохранилась), потом – письмо (13 сентября), в котором предлагал с неуверенностью – «не лучше ли будет» – еще один вариант названия: «В девятидесятых годах». Луговой посчитал «В девятидесятых годах» претенциозным, и Чехов остановился на окончательном названии, которое все-таки продолжало казаться ему «отвратительным», особенно слово «моя» (см. письма к Луговому – 13 сентября, к Т. Л. Толстой – 9 ноября).

Ввиду цензурных искажений текста, с которыми публика принуждена была читать повесть, Чехов торопился переиздать ее отдельной книгой. Пока повесть печаталась в журнале, он отослал Суворину материал для книжки: «Рассказы: 1. „Мужики“. 2. „Моя жизнь“» (см. письмо к Суворину от 8 ноября). Но по условию, поставленному издательством А. Ф. Маркса, книга не могла выйти раньше, чем через год. Пришлось сначала, по просьбе Суворина, издать повесть «Мужики» отдельно.

Летом 1897 г. Суворин передал в типографию текст «Моей жизни»; 12 июля 1897 г. Чехов возвратил прочитанную корректуру. Из письма к Суворину, посланного в тот же день, видно, что состав сборника не был ясен («Из каких рассказов будет состоять книга?» – спрашивал Чехов). Об издании сборника см. подробнее в примечаниях к повести «Мужики».

В текст «Моей жизни» в этом издании Чехов внес много изменений. Количество глав в отдельном издании не 17, как в приложениях к «Ниве», а двадцать (X, XII и XV

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru главы разделены каждая на две). Восстановив текст, вычеркнутый цензором при первой публикации (7 ноября 1897 г. Чехов сообщил М. Г. Вечеслову, что в книгу повесть «вошла вся»), он все-таки не был полностью удовлетворен, что видно из того же письма («когда я писал ее, то не забывал ни на минуту, что пишу для подцензурного журнала»). Были восстановлены следующие цензурные изъятия, коснувшиеся мыслей Полознева о социальной несправедливости в его споре с доктором Благово: в VI главе – рассуждения о том, что сильные не должны порабощать слабых, и об утонченных формах рабства в новое время; в VII главе – большой абзац с описанием беззаконий, которые совершались в городе по отношению к бесправным рабочим. В XVI главе журнальной публикации в объяснении Полознева с отцом активной стороной был отец. В отдельном издании Полознев отвечает отцу пространством обличением (см. стр. 278).

Критический пафос повести усилился и благодаря другим добавлениям, которые, возможно, тоже представляют собой восстановленные цензурные купюры. Такова вставка в главе II (см. стр. 205, строки 20–31). Категории должностных лиц, берущих взятки, которые перечисляются далее в этой главе, расширены (добавлено: учителя, врачи, начальство в уездных училищах).

Кроме того, в текст внесены дополнения, усилившие психологическую разработку главных персонажей (Мисаил Полознев, Клеопатра, доктор Благово).

Но сделано также немало и сокращений, в основном за счет деталей, характеризующих второстепенных героев.

Благодаря исключению слов о конкретных недоразумениях между хозяевами Дубечни и крестьянами (см. стр. 420) суждение о любви крестьян к правде и справедливости в отдельном издании получило более обобщенный характер.

Стилистическая правка несколько изменила характер финальных строк, усилив их лирическое звучание.

Количество поправок, внесенных в повесть при подготовке собрания сочинений, невелико. Наиболее важное исправление сделано в том эпизоде XIX главы, когда в сознании героя происходит смешение реального и нереального. В отдельном издании это случается с героем три раза, в собрании сочинений – только один раз (см. стр. 274 наст. тома). Причем число образов, представляющихся в эти минуты Полозневу, Чехов уменьшил (исключена, например, сцена с сестрой на базарной площади, целиком созданная воображением героя) и добавил объяснение провалов в его сознании «переутомлением нервов».

2

Цепь жизненных впечатлений, отраженных в повести, начинается с детства Чехова. «...кажется, что Чехов, когда писал, думал о Таганроге», – свидетельствует П. Сурожский (П. Н. Шатилов) в статье «Местный колорит в произведениях А. П. Чехова» («Приазовский край», 1914, № 172, 3 июля) и ссылается на описание раннего утра в главе II. В городе, где живут герои «Моей жизни», есть приметы Таганрога (см.: В. Д. Седегов. О таганрогском материале в произведениях А. П. Чехова. – В кн.: Литературный музей А. П. Чехова. Сборник статей и материалов, вып. 4, Ростов н/Д., 1967, стр. 91). Но город в «Моей жизни» – это обобщенный русский провинциальный город, и таганрогские детали в нем не имеют специфического «местного колорита»: так, параллельное расположение маленьких улиц и отсутствие водопровода могло быть в любом из провинциальных городов, а море, например, в повести не упомянуто.

В главе V, в описании жизни Полознева у няни Карповны и ее приемыша мясника Прокофия, М. П. Чехов узнал черты, восходящие к тому времени, когда тетка Чеховых Ф. Я. Долженко нанимала комнатку у таганрогского мясника Прокофия Алексеича (Антон Чехов и его сюжеты, стр. 18). Еще одна деталь, имеющая отношение к мяснику из повести (его наказывали розгами за то, что он дурно отзывался о докторе, – см. стр. 280 наст. тома), отнесена М. П. Чеховым к годам холеры в Нижнем Новгороде (там же, стр. 18; Вокруг Чехова, стр. 270).

Ю. Соболев заметил в характере отца Полознева некоторые черты П. Е. Чехова (Ю. Соболев. Чехов. Статьи. Материалы. Библиография. М., 1930, стр. 203–204). К Таганрогу восходят выражения: «Маленькая польза» (см. т. I Писем, стр. 347); «макарены на кораблях» (о сапогах Полознева) – см. Вокруг Чехова, стр. 64–65.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Следующий пласт реальных впечатлений связан с мелиховскими годами. Один из эпизодов – строительство школы для крестьян в Дубечне – написан по свежим следам: в августе 1896 г. была закончена постройка Талезской школы (4 августа состоялось ее освящение).

Прототипом Полознева, по воспоминаниям С. Т. Семенова, Л. Толстой считал серпуховского помещика князя В. В. Вяземского (С. Т. Семенов. О встречах с А. П. Чеховым. – «Путь», 1913, № 2, стр. 37; Чехов в воспоминаниях, стр. 368; ср. его же: Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. СПб., 1912, стр. 81). Этот «чудак», как его назвал Толстой, жил в сосновом бору, проповедуя необходимость физического труда для каждого человека. Последние годы жизни он, оставшись без средств, служил сторожем. В его биографии есть детали, напоминающие жизнь Полознева. Их привел со слов жены серпуховского помещика А. П. Мантейфеля М. О. Меньшиков в статье «Дознание» («Книжки Недели», 1895, № 8, стр. 205): «бродяга», бросил службу, женился на богатой – жена «не вытерпела», бросила, «за все хватался и ни к чему оказался не способен». После смерти Вяземского в 1892 г. появилось множество статей о его необыкновенных душевных качествах (см. примечания к т. VI Писем). Вяземского провозгласили предшественником Толстого и стали корить Толстого его примером.

Меньшиков поехал летом 1895 г. в Серпуховской уезд, чтобы собрать сведения о Вяземском, и в своем «Дознании» приводил факты, опровергавшие легенду о его святости и гуманности. Меньшиков был, в частности, у Мантейфеля, после чего по приглашению Чехова приехал в Мелихово и, разумеется, рассказывал ему о своих впечатлениях. Еще прежде Чехов мог услышать о Вяземском от самого Мантейфеля (с Вяземским он, очевидно, не успел познакомиться, т. к. переехал в Мелихово в год его смерти) и от Толстого, у которого был 8 августа, в дни, когда вышла в свет статья Меньшикова. У Толстого до статьи Меньшикова на основании прежних публикаций и слухов о Вяземском создалось впечатление о нем как о человеке замечательном «по правдивости и высоте нравственной» (письмо к П. Н. Клокачеву, 23 декабря 1894 г. – Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 67, стр. 290). Когда в Серпуховском уезде в связи со статьей Меньшикова поднялся шум в защиту памяти Вяземского, Чехов писал И. И. Горбунову-Посадову: «Весь наш уезд стал на дыбы. Особенно дамы» (8 сентября 1895 г.). Толстой в это время поддержал Меньшикова, правда, сожалея, что в статье говорилось худое о мертвом (письмо Меньшикову, 5 октября 1895 г. – Там же, т. 68, стр. 204). И если все же после выхода в свет «Моей жизни» образ Полознева соединился у Толстого с Вяземским, значит первоначальное впечатление было не вовсе стерто обличениями Меньшикова.

В повести отразилось сложное отношение Чехова к общественной и философской позиции позднего Толстого. Чехов работал над повестью, находясь под обаянием своей первой встречи с Толстым. В памяти были свежи разговоры с Толстым и чтение им вслух раннего варианта «Воскресения». Если в попытке героя, дворянина по происхождению, «опроститься» и жить трудовой жизнью в какой-то мере отразилась легенда о Вяземском, то отрицать близость этой попытки к сельскохозяйственной практике толстовцев тоже нельзя. А. И. Богданович (см. ниже) видел в повести критическое отношение Чехова к «доктрине» Толстого. Неудачная попытка героя сблизиться с крестьянством и крах его утопической мечты добиться физическим трудом социальной гармонии действительно отражают скептическое отношение Чехова к деревенской практике толстовцев. Но исходная моральная позиция Полознева и его неприятие существующих порядков обнаруживают солидарность Чехова с Толстым (см. об этом подробнее: А. П. Скафтымов. Нравственные искания русских писателей. М., 1972, стр. 394–402).

Обличительной силой, близкой к толстовской, проникнута полемика Полознева с Благово. Во взглядах Благово можно найти отзвук идей, бродивших в кругах буржуазной интеллигенции конца века (см. там же, стр. 397–399). Теория оправдания эксплуатации большинства меньшинством в разной форме была присуща социал-дарвинизму, органической теории общества Г. Спенсера, культу науки в философии О. Конта и Э. Ренана. На страницах «Русской мысли» в 1895 г. шли дебаты о соотношении между совестью и культурным прогрессом (статьи Меньшикова и др.). «Моей жизнью» Чехов объективно отвечал на вопрос, поднятый в печати: «нужна ли совесть?» (см. там же, стр. 399).

Этим ответом Чехов сближался с Толстым, тоже взывавшим к голосу совести. Но, в отличие от Толстого, Чехов и в «Моей жизни» не отрицал необходимости культурного прогресса. Мысль его в письме к Суворину от 27 марта 1894 г. о том, что «в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru от мяса», не отменялась рассуждениями Благово: античеловечностью его позиции дискредитировались не культурные ценности сами по себе, а лишь их противоречие нравственным началам.

3

Первый отзыв о «Моей жизни» принадлежит редактору «Нивы» Луговому, получившему рукопись повести в два приема – 19 июня и 13 сентября 1896 г. Свою высокую оценку повести он объяснял так: «С одной стороны, она злободневна; но не настолько, чтобы приближаться к все еще модной толстовщине, с другой – она вечна, потому что страдания свободного духа, стремящегося освободиться от опутавшей его паутины житейских мелочей, были и будут, всегда и всюду, одни и те же». Как редактор журнала, рассчитанного на широкого читателя, Луговой обратил особое внимание на простоту формы повести: «нет проповеднического глаголения»; «вещь глубокая по содержанию, она, тем не менее, общедоступна» (письмо 21 июня. – Записки ГБЛ, вып. VIII, М., 1941, стр. 45). «Вещь чудесная», – писал он и о второй половине повести, оценив, в частности, большой лаконизм повествования в X главе по сравнению с предыдущими: «Начало этой второй части мне показалось сначала немного странным по недосказанности многих действий и психологических мотивов, странным кажется отсутствие инженера во время бракосочетания его дочери, – т. е. не то, что отсутствие его личности в данную минуту, а как бы забыто самое его существование, но все это служит только к усилению впечатления от тех штрихов, которыми обрисовываются отношения отца и дочери на следующих страницах» (14 сентября 1896 г. – ГБЛ). Когда повесть была уже набрана и прошла через цензуру, Луговой писал, что считает ее одной из самых удачных вещей Чехова (25 ноября 1896 г. – ГБЛ).

«В качестве читателя „Нивы“» благодарил Чехова за повесть И. Л. Леонтьев (Щеглов): «Вот она, госпожа литература, в ее настоящем виде» (1 января 1897 г. – ГБЛ). В конце апреля 1897 г. при встрече с Чеховым он заметил, что название ее «слишком мелко и скромно для такой глубоко захватывающей повести», и возмущался критикой, которая не обратила внимания на журнальную публикацию («Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к „Ниве“», 1905, № 7, стлб. 398; «Чехов в воспоминаниях современников». М., 1952, стр. 142).

В. Г. Малафеева (писательница В. Мирович), работавшая тогда в киевской газете «Жизнь и искусство», откликнулась на «Мую жизнь» подробным письмом к Чехову (18 ноября 1897 г. – ГБЛ.) Ее внимание привлекло нравственное содержание повести и, в связи с ним, позиция двух героев – Полознева и Редьки. Изображение «глубокого томления ищущего духа» в «захолустье» она оценила как факт общественно значительный. Имея в виду изображение народа в «Моей жизни» и «Мужиках», она писала: «Ваши мужики – этот удар хлыста по сытому и спокойному лицу так называемого интеллигента – несмотря на свой мрак, указывают на что-то светлое, на что-то нетронутое и крепкое в народной душе».

Прочитав повесть в отдельном издании вместе с «Мужиками», И. Е. Репин выражал свое восхищение в письме Чехову 13 декабря 1897 г.: «Какая простота, сила, неожиданность; этот серый обыденный тон, это прозаическое мирозерцание являются в таком новом увлекательном освещении <...> А какой язык! – Библия» (И. Е. Репин. Письма к писателям и литературным деятелям. 1880–1929. М., 1950, стр. 141).

Есть свидетельство об употреблении Толстым слов Редьки: «Все может быть, все может быть». Противопоставляя Чехову-драматургу Островского, которого ставил выше, Толстой говорил: «Если б этому столяру <маляру> прочесть „Чайку“, он не сказал бы: „все может быть“» («Дневник А. С. Суворина». М. – Пг., 1923, стр. 147 – запись от 11 февраля 1897 г.).

Чехов намеревался прочитать Толстому «Мую жизнь» в корректурных листах (см. письмо к Т. Л. Толстой от 9 ноября 1896 г.). Но поездка его с этой целью в Ясную Поляну не состоялась. Толстой ознакомился с ней в приложениях к «Ниве». О его впечатлении от повести вспоминал С. Т. Семенов: «„Моя жизнь“ понравилась Л. Н., но не в целом, а местами» («О встречах с А. П. Чеховым». – «Путь», 1913, № 2, стр. 37; Чехов в воспоминаниях, стр. 368). В других воспоминаниях Семенов приводил слова Толстого: «Есть места удивительные, но вся повесть слаба» («Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом». СПб., 1912, стр. 81).

В архиве Чехова сохранились и более поздние отклики на повесть. Горбунов-Посадов отметил в письме Чехову от 14 сентября 1898 г. «сильное описание провинции»

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru (ГБЛ). Л. А. Сулержицкий считал повесть лучшей вещью Чехова и писал ему 20 октября 1902 г., что ее «еще не оценили в публике» (ГБЛ).

М. Горький сообщал Е. П. Пешковой в марте 1899 г.: «Вчера я прочитал „Моя жизнь“ – Роскошь» («М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи, высказывания». М., 1951, стр. 146).

В декабре 1896 г. закончилось печатание повести, а в январском номере журнала «Новое слово» (1897, кн. 4) А. М. Скабичевский уже использовал образ Полознева в статье «Больные герои большой литературы». Как и художника в «Доме с мезонином» (см. примечания к этому рассказу), Скабичевский отнес Полознева к типу неудачников – «психопатических героев современной беллетристики» (стр. 167), противопоставляя их Онегину, Чацкому, Рудину и др., которые были действительно героями своего времени. В «опрошении» Полознева он видел связь с теорией Л. Толстого. Впоследствии в статье «Антон Павлович Чехов» («Русская мысль», 1905, № 6, стр. 52) он утверждал, однако, что Чехов был далек и от народников, и от толстовцев, которые были готовы идти в народ, и в доказательство этого приводил слова Маши Должиковой о тщете и несостоятельности попыток опрошения.

Выход в свет под одной обложкой повестей «Моя жизнь» и «Мужики» вызвал сопоставления их под углом зрения социальных взглядов Чехова. Если «Мужики», заявлял М. А. Протопопов («Одесские новости», 1897, № 4115, 16 октября), свидетельствуют об апологетическом отношении Чехова к капиталистическому городу, то этого нельзя сказать о «Моей жизни». «...Критики, накинувшиеся на г. Чехова за сугубо мрачный взгляд его на деревню, могут утешиться, так как взгляды автора на город, выраженные в „Моей жизни“, еще безотраднее». – писал о том же А. Б. (А. И. Богданович) («Мир божий», 1897, № 12, стр. 2). Находя во взглядах Полознева элементы «толстовской доктрины», Богданович считал, что сам Чехов не разделяет этой доктрины, а скорее доказывает непригодность ее к жизни. Это отношение критик особенно чувствовал в печальном конце повести. Вывод критика был достаточно традиционен: «Как и все большие вещи г. Чехова, „Моя жизнь“ не дает цельной картины, а ряд прекрасно выписанных отдельных моментов» (имеются в виду эпизодические лица, живые и яркие картины природы) (стр. 6).

Сопоставлял «Моя жизнь» и «Мужиков» и Ф. Д. Батюшков, напечатавший в 1899 г. статью под характерным заглавием: «На расставании полувека. Бальзак, Ант. Чехов и Влад. Короленко о „крестьянах“». Он объявлял ошибочной самую постановку вопроса – где лучше, в деревне или в городе? – применительно к «Мужикам», ибо Чехов в двух повестях показал неприглядность и той, и другой жизни (сб. «Памяти В. Г. Белинского». М., 1899, с. 460–461),

В соответствии со своей оценкой Чехова как бесстрастного изобразителя «серой» жизни остановился на повести Г. Качерец в книге «Чехов. Опыт» (М., 1902). С раздражением он писал о равнодушии Чехова к душевным волнениям героев, к их любви (всегда несчастной) и об излишнем его внимании к мелким внешним деталям (стр. 29–30).

Упреки Чехову в предвзятом, одностороннем изображении жизни опровергал Я. В. Абрамов, автор статьи «Наша жизнь в произведениях Чехова» («Книжки Недели», 1898, № 6). процитировав отрывки из повести, изображающие жизнь провинциального города в неприглядном свете (стр. 205–206 наст. тома), он писал: «Я знаю, что многие негодуют на Чехова за приведенный отрывок и говорят, что все, нарисованное им, преувеличено. Находятся и такие, которые отвергают вообще правдивость нарисованной картины. Но, господа, будем же искренними: да разве не такова на самом деле, с небольшими вариациями, жизнь в наших городах?» (стр. 139). И дальше: «Мы живем, как живется, живем, в большинстве случаев, в заведенных не нами формах жизни, идем по следам наших предшественников и окружающих нас, не задумываясь над тем, так ли мы живем, как нужно, так ли мы поступаем, как следует <...> И вот для того, чтобы вывести нас из состояния неведения, <...> чтобы побудить нас выработать систему сознательного поведения по отношению к себе, ближним и всему миру, – и нужны такие писатели, как наш Чехов или, например, французский Мопассан» (стр. 145–146). Этот вывод, отвергающий распространенное мнение о безыдейности Чехова, Абрамов подкреплял ссылкой на повести «Мужики» и «Моя жизнь», которую ставил еще выше первой. Обе повести он считал образцом произведений крупных и отличающихся выдающимися художественными достоинствами. Тем самым он отвергал и ходячее мнение о том, что Чехов не в состоянии создать обобщающего произведения: «Пусть не говорят, будто Чехов только и способен создавать малые вещицы, только и может рисовать отдельные

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru явления и отдельные стороны нашей жизни. Что он способен к широкой концепции, что его талант в состоянии справиться с большою картиною, в которой отразилась бы вся русская жизнь в ее важнейших проявлениях, – это он, несомненно, доказал своими последними, названными мною выше произведениями...» (стр. 167).

В числе защитников «Моей жизни» был и Д. Н. Овсяннико-Куликовский. Относя Чехова к типу художников-экспериментаторов, Овсяннико-Куликовский опирался, в частности, на повести «Мужики» и «Моя жизнь» («А. П. Чехов». – «Журнал для всех», 1899, № 2, стр. 136).

Критика начала 1900-х гг. обратила внимание на идею справедливости и правды в народе, о которой Чехов писал в XIII главе. С сочувствием приводил это место В. Альбов в своем критическом очерке «Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова» («Мир божий», 1903, № 1, стр. 104–105). Однако попытка самого Полознева руководиться в жизни «идеалом правды, справедливости и гуманного, мягкого, почти любовного отношения к людям» (стр. 107) казалась ему, как и Богдановичу, неудачной. С недоверием к этой идее отнесся и Волжский (А. С. Глинка) в «Очерках о Чехове» (СПб., 1903, стр. 175).

Многие критики противопоставляли «бледный образ» главного героя колоритности эпизодических лиц – Редьки, доктора, инженера (например, Богданович, Альбов).

Когда печаталось окончание повести, ее начало уже переводилось на немецкий язык. Для П. О. Укке (обратившегося к автору за разрешением на перевод) Чехов восстановил цензурные изъятия в главах VI–XI, напечатанных в ноябрьской книжке, и в десятых числах декабря переслал их через брата Михаила Павловича в Ярославль, где жил Укке (см. письмо Укке от 19 декабря 1896 г. к Чехову – ГБЛ; Чехов, лит. архив, стр. 242). Журнальный оттиск с правкой Чехова – в ЦГАЛИ.

О своих переводах произведений Чехова, в том числе «Моей жизни», на немецкий язык Чехова извещала Эльза Голлер (E. Goller) – ГБЛ. А. А. Энгельгардт, автор биографической заметки о Чехове в журнале «Das literarische Echo» (1899, № 3), просил Чехова дать материал для «маленького комментария» к повести, которая печаталась в одном из журналов, издаваемых штутгартским издательством «Deutsche Verlags Anstalt» (21 февраля 1899 г. – ГБЛ). Глава издательства литературы и искусства в Мюнхене Альберт Ланген (Albert Langen) обратился в 1899 г. к Чехову с просьбой позволить издать переводы его произведений на немецкий язык одновременно с их публикацией в России и при этом выразил свое восхищение сборником «„Мужики“ и „Моя жизнь“» (7 (19) мая 1899 г. – ГБЛ).

О переводах повести на шведский язык известно из переписки Чехова с М. Г. Вечесловым в 1897 г. (см. ЛН, стр. 213–214). Переводчик Стадлинг (J. Stadling), о котором писал Чехову Вечеслов, был знаком с Толстым и переводил его сочинения.

Сотрудник «Le Temps» Андре Бонье (Beaunier), ездивший в конце 1897 г. в Россию к Л. Толстому, сообщал Чехову через М. М. Ковалевского о своем намерении перевести «Мую жизнь» на французский язык (см. ЛН, стр. 217, а также его письмо к Чехову б. д. в ГБЛ). 16 января 1898 г. Чехов писал сестре из Ниццы, что «Моя жизнь» переводится для «Le Temps».

Намеревались также перевести повесть на французский язык Дени Рош (ЛН, стр. 217) и И. Д. Гальперин-Каминский (письмо Чехову 15(28) апреля 1903 г. – ГБЛ).

Р. Лонг писал Чехову 7 июля 1898 г., что прочел ряд его книг, в том числе «„Мужики“ и „Моя жизнь“», и хочет поместить свои переводы в «Русской библиотеке», издаваемой английским журналом «The Review of Reviews» (ГБЛ; «Вестник истории мировой культуры», 1961, № 2, стр. 104).

И. Л. Леонтьев (Щеглов), вспоминая о незаслуженном замалчивании повести в 1897 г., отмечал, что впоследствии она была по достоинству оценена «заграничной критикой» (И. Щеглов. Из воспоминаний об Антоне Чехове. – «Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к „Ниве“», 1905, № 7, стлб. 398).

Об украинском переводе повести см. ЛН, стр. 241.

При жизни Чехова «Моя жизнь» была переведена на венгерский, датский, немецкий, сербскохорватский, финский, чешский и шведский языки.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Мужики

Впервые – «Русская мысль», 1897, № 4, стр. 167–194. Подпись: Антон Чехов.

С добавлением в гл. IX вышло отдельным изданием: Антон Чехов. Мужики. Рассказ. СПб., изд. А. С. Суворина, 1897 (ценз. разр. 23 августа 1897 г.).

Включено в книгу А. П. Чехова: «Рассказы: 1. „Мужики“. 2. „Моя жизнь“». СПб., изд. А. С. Суворина, 1897, и перепечатывалось в последующих изданиях этой книги (изд. 2–7, 1897–1899).

Сохранились (ЦГАЛИ) черновой автограф неоконченного продолжения повести (гл. X и XI – см. стр. 344–348 наст. тома) и многочисленные записи на отдельных листах и в записных книжках (см. т. XVII Сочинений).

В ЦГИАЛ хранится стр. 193 из № 4 «Русской мысли», изъятая цензурой.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. IX, стр. 128–165, со следующими исправлениями:

Стр. 289, строка 9: доставая из узла евангелие – вместо: доставая из угла евангелие (по всем предыдущим изданиям).

Стр. 289, строки 15–16: се ангел господень... во сне явился Иосифу – вместо: се ангел господень... во сне явился Иосифу (по тексту «Русской мысли», учитывая также чтение Евангелия).

Стр. 294, строка 17: наверное пойдет в ад – вместо: пойдет в ад (по всем предыдущим изданиям).

Стр. 297, строка 1: господской усадьбы – вместо: городской усадьбы (по всем предыдущим изданиям).

Стр. 300, строка 18: как страшна, холодна эта смерть – вместо: как страшно холодна эта смерть (по тексту «Русской мысли»).

1

Повесть «Мужики» Чехов писал в Мелихове, и, по свидетельству М. П. Чехова, в ней «на каждой странице сквозят мелиховские картины и персонажи» (Вокруг Чехова, стр. 280; см. также Антон Чехов и его сюжеты, стр. 128, 132). В частности, описание пожара (гл. V) навеяно «(отчасти)» пожаром в Мелихове, бывшим в 1895 г. (письмо Чехова к Ал. П. Чехову от 2 апреля 1897 г.); вместе с тем у этого описания есть и внутренние истоки: они ведут к картине деревенского пожара, подготовленной Чеховым еще в конце 80-х гг. для начатого романа (см.: ПССП, т. XIV, стр. 530; т. III Писем, стр. 349). В. Н. Ладыженский, присутствовавший при освящении школы в Новоселках, вспоминал о своем разговоре при этом с Чеховым: «Тут же обратил он мое внимание на местного крестьянина, послужившего прототипом для старосты в „Мужиках“, и указывал на своеобразную колоритность его речи» (В. Ладыженский. Из воспоминаний об А. П. Чехове. – «Мир божий», 1905, № 4, стр. 194). 26 июня 1899 г., поясняя А. С. Суворину свое намерение продать Мелихово, Чехов между прочим замечал: «И в беллетристическом отношении после „Мужиков“ Мелихово уже истощилось и потеряло для меня цену». О значении земской деятельности Чехова для повестей «Мужики» и «В овраге» писал впоследствии П. И. Куркин («Общественный врач», 1911, № 4, стр. 66–69).

Дополнительным стимулом к работе над «Мужиками» могли служить очерки И. С. Соколова «Дома. Очерки современной деревни» («Вестник Европы», 1896, № 7, 8, 9). Оттиск этого произведения был прислан автором Чехову по его просьбе (см.: Г. А. Бялый. Рассказ А. П. Чехова «Мужики» и деревенские очерки И. С. Соколова. – «Ученые записки ЛГУ», № 355. Серия филологических наук, вып. 76. 1971, стр. 196–200).

Б. К. Зайцев предполагал, что жизненный материал для изображения Николая Чикильдеева Чехов вынес из «Большого Московского» (гостиницы), где он сам часто жил, имея в нем даже свой, «чеховский» номер (№ 5). Там Чехов познакомился с официантом Бычковым, стал даже крестным отцом его ребенка (Бор. Зайцев. Чехов. Литературная биография. Нью-Йорк, 1954, стр. 161–162.)

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Об этом С. И. Бычове сохранилось свидетельство Ст. Эн. в статье «„Человек из ресторана“ о Чехове» («Раннее утро», 1914, № 151, 2 июля), где приводятся также стихи Бычкова, посвященные Чехову. В подлиннике эти стихи хранятся в ГБЛ вместе с тремя письмами Бычкова к Чехову и читаются так:

Посвящается А. П. Чехову

<...> Наверно взял меня как типа
В своих недурных мужиках
Я помню старосту Антипа
Да Кирьяка знал в лесниках.
Меня назвал ты Николаем
Жене Ольгушой имя дал.
Мы лето жили под сараем,
Зимой отрада был подвал. <...>

Вероятно, к работе над «Мужиками» относятся слова Чехова из письма к Е. М. Шавровой от 1 января 1897 г.: «...я занят по горло: пишу и зачеркиваю, пишу и зачеркиваю...». 1 марта 1897 г. он уже сообщал Суворину: «Я написал повесть из мужицкой жизни, но говорят, что она не цензурна и что придется сократить ее наполовину».

В Записной книжке I есть несколько записей, использованных в «Мужиках». О девочке Маше, которая «потихоньку (из мести)» и нелюбви к бабушке налила ей молоко в суп, чтобы она оскоромилась – был великий пост (Зап. кн. I, стр. 48). В измененном виде эта запись вошла в IV главу «Мужиков». В этой же главе использована и первая запись на стр. 60: «Когда в доме кто долго болеет, то все внутренно желают его смерти, кроме, впрочем, детей, которые боятся смерти и, например, при мысли о смерти матери приходят в ужас». На стр. 67 той же записной книжки находится запись о глухой кошке, которую «побили» (использована в гл. I). Запись на стр. 71: «Иногда при закате солнца видишь что-нибудь необыкновенное, чему не веришь потом, когда это же самое видишь на картине» – в несколько измененном виде вошла в гл. IX повести.

Более развернутая заготовка имеется в Записной книжке III (стр. 3): «Говорят о нуждах и кормах (?), потом начинают ссориться, есть друг друга: они друг другу не верят, боятся. Кто кабак держит и спаивает народ? Мужик. Кто растратил школьные деньги? Мужик. Кто в собраниях говорит против мужика? Мужик» (ср. в повести гл. VI и IX). Возможно, что с «Мужиками» связана текстуально ни к чему не приуроченная запись в книжке I (стр. 109): «Из деревни лучшие люди уходят в город, и потому она падает и будет падать».

О публикации «Мужиков» Чехов, по-видимому, имел договоренность с редактором журнала «Русская мысль» В. А. Гольцевым, который писал 15 марта 1897 г.: «Апрельскую книжку нужно всю отпечатать в марте, до страстной. Пришлешь рассказ?» (ГБЛ, Гольц. X, № 41, л. 4). В тот же день Чехов уведомлял Гольцева из Мелихова: «...приеду 20-го марта, или днем раньше, и привезу повесть. Это наверное».

Однако уже утром 17 марта повесть была отправлена в редакцию «Русской мысли». В письме к Гольцеву от 18 марта Чехов сообщал, что уже послал повесть, и просил приготовить корректуру «к понедельнику» (т. е. к 24 марта) – «приеду и прочту в единый миг». 20 марта он писал также П. А. Сергеенко, что «еще в марте» рассчитывает «читать корректуру новой повести (которая пойдет в апрельской „Русской мысли“»).

Чехов приехал в Москву раньше, чем предполагал, – 22 марта. Однако в этот же день он тяжело заболел (сильное легочное кровотечение) и с 25 марта по 10 апреля находился в Остроумовской клинике. Корректуру «Мужиков» по просьбе Чехова взяла у Гольцева и доставила в клинику Л. А. Авилова (Чехов в воспоминаниях, стр. 259–262). В ГБЛ (Гольц. X, № 41, л. 9) хранится письмо Гольцева от 22 марта 1897 г.: «Дорогой Антон Павлович! В понедельник корректуру верни».

То ли сам, предваряя цензуру, то ли по совету редакции «Русской мысли» Чехов изъял из повести главу, содержащую разговор мужиков о религии и властях. Об этом он сообщал в письме от 24 января 1900 г. к Ф. Д. Батюшкову, который передал Чехову просьбу французского переводчика Д. Роша: «Рош просит выслать ему те места из „Мужиков“, которые были выброшены цензурой. Но таких мест не было. Есть одна глава, которая не вошла ни в журнал, ни в книжку; это разговор мужиков о

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru религии и властях. Но посылать эту главу в Париж нет надобности, как и вообще не было надобности переводить „Мужиков“ на французский язык». Текст упоминаемой Чеховым главы неизвестен.

Автограф продолжения повести (гл. X и XI) точной датировке не поддается. На обороте его первого листа – черновик письма Чехова к А. Ф. Марксу от 9 августа 1900 г.; однако писалось ли письмо на обороте автографа или X глава начата на обороте письма – точно установить не удается. Судя по тому, что второй точно такой же лист исписан с обеих сторон, можно предположить, что письмо к тому времени уже было написано (т. е. продолжение «Мужиков» создавалось после 9 августа 1900 г.). Это соображение подкрепляется еще и тем, что почти все фрагменты на двух приложенных к автографу отдельных листах, относящиеся к продолжению повести, вписаны Чеховым дополнительно, между строчками записей, относящихся к опубликованной части.

С другой стороны, текстуальная близость одного из этих набросков к записи в дневнике Чехова от 19 февраля 1897 г. говорит о том, что замысел продолжения повести возник и получил первую разработку одновременно с писанием опубликованной в 1897 г. повести. К такому же выводу склоняет сохранившееся письмо Гольцева к Чехову от 26 марта 1897 г., когда 4-я книжка «Русской мысли» еще не вышла: «Мне необходимы твои Мужики, их продолжение. Поезжай-ка на юг, отремонтируйся. Цензура будет злиться, но я намерен упорствовать. <...> А как хороши твои „Мужики“! Тяжело только очень» (ГБЛ, Гольц. X, № 41, л. 10).

В главах X и XI изображается дальнейшая жизнь Ольги и ее дочери Саши в городе, после ухода из деревни; упоминаются другие персонажи, известные по опубликованной части «Мужиков»: Кирьяк, Марья, Фекла, сестра Ольги – Клавдия Абрамовна, лакей Иван Макарыч Матвейчев.

Из набросков продолжения повести вырисовывается более широкий замысел Чехова – изобразить, наряду с деревенской жизнью, деклассированные элементы города. В Записной книжке I имеется следующая запись, относящаяся, видимо, к дальнейшей судьбе Саши: «И она стала заниматься проституцией и уже спала на кровати, а обнищавшая тетя уже ложилась на коврик около ее постели и вскакивала, когда звонились гости; а когда они уходили, она говорила жеманно, с кокетливой гримасой:

– Оставьте что-нибудь горничной.

И ей иногда оставляли 15 копеек» (стр. 85). Судя по положению в записной книжке, запись сделана во время пребывания Чехова за границей с осени 1897 г. по апрель 1898 г. Подробнее см.: З. Паперный. Записные книжки Чехова. М., 1976, стр. 197–227.

Основная идея продолжения, вероятно, отразилась в записях: «Господа порядочны, говорят о любви к ближнему, о свободе, о помощи бедному, но все же они крепостники, так как не обходятся без лакеев, к^оторых унижают каждую минуту. Они что-то скрыли, солгали святому духу». И – заключительная запись: «Как теперь мы удивляемся жестокостям, какими отличались христианские мучители, так и со временем будут удивляться лжи, с какою теперь борются со злом, служа лицемерно тому же злу; например, говорят о свободе, широко пользуясь услугами рабов» (ЦГАЛИ; ПССП, т. XII, стр. 315, 316).

Публикация повести в журнале вызвала донесение Московскому цензурному комитету цензора С. И. Соколова: «В первой половине апрельской книжки „Русской мысли“ в цензурном отношении особенного внимания заслуживает статья А. П. Чехова „Мужики“. В ней слишком мрачными красками описывается положение крестьян, проживающих в деревнях. В течение лета они, не зная отдыха, работают с утра до поздней ночи с своими семьями, а между тем хлеба не заготавливают для своих семей и на половину года. Питаясь, поэтому, впроголодь, они тем не менее почти все поголовно пьянствуют. На пьянство они не жалеют ничего, даже одежды своей. Пьяные, они зверски обращаются с своими женами и, уродуя их всячески, всегда считают себя безнаказанными. И без того беспомощных, их особенно тяготят подати, которые всею тяжестью ложатся на семейства крестьян. В чем же кроются причины такого печального положения крестьян, или вернее, их семейств? В невежестве. В бога большая часть мужиков, будто, не верит и к религии относится слепо. Крестьяне жаждут света и знания, но не могут сами по себе найти его, потому что грамоте из них редкие обучены. Большинство же будто и понятия о ней не имеют

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru (стр. 189–191). Мужики „грубы, нечестны, грязны, нетрезвы, живут не согласно... Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрчивает и пропивает мирские деньги? Мужик. Кто ложно показывает на суде за бутылку водки? Мужик“ и т. д. (см. стр. 193). Но всем этим порокам мужика есть оправдание в тяжком труде его, в скудных урожаях, в беспомощности его. С него только взыскивают подати, но обращаются, как с бродягою. „Да и может ли быть какая-либо помощь мужику от людей корыстолюбивых (каковы разные чиновники и попы, собирающие с не бывших на духу крестьян, по миновении поста, по 15 коп.) (стр. 189, 193), жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только затем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать?“ (там же). Да, теперь, по рассказу Чехова, мужики имеют беспомощный вид и пьянствуют. Но прежде, „лет 15–20 тому назад“... у каждого мужика был „такой вид, как будто он хранил какую-то тайну, что-то знал и чего-то ждал“; в то время мужики „говорили о грамоте с золотой печатью, о разделах, о новых землях, о кладах, намекали на что-то; теперь же мужики могут говорить только о нужде“ (стр. 189). Положение их в настоящее время хуже, чем в каком они находились в крепостное время. Тогда их хоть досыта кормили. А теперь их только обирают и секут.

Книга „Русской мысли“ поступила ко мне на просмотр сегодня, 2-го апреля». (ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 21, ед. хр. 179, л. 16; опубл. по копии: Чехов, Лит. архив, стр. 262–263).

Препровождая этот доклад в Главное управление по делам печати, председатель Московского цензурного комитета отозвался о «Мужиках»: «Это нечто, по первому впечатлению, предосудительное» (там же, л. 14).

Резолюция начальника Главного управления по делам печати М. П. Соловьева: «Задержать, если не исключат стр. 193. З. IV. 97, М. С.».

В Московском цензурном комитете решено было обратить внимание на весь состав той книжки «Русской мысли», в которой печатались «Мужики». От цензора С. И. Соколова поступило новое донесение, где опять подробно доказывалось, что Чехов «мрачными красками <...> рисует положение в настоящее время наших крестьян в деревне» (ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 6, ед. хр. 362, л. 9–12; опубл. по копии: Чехов, Лит. архив, стр. 264–265).

Председатель Московского цензурного комитета В. Назаревский обратился в Главное управление по делам печати с особой бумагой, в которой писал: «Усматривая во всем этом характеристическое проявление предосудительного направления „Русской мысли“, имею честь о вышеизложенном довести до сведения Главного управления по делам печати» (донесение от 3 апреля 1897 г., № 806 – там же, л. 5).

Из Петербурга в Московский цензурный комитет 3 апреля была направлена телеграмма: «Москва Цензурный комитет. Исключить страницу 193 Чехова. При несогласии арестовать. Соловьев» (ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 21, ед. хр. 179, л. 17).

5 апреля 1897 г. Назаревский доносил в Главное управление: «Г-н Гольцев исполнил указанное Вашим превосходительством, исключив на 193 странице предьявленное ему».

Цензурное преследование апрельского номера «Русской мысли» предпринято было в большой спешке. В том же донесении Назаревский сообщал: «Посланные доклады о „Русской мысли“ составлены в одну ночь. Прошу принять это в снисходительное внимание» (там же, л. 18).

В результате цензурного давления заключительная страница «Мужиков» из уже отпечатанного тиража «Русской мысли» была вырезана и заменена новой. Считалось, что эта страница утрачена (см. ПССП т. IX, стр. 579). На самом деле в бумагах Санкт-Петербургского цензурного комитета хранятся 15 экземпляров вырезанной страницы (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 25, ед. хр. 1889; см. воспроизведение ее на стр. 283 наст. тома). Выл изъят большой кусок текста (27 строк) – воспоминания Ольги о нищенской жизни крестьян в деревне («Она вспоминала о том, как несли Николая ~ пока шла, все оглядывалась на избы»). Набор на стр. 193 был разрезан шпонами, для того чтобы «разогнать» текст и чтобы страница 194 не оставалась пустой.

К 7 апреля 4-я книга «Русской мысли» с рассказом Чехова вышла из печати (объявление в газете «Русские ведомости», 1897, № 96, 7 апреля, стр. 1). 16 апреля 1897 г. Чехов писал М. О. Меньшикову: «Из „Мужиков“ цензура выхватила

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
порядочный кусок».

26 апреля, приехав из Мелихова в редакцию «Русской мысли», Чехов взял оттиски «Мужиков» и начал их рассылать (см. письмо А. А. Тихонову (А. Луговому) от 25 апреля 1897 г.). 2 мая он послал «оттиск своего последнего рассказа» Л. В. Средину в Ялту (ЛН, стр. 284).

В апреле 1897 г. Суворин предложил Чехову издать «Мужиков» отдельной книжкой. Чехов считал нужным пополнить книгу, чтобы довести объем до требуемых для бесцензурного издания 20 листов (письмо к Суворину от 2 мая 1897 г.).

Корректуру книги Чехов получил 13 июня, в ней оказались рассказы, ничего общего не имеющие с темой «Мужиков» («Дом с мезонином» и др.). Чехов написал, чтобы прекратили печатание, и 20 июня получил от заведовавшего типографией К. С. Тычинкина успокоительное письмо. Не удовлетворило Чехова и то, что корректура «Мужиков» для отдельного издания была ему прислана «в листах, а не в полосах», т. е. в верстке, а не в гранках, что ограничивало возможности внесения новой правки. Однако Чехов восстановил в конце повести (с небольшими вариантами) те размышления Ольги о ее жизни в деревне, которые были изъяты из «Русской мысли» по требованию цензуры. И. Л. Леонтьев (Щеглов) в своих воспоминаниях писал еще о «двух-трех строках», прозрачно напоминавших «проповедническую манеру Л. Толстого», которые были в «Русской мысли» и якобы устранены Чеховым по совету мемуариста в отдельном издании (И. Л. Щеглов. Из воспоминаний об Антоне Чехове. – «Чехов в воспоминаниях современников». М., 1954, стр. 168–169). Однако никаких предпочтений подобного рода между текстами «Русской мысли» и отдельного издания нет.

Леонтьев (Щеглов) сообщал также, что именно он подал Чехову мысль объединить «Мужиков» в одной книжке с повестью «Моя жизнь». Однако из писем Чехова следует, что это предложение исходило от Суворина и Тычинкина (см. письмо Чехова к Суворину от 7 июля 1897 г.). Объединить обе повести в одной книге удалось не сразу: издатель «Нивы» А. Ф. Маркс еще в конце 1896 г. прислал условие, по которому Чехов не имел права в течение года переиздавать опубликованную в приложениях к «Ниве» «Мую жизнь».

Суворин выпустил отдельным изданием сначала только одних «Мужиков». Но с того же набора «Мужики» печатались и в первом издании сборника: Антон Чехов. Рассказы: 1. Мужики. 2. Моя жизнь (СПб., 1897). Оба эти издания имеют одинаковую дату цензурного разрешения: 23 августа 1897., [68] так что выпущенную Сувориным в 1897 г. книгу «Мужики можно рассматривать как отдельный оттиск из отпечатанной тогда же более полной книги: „1. Мужики. 2. Моя жизнь“». [69]

2-е и 3-е издания книги «1. Мужики. 2. Моя жизнь», вышедшие в 1897 и 1898 гг., обнаружить не удастся. Однако они существовали, потому что входят в счет изданий, и М. А. Протопопов, например, в своей рецензии упоминает второе издание («Одесские новости», 1897, № 4115, 16 октября).

4-е издание (1898) напечатано с того же набора, что и 1-е, но с некоторыми улучшениями в верстке. Кроме того, начиная с этого издания, книга печаталась под заглавием: «Мужики и Моя жизнь».

С того же набора отпечатаны и все остальные издания: 5-е (1898), 6-е (1899; ценз. разр. 26 октября 1898 г.) и 7-е (1899; ценз. разр. 2 августа 1899 г.). Последнее, 7-е издание – из оставшихся в типографии 2000 несброшюрованных экземпляров – выпущено по договору Суворина с Марксом от 19 мая 1899 г. (ГБЛ, ф. 360, к. 1, ед. хр. 91) после того, как Маркс приобрел у Чехова исключительное право на издание всех его сочинений.

2

После публикации «Мужиков» в журнале в Мелихово стали поступать читательские отзывы о повести. «Получаю много писем по поводу своего здоровья и „Мужиков“», – писал Чехов Суворину 2 мая 1897 г.

12 апреля 1897 г. Меньшиков писал Чехову из Петербурга: «Прочли „Мужиков“; Лидия Ив. <Веселитская, друг Меньшикова> в восторге, я же ошеломлен этой тяжелой картиной. Вещь мастреская, одна из самых сильных Ваших вещей: это та картина, о которой мечтал гастринковский Рябинин. Прочитать этот рассказ безнаказанно нельзя. От всего сердца желаю еще таких же повестей о забытом теперь мужике хоть с

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
десяток, т. к. Вы мало пишете» (Записки ГБЛ, вып. VIII, М., 1941, стр. 49).

Писательница Е. М. Шаврова (Юст) сообщала свои впечатления в письме к Чехову в клинику 22 апреля 1897 г.: «Читала Ваш рассказ „Мужики“ и перечитывала. Как хорошо! Как хорошо! Ну, я не умею выразить, как хорошо! Сколько добра Вы сделали, написав про них. Жалких, голодных и темных. За этот рассказ Вам простятся все грехи, если они есть у вас... А Мотья и Саша, и с Ко-ло-ко-ла-ми, и фрак, и ангелочки, – нет, не могу, так это великолепно!» (ГБЛ).

Н. А. Лейкин, обычно сдержанно относившийся к большим повестям Чехова, на этот раз выразил восхищение: «Прочел Ваших „Мужиков“. Восторг что такое! Читал на ночь, в один засос и потом долго не мог заснуть» (29 апреля 1897 г. – ГБЛ).

В начале мая 1897 г. Чехов получил письмо Вл. И. Немировича-Данченко: «Читал с огромным напряжением „Мужиков“. Судя по отзывам со всех концов, ты давно не имел такого успеха» («Ежегодник Моск. Худож. Театра», 1944, т. I, М., 1946, стр. 104).

Доктор П. Г. Розанов, знавший Чехова по службе в Звенигороде в 1884–1885 гг., писал 5 мая 1897 г.: «Спасибо, громадное спасибо Вам за „Мужиков“. Не в виде совета, а так – „по душам“, скажу Вам, что если бы почаще заглядывали вы в эту затронутую Вами среду, Вы были бы нам еще дороже (нам – это значит Вашим читателям)» (ГБЛ). О том, что про «Мужиков» «все говорят», сообщал Чехову Гольцев 15 мая 1897 г. (ГБЛ, Гольц. X, № 41, л. 13). Врач Н. И. Коробов, товарищ Чехова по Московскому университету, писал ему 4 июня 1897 г.: «Чем больше думаю про „Мужиков“, тем больше прихожу к убеждению в их значительности и своевременности. Они вопиют, бьют в набат и должны бы быть запрещены цензурой» (ГБЛ); Коробов сообщал, что «одна близко знакомая» ему очень богатая «дама» «желала бы издать» «Мужиков» отдельной книжкой.

А. А. Тихонов (А. Луговой) благодарил Чехова 10 мая 1897 г. за присылку оттиска «Мужиков»: «Все это прекрасно, как все, что Вы пишете, с художественной точки зрения, и отвратительно, как действительность, черт ее побери! Еще если б можно было утешиться, что это так у нас, а у других народов лучше; а то ведь везде есть эта тьма. Наши мужики все еще лучше тех, которые описаны Золя. Вас упрекают, что в „Мужиках“ Вы тенденциозно берете только темные стороны, умалчивая о светлых. Вздор это. Точно художник обязан, чтобы быть объективным художником, подыскивать непременно и такие явления, которых у него в данную минуту не оказывается под руками» (Записки ГБЛ, вып. VIII, стр. 47).

А. И. Сумбатов (Южин) в мае 1897 г. писал: «Ты себе – пожалуй – представить не можешь, что ты мне доставил своими „Мужиками“. Я не народник ни в старом, ни в новом смысле. С точки зрения „убеждений“ держусь, по чистой совести, того взгляда, что народу надо помочь научиться, как выбиться из его страшной нужды. Работая большей частью в стороне от непосредственного касательства к нему, я не могу и много мудрствовать по его поводу, а, грешным делом, слияние с ним считаю настолько невозможным, насколько и восприятие его „умственных горизонтов“. – Может быть, они и глубоки и таинственны, и скрывают в своих нутрах обновление и спасение – я не могу в это верить, как не могу верить в рай за вериги и в ад за карточную игру. Но твои „Мужики“ – величайшее произведение в целом мире за многие последние годы, по крайней мере для русского человека». Перед «Мужиками», по словам Южина, бледнеет впечатление от двух сильнейших, по его оценке, произведений последних 20 лет: «Без догмата» Г. Сенкевича и «Слепой музыкант» В. Г. Короленко. «Удивительно высок, – продолжал Южин, – и целен твой талант в „Мужиках“. Ни одной слезливой, ни одной тенденциозной ноты. И везде несравненный трагизм правды, неотразимая сила стихийного, шекспировского рисунка; точно ты не писатель, а сама природа. Понимаешь ли ты меня, что я этим хочу сказать? Я чувствую в „Мужиках“, какая погода в тот или другой день действия, где стоит солнце, как сходит спуск к реке. Я все вижу без описаний, а фрак вернувшегося „в народ“ лакея я вижу со всеми швами, как вижу бесповоротную гибель всех его, Чикильдеева, светлых надежд на жизнь в палатах Славянского Базара. Я никогда не плачу: когда он надел и затем уложил фрак, я дальше долго не мог читать» (Записки ГБЛ, вып. VIII, стр. 62).

Профессор-экономист И. И. Иванюков послал свой отзыв автору в Ниццу 10 октября 1897 г.: «Ваша последняя вещь „Мужики“ произвела сильное впечатление не только в культурных центрах, но и в таком тихом уголке, как Калуга. Ее читали, обсуждали, по поводу ее много спорили. Впечатление от нее было ошеломляющее, как „обухом по

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
голове“» (ГБЛ).

К октябрю–ноябрю 1897 г. относятся записи о «Мужиках» М. М. Ковалевского, который встречался в то время с Чеховым и Ницце: «„Мужики“ Чехова, быть может, самая глубокая из разработанных им тем. Это – критика нашего народнического понимания желательных порядков русской деревни. Я не удивляюсь тому, что критики „Русского богатства“ напали на них с озлоблением. Они метили не в бровь, а прямо в глаз» (Летопись, стр. 485–486).

3

Критические отзывы о повести стали появляться спустя несколько дней после выхода апрельской книжки «Русской мысли».

В. П. Буренин на полуслове прервал разбор очередного романа П. Д. Боборыкина, который показался «бессодержательным, сочиненным вздором» рядом с «серьезной и глубокой правдой» нового рассказа Чехова. В небольшом чеховском рассказе, отмечал критик, «нарисована жизнь с такою художественною простотою, что хотя бы самому Л. Толстому впору». Темная и голодная жизнь деревни Чеховым показана «без всякого желанья наполнить душу читателей скорбными ощущениями. Но когда читатель доберется до последней страницы рассказа, <...> ему становится жутко и больно» (В. Буренин. Критические очерки. «Новое время», 1897, № 7587, 11 апреля).

«Новое время» вновь обратилось к рассказу в статье фингала (И. Н. Потапенко), который, предвидя вокруг «Мужиков» борьбу «оскорбленных теорий», возражал против предвзятого подхода к произведению искусства. «Маленький очерк» Чехова Потапенко объявил «лучшим из всего, что появилось за последние годы в нашей литературе». В отличие от Л. Толстого, который в «Хозяине и работнике» «не просто рассказывает», а выступает как проповедник и «требует верить по-своему», у Чехова – «правда жизни» и «чувство художественной свободы», «страшная картина деревенской бедности, темноты, беспомощности, но это только картина. Автор не предлагает вам никакого обязательного вывода. Вы сделаете его сами, сообразно вашему мирозерцанию и настроению», – писал критик.

Изображение деревни в рассказе Чехова Потапенко обращал против «старых сказок» народничества о «простоте» деревенской жизни и о том, будто «интеллигенту» надо бежать в деревню, «чтобы научиться там истинной житейской мудрости, истинно мудрому пониманию глубокого смысла жизни...» – «Прочитайте „Мужиков“ Ан. Чехова и вы в миллионный раз убедитесь, что в деревню идти надо, но не затем, чтобы учиться, а чтобы учить...» (Фингал. О критиках и мужиках. – «Новое время», 1897, № 7594, 20 апреля).

В московских «Русских ведомостях» И. Н. Игнатов (подпись: И–т) писал: «Так, как деревня описывается г. Чеховым, исхода никакого не предвидится, и по мрачности и безнадежности рассказ его далеко оставляет за собой „Власть тьмы“. <...> В рассказе г. Чехова нет преступлений, нет ужаса в экстраординарности дел и поступков действующих лиц; главный ужас и заключается в том, что все описываемое ординарно, обыденно и страшно». Критик сравнивал Чехова и с Гл. Успенским, который так же правдиво изобразил «власть земли», но остался при этом оптимистом («„Мужики“, рассказ А. П. Чехова». – «Русские ведомости», 1897, № 106, 19 апреля).

«Что–то толстовское» отмечал в «Мужиках» И. И. Ясинский, подчеркнув при этом самобытность Чехова, рассказ которого заставляет задуматься и ужаснуться (Я. Чеховские «Мужики». – «Биржевые ведомости», 1897, № 119, 3 мая).

В журнальной критике одним из первых о «Мужиках» отозвался Меньшиков («Книжки Недели», 1897, № 5). Он определил произведение как «строгий реквием», раздавшийся «среди уличного гама», а самого Чехова – как «великого автора», который на «крошечном пространстве» рассказа «сосредоточивает огромное содержание». Критик характеризовал рассказ как «серьезный, очень ценный вклад в нашу классическую литературу и большую заслугу перед обществом» (стр. 205). Здесь и позднее, в статье «Три стихии», Меньшиков характеризовал деревенские рассказы Чехова как «научные диссертации» – «очень строгие народно–бытовые исследования», «глубоко обдуманые доклады русскому обществу о современном состоянии деревни» (М. О. Меньшиков. Три стихии. – «Книжки Недели», 1900, № 3, стр. 205).

Чехов писал Меньшикову из Мелихова 14 июня 1897 г.: «Ваша статья о „Мужиках“

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
вызвала во мне много мыслей, подняла в моей душе много шума...»

«Северный вестник» (1897, № 5, стр. 35–38) поместил о «Мужиках» неподписанную заметку, в которой Чехов характеризовался как «замечательный мастер», «чистый художник», «объективно» изучающий жизнь и рисующий картины, «страшные по своей неумолимой правде» (стр. 35). Рецензент сравнивал «Мужиков» с «La Terre» Э. Золя, отмечая, что французский писатель «далеко не достигает того реализма, от которого делается жутко».

Очень скоро новая повесть Чехова вызвала целую бурю и размежевание по принципиальным политическим вопросам – между либеральными народниками и легальными марксистами. В связи с капитализацией страны и разорением деревни вопрос о крестьянах, о том, надо ли «любить» деревню, чтобы приносить ей пользу, – приобрел большую политическую остроту и занимал тогдашнюю публицистику.

Беспощадно правдивое изображение Чеховым деревни и деревенской жизни наносило удар традиционным народническим представлениям о послереформенной деревне и о социальных потенциях русского крестьянства. Этим воспользовались политические противники народничества. Первым под псевдонимом «Novus» со статьей «„Мужики“ г. Чехова» выступил легальный марксист П. Б. Струве («Новое слово», 1897, № 8, май, отд. II). Чехова Струве считал «самым выдающимся» представителем того поколения русских писателей, которое после падения крепостного права не руководствуется уже никакой общественной идеей. Единственно возможный выход из этого порочного состояния литературы, по мнению Струве, – это «сосредоточенное изображение жизни», которое он увидел в «Мужиках» Чехова. Это произведение предвещало, по словам Струве, возрождение литературы. Проникнутый «безотрадным пессимизмом», Чехов, по словам Струве, представил в «Мужиках» «ужасающую картину человеческой зоологии», «развил перед читателем одну неправду». Но это – «вполне законный художественный прием», «сосредоточенное отражение жизни». Общественное значение «Мужиков» критик видел не в изображении абсолютной величины «зоологического состояния» крестьян, а в расхождении между ними и семьей Чикильдеевых, выпестованной городом. Несмотря на свой очень низкий уровень развития, по сравнению с мужиками эти представители «трактирной» цивилизации являют неизмеримо более высокую ступень, способны ставить вопрос о правах личности и мучиться их непризнанием; способны на недовольство и протест. Задача показать это расстояние выполнена Чеховым «блестяще» и притом – «в первый раз в русской литературе». «Если из вещи Чехова вытекают какие-нибудь выводы, – писал Струве, – то эти выводы <...> значительнее и шире тезиса о необходимости просвещения и старых слов о долге интеллигенции перед народом» (стр. 51). Из картин Чехова вырисовывается «человеческая личность как необходимый продукт определенного хода развития форм жизни. В развитии человеческой личности и в признании ее прав заключается главный вывод и, если хотите, мораль произведения Чехова» (там же).

Статья Струве вызвала анонимный отклик в журнале «Северный вестник». Отметив, что успех рассказа Чехова напоминает те времена, когда появлялся новый роман Тургенева или Достоевского, автор заметки недоволен был «направленным» характером статьи Novus'a и оценкой рассказа Чехова исключительно с точки зрения изображения экономических отношений. Мысль Novus'a о «превосходстве трактирной цивилизации», говорилось в заметке, если и имела в виду, явилась Чехову «не как тезис его художественного творчества, а как результат художественного восприятия жизни» («„Новое слово“ г. Novus'a о „Мужиках“ Чехова и новая экономическая критика». – «Северный вестник», 1897, № 6, стр. 338).

Антинароднической направленностью отличалась статья другого легального марксиста, А. И. Богдановича, по словам которого, «огромное общественное значение чеховского рассказа» не сводится к вопросам личной морали. «Художник как бы говорит нам этой картиной, что пока мы занимаемся ими, углубляясь в невозможные дебри личного самоусовершенствования, мистики и т. п., миллионы людей бредут в беспросветной ночи, живут без утешения в настоящем, не имея никаких надежд на лучшее будущее» (А. Б. Критические заметки. – «Мир божий», 1897, № 6, отд. II, стр. 1). В художественной сконцентрированности изображения критик видел достоинство, а не недостаток «Мужиков»: «Весь ужас картины деревенской жизни в том и заключается, что не видно выхода, нет надежды на то, что это должно измениться. Вы не видите силы, указывая на которую могли бы сказать: здесь спасение! Общинные порядки, пресловутый мир? Представителем его является староста Антон Седельников <...> он глуп, невежествен, смешон и так же жалок, как его избиратели» (стр. 3–4). Деревня, по словам критика, не пытается и не может искать ответа на свои запросы; «ей надо принести его извне, так как она

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru сама не заключает в себе силы, которая распахнула бы двери в мир, – не деревенский, а настоящий, божий, светлый и широкий» (стр. 5).

Значение рассказа Чехова Богданович видел также и в том, что в нем показано «развивающее, культурное влияние города», на которое литература еще не обращала внимания; в народнической литературе «сложилось ходячее мнение, что город губит, деревня – спасает». «А между тем деревня в ее современном виде обладает всеми недостатками трактирной цивилизации, с ее грязью, невежеством, развратом, и ни одним из ее достоинств» (стр. 6).

О статье Богдановича Чехова информировал В. Е. Ермилов в письме от 6 июня 1897 г.: «„Мир божий“ – единственный журнал, который сумел отнестись к вашим „Мужикам“ с истинным беспристрастием и с глубоким сочувствием» (ГБЛ). В этом же письме Ермилов сообщал, что издательница «Мира божьего» А. А. Давыдова «умоляла» через него Чехова дать что-нибудь в ее журнал на самых выгодных и льготных условиях.

Обстоятельный разбор повести «Мужики» напечатал влиятельнейший народнический критик Н. К. Михайловский («Русское богатство», 1897, № 6). Его особенно раздражило как раз то, что прежде всего ценилось легальными марксистами: нарушение баланса в изображении городской и деревенской жизни. Признавая «мастерство» и «сильный талант» Чехова, которому, однако, «какие-то обстоятельства мешают развернуться во всю меру своей силы», Михайловский объявил его все же писателем, уже осуществившим возможные надежды.

«Мужиков» Михайловский оценил как далеко не лучший «из рассказов Чехова» и увидел в нем много «случайного, экземплярного». Особенно неправдоподобной Михайловский счел Ольгу, которая, по его словам, сделана «каким-то светлым пятном на мрачном и грязном фоне жизни „мужиков“» (стр. 118), между тем как она – всего только продукт московских меблированных комнат.

Михайловский считал «Мужиков» случайными в творчестве Чехова, которое будто бы, в отличие от Тургенева, Достоевского, Л. Толстого, – вообще не целью из-за отсутствия у писателя «общей идеи». «Никакие общие выводы», по утверждению Михайловского, из произведения Чехова, основанного только на «поверхностных наблюдениях», делать нельзя. Указание на необходимость просвещения деревни (если ее еще нужно доказывать), действительно, вытекало бы из произведения Чехова, «если бы не лучезарность Николая и Ольги Чикильдеевых» (стр. 124).

В противовес сгущенному изображению деревенской дикости и темноты Михайловский указывал на жилища петербургских рабочих, а также на то, что после сорока лет работы Чикильдеев не имеет угла и после его смерти жена и дочь нищенствуют. «Не сшибайте лбами двух разрядов людей, жизнь которых в разном роде, но одинаково темна и скудна, одинаково требует и одинаково заслуживает участия», – выводил Михайловский (стр. 124–125). «Мужикам» Чехова он противопоставил рассказ Гл. Успенского «Развеселил господ», в котором жизнь полового представлена совсем в ином свете, как жизнь каторжная.

С народнических позиций в газете «Одесские новости» (1897, № 4115, 16 октября) выступил известный столичный критик, крайний утилитарист, М. А. Протопопов. Он иронически противопоставлял Чехову Гл. Успенского, написавшего о «мужиках» 10 томов, но нигде не употребившего заглавие «Мужики», которое Протопопов счел претенциозно-нескромным. Ничего нового о мужиках, по мнению Протопопова, повесть Чехова не содержит. Критик утверждал, будто, изображая мужицкое сквернословие, пьянство и невнимание к религии, Чехов за формой и чисто внешней стороной «не видит и не понимает сущности дела», потому что все это не затрагивает крестьянской души.

Выступив в роли «оскорбленного» за народ, Протопопов уверял, что своей повестью Чехов «сделал кислую пессимистическую гримасу по адресу деревни», так же как в повести «Моя жизнь» содержится «гримаса» по адресу города, вследствие чего критик нашел закономерным объединение обеих повестей в одной книге.

Статью Михайловского Струве расцепил как выпад против его статьи о «Мужиках» и выступил снова (Novus. «Мужики» Чехова и Г. Михайловский. – «Новое слово», 1897, кн. 1, октябрь).

В противоположность Михайловскому, легально-марксистский критик трактовал

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru «Мужиков» как произведение большой художественной силы, имеющее «глубокий общественный смысл» и «огромное практическое значение», вскрыть которое призвана критика, поскольку у самого писателя «никаких намерений, кроме художественных, не было» (стр. 60). Novus защищал «законность противопоставления города и порождаемого условиями городской жизни духовного склада – деревне и деревенскому складу» (стр. 59). Ссылаясь на К. Маркса, который «видел заслугу капитализма и буржуазии в разрушении» деревенского «идиотизма», Струве утверждал культурное превосходство города, обусловленное иной системой эксплуатации: «...духовному развитию и самосознанию трудящегося населения условия городского и специально крупнопромышленного труда – несмотря на злую эксплуатацию – решительно благоприятствуют» (стр. 62–63). [70]

Ответное выступление Михайловского прямо направлялось им против Струве. В № 11 «Русского богатства» за 1897 г. он поместил статью «О народничестве, диалектическом материализме, субъективизме и проч. – О страшной силе г. Novus'a, о моей робости и о некоторых недоразумениях. – Н. Н. Златовратский». На этот раз Чехову Михайловский противопоставил Златовратского, заявив, что в «Мужиках» содержится только «упрощенное решение вопросов, занимавших г. Златовратского в течение всей его литературной деятельности: „идиотизм деревенской жизни“ – и конец...» (стр. 138). Приписав «диалектическим материалистам» презрительное отношение к «идиотизму деревенской жизни», народнический критик объяснял его неверным, по его мнению, убеждением, будто капитализм и буржуазия разрушают этот «идиотизм» при помощи городской «цивилизации».

В. И. Ленин в статье «Перлы народнического прожектерства», написанной в конце 1897 г., ссылаясь на эту статью Михайловского, уличал его в «полном непонимании» учения Маркса – «по крупнейшему вопросу об отвлечении капитализмом населения от земледелия» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 504).

Полемика вокруг «Мужиков» не прекратилась и в 1898 г. В «Русском богатстве» под псевдонимом П. Ф. Гриневиц выступил П. Ф. Якубович (Л. Мельшин). Не отрицая «большого, даже огромного дарования» Чехова, он высказывал недовольство тем, что «молодые поэты так минорно, так безнадежно настроены», полны «неверия в силы и будущее своей родины». «Откуда взялся этот мрачный скептицизм, это холодное отчаяние?» – вопрошал критик. И он «пессимизму» Чехова противопоставил «веру в народ» Гл. Успенского (П. Ф. Гриневиц. Итоги двух юбилеев. – «Русское богатство», 1898, № 8, отд. II, стр. 101).

Нашлись и такие критики, которые самую эту полемику обратили против Чехова, против его повести, будто бы не заслуживающей столь большого внимания.

Злобным тоном выделялись статьи К. П. Медведского в «Московских ведомостях» (1897, № 243, 4 сентября и № 341, 11 декабря). В первой из них, под заглавием «Убогая „сатира“», рассказ Чехова характеризовался как «посредственный», фальшивый и искусственно «раздутый в „литературное событие“», рассчитанный на дешевый успех у либеральной критики. В другой статье Медведский ополчался против превозносящих произведение Чехова «марксистов», которым приснилось, что «Мужики» доказывают наступление у нас господства «капитализма», и которым нет дела «до ущерба, наносимого подобным враньем правильному развитию эстетических понятий».

Н. Ладожский (В. К. Петерсен) в статье «Ужасные мужики» («Санкт-Петербургские ведомости», 1897, № 114, 29 апреля) подчеркивал якобы полную бесстрастность автора в «Мужиках»: «Сомнительно, чтобы Чехов любил людей и всего более людей русских...» Он охарактеризовал повесть как неправомерное возведение «в общее правило конкретного и частного факта» и противопоставил «Мужикам» не только «Власть тьмы» Л. Толстого, где есть по крайней мере резонирующая фигура Акима, но и рассказ Ясинского «Тараканий бунт».

Я. В. Абрамов расценил «войну» вокруг «Мужиков» как вздорную и личную и ссылаясь на сборник, где Чехов объединил «Мужиков» с «Моей жизнью»: «Как бы для того, чтобы успокоить одних и разочаровать других, Чехов, неожиданно для умных критиков, вслед за „Мужиками“, напечатал „Мую жизнь“, в которой изобразил городскую жизнь вообще и жизнь интеллигентной части городского населения в особенности такими мрачными красками, перед которыми краски, употребленные для изображения „Мужиков“, кажутся даже слишком бледными» (Я. Абрамов. Наша жизнь в произведениях Чехова. – «Книжки Недели», 1898, № 6, стр. 135–136). В обоих произведениях Чехова, по словам критика, Чехов «дал нам образцы произведений уже весьма крупных, имеющих огромное общественное значение и отличающихся весьма

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru выдающимися художественными достоинствами. <...> Что он способен к широкой концепции, что его талант в состоянии справиться с большою картиною, в которой отразилась бы вся русская жизнь в ее важнейших проявлениях, – это он, несомненно, доказал своими последними произведениями...» (стр. 167).

Несколько позднее в спор включился Д. Н. Овсяннико-Куликовский, который отводил от Чехова упреки Михайловского в сгущении красок, говоря, что «в таком нарочитом подборе черт и состоит самый-то „художественный метод“, которым пользуется Чехов», – подобно тому, как это делали Гоголь и Щедрин (Д. Овсяннико-Куликовский. А. П. Чехов. – «Журнал для всех», 1899, № 2, стр. 136–137). «Мрачный, безотрадный взгляд на человека и современную жизнь» в «Мужиках», по мнению Овсяннико-Куликовского, так выражен и проведен, что «внимательный и вдумчивый читатель чувствует присутствие идеала» (там же, № 3, стр. 272).

Итог полемике подводил А. М. Скабичевский статьей «Мужик в русской беллетристике (1847–1897)», появившейся в том же журнале «Русская мысль» (1899, № 4, отд. II, стр. 1–26; № 5, отд. II, стр. 103–131), где за два года до того была напечатана и сама повесть Чехова. Отметив, что рассказ Чехова «произвел на всех гнетущее, безотрадное впечатление», Скабичевский охарактеризовал «два лагеря», на которые разделилась критика. По мнению Скабичевского, те и другие – «на ложной почве»: одни ищут в литературе непременно обобщений, тогда как писатель может изображать и конкретное – «без всякой предвзятой цели и мысли»; вторые необоснованно объявляют Чехова зачинателем новой эры изображения народной жизни, тогда как он «является талантливым продолжателем своих предшественников», которые так же трезво, без иллюзий смотрели на положение народа.

О праве писателя изображать конкретное, не претендуя на обобщения, а выражая только охватившие его настроения, Скабичевский писал в связи с «Мужиками» и в статье «Новые течения в современной литературе» («Русская мысль», 1901, № 11).

Недовольство Михайловского и Якубовича творчеством Чехова и особенно «Мужиками» фактически было вызвано не отсутствием у писателя «общей идеи», а отсутствием именно народнической идеи, перерывом народнической линии литературы в творчестве Чехова (см. об этом: Н. Ф. Бельчиков. Народничество в литературе и критике. М., 1934, стр. 176–197).

Замечательно, что вся перепалка критиков вокруг «Мужиков» шла совершенно мимо их автора, который не разделял ни классовую точку зрения Novus'a, ни народнических предрассудков Михайловского. В разгар полемики писатель опасно заболел, а потом уехал за границу. В письмах Чехова 1897 г. никакого отзвука эта полемика не получила.

Однако споры вокруг «Мужиков» создали Чехову репутацию «марксиста» [71] и дали о себе знать при баллотировке Чехова, находившегося в то время за границей, в члены Союза взаимопомощи русских писателей: на общем собрании этого Союза в октябре 1897 г. несколько человек высказались против Чехова (см.: Отчет о деятельности Союза взаимопомощи русских писателей за 1897 и 1898 гг. СПб., 1899). Суворин писал об этом в дневнике: «...среди этого Союза оказалось несколько членов, которые говорили, что Чехова следовало забаллотировать за „Мужиков“, где он, будто, представил мужиков не в том виде, как следует по радикальному принципу. <...> „Меня чуть не забаллотировали“, – говорил Чехов.» («Дневник А. С. Суворина». М. – Пг., 1923, стр. 179. Об этом см. еще: СИГ. <С. И. Гольдельман>. Около жизни. Чехов. (Из личных воспоминаний). – «Одесские новости», 1904, № 6357, 7 июля).

Большинство критиков, писавших о «Мужиках» в более поздние годы, когда полемика уже завершилась, не разделяли консервативно-народнического взгляда на произведение Чехова, заявляли о его высоких идейно-художественных достоинствах и большом историко-литературном значении.

Ф. Д. Батюшков напечатал статью «На расстоянии полувека. Бальзак, Ант. Чехов и Влад. Короленко о крестьянах» (сб. «Памяти В. Г. Белинского». М., 1899). Он находил сходство в изображении крестьян Чеховым и Бальзаком (в романе «Крестьяне»). Но, в отличие от Бальзака, Чехов не излагает теорий; у него – «ни длиннот, ни отступлений, ни сложных интриг. Чехов почти не описывает: он ощущает и пишет крупными, рельефными чертами, оставляя большие интервалы, тут же щеголяя мелкими подробностями, иногда совершенно неожиданными, но взятыми живьем с природы <...> эти блестящие сообщения рассказу необычайную жизненность. Иной мелкий

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru штрих заменяет целые рассуждения» (стр. 464–465). Даются не описания, а «мгновенные впечатления жизни, единственно возможные в данную минуту». В этом Батюшков видел «импрессиональный» прием творчества Чехова. «Но, принадлежа к новой школе по приемам творчества, Чехов вполне индивидуален по другим особенностям, и как бы ни отсутствовал автор с замечаниями „от себя“, позволительно думать, что он вовсе не так безличен и безыдеен в воспроизведении одних только ощущений действительности, что кое-где он вкладывает и свое, именно „идейное“» (стр. 466).

Батюшков отметил у Чехова иное отношение к народу, чем у народников и Гл. Успенского: «Не исцеляющее, а глубоко удручающее впечатление вынес он из соприкосновения с мужицким миром». Чехов, по его мнению, – «не прежний отрицатель 60-х годов, намеренно сгущающий краски с тенденциозной целью; и не просто отрицатель, не понимающий или не желающий видеть других сторон народной жизни: Чехов знаменует собой момент в истории духовной жизни общества» (стр. 468). Чеховским «Мужикам» Батюшков противопоставил также рассказ «Над лиманом» Короленко, не скрывающего отрицательных сторон крестьянства, но глубоко внутренне с ним связанного (как Христос – с миром бродяг и нищих).

А. Л. Липовский опровергал мнение Михайловского, будто между разными сочинениями Чехова нет связи и что у Чехова нет «общей идеи»: в «Мужиках» Чехов «односторонне подбирает исключительно отрицательные черты» – «чтобы достичь желаемого впечатления», но это не означает, будто изображенные им бессильные люди не дороги Чехову и будто ему свойствен «безнадежный пессимизм» (А. Липовский. Представители современной русской повести и оценка их литературной критикой. – «Литературный вестник», т. II, кн. V, 1901, стр. 23–24).

Ф. Е. Пактовского в «Мужиках» привлекло изображение того, «какою жизнью живет темный мир, лишь трагически соприкасающийся с современной цивилизацией...» Критик не считал возможным упрекать Чехова в одностороннем изображении деревни, как нельзя упрекать Гоголя в том, что он выставил напоказ «пошлость пошлого человека»; «каждый ученик Гоголя не должен заслуживать упрека, если он дает „правду жизни“, хотя бы и горькую, лишь бы он не впал в клеветничество и не сделался бы, по выражению самого Чехова, „жабой нашего времени“...» (Ф. Е. Пактовский. Современное общество в произведениях А. П. Чехова. – «Чтения в Обществе любителей русской словесности в память А. С. Пушкина при Имп. Казанском университете». III. Казань, 1901, стр. 38–40).

В. Альбов рассматривал «Мужиков» как переходное звено к повести «В овраге» с ее утверждением неизбежного торжества «тихой и прекрасной» правды: «Среди моря невежества, варварства, нужды он сумел уловить в мужике что-то хорошее, светлое, что, как луч солнца, мгновенно прорезало глубокий мрак и тотчас же исчезало» (В. Альбов. Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова... – «Мир божий», 1903, № 1, стр. 112). О статье Альбова Чехова известил Батюшков, написав ему в Ялту 25 декабря 1902 г.: «Если полюбуетесь, то раскройте январскую книжку „Мира божьего“, где кстати на Ваш суд предстанет некто Альбов (не родственник беллетриста), который, на мой взгляд, интересно написал о Вас» (ГБЛ). В ответном письме, от 11 января 1903 г., Чехов сообщал, что прочитал статью Альбова «с большим удовольствием» и запрашивал сведения о нем (ответ Батюшкова от 29 января 1903 г. – ГБЛ).

Литературовед И. И. Замотин, интерпретируя Чехова как художника-историка 80-х годов, полагал, что писатель дал «ряд теневых картин» из мещанской и крестьянской жизни «с ее беспроблемной нищетой и грубостью (в повести „Мужики“»)» – «для полноты общего серого фона русской жизни» в период «тоски и апатии» (И. И. Замотин. Предрассветные тени. К характеристике общественных мотивов в произведениях А. П. Чехова. – «Чтения в Обществе любителей русской словесности в память А. С. Пушкина при Имп. Казанском университете», отд. оттиск, Казань, 1904, стр. 15).

В других отзывах сквозь вынужденные, вследствие все возрастающего успеха чеховского произведения, похвалы слышатся преувеличенно критические суждения и плохо скрываемое недоброжелательство.

Г. Качерец, крайне пристрастно разбирая творчество Чехова, только в «Мужиках» и в повести «Моя жизнь» усмотрел попытку писателя выйти за пределы изображения бесцветных и пошлых мещан и говорить о народе (Г. Качерец. Чехов. Опыт. М., 1902). Однако он нашел, что Чехов и в «Мужиках» «холоден, безразличен», не

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru отмечает в крестьянах положительные свойства – «вследствие непривычки открывать глаза на хорошие стороны человеческой души» (стр. 91). С нежеланием Чехова всматриваться в привлекательные явления жизни связывал Качерец и манеру писателя «очерчивать двумя–тремя штрихами характеры людей». Настоящее большое искусство, по мнению критика, «не употребляет таких приемов. Только очень простые, грубые физиономии можно обрисовать двумя–тремя чертами» (стр. 93).

Е. А. Ляцкий в статье «А. П. Чехов и его рассказы» («Вестник Европы», 1904, № 1) отнес «Мужиков» к таким повестям, которые, «несмотря на несколько одностороннее освещение, производят впечатление истинно художественных произведений» (стр. 153). «Мужики», по словам Ляцкого, проникнуты «правдивым бытовым реализмом»: «...нет ярких, типичных фигур, нет сложных психологических узоров, краски во многих местах сильно сгущены, но, в общем, от картины мужицкого житья–бытья, которое разворачивается в этой повести, веет такой жизненной правдой, перед которой не может не остановиться в раздумьи самый равнодушный человек» (стр. 155–156).

Правда, и Ляцкий сожалел о том, что автор не развенчивает наивной и односторонней убежденности Ольги, будто единственным виновником всей нескладницы жизни является мужик. По мнению Ляцкого, от этого «проигрывает „общая идея“». «Не мужик растрчивает и пропивает мирские деньги, а скорее наоборот – мужицкие деньги идут на потребности, ничего общего с ним, мужиком, не имеющие» (стр. 157).

«Мужики» пришлось ко времени капитализации, разорения деревни, резкого обнищания крестьян и взволновали общественность.

К 1908 г. относятся воспоминания сподвижника Михайловского – С. И. Васюкова, который в «Мужиках» и в ранних произведениях Горького усматривал симптом ненавистной ему буржуазной революции, «нового, босяцкого безыдейного направления в литературе», захватившего общество. Васюков привел свидетельство народника И. П. Боголепова, жившего в Серпуховском уезде, в котором писались чеховские «Мужики». Здесь, между прочим, видно отношение к чеховской повести Н. Н. Златовратского: «Иван Павлович Боголепов, уроженец означенного уезда и вековечный статистик, знал лично чуть не всех мужиков в уезде.

– Таких мужиков нет, говорил Боголепов: – ей-богу, никогда не видел!..

– Неужели, Иван Павлович? – довольным голосом спрашивал Златовратский.

– Помилуйте, Николай Николаевич, разве мужики уж так глупы, чтобы при тушении пожара подставлять деревянные лестницы к пылающей избе, а бабы, придя со страдной работы, разве могут капризничать и ругаться, как нервные светские дамы? Нет, это психологически неверно!

– Вот как, Иван Павлович! – говорил Златовратский, придававший ему большой авторитет в знании народной жизни» (С. П. Васюков. Былые дни и годы. – «Исторический вестник», 1908, № 10, стр. 113).

Сам Михайловский, когда спор несколько улегся, попытался дать свое объяснение успеху «Мужиков», которыми Чехов «нечаянно угодил» распространенному убеждению в «идиотизме деревенской жизни» и в превосходстве «городской культуры» над деревенской. «Рассказ этот, – писал Михайловский, – далеко не из лучших, был сверх всякой меры расхвален, именно за тенденцию, которую в нем увидели. Г-н Чехов очень оригинально ответил на эти похвалы: он издал „Мужиков“ отдельной книжкой вместе с другим рассказом „Моя жизнь“, в котором „городская культура“ изображалась в своем роде еще более мрачными красками, чем деревенская (или вернее, отсутствие культуры) в „Мужиках“...» (Ник. Михайловский. Литература и жизнь. Кое-что о г. Чехове. – «Русское богатство», 1900, № 4, стр. 134).

В письме В. М. Соболевского к Чехову от 11 июня 1904 г. содержится сопоставление «Мужиков» с очерком С. П. Подъячева «Рабочие», напечатанным в «Русском богатстве»: «Это – очень грубая, искусственная, не верная жизни копия „Мужиков“, под другим соусом» (ГБЛ).

Споры о «Мужиках» оставили заметный след в сознании современников. У И. А. Бунина сложилось впечатление, что о Чехове «заговорили» именно после «Мужиков» («далеко не лучшей его вещи» – Чехов в воспоминаниях, стр. 519).

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Л. Толстому повесть не понравилась, и в оценке ее он во многом совпал с Михайловским. «У Горького, – говорил Толстой (по записи В. С. Миролюбова, март 1900 г.), – есть что-то свое, а у Чехова часто нет идеи, нет цельности, не знаешь зачем писано. Рассказ „Мужики“ – это грех перед народом. Он не знает народа...» (ЛН, стр. 519). Недовольство Толстого передавал также А. С. Бутурлин в письме к П. А. Строеву из Ясной Поляны 15 сентября 1902 г.: «Лев Николаевич ими <„Мужиками“> недоволен. „Из ста двадцати миллионов русских мужиков, – сказал Лев Николаевич, – Чехов взял одни только темные черты. Если бы русские мужики были действительно таковы, то все мы давно перестали бы существовать“» («Литературное наследство», т. 22–24, 1935, стр. 779). По воспоминаниям старшего сына Толстого, «в „Мужиках“ ему не понравились выведенные Чеховым отрицательные типы. Отец говорил: „Да его мужики – не настоящие мужики“». (С. Л. Толстой. Воспоминания об А. П. Чехове. – «Октябрь», 1944, 7–8, стр. 145).

Однако «Мужики» постоянно читались Толстым вслух членам семьи и гостям (Н. Пузин. А. П. Чехов в Ясной Поляне. – «Литературная Тула», кн. 9, 1954, стр. 160).

11 июля 1897 г. Чехов в письме дал разрешение на перевод «Мужиков» французскому переводчику Дени Рошу (D. Roche). Перевод Роша был напечатан в сентябре 1897 г. во французском двухнедельнике «Quinzaine». 8 декабря 1897 г. Чехов писал Рошу из Ниццы: «„Quinzaine“ с „Мужиками“ я видел в Париже, и эта книжка доставила мне много хороших минут».

В 1901 г. в Париже в переводе Д. Роша вышла книга Чехова «Les moujiks» («Мужики»). В нее кроме «Мужиков», вошли повести и рассказы «В овраге», «Свирель», «Ванька», «Тоска», «Княгиня», «У предводительши» и др. В книге был помещен рисунок И. Е. Репина к «Мужикам», сделанный по просьбе Роша в 1899 г. На рисунке изображено чаепитие в семье и пьяный кирьяк, избивающий Марью. Оригинал рисунка Репин подарил Чехову (воспроизведено: «Жизнь», 1900, т. III, вклейка между стр. 176–177). 10 апреля 1901 г. Чехов отослал рисунок в Таганрогскую городскую библиотеку с наказом П. Ф. Иорданову: «спрятать и хранить» или – «в рамочку и под стекло на стену». Рисунок Репина хранится в Лит. Музее А. П. Чехова в Таганроге.

Об издании книги «Un meurtre» («Убийство»), Paris, 1902, в которую вошел, в частности, перевод повести «Мужики», см. в примечаниях к рассказу «Убийство».

К. Д. Бальмонт сообщал Чехову 10 ноября 1898 г.: «Перевод Ваших „Мужиков“ печатается в „Revue des Revues“, что, впрочем, Вы, вероятно, уже знаете» (ГБЛ).

Новым произведением Чехова заинтересовался живший в Швейцарии сын А. И. Герцена Александр Александрович. Об этом писала Т. Л. Щепкина-Куперник М. П. Чеховой в письме из Лозанны от 20 июля / 1 августа (год не обозначен): «...На днях просил меня Герцен написать Антону Павловичу, чтоб он мне выслал своих „Мужиков“ и чтобы я вдвоем с m-lle Герцен перевели это на французский язык для Швейцарии...» (ГБЛ, ф. 331, к. 99, ед. хр. 35).

Об украинском переводе рассказа см. ЛН, стр. 241.

При жизни Чехова «Мужики» были переведены на болгарский, венгерский, датский, немецкий, сербскохорватский, французский, чешский и шведский языки.

В родном углу
Впервые – «Русские ведомости», 1897, № 317, 16 ноября, стр. 2–3. Подпись: Антон Чехов. Дата: Ницца, октябрь.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. IX, стр. 74–87.

Рассказ написан в Ницце. 9 октября 1897 г. Чехов сообщал о работе над ним М. П. Чеховой: «По случаю дурной погоды купил бумаги и сажусь писать рассказ».

Рассказ создавался после длительного перерыва в работе, вызванного болезнью (последнее, что Чехов опубликовал перед тем, была повесть «Мужики»). Г. М. Чехову он писал 11 октября 1897 г.: «Стал работать понемножку и, быть может, привыкну к чужому письменному столу». И – на следующий день – Я. Л. Барскову:

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru «...я теперь в таком настроении, что могу работать и, по всей вероятности, это настроение не мимолетное. Мне хочется писать». М. П. Чеховой, 15 октября: «Некогда писать, я засел за работу. Встаю в 7-м часу, ложусь в 11 ч.».

В первой и третьей Записных книжках Чехова есть относящиеся к рассказу и использованные в нем записи: «Варенье. Молодая, недавно вышедшая дама варит варенье. Возле сидит тапан. У дочери деспотические руки, короткие рукава. Мать обожает дочь. Священнодействуют. Чувствуется мучительство». «Институтка: „25 горячих!“ Отец обманывает ее, что прислугу еще дерут». Некоторые из записей относятся равным образом также к рассказам «Печенег» и «На подводе». Все три рассказа в характере конфликта и общей эмоциональной окрашенности имеют между собой много общего; работа над ними протекала в значительной мере одновременно (см.: З. Паперный. Записные книжки Чехова. М., 1976, стр. 227–264).

По свидетельству М. П. Чехова, рассказ «В родном углу» рисует «большое село Межиричи» на Украине, через которое Чехов проезжал в 1888 г. (Антон Чехов и его сюжеты, стр. 63). П. Н. Сурожский утверждал, что в этом рассказе (как и в следующем – «Печенег») описывается северная часть Таганрогского округа (см. примечания к рассказу «Печенег»). Возможно, рассказ был навеян впечатлениями от поездки Чехова в эти места в августе 1896 г.

Рассказ был послан редакции «Русских ведомостей» 17 октября 1897 г. при письме к редактору-издателю этой газеты, В. М. Соболевскому: «...Посылаю Вам рассказ, плод моей праздной музыки. <...> Если сгодится рассказ, то напечатайте его. Если он покажется длинным и не поместится в один фельетон, то отдайте его Гольцеву <в журнал „Русская мысль“>, а я пришлю Вам другой, который начну писать завтра». Еще Чехов просил: «Не пришлете ли корректуру? Я пошlifовал бы рассказ. Ведь время терпит, спешить некуда».

24 октября в ту же редакцию был отправлен другой рассказ – «Печенег», который появился в газете раньше, чем «В родном углу». 8 ноября Чехов писал Соболевскому: «...я послал Вам два рассказа; из них второй был напечатан в воскресенье, о судьбе же первого („В родном углу“) я ничего не знаю, так как Вы не пишете мне. Время идет, Вы не шлете ни писем, ни корректуры, и это отбило у меня охоту писать, я пал духом и теперь не знаю, когда опять засяду за маленький рассказ». Возможно, что рассказ «В родном углу» задержался при пересылке; это видно из письма Соболевского от 12 ноября 1897 г.: «Второй рассказ помещаю первым, потому что пришел первым и немедленно был сдан в набор. Получив затем „В родном углу“, отложил его, не надеясь получить от Вас скоро еще что-нибудь и берег его ко второй половине этого месяца. Прочитав его внимательно в рукописи, решительно не вижу надобности посылать Вам корректуру и сегодня же по телеграфу прошу разрешения поместить без этого, чтобы не терять времени на посылку и обратное получение. Разве два-три словечка – явных описок (повторные слова), которые легко исправить здесь, – превосходный этот очерк и с внешней стороны безупречен. Хотелось бы поместить его в это воскресенье (16 ноября)» (ГБЛ; там же – телеграмма Соболевского: «Позвольте поместить воскресенье не дожидаясь корректуры пишу заказным – Соболевский»). Чехов отвечал 20 ноября 1897 г.: «Корректуру я читаю не для того, чтобы исправлять внешность рассказа; обыкновенно в ней я заканчиваю рассказ и исправляю его, так сказать, с музыкальной стороны. Но если в самом деле Вам неудобно высылать корректуру, то да будь по-вашему! Что делать!»

Сам Чехов в письме к Л. А. Авиловой от 3 ноября 1897 г. рассказы «В родном углу» и «Печенег» называл «пустячками». Однако, собирая свои произведения по договору с А. Ф. Марксом, в письме к И. П. Чехову от 31 января 1899 г. Чехов просил прислать ему в Ялту оба рассказа.

Включая рассказ в собрание сочинений, Чехов не произвел в тексте сколько-нибудь значительных изменений (см. варианты).

Врач Н. И. Коробов, товарищ Чехова по Московскому университету был недоволен тоном рассказов «Печенег» и «В родном углу»: «Зачем такие пессимистические рассказы в „Русских ведомостях“? Напиши что-нибудь жизнерадостное, что бывает в ранней юности, когда хочется кричать и скакать от радости бытия» (17 ноября 1897 г. – ГБЛ).

Сестра Чехова писала ему 9 декабря 1897 г., что о рассказе «В родном углу» «очень говорят в Москве, всем он нравится» (М. П. Чехова. Письма к брату А. П.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Чехову. М., 1954, стр. 54).

Профессор-хирург П. И. Дьяконов спрашивал Чехова 30 ноября 1897 г. о рассказах «В родном углу» и «Печенег»: «Написаны ли они Вами теперь, или они теперь только напечатаны, а написаны еще здесь, в России? Надо сознаться, что более общее впечатление от них довольно-таки удручающее. Оно чувствуется тем более, что нельзя отказаться от того, что сама жизнь дает нам и воспитывает нас именно в таких впечатлениях. Но неужели хорошая природа, в которой Вы живете, разнообразие впечатлений и другие хорошие стороны путешествия не развеяли в Вас этого настроения?» (ГБЛ; «Из архива А. П. Чехова». М., 1960, стр. 203).

Профессиональная критика оправдывала этот грустный колорит неприглядными сторонами самой жизни. Анонимный рецензент московской газеты «Курьер» (1897, № 29, 4 декабря) в статье «Последние рассказы А. П. Чехова» писал о «двух превосходных, полных прежней силы таланта и мысли, рассказах А. П. Чехова, напечатанных в „Русских ведомостях“ <...> Правда, и „Печенег“ и „В родном углу“ навевают лишь тяжелые думы, вызывают лишь горькие чувства, но разве виноват художник, что сама жизнь ставит перед ним лишь печальные образы и вызывает в его лире скорбные звуки. К тому же дарование нашего писателя преимущественно такого рода, что с особою силою передает отрицательные стороны жизни, вызывающие у него то иронию, то сатирическую улыбку, то прямую скорбь и сожаление». По словам критика, «чеховская вера – еще один с художественной правдой нарисованный портрет в обширной галерее русских женщин», а от Татьяны Пушкина до героинь Чехова неудовлетворенность, тоска, разбитые надежды и жизни – принадлежность всех женских типов русской литературы.

В. Альбов высказал недоумение по поводу того, что Вера Кардина, как и другие персонажи Чехова, «совсем не борется с жизнью» и легко отдается «во власть всякому чудовищу». В этом критик усматривал известный произвол писателя: «Одинокий мечтатель среди общества, живущего животными интересами, и неизменно гибнущий – подобная картина очень занимала г. Чехова» («Мир божий», 1903, № 1, стр. 93).

Шведский переводчик И. Стадлинг (J. Stadling) в декабре 1897 г. просил у Чехова разрешение перевести его рассказы «В родном углу» и «Печенег», по-видимому, для газеты «Aftonbladet». Чехов дал на это свое согласие в письме к М. Г. Вечеслову от 18 декабря 1897 г.

Печенег

Впервые – «Русские ведомости», 1897, № 303, 2 ноября, стр. 3. Подзаголовок: (Рассказ). Подпись: Антон Чехов. Дата: Ницца, 24-го октября.

Сохранилась газетная вырезка с пометкой Чехова: «„Русские ведомости“ 1897, XI» (ГБЛ).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. IX, стр. 88–99.

Рассказ писался в Ницце, вероятно, с 18 октября 1897 г. (на другой день после отправки в редакцию «Русских ведомостей» 24 октября 1897 г., но напечатан был ранее, чем «В родном углу» (см. примечания к рассказу «В родном углу»)).

В Записной книжке I (стр. 67) находится одна из заготовок к рассказу: «А это, рекомендую, мать моих сукиных сынов». В той же книжке (стр. 75) записан сюжет рассказа: «X приехал к приятелю Z ночевать, Z вегетарианец. Ужинают. Z объясняет, почему он не ест мяса. X все понимает, но недоумевает: „Но для чего же в таком случае свиньи?“ X понимает всякое животное на свободе, но не понимает свободных свиней. Ночью он не спит, мучается и спрашивает: „Для чего же в таком случае свиньи?“».

По словам П. Н. Сурожского, в рассказах «Печенег» и «В родном углу» описывается северная часть Таганрогского округа: «Здесь проходит линия Донецкой жел. дороги, и в обоих рассказах о ней упоминается, а в „Печенеге“ прямо указана станция Провалье, близ которой жил (а может быть и теперь живет) своим маленьким хуторком нудный Жмухин» (П. Сурожский. Живые персонажи у Чехова. – «Южный край», 1910, № 9891, 17 января).

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Я. Я. Полферов передал следующее суждение Чехова о казаках Донского края, проливающее свет на замысел рассказа: «Мне больно было видеть, что такой простор, где все условия созданы, казалось, для широкой культурной жизни, положительно окутан невежеством и притом невежеством, исходящим из правящей офицерской среды. Тут виноваты другие, вне власти казаков стоящие, причины, но эта главная. Будь офицер, который на самом деле является главным воспитателем казака, образованнее, культурнее духовно, я уверен, что не было бы такого невежества и „печенег“ все бы перевелись» (Я. Полферов. А. П. Чехов о казаках. Из недавней встречи. – «Областное обозрение и вестник казачьих войск», 1904, № 30, 25 июля, стр. 489).

Включая рассказ в собрание сочинений, Чехов выправил текст. В речи Жмухина была подчеркнута грубость; «печенег» получился фигурой еще более мрачной, бездушной и замкнутой в себе.

И. А. Бунин считал «Печенега» одним из лучших произведений Чехова и лучшим его рассказом 1897 года (см. ЛН, стр. 677).

Двоюродный брат писателя Г. М. Чехов писал ему из Таганрога 2 декабря 1897 г.: «Читал я „Печенега“, очень милый рассказ. Заграничный стол и перо прились тебе по руке» (ГБЛ). 24 февраля 1898 г. он сообщал Чехову: «Обратил ли ты, Антон, внимание, что „Печенега“ бесцеремонно перепечатал „Таганрогский Вестник“? Если редакция пожелала познакомить земляков с прекрасным произведением талантливого писателя-земляка, это не дурно, но мое мнение, следовало бы ей быть деликатнее, сначала попросить разрешение у автора, а затем печатать в своей газете. Не правда ли?» (ГБЛ).

Рецензент московской газеты «Курьер» (1897, № 29, 4 декабря) в неподписанной статье «Последние рассказы А. П. Чехова» отзывался о «Печенеге» и «В родном углу» как о «двух превосходных» рассказах и затем продолжал: «Разве не кишит наша жизнь, и особенно провинциальная, <...> этими дикими, деспотическими, глубоко невежественными и в то же время чего-то ищущими, чем-то глубоко неудовлетворенными, чующими, более чем сознающими свою дикость „печенегами“, от которых терпит все близкое, все им подвластное? Разве не глубоко верная, художественно подмеченная черта – целые ночи говорить о разных задачах жизни, замучить своего собеседника жалобами и сетованиями неудовлетворенно-мятущейся души, мнить себя существом высшим, самодовольно, не видя своей пошлости, презирать окружающих и в то же время не замечать всех язв близкой, тут, бок о бок стонущей живой души, и не только не замечать ее горя и нужд, но и давить ее всею силою своего деспотизма и грубости? Разве этот до глубины души опротивевший своему собеседнику „печенег“ не точная копия с наших „отцов“, рассуждающих о чем угодно, праздно болтающих чуть не о всех государственных и общественных вопросах и не видящих, что их „дети“, их семья живет в безвыходной тине невежества и дикости, доходящей до чисто печенежского зверства? <...> жизнь кишит „печенегами“».

На подводе
Впервые – «Русские ведомости», 1897, № 352, 21 декабря, стр. 4. Подзаголовок: (Рассказ). Подпись: Антон Чехов.

Повторно Чехов поместил рассказ в благотворительном сборнике «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам», 2-е изд., М., 1898 (ценз. разр. 14 января 1898 г.), изданном по инициативе сотрудника «Русских ведомостей» Г. А. Джаншиева (отд. 1, стр. 337–343).

Сохранилась газетная вырезка, с правкой и пометой Чехова: «„Русские ведомости“. Сборник „Братская помощь“. 1898» (ЦГАЛИ).

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. IX, стр. 117–127.

В. Н. Ладыженский в статье «Из воспоминаний об А. П. Чехове» рассказал о разговоре своем с Чеховым в Мелихове по поводу тяжелого положения народных учителей и учительниц – «и я увидел впоследствии, – писал Ладыженский, – некоторые черты этого положения в художественной правде небольшого рассказика „На подводе“...» («Мир божий», 1905, № 4, стр. 194).

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
О замысле рассказа «На подводе» со слов Чехова писал в своих воспоминаниях Вас. И. Немирович-Данченко, встречавшийся с ним в Ницце:

«– Пришло мне, знаете... Очерк один. Сельская учительница в крестьянском возке. Сама в овчинном полушубке, в сапогах. Лицо бурое, грубое, обветренное. Грязью захлестало всю. Шелудивая лошаденка добежала до железной дороги, и стоп – проезду нет. Мимо громяют вагоны. В окнах первого и второго класса мелькают молодые, нежные девушки, хорошо одетые... Учительница смотрит – в каждой из них себя видит. Такою, какой была несколько лет назад. Подняли шлагбаум... Возок покотился. Мужичонка жесткий, как мозоль, оглядывается: что это-де случилось? Видит, понять не может, чего это учительша ревет...

Мне это очень понравилось.

Через несколько лет спрашиваю: написали?

– Нет, что ж... И не буду... Не выходит как-то. Не стоит.

Я начал возражать.

– Если хотите вставьте при случае, как главку... А мне... Я пробовал и разорвал» (Вас. Немирович-Данченко. Памятка об А. П. Чехове. – «Чеховский юбилейный сборник». М., 1910, стр. 401).

В Записной книжке I есть записи, имеющие отношение к теме «На подводе». Стр. 66: «Небогатые врачи и фельдшера не имеют даже утешения думать, что служат они одной идее, так как все время думают о жалованье, о кусках хлеба»; стр. 77–78 – сюжет рассказа: «Учительница в селе. Из хорошей семьи. Брат где-то офицером. Осиротела, пошла в учительницы по нужде. Дни за днями, бесконечные вечера, без дружеского участия, без ласки, личная жизнь погибает; удовлетворения нет, так как некогда подумать о великих целях, да и не видать плодов... Увидела в вагоне мимо медленно проходившего поезда даму, похожую на покойную мать, вдруг вообразила себя девочкой, почувствовала себя, как 15 лет назад, и, ставши на колени, на траву, проговорила нежно, ласково, с мольбой: о мама! И, очнувшись, тихо побрела домой. Раньше: писала брату, но не получала ответа, должно быть отвык, забыл. Огрубела, застыла... Вставала уже при входе инспектора или попечителя и говорила о них: они. Поп говорил ей: всякому своя доля, прощайся: рандеву... Доля».

Рассказ писался в Ницце, в ноябре 1897 г., и был послан редакции «Русских ведомостей» 20 ноября. Возможно, что работа началась еще в октябре и что именно о рассказе «На подводе» идет речь в письме к М. И. Чеховой от 27 октября 1897 г.: «Я кое-что пописываю». И 29 октября – Е. М. Шавровой: «Я кое-что делаю, но лишь кое-что, на три су, не больше».

В. М. Соболевский, редактор-издатель «Русских ведомостей», сообщил Чехову 25 ноября 1897 г.: «„На подводе“ помещу в воскресенье» (ГБЛ); Чехов писал ему 22 ноября, уже пославши рассказ: «...рассказ, который я послал Вам третьего дня, „На подводе“, не помещайте раньше конца декабря; пока велите набрать его и прислать мне в корректуру. Так нужно. Я же напишу другой рассказ, который Вы напечатаете, буде пожелаете, в первой половине декабря. Пожалуйста, исполните мою просьбу, пришлите корректуру; я возвращу ее своевременно. Будьте покойны!»

Этот «другой рассказ» не был, однако, написан.

4 декабря 1897 г. Соболевский послал Чехову корректуру рассказа «На подводе» с просьбой: «Одно местечко я бы просил Вас исключить из тактических побуждений, – а именно об Алексееве. Оно, конечно, имеет значение в данном ходе рассказа, как дополняющее характеристику невежественной среды, с к^ото^рой приходится считаться учительнице, но я боюсь, что именно этот разговор может шокировать или произвести тяжелое впечатление на близких покойника; у него остались жена, дети, многочисленные родственники: удобно ли при этих условиях в московской газете, да еще такой, к которой, с ведома многих, Алексеев относился необыкновенно враждебно, – напоминать о недавнем событии?» (ГБЛ; письмо не датировано, но посланное «одновременно» другое письмо Соболевского помечено: «4 декабря 97»). Чехов отвечал 10 декабря, при возвращении корректуры: «Я остриг корректуру, чтобы сделать ее легче. Алексеева вычеркнул; в этом месте рассказа должен бы^{ть} короткий разговор, – а о чем, это все равно».

Распоряжением министра внутренних дел от 16 марта 1893 г. бесцензурным периодическим изданиям запрещено было публиковать сведения о покушении на московского городского голову Алексеева (Н. Новомбергский. Освобождение печати во Франции, Германии, Англии и России. СПб., 1906, стр. 222).

Собирая свои произведения по договору с А. Ф. Марксом, Чехов в письме от 31 января 1899 г. просил И. П. Чехова прислать ему в Ялту газетный текст рассказа «На подводе». На сохранившейся газетной вырезке рукой Чехова вместо зачеркнутых слов: «фальшивые деньги чеканил с немцами» – вписано: «городского [Але] голову Алексеева убивал» (ЦГАЛИ).

В сборнике «Братская помощь...» рассказ был помещен без существенных изменений. Готовя собрание сочинений, Чехов произвел небольшую правку, при которой единственным значительным изменением была замена слов: «фальшивые деньги чеканил с немцами» – прежними словами «с немцами городского голову Алексеева убивал».

«Твой чудесный рассказ „На подводе“ прочитали и прослезились, особенно Дроздова», – сообщила брату М. П. Чехова из Мелихова 27 декабря 1897 г. (М. П. Чехова. Письма к брату А. П. Чехову. М., 1954, стр. 58). И. Н. Потапенко писал Чехову в декабре 1897 г.: «Ты скучаешь в Ницце, а я в Петербурге слишком не скучаю. С наслаждением читаю твои очерки в „Русских ведомостях“ – плоды твоей скуки» (ГБЛ).

В день публикации, 21 декабря 1897 г., Л. Н. Толстой записал в своем дневнике: «Сейчас прочел рассказ Чехова „На подводе“. Превосходно по изобразительности, но риторика, как только он хочет придать смысл рассказу» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 53. М., 1953, стр. 172).

С. Ашевский в работе «Наши педагоги в изображении Чехова» («Образование», 1904, № 4) использовал образ Марьи Васильевны для характеристики тяжелого экономического и общественного положения сельских народных учителей. «Трудно найти во всей русской литературе более безотрадное и в то же время более правдивое изображение жизни сельских педагогов, чем этот коротенький рассказ, служащий как бы дополнением к „Скучной истории“ и к „Человеку в футляре“» (стр. 35).

В 1902 г. после обращения к Чехову профессора русского языка в Париже П. Буайе рассказ «На подводе» был включен в сборник произведений Чехова на французском языке «Un meurtre» (см. примечания к рассказу «Убийство»).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, сербскохорватский и французский языки.

Неоконченное

Шульц

Впервые – «Письма А. П. Чехова». Под ред. М. П. Чеховой, т. IV. М., 1914, стр. 527–528. С подзаголовком: (Из неоконченного рассказа. 1896 г.)

Печатается по черновому автографу (ГБЛ).

Рассказ начат на обороте чернового автографа письма Чехова к И. Д. Сытину, датируемого по содержанию: около 4 октября 1895 г. (см. т. VI Писем). Рукопись начатого рассказа занимает немногим больше половины листа линованной бумаги большого формата. Чернила, которыми Чехов писал рассказ, значительно светлее тех, которыми он писал письмо Сытину.

Правка особенно обильна в начале и в конце автографа (см. варианты).

формой повествования в начатом рассказе – с точки зрения ребенка (гимназиста-первоклассника) – Чехов продолжал линию произведений, начатую в 1885 г. рассказом «Кухарка женится» (затем появились: «Детвора», «Гриша», «Мальчики», «Степь»; отчасти примыкают сюда «Событие» и «Беглец»). Возвращение Чехова в 1895 г. к этому виду повествования не случайно. Весной 1895 г. он написал рассказ, специально предназначенный для журнала «Детское чтение», – «Белолобый» (см. примечание к этому рассказу). Летом он получил приглашение участвовать в другом детском журнале – «Детский отдых». Я. Л. Барсков, редактор этого журнала, в письме к Чехову от 24 июля 1895 г. просил дать «что-нибудь» в 1896 г. (Записки

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru ГБЛ, вып. VIII. М., 1941, стр. 33). Чехов ответил на эту просьбу с редким для него опозданием – через 2 месяца: «Не отвечал я Вам так долго, потому что не хотелось отвечать на Ваше обстоятельное письмо коротко и неопределенно. Но время затянулось и волей-неволей приходится отвечать коротко. В настоящее время у меня нет ничего готового, а то, что пишу и буду писать до весны, уже обещано давным-давно. Если случайно напишу что-нибудь подходящее для детского чтения, то пришлю, но это „случайно“ случается со мной очень редко, раз в пять лет. Кажется, за все 15 лет, пока я пишу, я написал только два детских рассказа, да и те, говорят, охотнее читаются взрослыми, чем детьми.

В октябре я буду жить в Москве и постараюсь повидаться с Вами и поговорить, а пока позвольте поблагодарить Вас за приглашение и пожелать Вам и журналу полнейшего успеха» (22 сентября 1895 г.).

В октябре Чехов был в Москве дважды – в начале месяца и в двадцатых числах. Возможно, к этой предполагавшейся встрече Чехов набросал начало рассказа. Судя по письму Барскова к Чехову от 4 октября 1897 г., в котором он писал, что Чехов его не знает или знает «два месяца», встреча эта в 1895 г. не состоялась.

Некоторые исследователи Чехова считают этот отрывок логическим продолжением повести «Степь», которая заканчивалась приездом героя в губернский город для поступления в гимназию (см. например: О. А. Петрова. К расшифровке некоторых заметок в записных книжках Чехова. – В кн.: Чеховские чтения. Таганрог – 1972. Изд. Ростовского ун-та, 1974, стр. 40). Возможно, что новый замысел был действительно как-то связан с сожалением Л. Толстого о том, что Чехов не продолжил «Степь», которая представлялась ему «началом большого автобиографического романа» (мнение Толстого Чехов узнал из письма Г. А. Русанова от 14 февраля 1895 г. – Записки ГБЛ, вып. VIII, стр. 58). Однако нет оснований ни повесть «Степь», ни тем более начатый отрывок считать произведениями автобиографическими – жанром, чуждым Чехову.

Описание длинной грязной дороги в гимназию совпадает с воспоминаниями родных Чехова о Таганроге (вплоть до детали: «высокие кожаные калоши», обладателями которых были немногие зажиточные таганрожцы – см.: М. Андреев-Туркин. Чехов в Таганроге. – В сб.: Чехов и наш край. Ростов н/Д., 1935, стр. 33).

Страх маленького гимназиста перед строгим учителем восходит также к детским годам Чехова. Из письма к Д. В. Григоровичу от 12 февраля 1887 г. видно, что ему долго снились гимназические учителя в характерном соседстве: с воротами кладбища, похоронами и другими кошмарами (см. т. II Писем, стр. 30).

К намеченному в отрывке «Шульц» внешнему образу: маленький герой в окружении большого вещного мира (длинное, как халат, пальто и просторная фуражка Кости Шульца – в зачеркнутых черновых строках; «высокий, полный господин в очках» с пуговицами на жилетке, которые приходятся вровень с глазами мальчика, – в сохраненном тексте) Чехов обращался и позже. К 1897 г. относится пометка в Записной книжке I (стр. 92): «Маленький, крошечный школьник по фамилии Трахтенбауэр» (зачеркнуто и перенесено в четвертую записную книжку – для будущих произведений). Любопытно, что длинная фамилия школьника – немецкая, как и в отрывке «Шульц». Этот образ осуществлен был в конце концов в рассказе «Душечка» (1898): девятилетний сын ветеринара Саша «идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе, с ранцем на спине».

Мужики <гл. X и XI>

Черновая рукопись неоконченного продолжения повести «Мужики» (главы X и XI) (ЦГАЛИ) представляет собой два листа 21×30 см., из которых первый исписан лишь с одной стороны, а на обороте – черновик письма Чехова к А. Ф. Марксу от 9 августа 1900 г.; второй лист исписан с обеих сторон. Рукопись носит многочисленные следы творческой работы Чехова. Многие слова и фразы зачеркнуты густо, так что не просматриваются, особенно на местах бывших сгибов. См. также стр. 510–511.

1
отец семейства (лат.).

2
...пели только нотное – в отличие от простого, обиходного церковного пения (речитативом), пение по нотам исполнялось более протяжно.

3

Пророк Самуил ~ пришел в Вифлеем ~ «мир, пожрети бо господу приидох, освятитесь и возвеселитесь днесь со мною». – Библия. Первая книга царств, гл. 16, ст. 4 и 5.

4

чистота, невинность (нем.).

5

В поте лица будешь есть свой хлеб... – Книга Бытия, гл. 3, ст. 19.

6

...читали канон и певчие пели ирмосы, например, «Отверзу уста моя...» – Канон – ряд песнопений, состоящий из 9 ирмосов и нескольких тропарей. Ирмосы поет хор, тропари читает, прерывая пение хора, дьяк. В отличие от ирмосов, которые имеют постоянный текст, выбор тропарей приурочивается к святцам. «Отверзу уста моя», первый ирмос канона, посвященный выходу евреев из Египта, исполнялся во второй части всенощной – на утреннем «бдении».

7

«Мой друг, мой нежный друг...» – из романа А. Г. Рубинштейна на слова Пушкина («Ночь»).

8

Чтобы рожать детей, кому ума не доставало? – Перефразировка слов Чацкого из комедии Грибоедова «Горе от ума», действие III, явл. 4.

9

...все кажется мне, будто я лежу в долине Дагестана и снится мне бал. – Реминисценция трех строф стихотворения Лермонтова «Сон». В журнальной публикации Ярцев, продолжив фразу, пересказывает все стихотворение целиком (см. варианты, стр. 390).

10

«Не любить – погубить значит жизнь молодую»... – См. том VIII Сочинений, стр. 446.

11

...в Волочиске – в местечке Волочиск Волынской губ., расположенном на австрийской границе.

12

...в какой-то повести Вельтмана ~ в историю. – См.: А. Ф. Вельтман. Приключения, почерпнутые из моря житейского. Саломея. М., 1848, стр. 165.

13

здесь – строении (франц.).

14

пристройки (франц.).

15

кофе с молоком, булки и масло (франц.).

16

– Войдите! (франц.)

17

не имею (лат.).

18

«Прощай, прекрасный Неаполь». (итал.)

19

...не уверяйте ее, что ее мозг весит меньше мужского... – В книжке «О женщинах» (СПб., 1–10 изд., 1886–1895), составленной К. А. Скальковским (на титуле автор обозначен: – ? –) и хорошо знакомой Чехову, была специальная глава: «О женском уме и женской учености». Ссылаясь на Шопенгауэра и Никола Шамфора, Скальковский доказывал органическую неполноценность женщины тем, в частности, что у нее в сравнении с мужчиной в голове «одной клеткой меньше» и что вместительность женского черепа в среднем 1350 см³, а мужского – 1400 см³; средний вес женского мозга 1350 гр., а мужского 1390 гр. (изд. 9, СПб., 1895, стр. 113 и 116). Чехов высмеял эту книгу еще в 1886 г. в юмореске «О, женщины!» (см. т. V Сочинений).

20

«Архангельский глас» – торжественное песнопение в праздник Благовещения. Исполнялось за всенощной. В письме к И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 9 марта 1892 г. Чехов вспоминал, как в детстве вместе с братьями он исполнял трио «Да исправится» и «Архангельский глас».

21

...«Андреево стояние» и «Похвалу»... – Великий канон Андрея Критского (Андреево стояние) читали во время вечерни на первой неделе поста перед пасхой. Чтение канона прерывалось Похвалой – в честь самого сочинителя канона. О канонах см. также в примечаниях к повести «Три года».

22

Слава тебе, показавшему нам свет! – Возглас священника перед так называемым Великим славословием, исполнявшимся в конце всенощной.

23

...апостола читал... – во время обедни чтение «апостола» (т. е. Деяний или Посланий святых апостолов из Нового Завета) поручалось особо благочестивым людям.

24

задостойник – песнопение, которое исполнялось после «Достойно есть». О «Достойно есть» см. ниже.

25

...держался устава святой Афонской горы... – Афон – гора на восточной косе Халкидического полуострова у Эгейского моря. На Афоне расположены монастыри, скиты, отдельные кельи для монахов. Хождение христиан на Афон началось с XI века.

26

...под особо чтимые двенадцатые праздники... – Среди церковных праздников выделялись двенадцать «величайших» («двенадцатые»): 1. Рождества богородицы. 2. Воздвижения креста. 3. Введения во храм богородицы. 4. Богоявления, или рождества Христова. 5. Крещения. 6. Сретения. 7. Благовещения. 8. Входа Христа в Иерусалим. 9. Вознесения. 10. Пятидесятницы (или Троицын день). 11. Преображения Христа. 12. Успения богородицы.

27

...во время кафизм и паремий... – Кафизмы – чтения из псалтыри во время всеобщей. Паремии – чтения отрывков из Библии на каждый из больших («двунадесятых») праздников.

28

Это молоканство. Я читал, на Кавказе все так. – Русская религиозная секта молокан образовалась в XVIII веке. Ожидая, что «царство Христово» откроется в закавказских краях, молокане с 30-х годов XIX века потянулись туда из разных губерний.

29

...прощенный день – последнее воскресенье перед великим постом, когда все верующие отпускают друг другу грехи.

30

...чистый понедельник – первый понедельник великого поста (следует за прощеным воскресеньем).

31

...глас вопиющего в пустыне. – Евангелие от Матфея, гл. 3, ст. 3. Чехов в письмах и в произведениях много раз употреблял это выражение.

32

...рассказывали ~ что втайне она еще продолжает быть хлыстовкой, а потому-де ходит в белом платочке. – Секта хлыстов, существовавшая в России наряду со старообрядческим расколом с XVII века, отличалась особыми требованиями к быту. «В своей домашней жизни хлысты живут большею частью гораздо богаче и чище своих односельчан, любят ходить опрятно...», – писал священник Д. Сперанский в статье «Хлыстовщина – одна из мистических русских сект» («Странник», 1895, № 4, стр. 737). Отсюда обыкновение хлыстовок носить белоснежно-чистые платки.

33

«Достойно есть» – песнопение в честь богородицы. По церковному уставу от пасхи до вознесения вместо «Достойно есть» поется «Светися, светися...»

34

...прежде смиришь с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой. – Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 24.

35

драгоценности (франц.).

36

большой круг (франц.).

37

высший свет (франц.).

38

сделать карьеру (франц.).

39

Вы вегетарианец? – Вегетарианство, распространенное в оппозиционно настроенных кругах (например, вегетарианцами были толстовцы), вызывало со стороны

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
официальной церкви осуждение.

40
старческое бессилие (лат.).

41
«Заступница усердная» – песнопение в честь Казанской богородицы.

42
Отчего я люблю тебя, светлая ночь? – Из романа П. И. Чайковского на слова Я. П. Полонского («Ночь», 1852).

43
У царя Давида было кольцо с надписью: «всё проходит». – Мысль о бренности всего земного, сформулированная по-древнееврейски: «и это тоже пройдет», обыкновенно приписывается не Давиду, а сыну его Соломону; она отвечает основному девизу книги «Экклесиаст»: «Суета сует и все суета и томление духа». В. Н. Ладыженский в воспоминаниях о Чехове, пересказывая это место «Моей жизни», писал о кольце не Давида, как у Чехова, а Соломона (см. «Современный мир», 1914, № 6, стр.111). На имя Давида наталкивает семейное предание, сообщенное нам С. М. Чеховым. М. П. Чехов имел обыкновение говорить: «У даря Давида было кольцо с надписью: „Все кончается“, а у его сына царя Соломона было кольцо с надписью: „Ничто не кончается“». Ср. слова Полознева на стр. 279.

44
В писании сказано: еще кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему левую... – Из Нагорной проповеди Иисуса Христа (Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 39 и от Луки, гл. 6, ст. 29).

45
Сказано: приидите все труждающие и обремененные. – Евангелие от Матфея, гл. 11, ст. 28.

46
...такие слова, как «еще» и «дондеже»... – Т. е. «если» и «доколе», часто встречающиеся в церковнославянском тексте Библии.

47
«Отшедшим же им... ~ И бежи во Египет...» – Евангелие от Матфея, гл. 2, ст. 13.

48
Воздвижение – церковный праздник, отмечаемый 14 сентября (ст. стиль).

49
«Люблю я цветы полевые,
Люблю по лугам собирать...»
– По воспоминаниям М. П. Чеховой (в передаче Ю. К. Авдеева), эту песню Чехов часто по вечерам слышал от мелиховских девушек (см.: Ю. К. Авдеев. Памяти М. П. Чеховой. – В кн.: А. П. Чехов. Сборник статей и материалов. Ростов н/Д., 1959, стр. 315).

50
...Успенев пост – с 1 по 15 августа (ст. стиль) – один из самых строгих постов христианской религии.

51

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru
Успенье – один из церковных праздников, 15 августа (ст. стиль).

52

Около избы десятского... – Десятский – полицейский служитель по наряду из сельского населения.

53

...с псковичами... – Псковичи – егеря, обладающие умением особого, псковского способа охоты: втроем они обкладывают зверя и гонят его на охотника.

54

...висел портрет Баттенберга, бывшего болгарского князя. – См. примеч. к т. V Сочинений, стр. 651.

55

Перед Святой... – перед Святой, пасхальной неделей.

56

...с тех пор, как богатые мужики ~ побывали в земских гласных, остались недовольны и потом в своих фабриках и трактирах стали бранить земство. – Положение о земских учреждениях от 12 июня 1890 г., действовавшее до Октябрьской революции, устанавливало новый порядок выбора уездных гласных (членов земских собраний) по сословиям и куриям, при котором представительство крестьян было сильно сокращено и затруднено, что и вызывало недовольство. Это было хорошо знакомо Чехову, который сам был избран гласным Серпуховского земского собрания на три года 25 июня 1897 г.

57

Казанской божьей матери, Смоленской божьей матери, Троеручицы божьей матери... – Названия трех икон, особо почитаемых на Руси, которым приписывались чудодейственные свойства.

58

Покров – церковный праздник, отмечаемый 1 октября (ст. стиль).

59

Благовещение – один из церковных праздников, 25 марта (ст. стиль).

60

...клубня... – см. т. VII Сочинений, стр. 644.

61

...штейгеров... – горных мастеров.

62

...о Саур-Могиле... – могиле легендарного богатыря Саура, героя древних былин, которой по преданию считают некоторые южнорусские курганы.

63

Не надо разговаривать с прислугой... (франц. Il ne faut pas parler aux gens)

64

...колокольного звания... – т. е. из духовенства.

Рассказы. Повести. 1894–1897. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

65

Клавдия Абрамовна хаживала и на маскарады, и к Филиппову... – Д. И. Филиппов, известный московский булочник. Его магазин на Тверской привлекал много разнородного люда (см.: В. А. Гиляровский. Москва и москвичи. – Избранное в трех томах, т. 3. М., 1960, стр. 215).

66

инсипидка – от франц. insipide (безвкусный, нескладный, нелепый).

67

Искаж. моностих В. Я. Брюсова: «О, закрой свои бледные ноги» (1894 г.).

68

В регистрационной книге № 3509 за 1897 г. Главного управления по делам печати значится, что брошюра «Мужики», 65 стр., представлена Сувориным и сдана цензору Елагину 9 августа, дозволена 19 августа; время обратной выдачи – 20 августа (см.: Н. Ф. Бельчиков. Народничество в литературе и критике. М., 1934, стр. 180).

69

В Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина под шифром 58–7/1680 хранится роскошный, подарочный экземпляр «Мужиков», отпечатанный на особой бумаге с того же набора, но с некоторыми улучшениями в верстке и с незначительными текстовыми поправками.

70

Одну из своих статей о «Мужиках» 12 января 1899 г. Струве послал Чехову, приглашая участвовать в журнале «Начало»: «Направление и характер журнала „Начало“ Вам, быть может, выяснятся из прилагаемой при сем статьи о Ваших „Мужиках“, статьи, помещенной в несуществующем ныне „Новом Слове“, фактическим редактором которого я был за последние 9 месяцев его существования» (ГБЛ).

71 По воспоминаниям И. Н. Альтшуллера, Чехов с большим юмором рассказывал ему, как одна «убежденная эсдечка» (М. И. Водовозова) доказывала ему, «...что после „Мужиков“ и „Оврага“ и участия в журнале „Жизнь“ он ведь уже стал настоящим марксистом, но только сам еще этого не осознал» (ЛН, стр. 688).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://chekhovanton.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!